

# ДЕКАБРИСТЫ

О. Куянская

ДЕКАБРИСТЫ



ЖЗЛ



Оксана  
Куянская



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ





ЖИЗНЬ<sup>®</sup>  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



**ВЫПУСК**

**1728**

---

**(1528)**

Оксана Кулянская

# ДЕКАБРИСТЫ



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2015

---

УДК 94(47)“18”  
ББК 63.3(2)521-425  
К 38



*Издание подготовлено автором в рамках  
Программы стратегического развития РГГУ*

*Рецензент  
доктор исторических наук,  
профессор  
Д. М. Фельдман*

знак информационной  
продукции **16+**

**ISBN 978-5-235-03803-5**

© Киянская О. И., 2015  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2015

## **ДЕКАБРИСТЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН**

Движение декабристов — особая тема в истории России. Оценки этого явления исторической наукой прямо противоположные. Советские историки вслед за Лениным видели в декабристах «первый этап освободительного движения», который, естественно, оценивали однозначно положительно. В современной же науке господствуют другие представления: декабристы предприняли попытку разрушить великую империю — и, естественно, должны быть историей осуждены.

Однако при всей полярности оценок историография декабризма до сих пор строится по одной и той же уже ставшей классической схеме. С детства, со школьных лет каждый помнит ее: Союз спасения — Союз благоденствия — Северное и Южное общества — восстания в Петербурге и на юге — казнь или Сибирь. Программы тайных обществ из года в год становились всё более радикальными: от договора с царем к царубийству, от конституционной монархии к республике. И схеме эту никто до сих пор не ставил под сомнение.

Но она не выдерживает проверки фактами.

Когда 14 декабря 1825 года молодой император Николай I подавил восстание на Сенатской площади, он, конечно же, еще ничего не знал ни о Союзе спасения, ни о Союзе благоденствия, ни тем более о Южном и Северном обществах. Начавшемуся сразу после восстания следствию предстояло выяснить, откуда взялся и как развивался «страшнейший из заговоров».

Правда, в первые дни допросов император добился многого. Арестованные заговорщики, участники восстания на Сенатской площади, согласно показывали, что ими руководило желание защитить законные права на престол цесаревича Константина Павловича. Так, Дмитрий Щепин-Ростовский сообщил, что причина восстания — готовность офице-

ров лейб-гвардии Московского полка «пролить последнюю каплю крови за императора Константина». «Я принял намерение после кончины государя Александра Павловича... что я сам собою, присягнув раз, присягать более никому не хотел без личного повеления моего императора», — показывал князь Евгений Оболенский, руководивший на площади восставшими войсками, и добавлял, что эту мысль разделяли его «знакомые», вышедшие вместе с ним на Сенатскую площадь. Михаил Бестужев утверждал, что действовал во имя «удержания на престоле великого князя Константина Павловича, которому он присягал». Его брат Александр поведал, что 14 декабря собирался «испросить у его высочества личного и словесного отречения»<sup>1</sup>.

Первым, кто дал показания о стоявшем за мятежниками тайном обществе, был Кондратий Рылеев. Арестованный в ночь с 14 на 15 декабря и сразу же допрошенный, он утверждал, что тайное общество в столице «точно существует». От него же следствие узнало и о наличии заговора на юге: «Я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущения». Ничего более конкретного на эту тему следствие от Рылеева не добилося. На следующем допросе, через несколько дней, он добавил: «Насчет южного общества подробностей, более того что показал, не знаю; но полагаю, что оно из сильнейших в России»<sup>2</sup>.

Это показание позволило следователям сформулировать названия тайных организаций: общество на юге, «около Киева», превратилось в Южное общество, петербургская, «северная» организация вскоре стала Северным обществом. Названия эти закрепились в вопросах следствия и ответах подследственных, потом перешли в историографическую традицию. Но сведения, полученные от Рылеева, никоим образом не устраивали власть, желавшую получить подробные показания о возникновении, развитии и целях этих обществ.

Первая концепция развития тайных обществ и первая внятная попытка объяснить связь между этими организациями и восстанием 14 декабря принадлежала перу знаменитого декабриста, несостоявшегося диктатора восстания князя Сергея Трубецкого. Концепция эта состояла в следующем: тайные общества изначально возникли для того, чтобы помочь правительству. «Цель была — подвизаться на пользу общую всеми силами, и для того принимаемые правительством меры или даже и частными людьми полезные предприятия поддерживать



похвально»; «способствование правительству к приведению в исполнение всех мер, принимаемых для блага государства», — писал он<sup>3</sup>. При этом князь сообщил и некоторые подробности, в частности, о том, как образовавшееся в 1816 году тайное общество спустя два года было реформировано и названо Союзом благоденствия.

Однако следователи не поняли: каким образом члены столь благонамеренной организации могли устроить военный мятеж в столице? Трубецкому пришлось дополнять и уточнять свои показания: «Во всяком подобном обществе, хотя бы оно первоначально было составлено из самых честнейших людей, непременно найдутся люди... порочные и худой нравственности», которые испортят прекрасные замыслы. В данном случае такие люди тоже нашлись; вернее, нашелся один человек — руководитель Южного общества Павел Пестель.

По словам Трубецкого, Пестелю было всё равно, будет ли Россия монархией или республикой. Пестель был злой и жестокий человек, который стремился лишь к диктаторской власти и ради этой власти был готов на всё, в том числе и на цареубийство: «Он обрекал смерти всю высочайшую фамилию... Он надеялся, что государь император не в продолжительном времени будет делать смотр армии, в то же время надеялся на поляков в Варшаве, и хотелось ему уговорить то ж исполнить и здесь». Собственно, цель существования Северного общества, по словам Трубецкого, состояла в том, чтобы сорвать коварные замыслы Пестеля. Восстание на Сенатской площади было обусловлено теми же причинами: если бы его не было, то Пестель непременно привел бы в исполнение свое цареубийственное намерение. Трубецкой резюмировал: «Я имел всё право ужаснуться сего человека, и если скажут, что я должен был тотчас о таком человеке дать знать правительству, то я отвечаю, что... я уверен был, что всегда могу всё остановить — уверенность, которая меня теперь погубила»<sup>4</sup>.

Трубецкой в своих показаниях был неискренен. Сваливая вину на Пестеля, делая его главным виновником произошедшего, диктатор пытался спасти себя, скрыть от следствия собственные революционные приготовления. Князь желал также отвести подозрения от своего близкого друга, помогавшего ему готовить военную революцию, — Сергея Муравьева-Апостола.

Естественно, что и эта концепция не устроила следствие. Трубецкому не поверили. Но к личности Пестеля, который был арестован на юге за день до восстания на Сенатской площади и привезен в Петербург 3 января 1826 года, интерес следователей был наибольшим.

Следственным действиям в отношении руководителя Южного общества предшествовала его беседа с императором с глазу на глаз. Император оставил о ней короткую мемуарную запись: «Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в заpiratione; я полагаю, что редко найдется подобный изверг»<sup>5</sup>. Иными сведениями об этой встрече историки не располагают.

Но очевидно, что между императором и «извергом» было достигнуто некое соглашение, о смысле которого можно судить по последующим показаниям Пестеля. Уже 4 января он предложил следствию контуры схемы развития тайных организаций — той самой схемы, которой историки пользуются до сих пор.

Согласно Пестелю, тайное общество возникло в 1816 году; потом, «в 1817 и 1818 году, во время пребывания двора в Москве, общество сие приняло новое устройство»; а «в 1820 или 21 году оное общество по несогласию членов разошлось». Однако сам Пестель и его сторонники с роспуском не согласились: «Я был тогда в Тульчине, и, получа сие известие со многими членами, положили, что московское общество имело, конечно, право переобразования, но не уничтожения общества, и потому решились оное продолжать в том же значении. Тогда же общество Южное взяло свое начало и сошло с сей час с петербургским»<sup>6</sup>.

Показания Пестеля содержат сведения о внутреннем устройстве Южного общества, о его руководящих структурах: «Южная управа была предводима г. Юшневским и мною, а третьего избрали мы Никиту Муравьева, члена общества Северного, дабы с оным быть в прямом сообщении. Северной же думы члены были Никита Муравьев, Лунин, Н. Тургенев, а вскоре вместо онаго к[нязь] Оболенский, а вместо Лунина к[нязь] Трубецкой... Мой округ был в Тульчине, коему принадлежали... чиновники главного штаба. Другой же округ в сообщении с оным был в Василькове, под распоряжением Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина»<sup>7</sup>.

Кроме того, Пестель рассказал о других тайных обществах, существовавших в России, в частности о Польском патриотическом обществе («С польским обществом, коего Директория была в Дрездене, в сношении были мы чрез Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева... В 1825 году я сам был в сношении с князем Яблоновским и Гродецким, коих видел в Киеве») и Обществе соединенных славян («Сказывал мне Бестужев-Рюмин, что он слышал о существовании тайного общества под названием Соединенные Славяне»). Он заявил и о том, что,

возможно, тайное общество существует и на Кавказе, в корпусе генерала Алексея Ермолова: «С корпусом генерала Ермолова не было у нас никакого сношения прямого; но слышал я, что у них есть общество... Все сии подробности извлек к[нязь] Волконский от Якубовича, который, несколько выпив, был с ним откровенен»<sup>8</sup>.

Южный лидер отверг версию Трубецкого, что участниками заговора двигал прежде всего мотив противостояния его собственным честолюбивым планам: «Первоначальное намерение общества было освобождение крестьян, способ достижения сего — убедить дворянство сему содействовать, и от всего сословия нижайше об оном просить императора». Поздние общества хотели «введения в государство конституции»<sup>9</sup>. Достичь же целей предполагалось с помощью военной силы.

Пестель признал и царевубийство как «способ действий» участников тайных обществ. Он подробно рассказал о «московском заговоре»: «В 1817 году, когда царствующия фамилия была в Москве, часть общества, находящаяся в сей столице под управлением Александра Муравьева, решилась покуситься на жизнь государя. Жребий должен был назначить убийцу из сочленов, и оный пал на Якушкина. В то время дали знать членам в Петербурге, дабы получить их согласие, главнейшее от меня и Трубецкого. Мы решительно намерение сие отвергли, и дабы исполнение удержать, то Трубецкой поехал в Москву, где нашел их уже отставшими от сего замысла»<sup>10</sup>.

Естественно, что руководитель Южного общества, как и Трубецкой, не говорил следователям всей правды. Пестелю удалось на следствии скрыть собственную — вполне реальную — работу по подготовке в России военного переворота и свести всю деятельность заговорщиков к пустым разговорам о необходимости преобразований. Император же получил схему развития «злоумышленных тайных обществ», которая в ходе следствия корректировалась в мелких деталях, но в целом осталась неизменной. Нетрудно предположить, что именно в этом и заключалось соглашение, достигнутое Пестелем и Николаем I 3 января 1826 года.

Следует заметить, что любые попытки подследственных отступить от этой схемы, сказать еще что-то пресекались достаточно жестко. К примеру, Михаил Бестужев-Рюмин, пытавшийся рассказать императору «всё о положении вещей, об организации выступления, о разных мнениях общества, о средствах, которые оно имело в руках... о Польше, Малороссии, Курляндии, Финляндии»<sup>11</sup>, почти три месяца — половину февраля, март и апрель 1826 года — содержался в тюрьме в ручных цепях. Видимо, «многознание»

Бестужева-Рюмина и желание поделиться этими знаниями с другими сыграло не последнюю роль и при вынесении ему смертного приговора.

Схема, предложенная Пестелем, нашла наиболее полное выражение в итоговом документе следствия — «Донесении Следственной комиссии»<sup>12</sup>, написанном по итогам следствия правительственным пропагандистом Дмитрием Блудовым.

«Донесение» много раз подвергалось критике советскими историками. С. Я. Гессен называл его «тенденциозным и лживым до последнего знака препинания» документом. В декабристоведении этот тезис активно поддерживался и развивался. Так, В. А. Федоров усматривал «лживость» «Донесения» в том, что его составитель «замолчал либо грубо извратил» «благородные цели декабристов»<sup>13</sup>. Однако нельзя не заметить: с фактологической точки зрения «Донесение» строго следует уголовным делам членов тайных обществ.

Для Блудова этот документ, предназначенный для публикации в открытой печати, — отнюдь не первый опыт публицистического оформления императорской идеологии. В ночь на 15 декабря именно Блудову (по рекомендации Н. М. Карамзина) император поручил написать первое правительственное сообщение о событиях на Сенатской площади.

Изучая это сообщение, А. Г. Готовцева пришла к выводу: уже в нем интуитивно нащупана некая пропагандистская схема, которая потом станет краеугольным камнем официальной концепции развития тайных обществ. По ее мнению, суть схемы Блудова такова: «...откровенно врать было невозможно, но и говорить всю правду тоже не следовало. Информацию нужно было давать, но преподносить ее следовало только в официальной трактовке, никаких иных толкований не допускающей. Истинные масштабы заговора, как и политические лозунги заговорщиков, следовало, по возможности, скрывать. Нужно было также проводить постоянную градацию участников, не забывая при этом выделять группу “заблудших”, которым обязательно следовало декларировать “прощение”. И, конечно же, венцом этой схемы становился постулат о “преданности” русских людей “законной монархии”. При этом незыблемым было и право Николая I на занятие престола»<sup>14</sup>.

Впоследствии Блудов по заданию царя написал еще ряд публицистических текстов, где эту схему успешно развил.

В «Донесении» же схема Блудова причудливо переплелась со схемой Пестеля. Во-первых, «Донесение» утвердило хроно-

логическую канву движения: Союз спасения — Союз благоденствия — Северное и Южное общества — восстания в Петербурге и на юге. Во-вторых, вслед за Пестелем и Блудовым и современники, и историки повторяли и повторяют тезис, что движение декабристов было практически полностью идеологическим. О конституционных проектах в основном тексте «Донесения» не говорится, но в примечаниях утверждается: «Один проект Конституции написан Никитой Муравьевым. Он предполагал монархию, но оставляя императорскую власть весьма ограниченную... Другая конституция, с именем “Русской Правды” и совершенно в духе республиканском, есть сочинение Пестеля»<sup>15</sup>.

Окончательно формируя концепцию возникновения и развития тайных обществ, автор «Донесения Следственной комиссии», конечно, несколько лукавил: ни из республиканских убеждений Пестеля, ни из конституционно-монархических воззрений Никиты Муравьева восстание на Сенатской площади напрямую не вытекало. Михаил Лунин иронически писал: «Достаточно, кажется, заметить, что заговор не длится десять лет сряду; что заговорщики не занимаются сочинением книг, дабы действовать словом и торжествовать убеждением... История народов всех времен не представляет сему примера»<sup>16</sup>. Но этого лукавства советские историки не поняли: большинство из них сводили «революционную тактику» декабристов именно к идеологии.

Еще один тезис «Донесения», практически без изменений воспринятый советской исторической наукой, — тезис о царубийстве как составной части декабристской тактики. Описывая в подробностях все, даже случайные, разговоры на эту тему, пересказ которых был почерпнут в основном из показаний Пестеля, автор «Донесения» старался представить членов общества «злодеями», оправдать в глазах общественности тяжелые приговоры, в том числе и смертную казнь, и дать возможность царю отделить, наконец, овец от козлищ — «заблудших» и «непричастных» от «вожаков» и «зачинщиков».

Историки же, декабристам сочувствовавшие, видели в царубийственных проектах показатель «революционной зрелости» заговорщиков. Схема Пестеля—Блудова в итоге вошла не только в историографию, но и в школьные учебники по истории.

Движение декабристов — составная часть общественно-го движения в России начала XIX века. Идеология тайных обществ декабристов не представляла собой ничего уникально-

го. Александровская эпоха — это время повального увлечения идеями конституционализма. Причем первенство в постановке перед русским обществом вопроса о конституции принадлежит отнюдь не декабристам, а императору Александру I, в 1815 году даровавшему конституцию Польше и планировавшему дать ее России. Конституции — более или менее радикальные — создавали не только Пестель и Муравьев. О необходимости конституции и отмены крепостного права говорили такие знаменитые сановники, как Николай Новосильцев (который в 1818 году по поручению Александра I написал «Уставную грамоту Российской империи», а три года спустя вместе с Михаилом Воронцовым и Александром Меншиковым разработал проект отмены крепостного права), Алексей Аракчеев (который в 1818 году составил проект крестьянской реформы, предусматривавший постепенную отмену крепостного права), Павел Киселев, Николай Репнин и многие другие.

С точки зрения организационных форм декабристские союзы тоже были вполне традиционны. Согласно сведениям, приведенным историком В. М. Боковой, в России первой трети XIX века существовало 160 общественных объединений<sup>17</sup>. Причем в данном случае Россия не была исключением — мода на тайные общества захватила всю Европу. Подобные организации создавались с различными целями, но наиболее распространенными были общества политические. Российские участники таких обществ занимались в основном разговорами о необходимости перемен, обсуждали либеральные идеи царя, писали проекты всякого рода преобразований.

Тайные общества, в которых состояли те исторические деятели, которых мы сегодня называем декабристами, не были исключением. Деятельность их также сводилась к более или менее либеральным разговорам о необходимости реформ. Но, несмотря на радикализм этих разговоров, никакой реальной опасности для власти они не представляли и практически не были связаны с последующими вооруженными выступлениями. Далеко не все члены Союза спасения, Союза благоденствия, Северного и Южного обществ участвовали в вооруженных восстаниях 1825—1826 годов, и далеко не все участники этих восстаний состояли в обществах.

В России начала XIX столетия общественная жизнь строилась отнюдь не вокруг общественных объединений, а вокруг армии: большая часть молодых дворян были офицерами, армия была единственным для дворянина способом сделать быструю карьеру. Офицеры, тем более прошедшие Отечественную войну и Заграничные походы, были наиболее социально активным слоем населения. Поэтому не случайно вся

конкретная работа по организации русской революции шла не в тайных обществах, а именно в армии. Документы свидетельствуют: армейский заговор начала века был большой и разветвленный, и у заговорщиков имелись неплохие шансы взять власть в России. Причем в этом заговоре участвовали как декабристы (Пестель, Трубецкой, Алексей Юшневский, Сергей Волконский), так и те, кто в тайных обществах не состоял. Заговор был сконцентрирован вокруг влиятельных армейских генералов, командовавших значительными войсковыми соединениями: командующего 2-й армией генерала Петра Витгенштейна, начальника его штаба генерала Павла Киселева и командира 4-го пехотного корпуса генерала Алексея Щербатова. И именно следствием деятельности участников этого заговора стали две неудачные попытки произвести революцию в России.

Схема же, предложенная Пестелем и дополненная Блудовым, оказалась удобной — прежде всего для императора Николая I, которому вовсе не хотелось показывать всему миру, что российская армия коррумпирована, плохо управляема, заражена революционным духом, что о заговоре знали и заговорщикам сочувствовали высшие армейские начальники. Гораздо удобнее было представить декабристов юнцами, начитавшимися западных либеральных книг и не имеющими поддержки в армии.

Можно понять и Пестеля. Полковник, скорее всего, предвидел: если следствие начнет распутывать армейский заговор, выяснять, кто и как на самом деле готовил русскую революцию, то круг привлеченных к следствию и в итоге осужденных окажется гораздо шире, вырастет и число тяжелых приговоров, тогда как, согласно его собственным замечаниям на следствии, «подлинно большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить», «от намерения до исполнения весьма далеко», «слово и дело не одно и то же»<sup>18</sup>.

История общественного движения Александровской эпохи нуждается в очень серьезном пересмотре, причем не с точки зрения оценки действий тех или иных исторических персонажей, а с точки зрения сбора и осмысления новых фактов. При этом нужно учитывать, что та картина деятельности декабристских тайных обществ, которая известна с 1826 года и к которой мы привыкли, — не более чем гипотеза, причем одна из наименее вероятных, наименее подтвержденных источниками.

Книга, которую читатель держит в руках, — лишь первый шаг на пути к этому пересмотру.

По делу о «злоумышленных тайных обществах» к следствию привлекли более пятисот человек. Большинство из них были отпущены: признаны «непричастными к делу» или наказаны в административном порядке. 121 человек был осужден Верховным уголовным судом «к разным казням и наказаниям», пятеро из них казнены через повешение.

В книгу включены биографии руководителей тайных обществ и тех их членов, кто непосредственно заговором не руководил, но оказался вовлеченным в его орбиту, активно участвовал в связанных с ним событиях.

Во многих случаях применялся прием «парных биографий»: таковы, например, биографии Павла Пестеля и Алексея Юшневского, Сергея Трубецкого и Сергея Муравьева-Апостола, Петра Свистунова и Ипполита Муравьева-Апостола. Такое сопоставительное жизнеописание тех героев книги, чьи судьбы оказались тесно связаны, дало возможность показать общность их судеб, выделить критерии, по которым тот или иной исторический деятель соотносим с движением декабристов. При использовании такого приема ярче выступают индивидуальные черты героев, что делает облик каждого из них уникальным.

Отбирая героев для книги, автор не следовал пропагандистским установкам «Донесения Следственной комиссии». В основу книги положен анализ большого комплекса документов, прежде всего архивных, позволяющих судить о реальных планах декабристов. Роль каждого из персонажей в описываемых событиях определяется вовсе не вынесенным ему приговором, а его служебным положением, жизненным и военным опытом, его представлениями о том, как должна совершиться в России революция, кто должен ею руководить и как должна выглядеть страна в будущем.

Собранные же вместе, эти биографии дают возможность увидеть своеобразный «коллективный портрет» тех, кого император Николай I называл «Mes amis de quatorze» («Мои друзья четырнадцатого»).

Именно такой подход помогает по-новому взглянуть на хрестоматийно известную историю тайных обществ, описать подготовку декабристов к реальному революционному действию, понять, почему столь долго готовившаяся революция вылилась в два восстания, оказавшихся совсем не опасными для власти.



---

---

## ПАВЕЛ ПЕСТЕЛЬ И АЛЕКСЕЙ ЮШНЕВСКИЙ

В 1821 году, одновременно с образованием Южного общества, был создан его руководящий орган — Директория. Первоначально в ее состав вошли два человека: ротмистр Павел Иванович Пестель, адъютант командующего 2-й армией генерала Петра Витгенштейна, и генерал-интендант той же армии коллежский советник Алексей Петрович Юшневский\*.

Пять лет спустя император Николай I по-разному оценил степень вины южных директоров: Пестель был казнен, Юшневский оставлен в живых и приговорен к вечной каторге. По-разному оценивали их деятельность современники: Пестель — герой множества мемуаров как участников заговора, так и весьма далеких от него людей; имя Юшневского едва ли десятком раз встречается в воспоминаниях товарищей по каторге и сибирских знакомых. Соответственно, и историки, описывая движение декабристов, посвящали и посвящают первому статьи и монографии<sup>1</sup>. Второй же лишь упоминается на страницах отдельных посвященных декабристам исследований. О нем существует только одна биографическая работа — опубликованная в 1930 году на украинском языке статья В. М. Базилевича<sup>2</sup>, представляющая собой свод опубликованных к тому времени данных о Юшневском и выдержек из его следственного дела, тогда еще не изданного.

Следственное дело Юшневского с тех пор опубликовано<sup>3</sup>, а статья Базилевича давно вышла из активного научного оборота. Личность Юшневского совсем не вызывает интереса у исследователей — и тому, конечно, есть свои причины.

Во-первых, слишком велика разница между ним и Пестелем, теоретиком декабризма, автором программного докумен-

---

\* Заочно в Директорию был избран служивший тогда в Гвардейском генеральном штабе Никита Муравьев — «для связи» с Петербургом (реально в руководстве Южным обществом он не участвовал). В конце 1825 года к Директории был «приобщен» подполковник Черниговского полка Сергей Муравьев-Апостол.

та Южного общества, с чьим именем связаны практически все основные вехи истории заговора. Естественно, что практически не замеченный современниками Юшневский таким «послужным списком» похвастаться не может.

Во-вторых, несмотря на высокий пост в армейской иерархии, Юшневский был человеком штатским, ни дня не находился на военной службе. И во главе движения, состоявшего почти сплошь из военных, он смотрится достаточно странно. Исследователи предпочли согласиться с известным показанием Пестеля, что Юшневский «всё время своего бытия в Союзе в совершенном находился бездействии, ни единого члена сам не приобрел и ничего для общества никогда не сделал», тогда как себя Пестель называл на следствии «деятельнейшим директором», тем самым лишний раз подчеркивая «бездеятельность» Юшневского<sup>4</sup>.

Анализируя основные вехи биографии руководителя Южного общества, С. Н. Чернов пришел к выводу: «Рядом с Пестелем стоял нерешительный и уклончивый Юшневский, готовый и не умеющий уйти из заговора и революции, осторожно и обыкновенно молча, но постоянно, когда умел и мог решиться, противодействующий Пестелю»<sup>5</sup>.

Из подобной трактовки взаимоотношений двух «южных директоров» возникает множество вопросов. Зачем Пестелю, яркому и авторитарному лидеру, понадобилось терпеть рядом с собой в Директории человека, бесполезного для «общего дела», от которого к тому же всё время приходилось ждать противодействия? Да и так ли уж бесполезен был Юшневский? Согласно тексту приговора, он управлял Южным обществом «вместе с Пестелем с неограниченной властью»<sup>6</sup>, за что, собственно, и был осужден на вечную каторгу.

Тогда выходит, что Пестель, давая показания о бесполезности Юшневского для заговора, сознательно вводил следователей в заблуждение. Но он не был замечен в стремлении выгораживать на допросах своих единомышленников — за исключением тех, которые имели непосредственное отношение к подготовке восстания в армии. Значит, Юшневский относился к их числу. Тогда в чем же всё-таки заключалась его реальная роль в заговоре?

Попытаемся дать ответы на эти и подобные вопросы.

Собственно, различное отношение современников и потомков к южным директорам было predetermined задолго до того, как они вошли в тайное общество. По своему рождению они принадлежали к совершенно разным кругам русского дво-

рянского общества. Разным было всё: семьи, в которых они выросли, учебные заведения, в которых учились, служебные дороги, которые прошли.

Павел Пестель появился на свет 24 июня 1793 года; в 1826-м, незадолго до казни, ему исполнилось 33 года. По рождению он принадлежал к кругу высшей петербургской бюрократии. Его отец Иван Борисович Пестель был крупным российским сановником с одиозной репутацией: в 1806—1819 годах он занимал пост генерал-губернатора Сибири. Современники называли Пестеля-старшего «сибирским сатрапом», согласно обвиняли в жестокости и взяточничестве, считали, что в годы его правления лихоимство в крае превысило все разумные пределы<sup>7</sup>. И хотя обвинения его в казнокрадстве и взяточничестве на сегодняшний день можно считать опровергнутыми, он на самом деле был жестким, даже жестоким администратором, привыкшим любыми средствами добиваться от подчиненных исполнения своих приказов.

Алексей Юшневский был на семь лет старше Пестеля, в 1826 году ему исполнилось 40 лет. Юшневский — выходец из круга провинциального дворянства средней руки. Его отец Петр Христофорович, поляк по национальности, подобно отцу Пестеля, тоже был чиновником — только гораздо меньшего ранга. Согласно сведениям, собранным Базилевичем, он восемь лет прослужил в Петербурге в гвардии, а выйдя в отставку, поступил на гражданскую службу. С 1811 года и до самой смерти в 1823-м Юшневский-старший занимал пост начальника Дубоссарского таможенного округа в Молдавии<sup>8</sup>. Конкретными сведениями о его службе историки не располагают. Но судя по тем немалым доходам, которые она принесла, воплощением честности таможенник Петр Юшневский не был. В начале 1810-х годов ему удалось купить два имения на Украине — село Тимашевка (Киевская губерния, 180 крепостных душ) и деревню Хрустовую (Подольская губерния, 540 душ). Многие соседи по имениям были должны ему крупные суммы; естественно, что сам он с семьей жил совершенно безбедно<sup>9</sup>.

В семьях будущих соратников по заговору существовали совершенно разные культурные ценности, в том числе и образовательные.

Отец Юшневского хотел видеть своих детей чиновниками и поэтому дал чисто гражданское, гуманитарное образование не только старшему сыну Алексею, но и младшим Семену и Владимиру.

Алексей Юшневский учился в Благородном пансионе Московского университета. В 1800 году, выпустившись из пансио-

на с серебряной медалью, он поступил в университет, но, согласно собственным показаниям на следствии, «во второй половине 1801 года... вышел из оного» «по воле» родителей<sup>10</sup>. Очевидно, Петр Христофорович посчитал, что полученного сыном образования для чиновничьей карьеры вполне достаточно.

Образован Алексей Юшневский был действительно очень хорошо, прежде всего в области гуманитарной: «Обучался я в означенном заведении (Московском университете. — *О. К.*) языкам: российскому, французскому и немецкому, чистой математике, физике, истории, географии и статистике». Впоследствии товарищи по заговору уважали его за «глубокие познания» в науках и блестящее владение пером. Еще в пансионе в нем проснулась потребность читать и учиться — и не покидала его всю жизнь: «Для меня... жить — значит читать»; «взятый [из университета] преждевременно, старался я довершить неоконченное, занимавшись потом сам изучением предметов»<sup>11</sup>. В студенческие годы Юшневский увлекся музыкой, также ставшей его страстью на всю жизнь. Он хорошо играл на музыкальных инструментах, но больше любил «не затверживать, а читать музыкальные сочинения, как книги»<sup>12</sup>.

Еще одной страстью молодого Юшневского был театр. И эту страсть разделяли с ним друзья, знаменитый впоследствии поэт, переводчик Гомера Николай Гнедич и известный театральный деятель и мемуарист Степан Жихарев. В дневниковой записи Жихарева от 9 апреля 1807 года читаем: «Вечером сидели у меня Гнедич с Юшневским, говорили, разумеется, большей частью о трагедиях и об актерах... Гнедич уверяет, что с некоторых пор русский театр видимо совершенствуется... Юшневский, соглашаясь с Гнедичем, что театр наш точно становится лучше, не хотел, однако ж, согласиться с ним в том, чтоб это усовершенствование могло иметь такое сильное влияние на наше общество, чтобы, как он утверждает, люди большого света, приученные иностранным воспитанием смотреть с некоторым равнодушием на отечественные театральные произведения и русских актеров, вдруг стали предпочитать русский театр иностранному»<sup>13</sup>.

Вообще, судя по свидетельствам того же Жихарева, Юшневский был человек гуманный, покладистый, легкий в общении и не стремился первенствовать в своем кругу. За эти черты характера он был любим школьными товарищами.

Павел Пестель же становиться чиновником не собирался. С детства ему и его младшим братьям Борису, Владимиру и Александру была уготована военная карьера. Из четверых

только Борис не стал офицером — и то потому, что в детстве перенес тяжелую болезнь, приведшую к ампутации ноги.

В 1811 году Павел окончил Пажеский корпус — привилегированное военное учебное заведение тогдашней России. В отличие от Московского университета, корпус, готовивший будущую военную элиту России, был весьма популярен в кругах высшей петербургской знати: его воспитанники с детства совмещали учебу с придворной службой. За успехами юных пажей пристально следили император и члены царской фамилии. Выпускники, получавшие лучшее по тем временам образование, были, по мнению корпусного историка Д. М. Левшина, «для правительства желанными сотрудниками, услугами которых оно с удовольствием пользовалось на всех поприщах государственной деятельности»<sup>14</sup>.

Очень многие выпускники корпуса конца XVIII — начала XIX века добились высоких государственных постов. По своей подготовке, по своим взглядам, по своим чувствам и по своему характеру, писал Левшин, они вполне соответствовали тогдашнему понятию о государственном деятеле — «преданном престолу, умном, европейски образованном»<sup>15</sup>.

Корпус оканчивали не только будущие государственные деятели. «Визитной карточкой» его воспитанников было честолюбие, и очень многим из них впоследствии становилось тесно в узких рамках сословно-бюрократического общества. В 1826 году выяснилось, что около сорока человек из числа «членов бывших злоумышленных тайных обществ и лиц, прикосновенных к делу», внесенных в «Алфавит» Александра Боровкова, в разные годы учились в Пажеском корпусе; осуждены Верховным уголовным судом были пять его выпускников, еще семеро наказаны в административном порядке<sup>16</sup>.

Естественно, Пажеский корпус значительно повлиял на мировосприятие и биографию Павла Пестеля. Вряд ли в юности он увлекался театром; по крайней мере никаких сведений об этом не сохранилось. Зато в корпусе он заинтересовался «политическими науками». В 1826 году на допросе он показывал: «О политических науках не имел я ни малейшего понятия до самого того времени, когда стал готовиться ко вступлению в Пажеский корпус, в коем их знание требовалось для поступления в верхний класс. Я им тогда учился у профессора и академика Германа, преподававшего в то время сии науки в Пажеском корпусе»<sup>17</sup>.

Академик Карл Герман читал в корпусе курс «дипломатии и политики» — и Пестель был его лучшим учеником. В выпускной ведомости 1811 года за этот предмет он получил высшую, стобальную оценку<sup>18</sup>.

Видимо, именно в корпусе впервые проявилось и страсти Пестеля к специальным военным дисциплинам. Его выпускные баллы по этим предметам говорят сами за себя: «полевая фортификация» — 40 из сорока возможных, «долговременная фортификация» — 85 из восьмидесяти пяти, «иррегулярная фортификация» — 39 из сорока пяти, «атака и оборона крепостей» — 42 из сорока пяти, «артиллерия» — 76 из восьмидесяти, «черчение планов» — 28 из тридцати, «тактика» — 30 из сорока<sup>19</sup>. Первым Павел Пестель оказался и на внезапно устроенном императором экзамене «по фрунтовой службе».

Пестеля — впрочем, как всех учеников корпуса — хорошо знала высочайшая фамилия. Он провел в стенах Пажеского корпуса чуть больше года, но был выпущен из него первым по успехам, с занесением имени на мраморную доску. Именно в корпусе в нем впервые проснулось отмеченное многими позднейшими мемуаристами честолюбие, стремление первенствовать<sup>20</sup>.

После окончания корпуса Пестель получил чин прапорщика и был направлен в гвардейский Литовский полк. Вскоре подтвердилось, что военная служба была его призванием. Командир стрелкового взвода в Бородинской битве, адъютант генерала Витгенштейна, командир Вятского пехотного полка — везде он был на своем месте. Безусловно ощущая себя частью российской военной элиты, он много времени отдавал составлению проектов преобразования армии.

Первые годы «взрослой» жизни Пестеля и Юшневского тоже протекали по-разному.

Павел Пестель был выпущен из Пажеского корпуса в декабре 1811 года. Через полгода началась Отечественная война, и Литовский полк отправили на театр военных действий. «Первая глава биографии Пестеля — это блестящие страницы патриотического служения отечеству, отмеченные множеством наград», — пишет Е. Л. Рудницкая<sup>21</sup>, и с ней трудно не согласиться.

Боевое крещение состоялось 26 августа 1812 года в Бородинской битве, где Литовский полк прикрывал Семеновские флеши. В этой битве он был тяжело ранен: получил пулю в левую ногу «с раздроблением костей и повреждением сухих жил»<sup>22</sup>. «За отличную храбрость, показанную в сем сражении», Пестель был удостоен первой боевой награды — золотой шпаги.

Весной 1813 года Пестель, до конца так и не излечившись от раны и получив чин подпоручика, догнал действующую армию за границей. Вскоре он стал адъютантом генерала от кавалерии

графа Витгенштейна — главнокомандующего войсками антинаполеоновской коалиции и давнего светского приятеля отца.

Адъютант неоднократно исполнял конфиденциальные поручения шефа. В июне 1813 года в качестве секретного курьера он участвовал в переговорах между российским и австрийским императорами, в результате которых Австрия обязалась присоединиться к антифранцузской коалиции. Через два месяца после этого он стал поручиком<sup>23</sup>.

Он продолжал доставлять русскому командованию «верные сведения о движении неприятеля»<sup>24</sup>. В августе 1814 года его перевели из Литовского полка в более привилегированный Кавалергардский. Войну Пестель закончил кавалером двух русских и трех иностранных боевых орденов.

Алексей Юшневский в Отечественной войне не участвовал, хотя службу начал на десять лет раньше Пестеля. В ноябре 1801 года он «для познания дел» поступил «в канцелярию Подольского гражданского губернатора, где, по пограничным сношениям сей губернии, занимаем был иностранною перепискою, зная французский, немецкий и польский языки». В январе 1805-го его перевели на службу в Петербург, в Коллегию иностранных дел, и дали чин актуариуса<sup>25</sup>. В задачу актуариуса, чиновника самого низшего, XIV класса по Табели о рангах, входили составление и регистрация «актов» — казенных бумаг и ведение всякого рода переписки.

В 1808 году Юшневского откомандировали на юг. На Дунае тогда шла война: русская армия заняла вассальные Турции княжества Молдавию и Валахию. Юшневский был причислен к штату председательствовавшего в диванах (органах самоуправления дунайских княжеств) сенатора, тайного советника С. С. Кушника. В 1812 году, когда по Бухарестскому мирному договору Россия получила Бессарабию — восточную часть Молдавии, его перевели в штат бессарабского гражданского губернатора генерал-майора И. М. Гартинга.

В этот начальный период службы Юшневского выяснилось, что он — честный, ответственный и очень толковый чиновник. «Служение же свое, при отличных способностях и похвальном поведении, отправлял всегда и при всех начальниках с особенным усердием»; «примерным усердием к службе, ревностным и скорым исполнением всех возлагаемых на него поручений, похвальным поведением и вообще особенной по службе деятельностью и благородными качествами обрашал всегда внимание к себе начальства» — так характеризовали Юшневского его руководители, все как один отдавая «должную справедливость знаниям, способностям и бескорыстию» молодого чиновника<sup>26</sup>.

В 1814 году, когда по семейным обстоятельствам Юшневский вышел в отставку, он уже был «особой VII класса» — надворным советником, кавалером двух орденов<sup>27</sup>.

Как видим, начальные этапы службы Пестеля и Юшневского разительно отличаются: первый на поле боя проявляет храбрость, рискуя жизнью, выполняет разведывательные поручения — и получает чины, ордена и бесспорное право на уважение окружающих; второй тоже получает ордена и чины, но при этом ведет, пусть и успешно, сугубо бумажную работу. Обладатели чинов и орденов, заработавшие их не на войне, а в тиши канцелярий, особым уважением современников не пользовались.

Жизненный опыт, приобретенный Павлом Пестелем и Алексеем Юшневским в первые годы службы, тоже был разным. За годы войны Пестель должен был привыкнуть к методам разведывательной работы, к постоянному риску, научился принимать самостоятельные решения — и не бояться ответственности за них. Война воспитала в будущем декабристе незаурядное личное мужество, силу воли, настойчивость в достижении целей<sup>28</sup>. Вообще молодые дворяне, участники войны, привыкли, говоря словами Ю. М. Лотмана, «смотреть на себя как на действующих лиц истории»<sup>29</sup>.

Юшневский же, при всех положительных чертах его характера, не имел «силы воли, неиссякаемой настойчивости» Пестеля<sup>30</sup>, никогда не считал себя «действующим лицом истории». Зато он приобрел на службе те качества, которых не было в Пестеле: крайнюю осмотрительность и разборчивость в средствах, нежелание идти на неоправданный риск, умение разбираться в людях.

К середине 1810-х годов Пестель и Юшневский окончательно сложились как личности. Пестель, судя по всему, был человеком сложным и противоречивым — соответственно противоречивы и отзывы современников о нем. «Образ действий Пестеля возбуждал не любовь к отечеству, но страсти, с нею не совместимые», — утверждал в мемуарах Сергей Трубецкой. «Какова была его цель? — задавался вопросом знавший Пестеля журналист Николай Греч. — Сколько я могу судить, личная, своекорыстная. Он хотел произвести суматоху и, пользуясь ею, завладеть верховною властью в замышляемой сумасбродами республике... Достигнув верховной власти, Пестель... сделался бы жесточайшим деспотом». Напротив, другой декабрист, Сергей Волконский, на закате жизни создавая мемуары, «полагал своей обязанностью» «оспорить убеждение... что Павел Иванович Пестель действовал из видов тщеславия, искал и при удаче захвата власти, а не из чис-



тых видов общих — мнение, обидно памяти того, кто принес свою жизнь в жертву общему делу»<sup>31</sup>.

Противоречивость Пестеля отмечена и историками. Так, В. С. Парсамов считает, что в его личности «столкнулись две национально-культурные стихии: немецкий рационализм и русская широта души», между которыми не было «серединного примиряющего начала»<sup>32</sup>.

Отзывы же современников о Юшневском непротиворечивы и спокойны. Единомышленники запомнили его как «добродетельнейшего республиканца», «стойка во всём смысле слова», никогда не изменявшего «своих мнений, убеждений, призвания», «умом и сердцем» любившего отечество. «Ровность его характера была изумительная; всегда серьезный, он даже шутил не улыбаясь», — вспоминал его сибирский знакомый Н. А. Белоголовый<sup>33</sup>. Анализируя деятельность Юшневского-декабриста, Базилевич отмечал его «спокойный разум осторожного политика»<sup>34</sup>.

К участию в заговоре декабристов Пестель и Юшневский пришли разными путями.

В 1817 году Павел Пестель вступил в Союз спасения — первую тайную организацию декабристов. Впоследствии на допросе он дал подробные показания о том, каким образом формировались его «вольнодумческие и либеральные мысли». Желание добра отечеству, увлечение политическими науками в годы учебы в Пажеском корпусе, анализ политической ситуации в России и мире привели его к мысли, что «революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть весьма полезна». Вскоре он решил для себя, что наилучшей формой государственного устройства является республика<sup>35</sup>.

Но, вступая в тайное общество, 24-летний поручик еще не был сложившимся политическим мыслителем. Процитированные выше показания отражают, скорее всего, его мировоззрение середины 1820-х годов. Представляется, что причины, по которым Пестель стал заговорщиком, всё же иные. И причины эти были общими для Пестеля и большинства состоявших с ним в одном тайном обществе.

После восстановления мира в Европе и возвращения русской армии из Заграничных походов в среде офицеров-фронтовиков начался тяжелый кризис невостребованности. Молодые ветераны Отечественной войны, и Пестель в их числе, не знавшие «взрослой» довоенной жизни, свыкшиеся с мыслью, что от их воли, старания, мужества зависит судьба отечества, оказались неприспособленными к мирной жизни в сословном

обществе, где предел возможностей каждого был известен заранее.

Как и многие другие его ровесники, Пестель — умный, деятельный, начитанный, но всего лишь адъютант Витгенштейна — должен был стать одним из простых «винтиков» военной машины России. И к реальному политическому развитию страны он не должен был иметь никакого отношения.

Двадцатилетним офицерам послевоенной эпохи приходилось выбирать: смириться с положением статиста, забыть о вчерашней кипучей деятельности и выслуживать ордена и чины — или же, не смиряясь со своей судьбой, попытаться сломать сословные порядки в России и построить новую страну, где таким, как они, могло найтись достойное место. Собственно, именно этот путь и выбрал Пестель в 1817 году.

Причины же, приведшие в тайное общество Юшневского, были, скорее всего, иными, не характерными для заговорщиков 1820-х годов.

Юшневский вступил в заговор уже вполне взрослым, состоявшимся человеком: в 1819 году, когда он был принят в Союз благоденствия, ему исполнилось 33 года. Его, чуждого политических амбиций, привели в тайное общество гуманный характер и твердые политические убеждения, о которых свидетельствует прежде всего его служебная деятельность непосредственно перед вступлением в тайное общество.

В 1816 году Юшневский возвратился на службу в Коллегию иностранных дел. На этот раз он был зачислен в штат командующего 2-й армией генерала Беннигсена «по дипломатической части» и получил от него поручение «отправиться по делам службы в Бессарабию для собрания сведений о поселенных там болгаргах, изъявивших желание составить особое войско на правах донских казаков»<sup>36</sup>. Он вошел в состав правительственной комиссии по исследованию положения болгарских переселенцев в Бессарабии, а вскоре фактически возглавил ее.

Речь шла о нескольких тысячах болгарских семей, которые в 1806—1812 годах, спасаясь от войны, перешли из Болгарии через Молдавию и Валахию на русскую территорию. Согласно Бухарестскому мирному договору им было предоставлено право вернуться на родину. Правда, мало кто из переселенцев им воспользовался: Болгария входила в состав Османской империи, и переселенцы боялись мести турок.

Интересы переселенцев, обосновавшихся на частных землях, вошли в противоречие с интересами местных помещиков и властей, не только не помогавших им, но и всячески стремившихся распространить на них феодальную зависимость

(крепостного права в российском понимании в Бессарабии не было, однако крестьяне, живущие на помещичьей земле, обязаны были исполнять в пользу хозяина многочисленные повинности). Болгары в ответ бросали нажитое имущество и пытались уйти с частных земель на казенные, однако их стали возвращать силой. Переселенцы писали жалобы Беннигсену, министру внутренних дел и даже императору, прося позволения создать органы самоуправления и «особое войско на правах донских казаков». С ними нужно было срочно разбираться, иначе дело могло закончиться бунтом.

Вникнув в положение дел, Юшневский решительно принял сторону переселенцев. Он писал Беннигсену рапорты и записки о том, что насильственное возвращение болгар на частные земли незаконно, как незаконны и попытки помещиков превратить их в крепостных: «Таковые претензии помещиков не могли бы быть и приняты, ибо переселенцы перешли из-за Дуная не по их приглашению и водворены без их иждивения»<sup>37</sup>.

Занимаясь проблемами переселенцев, Юшневский одновременно выполнял секретную дипломатическую миссию. В 1826 году на допросе он показал, что «был командирован в Бессарабскую область для сношения с поселившимся там во время последней с турками войны болгарским народом, изъявившим готовность перевести из Оттоманских владений остальных своих единоземцев, с тем чтобы предоставлены им были особые права и преимущества»<sup>38</sup>. Речь, таким образом, шла о переселении большей части болгар в Россию. Проект этот был для России очень выгодным: Бессарабия была плодородным, но малонаселенным краем.

Естественно, помещики и местные власти были крайне недовольны деятельностью Юшневского, с помощью угроз и «лживых внушений» переселенцам всячески тормозили работу его комиссии. Непосредственным начальникам надворного советника направлялись рапорты и прошения об удалении его из комиссии как «не заслуживающего никакого уважения»<sup>39</sup>.

Юшневскому приходилось трудно. В письме брату Семёну в сентябре 1817 года он пожаловался: «Я отправился в Бессарабию, как тебе известно, месяца на два, а живу до сих пор против воли, претерпевая все возможные неприятности, и вместо всех наград, каковыми льстил себя в начале, ограничиваюсь одним только желанием освободиться из сей обетованной земли; но и в сем не имею успеха». Но отступить не позволяли убеждения: «Я не знаю, как зовут те правила, которые я тебе внушить старался; ежели их называют философию XVIII века, тогда должно будет заключить, что имя сие дается

правилам честности, бескорыстия, любви к своим собратиям, привязанности к тому обществу, в котором мы родились<sup>40</sup>.

Юшневскому не удалось осуществить проект переселения болгар в Россию, была оставлена без внимания и их просьба об организации «особого войска». Но переселенцам было позволено перейти на казенные земли и завести у себя подобие самоуправления. «Господин Юшневский столь многотрудное дело исполнил с совершенным успехом, оказав при сем случае опыт благоразумия, деятельности и ревностного к службе усердия», — охарактеризовал итог усилий чиновника полномочный наместник Бессарабской области А. Н. Бахметев<sup>41</sup>.

После окончания своей миссии Юшневский выполнял при Бахметеве обязанности начальника канцелярии Комитета для образования разных частей управления. В июле 1819 года он был произведен в следующий чин коллежского советника<sup>42</sup>.

Очень многие из «людей 1820-х годов» — и не только декабристы — считали крепостное право позором и тормозом развития страны. Но большинство ограничивалось разговорами о вреде «крепостного состояния» в разных его проявлениях и о желательности его ограничения или отмены; на решительные действия мало кто отваживался. Юшневский же лично спас от феодальной зависимости несколько тысяч человек — и потому его вступление в заговор представляется вполне обоснованным и логичным.

Пестель и Юшневский познакомились, скорее всего, в украинском городе Тульчине — месте дислокации штаба 2-й южной армии. Пестель, уже штабс-ротмистр, появился там в мае 1818 года, сопровождая назначенного командующим армией Витгенштейна. Юшневский, закончив свое «поручение» в Бессарабии, приехал в Тульчин где-то в середине 1819 года.

Пестель к тому времени уже заговорщик со стажем, одна из центральных фигур вполне оформившегося тайного союза, претендующая на безусловное лидерство. К тому же он имеет четкие представления о том, как должен быть организован заговор, если целью его действительно является изменение государственного строя России.

За плечами Пестеля — написание устава («статута») Союза спасения. Устав этот был принят, но впоследствии заговорщики уничтожили его, а потому судить о его содержании можно лишь по дошедшим до нас косвенным свидетельствам. «Для руководства этому новому обществу Пестель сочинил устав на началах двойственной нравственности, из которых одна была для посвященных в истинные цели общества, а другая для

непосвященных... Нельзя читать без невольного отвращения попыток Пестеля устроить “заговор в заговоре” против своих товарищей-декабристов, с тем, чтобы самому воспользоваться плодами замышляемого переворота», — утверждал историк Д. А. Кропотков в исследовании, написанном в 1870-х годах на основе мемуаров и устных воспоминаний участников Союза спасения<sup>43</sup>.

Следует признать, что, несмотря на эмоциональность этой оценки, она во многом верна. Судя по последующим действиям Пестеля, тайное общество действительно представлялось ему «заговором в заговоре», устроенным на началах жесткой дисциплины и конспирации. Скорее всего, уже в момент принятия устава он предложил себя в руководители подобной структуры.

Деятельность Пестеля в тайном обществе протекала в двух сферах. С одной стороны — «Русская Правда», всевозможные планы вооруженных выступлений, наконец, идея царубийства. Всё это хорошо известно из документов следствия, в том числе из собственноручных показаний Пестеля, а также из многочисленных мемуаров. С другой стороны, втайне даже от ближайших соратников он реально занимался подготовкой военного переворота: добывал деньги для «общего дела», пытался добиться лояльности к себе своих непосредственных начальников. Об этой его деятельности и о людях, которые помогали ему, известно крайне мало.

Можно твердо сказать лишь одно: все годы существования декабристских организаций «образ действий» Пестеля вызывал недоверие со стороны товарищей. Его боялись. Впоследствии именно с ним было связано большинство самых серьезных споров в среде декабристов, приводивших чаще всего к расколу и реформированию структуры тайных обществ.

В начале 1817 года, буквально через несколько дней после принятия устава, Пестель был вынужден покинуть Петербург. Витгенштейн получил назначение командовать расквартированным в Прибалтике 1-м пехотным корпусом со штабом в Митаве. Естественно, что с собой он увозил своего любимого адъютанта. Практически сразу же после отъезда Пестеля Союз спасения распался. Идея создания боевой, сплоченной организации с единым лидером провалилась.

На его руинах возникла вторая декабристская организация, Союз благоденствия. В создании ее уставного документа, знаменитой «Зеленой книги», Пестель участия не принимал. Идея второго союза состояла, как известно, в постепенной подготовке общественного мнения к принятию новых зако-

нов. Союз благоденствия представлял собой широкую, действовавшую почти открыто общественную организацию.

Единогo лидера у нее не было. Руководил ею Коренной совет (использовались также названия Коренная управа, Коренная дума), состоявший из учредителей во главе с председателем, переизбираемым, согласно «Зеленой книге», ежемесячно. Блюститель (секретарь) общества менялся раз в год.

Эти новые формы деятельности тайного союза Пестель признал далеко не сразу и, даже формально согласившись с «Зеленой книгой», в практической деятельности по-прежнему руководствовался собственными представлениями о способах действия тайной организации.

К активной деятельности в тайном обществе он вернулся в 1818 году, когда вслед за Витгенштейном переехал из Митавы в Тульчин. Именно там он создал Тульчинскую управу Союза благоденствия. «Первый, водворивший преступный союз сей во 2-ой армии в начале 1818-го года, был Павел Пестель в год вступления графа Витгенштейна в начальствование 2-ю армиею и у которого Пестель был адъютантом», — утверждал на следствии Николай Комаров, до 1821 года состоявший членом этой управы<sup>44</sup>.

Через год сопредседателем управы стал капитан Гвардейского генерального штаба Иван Бурцов, адъютант начальника штаба 2-й армии Павла Киселева. «Я прежде полковника Бурцова (Бурцов стал полковником в 1822 году. — *О. К.*) находился в Тульчине и потому прежде его там действовал. По прибытии же Бурцова действовали мы вместе», — писал Пестель в показаниях<sup>45</sup>.

«В 1819 году узнал я от полковника Бурцова о существовании тайного общества и им был принят в члены оногo», — показывал на следствии Юшневский<sup>46</sup>. Точная дата его принятия в заговор неизвестна, как и то, происходило ли оно в присутствии Пестеля.

В конце 1819 года, сопровождая Витгенштейна, Пестель приехал в Петербург. И практически сразу же начались известные «петербургские совещания» 1820 года. Пестель настоял на гласном обсуждении вопросов о будущем устройстве государства и судьбе монарха: впервые предложил после победы заговора установить в России республику, а также принять цареубийство как элемент революционной тактики. Многие из собравшихся идею республики приняли, однако голосовать за цареубийство отказались. Попытка «привить» тайному обществу радикальную программу, добиться превращения его в серьезную конспиративную организацию закончилась провалом. Союз благоденствия, подобно Союзу спасения, разва-

лился, и всё закончилось в 1821 году его роспуском на съезде в Москве<sup>47</sup>.

Пестель на этот съезд не поехал. По свидетельству декабриста Ивана Якушкина, Бурцов, боясь, «что если Пестель поедет в Москву, то он своими резкими мнениями и своим упорством испортит там всё дело», отговорил его: «...так как два депутата их уже будут на этом съезде, то его присутствие там не необходимо, и что просившись в отпуск в Москву, где все знают, что у него нет ни родных и никакого особенного дела, он может навлечь на себя подозрение тульчинского начальства, а может быть, и московской полиции»<sup>48</sup>.

Решение съезда на самом деле было фиктивным: полиция внимательно следила за деятельностью заговорщиков, и надо было ввести ее в заблуждение. Кроме того, необходимо было отделаться как от многочисленных «попутчиков», так и от Пестеля — радикального сторонника республики и царубийства.

Известие о роспуске организации привезли в Тульчин участвовавшие в работе съезда капитаны Бурцов и Комаров. Пестель не подчинился его решениям, и делегаты были вынуждены признать свое поражение.

Собственно, именно в этот момент настал звездный час Юшневского-заговорщика. Он решительно поддержал отказ Пестеля подчиниться постановлению съезда; в начале 1821 года, когда в Тульчине узнали о ликвидации Союза благоденствия, он проявил едва ли не большую активность, чем сам Пестель. Очевидно, что расстаться с заговором означало для него изменить своим выстраданным идеям, а пойти на это он никак не мог.

Еще до того как Тульчинская управа принялась обсуждать постановление съезда, Юшневский предложил Пестелю воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить ряды заговорщиков. Согласно показанию Пестеля, Юшневский собирался «представить» членам организации картину «опасностей и трудностей предприятия», «дабы испытать членов и удалить всех слабосердных». «Лучше их теперь от Союза при сем удобном случае удалить, нежели потом с ними возиться», — в этом Юшневский был уверен<sup>49</sup>.

Естественно, Пестель этот план поддержал. В марте 1821 года, собрав всех находившихся в Тульчине членов Союза благоденствия, он спросил: «...ужели собравшиеся в Москве члены имели право разрушать общество и согласны ли мы его продолжить?» — и услышал на второй вопрос единогласный утвердительный ответ. Затем Пестель, «объясняя подробно, что общество рушилось от несогласия в целях и средствах, поло-

жил необходимым определить оные и вследствие сего сказал, что для введения нового порядка вещей нужно необходимо» убийство императора Александра I, с чем тульчинские заговорщики согласились. (Во всяком случае, таким виделось начало этого исторического заседания князю А. П. Барятинскому, впоследствии одному из главных действующих лиц заговора на юге<sup>50</sup>.)

Слово взял Юшневский. По словам участника заседания А. А. Крюкова, он произнес «речь об опасности продолжения общества». Вполне в духе предварительной договоренности с Пестелем Юшневский говорил об «опасности такого соединения», советовал «не увлекаться мгновенным порывом самолюбия, но испытать внимательнее свои к тому силы и способности», добавив, что и сам желает взять время «на размышление»<sup>51</sup>.

Анализируя дошедшие до нас свидетельства об этой речи, М. К. Азадовский назвал ее «со докладом» к «докладу» Пестеля<sup>52</sup>. Это выступление оказало на собравшихся сильное впечатление. Юшневский к этому времени уже почти полтора года исполнял должность генерал-интенданта 2-й армии, его авторитет в глазах присутствующих был очень велик. Обнаружить перед ним трусость не желал никто, поэтому все участники собрания, кроме ушедших в самом начале Бурцова и Комарова, «не обинюясь, возгласили, что без дальнейших размышлений желают сохранить прежний состав»<sup>53</sup>.

Так возникло Южное общество, которое и Пестелю, и Юшневскому справедливо представлялось не вновь построенной организацией, а продолжением Союза благоденствия. И вполне логичным в контексте предшествующих событий оказывается избрание Пестеля и Юшневского директорами — руководителями Южного общества. Обоим членам Директории была вручена «полная власть над членами»<sup>54</sup>.

С 1821 года биографии Пестеля и Юшневского оказываются теснейшим образом связаны. Статус обоих членов Директории был равным, равными были и их полномочия. Состояли же они «в надзоре за исполнением установленных Обществом правил, в сохранении связи между членами и Управами, в назначении председателей по Управам, в принятии членов в Бояре и в присоединении к Директории новых членов или председателей». При этом отношения директоров строились на взаимном доверии. Согласно показаниям Пестеля, они с Юшневским договорились «действовать в случаях, не терпящих отлагательства, именем Директории без предварительного между собою сношения, в полной уверенности, что другой член подтвердит его действие»<sup>55</sup>.



Все годы существования заговора Пестель и Юшневский были единомышленниками и верными соратниками. В январе 1822 года на первом съезде южных руководителей в Киеве Юшневский, поддерживая Пестеля, еще раз «изъявил согласие» на «продолжение общества». Генерал-интендант оказался полностью в курсе переговоров о совместных действиях Южного общества с Польским патриотическим обществом — в январе 1824 года от лица Директории вынес благодарность М. П. Бестужеву-Рюмину за успешные переговоры с поляками. Когда же эти переговоры взялся вести сам Пестель, то действовал «не иначе, как по предварительному совещанию с Юшневским и с его согласия»<sup>56</sup>.

В отсутствие Пестеля Юшневский проводил заседания руководителей Южного общества. К нему как к руководителю общества адресовались заговорщики, рассказывая о своих «успехах». Согласно справке, составленной по итогам следствия над Юшневским, он «разделял все злодейские замыслы общества, знал о всех преступных его сношениях, действиях и связях и как начальник сего общества одобрял оные»<sup>57</sup>.

Юшневский помогал Пестелю в работе над «Русской Правдой», полностью поддерживал идеи о республике и военной диктатуре, был активным сторонником цареубийства<sup>58</sup>. Не вдаваясь в вопрос об основных положениях программного документа Южного общества<sup>59</sup>, заметим только, что он вполне отвечал политическим воззрениям Юшневского — отмена крепостного права декларировалась в нем в качестве неотложной меры.

Правда, Юшневский не был теоретиком заговора и не стремился, в отличие от Пестеля, в случае победы стать военным диктатором России. Сам Пестель видел его в новом правительстве на должности министра финансов<sup>60</sup>. Многим декабристам, как на юге, так и в Петербурге, он вообще казался персонажем чисто декоративным, важным Пестелю лишь постольку, поскольку пользовался во 2-й армии уважением как генерал-интендант.

Собственно, в тайном обществе Юшневский действительно играл вторую роль; ни о каких его самостоятельных, не согласованных с Пестелем инициативах историкам неизвестно. Более того, за всё время пребывания в тайном обществе он принял в заговор лишь одного нового члена — служившего в тульчинском штабе армейского врача Фердинанда Вольфа. Даже младший брат генерал-интенданта Семен, чиновник канцелярии Витгенштейна, был принят в тайное общество Пестелем — без ведома родственника. Согласно показаниям самого Семена Юшневского, Алексей, узнав о его вступлении

в заговор, не пытался противостоять Пестелю, «не удержал» брата «от необдуманного и пагубного шага»<sup>61</sup>. Вообще до конца 1825 года Юшневский ни разу не позволил себе публично не согласиться с какой-либо инициативой Пестеля — по крайней мере сведений об этом не сохранилось.

Однако, анализируя документы, следует признать, что в деле реальной подготовки революции Юшневский был фигурой ключевой и знаковой. Очевидно, именно этим он и был интересен Пестелю. Без Юшневого все планы вооруженного выступления могли оказаться пустыми разговорами.

Давно известно, что декабристы планировали провести в России «военную революцию». Разрабатывая ее план, Пестель, безусловно, учитывал опыт дворцовых переворотов XVIII века: она должна была начаться с царевубийства. «Приступая к революции, — показывал Пестель на следствии, — надлежало произвести оную в Петербурге яко средоточии всех властей и правлений»<sup>62</sup>.

Правда, Пестель понимал, что революция и дворцовый переворот — вещи разные: ему с единомышленниками предстояло ломать государственный строй, тогда как после дворцовых переворотов слома старой системы не происходило — просто на смену убитому монарху приходил его более или менее законный наследник. Существовала вполне реальная опасность, что наследник престола может двинуть на революционную столицу верные властям войска и задушить новорожденную российскую свободу. Отсюда уверенность Пестеля в необходимости убийства не только царя, но и всей «августейшей фамилии». Отсюда и идея поддержки революции силами 2-й армии. «Наше дело в армии и губерниях было бы признание, поддержание и содействие Петербургу», — показывал он на следствии<sup>63</sup>. «Поддержание и содействие Петербургу» выражалось прежде всего в организации революционного похода сил 2-й армии на столицу.

Этот поход был важен Пестелю не только как тактический элемент. Представляется, что он был лично заинтересован в подобном «революционном действии». Пестель служил не в Петербурге, а в Тульчине, и в случае начала — без его участия — революции в столице его шансы возглавить будущее революционное правительство были минимальны. Между тем он, скорее всего, видел в этом качестве именно себя.

Историк С. Н. Чернов, суммируя большое количество следственных материалов, восстановил «концепцию переворота», замышлявшегося на юге. Согласно исследователю, пе-

реворот должен был осуществиться вне зависимости от того, состояли ли в заговоре командиры отдельных воинских частей. Армейское руководство в лице командующего армией и начальника штаба должно было или поддержать революцию, или подвергнуться аресту и уйти с политической сцены. «Головка армий» переходила, таким образом, в руки Пестеля и его единомышленников. «Из нее в недра армии начальникам крупных частей идут приказы. Их исполнение обеспечивается не только воинскою дисциплиною, но и военною силою тех частей, начальники которых примкнули к заговору».

Чернов справедливо утверждал, что переворот виделся Пестелю прежде всего как «война» — «с диктаторскою властью полководца, которому целиком подчиняются все военные и гражданские власти до момента полного упрочения победы». Правда, исследователь довольно скептически оценивал этот план, называя его «военно-бюрократическим» и «нежизненным»<sup>64</sup>.

Конечно, если исходить только из показаний декабристов на следствии, скепсис Чернова вполне обоснован. И Пестель, и другие главные действующие лица заговора на следствии достаточно подробно повествовали о тактике «военной революции». Но не существует ни одного показания о том, как конкретно декабристы собирались брать власть в России.

В самом деле, откуда у Пестеля уверенность в том, что он способен организовать поход 2-й армии на Петербург? Полковники армиями не командуют и приказы о начале движения не отдают. Для того чтобы в нужный момент добиться одномоментного выступления всех подразделений, бесполезно агитировать солдат и офицеров «за революцию». Вся армия в любом случае не пойдет за революционным «диктатором». Она пойдет только за легитимным командующим. При этом, коль скоро законность самого похода неминуемо вызовет сомнения, этот командующий должен быть хорошо известен и лично популярен среди офицеров и солдат. Пестель такой известностью и популярностью явно не обладал.

Кроме того, для начала большого похода одного приказа о выступлении мало, необходима кропотливая предварительная работа по подготовке дорог, складов с продовольствием, мест промежуточных остановок для отдыха. Всё это невозможно организовать без содействия местных военных и гражданских властей. Но они точно так же, как и солдаты, могли подчиниться только легитимным приказам, отдаваемым теми, кто имел на это право.

Всё это — элементарные законы движения армии, которые Пестель, конечно, не мог не понимать. Руководитель загово-

ра всю взрослую жизнь прослужил в армии, прошел несколько военных кампаний, в 28 лет стал полковником и командиром полка. «Он на всё годится: дай ему командовать армией или сделай каким хочешь министром, он везде будет на своем месте», — характеризовал Пестеля генерал Витгенштейн<sup>65</sup>.

Представляется, что ответ на вопрос о конкретике плана военной революции можно найти, только анализируя служебную деятельность руководителей Южного общества, прежде всего Пестеля и Юшневского. Оба не случайно оказались во главе военного заговора. И Пестель, и Юшневский были весьма важными фигурами в штабе 2-й армии.

Следует отметить, что размышления о связи служебной и конспиративной деятельности Пестеля и Юшневского неминуемо будут иметь характер исторической реконструкции. Документы, которые прямо подтверждали бы эту связь, на данный момент неизвестны. Вряд ли такого рода документы вообще когда-нибудь найдутся: даже если они и существовали, заговорщики наверняка уничтожили их перед арестом.

На сегодняшний день можно говорить только о двух независимых группах источников: одна характеризует служебную деятельность заговорщиков, вторая — конспиративную. Задача — установить связи между этими двумя группами и попытаться найти в действиях Пестеля и Юшневского логику, продиктованную их стремлением произвести реальную революцию в России.

Назначая в мае 1818 года командующим 2-й армией Витгенштейна<sup>66</sup>, император, безусловно, учитывал, что тот был одним из самых прославленных русских полководцев. В 1812 году Отдельный корпус под его командованием остановил наступление наполеоновских частей на Северную столицу России, за что сам командир корпуса получил почетное прозвище «спаситель Петрополя».

Современники утверждали: «Он защитил Псков и Петербург, неизгладим подвиг его в памяти потомства, отसेле всякий русский произносить будет имя его с благодарностию»<sup>67</sup>. Не только в России, но и в Европе генерал Витгенштейн пользовался «огромной военной репутацией»<sup>68</sup>. Репутации этой не смогли повредить даже последующие служебные неудачи генерала: назначенный после смерти Кутузова главнокомандующим союзными русскими и прусскими войсками, он потерял эту должность после поражений под Лютценом и Баутценом.

Конечно же, император надеялся, что Витгенштейну, благодаря его репутации и опыту, удастся справиться с весьма не-

простыми проблемами, одолевавшими армию в послевоенные годы.

«Витгенштейновы дружины» были расквартированы на юго-западе России: в Киевской, Подольской, Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерниях, а также в Бессарабской области. Они состояли из двух пехотных корпусов (шестнадцати пехотных и восьми егерских полков в составе четырех пехотных дивизий), девяти казачьих полков, драгунской дивизии, нескольких артиллерийских бригад и пионерных (инженерных) батальонов. Это войско было ничтожно малым по сравнению с расквартированной в западных губерниях 1-й армией, в состав которой входили пять пехотных корпусов, кавалерия и артиллерия. Естественно, что и сам император, и высшее военное командование сосредоточивали свое внимание прежде всего на 1-й армии. Историк А. П. Заблоцкий-Десятовский утверждает:

«Разбросанная на громадном пространстве на широких квартирах, большую частью по небольшим уездным городам, местечкам, селам и деревням, армия эта, представлявшая в совокупности значительную цифру около 60 т[ысяч] человек (по другим оценкам — 100 тысяч. — *О. К.*), как бы расплывалась в густом населении Киевской и Подольской губерний, теряясь в обширных степях Новороссийского края.

Таким образом, самое расквартирование обуславливало трудность, почти невозможность фактического контроля над действием не только ротных и батальонных, но даже и полковых командиров»<sup>69</sup>.

2-я армия прикрывала протяженную границу с находившимися под протекторатом Турции дунайскими княжествами Молдавией и Валахией. Отсюда — целый ворох пограничных проблем: контрабандные перевозки товаров, незаконные переходы границы, приграничный шпионаж. Когда же в 1821 году вспыхнуло антитурецкое восстание молдавских и валахских греков, война с турками очень многим современникам представлялась весьма близкой. Граница в любой момент могла стать линией фронта, а 2-я армия — ударной силой русского вторжения на Балканы. Существовала и опасность другого рода: «турецкие банды могли прорваться на русскую территорию»<sup>70</sup>.

Кроме того, во 2-й армии существовали и общеармейские проблемы: снабжение войск продовольствием, кадровая политика, военная подготовка, армейская дисциплина. Особой проблемой была коррупция в среде высшего армейского командования. Общее армейское неблагополучие ярче всего проявлялось в самой «денежной» отрасли армейского управления — в интендантстве.

Должность генерал-интенданта была в армии одной из ключевых. Генерал-интендант напрямую подчинялся командующему армией, занимал следующее после командующего место в армейской иерархии, деля его с начальником армейского штаба. Ему был положен большой штат сотрудников: собственная канцелярия и полевая провиантская комиссия во главе с армейским генерал-провиантмейстером, которой подчинялись корпусные комиссионерства, отвечавшие за обеспечение продовольствием отдельных корпусов.

Генерал-интендант имел доступ к большим деньгам — именно он составлял армейский бюджет. Согласно принятому в 1812 году «Учреждению для управления большой действующей армией», обязанности генерал-интенданта состояли также в «исправном и достаточном продовольствии армии во всех ее положениях съестными припасами, жалованьем, одеждою, амунициею, аптечными веществами, лошадьми и подводами»<sup>71</sup>.

В 1820-х годах снабжение армии хлебом и фуражом осуществлялось централизованно, на бюджетные деньги. Армия имела постоянные «магазины» — склады, из которых близлежащие военные части получали продовольствие. Заполнялись же «магазины» прежде всего с помощью открытых торгов, к участию в которых приглашались все желающие. Заготовка хлеба и фуража, заполнение «магазинов», организация торгов, заключение контрактов («кондиций») с поставщиками по выгодным для казны ценам, контроль за исправностью поставок — всё это входило в зону ответственности генерал-интенданта.

Он лично отвечал и за состояние дорог, по которым могла двигаться армия, был обязан устраивать вдоль них продовольственные пункты («эшелоны магазинов и свалок продовольствия»)<sup>72</sup>. Его значение во много раз возрастало в случае военного похода. Согласно тому же «Учреждению...», при объявлении военного положения генерал-интендант автоматически становился генерал-губернатором всех губерний, в которых были расквартированы армейские части<sup>73</sup>.

Между тем 2-й армии с генерал-интендантами явно не везло. С 1817 по 1819 год на этой должности сменилось четыре человека. 18 января 1817 года высочайшим указом был снят с поста «исправляющий должность» армейского генерал-интенданта чиновник V класса Порогский — «за разные злоупотребления».

Собственно, Порогский пострадал из-за своего подчиненного, «комиссионера 12 класса» Лукьянова: тот был разжалован в рядовые «за ложное донесение начальству о состоянии

в наличности провианта, порученного ему к заготовлению, о ценах производимой им покупки оного, растрату казенной суммы, фальшивое записывание оной по книгам в расход и прочие в делах изъясненные поступки». Лукьянов должен был возместить ущерб, но оказался финансово несостоятельным, и поэтому растроченные им казенные деньги — 6922 рубля 20  $\frac{1}{2}$  копейки — было признано необходимым взыскать с Порогского. Тем же указом генерал-интендантом был назначен статский советник Степан Жуковский<sup>74</sup>, выбранный на эту должность лично императором как «способнейший чиновник»<sup>75</sup>.

Жуковский попытался наладить интендантскую часть 2-й армии, но столкнулся с практической непреодолимой преградой в лице командующего армией Леонтия Леонтьевича Беннигсена и его начальника штаба генерал-лейтенанта Александра Яковлевича Рудзевича. В мае 1817 года он писал начальнику Главного штаба П. М. Волконскому: «Я пагубен здесь и вреден для службы; вреден потому, что образ отношений ко мне начальства имеет влияние на моих подчиненных и на весь ход дел интендантских». «Когда управление армии в болезненном состоянии подобно телу, можно ли исцелить, не истребив болезни? Главнокомандующий слабый может ли иметь повиновение, душу порядка? Начальник штаба, имеющий связь родства с подрядчиком, может ли быть равнодушен к делам подрядческим? Генерал-интендант малочинен и беден, может ли иметь приличное званью его уважение и содержание? Корпусные командиры и проч., под слабым начальством, могут ли быть в границах порядка? Интендантство без шефа и верховного правительства может ли быть верным блюстителем правительственного интереса?» — сетовал он в письме Волконскому. Жуковский утверждал, что главный коррупционер во 2-й армии — генерал Рудзевич, действительно состоявший в родстве с одним из армейских поставщиков<sup>76</sup>.

Чтобы искоренить коррупцию в армии, Жуковский потребовал особых полномочий и независимости от командующего, но не получил их. Беннигсен, узнав о его письме Волконскому, просил императора прислать в армию независимого ревизора для рассмотрения состояния армейского интендантства. В армию был прислан полковник Павел Киселев, имевший «особую доверенность» со стороны государя, впоследствии ставший начальником армейского штаба вместо Рудзевича.

Киселев, проводя ревизию, обнаружил, что Жуковский в своих обвинениях во многом прав<sup>77</sup>. Однако и сам генерал-интендант оказался не без греха — занимался махинациями с поставками армейского продовольствия.

Как правило, основными поставщиками провианта для армии были местные евреи — купцы 1-й гильдии. Они жестко конкурировали между собой за право поставки и внимательно следили за тем, чтобы конкуренция была честной, чтобы армейское начальство не отдавало кому-то предпочтение по «личным мотивам». Поскольку речь шла о больших деньгах, каждый из них, в случае малейшей личной «обиды», был готов подать донос на генерал-интенданта.

В начале 1818 года один из армейских поставщиков, «заславский купец 1-й гильдии» Гилькович написал донос на Жуковского, обвинив его в предоставлении купцу 1-й гильдии Гальперсону исключительного права на поставку продовольствия для воинских частей, отчего казна потерпела значительные убытки. Обвинения подтвердились: согласно заключению аудиторiatского департамента, Жуковский «лучше предпочел поставщика Гальперсона и выгоду его, нежели пользу казны, и в сем обоюдном желании поставку провианта на весь 1818 год, простирающуюся до 4-х миллионов рублей, отдал Гальперсону по высоким ценам, без заключения контракта и соблюдения тех правил, какие на сей предмет законом установлены». Выяснилось, что ущерб казне составил 121 508 рублей 87½ копейки.

В ходе расследования выяснилось, что в истории с Жуковским оказался замешан командующий Беннигсен: именно он утвердил «кондиции», заключенные с Гальперсоном, получив от того взятку в 17 тысяч рублей<sup>78</sup>. Беннигсен был вынужден уйти в отставку «по состоянию здоровья», а его место занял Витгенштейн.

Приняв армию, Витгенштейн уволил Жуковского — но вскоре оказалось, что этим дело не поправить. Сменивший Жуковского генерал-майор Карл Густавович Стааль вступил в должность в ноябре 1818 года, а в декабре следующего года тоже был смещен и тоже с большим скандалом<sup>79</sup>. Его отставка была тесно связана с «делом Жуковского». Расследовав по поручению нового командующего деятельность Жуковского и готовясь сменить его в должности, Стааль подал Витгенштейну рапорт: «...кондиции с Гальперсоном заключены вопреки всем законным постановлениям», — и на этом основании предлагал «решительно уничтожить» эти «кондиции». Стааль утверждал, что, обличая Жуковского, он «исполняет долг не только предназначенному ему новому званию, но и по долгу присяги государю своему и самой чести»<sup>80</sup>. Однако в феврале 1819 года он повторил ошибку Жуковского — написал «партикулярное» письмо П. М. Волконскому, в котором утверждал, что его предшественник ни в чем не виноват — он просто пал



жертвой клеветы и интриг. Повторяя обвинения Жуковского, он назвал главным коррупционером и взяточником Рудзевича.

Документы свидетельствуют: этот генерал действительно был одним из самых опытных армейских интриганов. Он сохранил пост начальника штаба армии и в первые месяцы командования Витгенштейна. Более того, когда Витгенштейн принял командование армией, Рудзевич сумел стать близким ему человеком, всячески помогал войти в курс дела. Правда, о своей роли в коррупции при Беннигсене Рудзевич предпочитал не распространяться.

Стааль, как следует из письма Волконскому, составил обвиняющий Жуковского рапорт «по наговорам начальника главного штаба армии, который, не давая ему случая видетсья и объяснитсья с Жуковским, поставил его, Стааля, в такое уверение, что он решился подать оный». Более того, он утверждал, что, «познакомившись лично с бывшим генерал-интендантом Жуковским», понял, что тот — «рачительный и деятельный чиновник», тогда как Рудзевича характеризовал в письме как человека «властолюбивого», имевшего к тому же «беспокойный нрав». Содержались в письме нападки и на самого Витгенштейна, якобы, как и прежний командующий, попавшего в зависимость от Рудзевича. «Пришлите сюда генерал-интендантом человека ничтожного и прикажите следовать слепо приказаниям начальника, и мир восстановите, и его будут хвалить», — советовал Стааль и просил у Волконского «особенной доверенности», чтобы до конца изблечить всех мздоимцев в армейском штабе<sup>81</sup>.

Волконский переслал письмо Стааля императору Александру I. Император же, в полном соответствии с крылатой фразой «разделяй и властвуй», отправил его обратно во 2-ю армию, к Витгенштейну, с «именным повелением» разобраться во всём случившемся.

Конечно, реакция Витгенштейна была весьма бурной и однозначно негативной по отношению к Стаалю. Командующий доверял Рудзевичу и утверждал в рапорте на высочайшее имя, что «сей генерал во всех отношениях отличный и вашему величеству с той стороны известен», Жуковского считал казнокрадом, а на Стааля негодовал за его «партикулярное и секретное письмо, посланное мимо начальства»<sup>82</sup>.

Стало ясно, что в армии снова грядут большие перемены. И они не заставили себя ждать. Высочайшим приказом генерал Рудзевич был снят с должности. Правда, его не отправили в отставку и даже «повысили» — назначили командиром 6-го пехотного корпуса, входившего в состав 2-й армии. Его

прямое участие в растратах доказать не удалось, но всё равно он навсегда утратил доверие императора. На его место был назначен не любимый Витгенштейном Киселев — бывший ревизор, произведенный в генерал-майоры. Правда, своего места лишился и Стааль.

Естественно, что командующему, которому пришлось решать все эти проблемы, были необходимы преданные сотрудники, не навязанные, подобно Киселеву, «сверху», а выбранные им самим. Конечно же, сотрудники эти не должны были быть связаны со старой администрацией.

В 1818 году, практически сразу же по прибытии Витгенштейна к армии, огромное влияние в штабе приобрел штабс-ротмистр Павел Пестель — начальник канцелярии командующего. Даже в Петербург просочились слухи, что Пестель «всё из него (Витгенштейна. — *О. К.*) делает» и что без участия «графского адъютанта» в штабе не принимается ни одно серьезное решение<sup>83</sup>.

Влияние Пестеля на Витгенштейна могло сравниться лишь с влиянием статского советника Алексея Юшневского, в декабре 1819 года сменившего на должности генерал-интенданта потерявшего доверие Стааля.

Все последующие годы службы Юшневский находился под неизменным покровительством и заступничеством Витгенштейна. Командующий знал Юшневского не только как делового чиновника, но и как сына своего близкого друга. В годы службы во 2-й армии генерал-интенданта постоянно получал награды и повышения «в воздаяние отлично-ревностной и усердной службы». И на одном из первых допросов в 1826 году Юшневский утверждал, что Витгенштейн был для него «благодетелем», а сам он всегда пользовался «безусловною доверенностью» командующего<sup>84</sup>.

Анализируя служебную деятельность декабристов и в первую очередь лидеров заговора, трудно противостоять давно укоренившимся в русской культуре представлениям об эпохе 1820-х годов, согласно которым время декабристов — это время романтического героизма, жертвенности и честности. «Декабрист в повседневной жизни» представляется смелым и решительным оратором, проповедником, смысл жизни которого — донести до людей собственные идеи.

Представления эти ошибочны в самом своем основании. Декабристы стремились разрушить «государственный быт России»; делать это методами убеждения было бесполезно. Коль скоро декабристы хотели победить, они должны были принять правила игры, существовавшие в реальном русском обществе и реальной русской армии. Правила же эти не не-

сли в себе совершенно ничего героического и рыцарственно-го. Армия тех лет — место постоянных интриг, неумеренного казнокрадства, доносов.

Естественно, что те члены тайного общества, которые обладали в армии хоть какой-нибудь действительной властью, во всём этом участвовали. И чем лучше им удавалось вписаться в повседневный военный быт, тем больше у них было шансов реализовать свои идеи. В этом смысле биографии Пестеля и его ближайшего сподвижника Юшневского представляются весьма показательными.

Когда в 1818 году генерал Витгенштейн стал командующим армией, он был уже пожилым усталым человеком. Пожилым не столько по возрасту — в момент вступления в должность ему едва исполнилось 50 лет, — сколько по представлениям о своем месте в мире.

Несмотря на все регалии, Витгенштейн был весьма беден. Хотя за ним и числилось «в Санкт-Петербургской, Витебской и Подольской губерниях... крестьян мужеска пола 1000 человек»<sup>85</sup>, семья, состоявшая из него самого, жены и восьмерых детей, жила более чем скромно. Поэтому генерал с радостью принял назначение во 2-ю армию: кроме того, что новая должность подтверждала особое расположение государя, она могла обеспечить ему средства к существованию, а его детям широкую дорогу в жизни<sup>86</sup>. Но прежнего исключительного положения в военной иерархии это назначение возратить уже не могло.

Хорошо знавший Витгенштейна Н. В. Басаргин вспоминал: «Во время командования второю армиею он жил более в своем поместье, находившемся в 70 верстах от Тульчина, и с увлечением занимался хозяйством, уделяя неохотно самое короткое время на дела служебные. Вообще все его любили, и он готов был всякому без исключения делать добро, нередко даже со вредом службе»<sup>87</sup>.

Честолюбивых устремлений у графа больше не было, армейские проблемы мало его интересовали. И когда выяснилось, что решение большинства этих проблем вполне по плечу 25-летнему штабс-ротмистру (с июля 1818 года — ротмистру) Пестелю, командующий с легким сердцем переложил их на плечи своего старшего адъютанта.

Это позволило Пестелю сосредоточить в своих руках огромную власть — фактически над всей армией. «По способностям своим» ротмистр «скоро начинал получать явный перевес мнениями своими не только в главной квартире, но и в

армии», — утверждал на следствии хорошо осведомленный в штабных делах полковник Н. И. Комаров (до 1821 года — член Тульчинской управы Союза благоденствия) и конкретизировал: «Во время отъездов на смотры войск, сопутствуя графу, имел случай скоро ознакомиться в армии и составить связи потом; имея при том и по занятию своему в составлении отчетов и записок об успехах в полках по фронтовой части значительное влияние на полковых и батальонных командиров, он умел в свою пользу извлекать из всего выгоды для достижения преднамеренной цели в распространении своего образа мыслей»<sup>88</sup>.

Тот же Комаров утверждал, что «витгенштейнов адъютант» совершенно подмял под себя начальника штаба армии Рудзевича и «тем еще более умножал вес свой в армии». По словам же сменившего Рудзевича Киселева, его «предместник» находился у Пестеля «в точном подданстве»<sup>89</sup>. В 1819 году, когда Рудзевич был смещен и назначен командиром 7-го пехотного корпуса, он всё равно пытался искать у Пестеля дружбы и покровительства.

Рудзевич, как говорилось выше, был сильно замешан в «деле Жуковского». Его карьера в 1819—1825 годах постоянно висела на волоске, и обстоятельства вынудили его обратиться за помощью к адъютанту командующего.

Будучи одним из следователей по «делу Жуковского», Пестель выполнял эти обязанности «хотя с излишнею злостиею, но всегда с умом»; по просьбе Витгенштейна он составил специальный доклад для передачи императору<sup>90</sup>. Естественно, ему была вполне ясна вся неоднозначность положения смещенного начальника штаба. В своих письмах Рудзевичу (к сожалению, до нас не дошедших) он подробно расспрашивал адресата о его роли в коррупции и, очевидно, требовал чистосердечного рассказа о том, что происходило в штабе до приезда Витгенштейна<sup>91</sup>. Скорее всего, в ответ на откровенность генералу было обещано заступничество перед командующим.

Рудзевич отвечал пространными письмами, из которых видна его кровная заинтересованность в дружбе с адъютантом Витгенштейна. Пестель был единственным человеком, способным уверить нового командующего в «безграничной преданности» Рудзевича, «по доброй его душе, отличным качествам и достоинству». Адъютант мог также объяснить своему патрону, что все обвинения против бывшего начальника штаба вызваны лишь «интригами и злобой», а виноват во всём «жук говенной» — бывший генерал-интендант Жуковский<sup>92</sup>.

Рудзевич писал: «Мерзавцам, алчным во всех отношении к корыстолюбию (имелись в виду коррупционеры при шта-

бе Беннигсена. — *О. К.*), мог ли честный человек им нравиться — конечно нет! Я был бич для них лично одною персоною моею; но не властью н[ачальника] Г[лавного] штаба. — Они меня боялись, это правда — но и делали, что хотели, и я остановить действия их зловредные не мог.. Вот в каком положении я находился, любезный Павел Иванович, — всё знал, всё видел, что делается, но не имел власти или, лучше сказать, не хотел компрометировать ту власть, которой с полною доверенностью вверяется благосостояние даже и целого государства. — Винули меня, и, может быть, и теперь еще находят меня виноватым царедворцы царя... почему я не доносил о злоупотреблениях, какие происходили у нас. — Скажите, можно ли было требовать от меня быть Гильковичем и можно ли, чтобы я был в том чине доносчиком наравне с жидом. — Вот за что я терпел, а может быть, и теперь еще обращаю на себя гнев монарший, несмотря на то, что дали мне корпус»<sup>93</sup>.

Этому и другим подобным признаниям Пестель ходу не дал, но письма Рудзевича хранил тщательно, не уничтожив даже перед арестом. Ясно, что он, до самого конца просчитывавший возможности вооруженного выступления, всерьез рассчитывал на помощь или по крайней мере нейтралитет своего корпусного командира. Письма же эти могли стать страшным оружием против генерала — в том, конечно, случае, если бы Рудзевич попытался чем-то помешать заговорщикам.

Летом 1819 года, после приезда Киселева на новое место службы, власть некогда всесильного «графского адъютанта» в армейском штабе была резко ограничена. И это, конечно, было для заговорщиков чувствительным ударом. Однако от этого удара они быстро оправились: в декабре того же года генерал-интендантом стал Юшневский.

Казалось бы, в связи с этим назначением перед заговорщиками открылись головокружительные финансовые возможности. Юшневский, получивший право распоряжаться деньгами армейского бюджета, мог, подобно предшественникам, понимать это право «расширительно», что давало возможность тратить казенные деньги на нужды организации.

Подтверждение этому найти нетрудно: в 1828 году, через два года после ареста и осуждения Юшневского, на него был наложен огромный начет по интендантству. Согласно справке, составленной Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, «по требованию Временного счетного отделения интендантства 2-й армии здешнее губернское правление (губернское правление Подольской губернии. — *О. К.*) предположило взыскать с селения Хрустовой 326 018 руб. 49½ коп., обращенных на ответственность быв-

шего генерал-интенданта Алексея Юшневского». Был наложен запрет на любые операции с имением бывшего интенданта — деревней Хрустовой, которой он с братьями владел после смерти отца до своего осуждения<sup>94</sup>.

Декабрист Андрей Розен, отбывавший каторгу вместе с Юшневским, рассказал в мемуарах, что разбирательство по интендантским делам «огорчало Юшневского в тюрьме потому, что если бы комиссия при ревизии обвинила его в чем-нибудь, то он был бы лишен возможности оправдаться». Но он же описал «радость и восторг старца, когда, по прошествии 8 лет, прислали ему копию с донесения комиссии высшему начальству, в коей было сказано, что бывший генерал-интендант 2-й армии А. П. Юшневский не только не причинял ущерба казне, но, напротив того, благоразумными и своевременными мерами доставил казне значительные выгоды». «Такое донесение делает честь не только почтенному товарищу, но и председателю названной комиссии генералу Николаю Николаевичу Муравьеву, правдивому и честному, впоследствии заслужившему народное прозвание Карский», — добавил Розен<sup>95</sup>.

Мемуарист неточен в деталях: вряд ли комиссия, проверявшая Юшневского, могла найти, что его интендантскую деятельность характеризуют «благоразумные и своевременные меры». Он вовсе не был образцовым интендантом, делал ошибки, получал выговоры от начальства и даже от императора.

Кроме того, генерал-лейтенант Н. Н. Муравьев-Карский никакого отношения к «делу Юшневского» не имел. Он не руководил «временным счетным отделением интендантства 2-й армии» — в его ведении была другая комиссия, «учрежденная для окончания дел и счетов интендантств бывших 1-й и 2-й армий». Комиссию эту создали в начале 1830-х годов, когда император Николай I приступил к структурному реформированию Вооруженных сил России. В ее задачу входила, в частности, проверка счетов интендантства 2-й армии начиная с Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, и «делом Юшневского» она не занималась. В 1838 году Муравьев-Карский вообще ушел в отставку<sup>96</sup>.

В свидетельстве Розена верно одно: в 1839 году начат с Юшневского был снят и бывший интендант совершенно оправдан от обвинений в служебных преступлениях. «Первое чувство, произведенное во мне известием о разрешении от начета, было — удивление. В положении моем я считал это несбыточным. Благоговею перед правосудием, оправдавшим беззащитного!» — писал он брату Семену<sup>97</sup>.

И если власти посчитали возможным официально снять с каторжника обвинение в служебных преступлениях — зна-

чит, наче́т действительно был ошибочным, Юшневский не наживался на продовольственных подрядах и не присваивал казенных денег даже для благородной цели осуществления революции в России. Для этой самой цели он использовал не украденные из казны деньги, а свое служебное положение.

Следует отметить, что «спокойный разум осторожного политика» в полной мере стал проявляться в Юшневском именно тогда, когда он стал заговорщиком и практически одновременно армейским генерал-интендантом. Конечно же, он хорошо понимал, что если его конспиративная деятельность будет следователями увязана с деятельностью служебной, то это вызовет для него весьма печальные последствия. Оповещенный о готовящемся аресте, он имел достаточно времени сжечь свои документы, в том числе, очевидно, и служебные<sup>98</sup>. Во всяком случае, в фондах Российского государственного военно-исторического архива не сохранилось практически никаких бумаг, вышедших из недр его интендантской канцелярии, а потому деятельность генерал-интенданта нам сегодня приходится восстанавливать по документам, отложившимся в бумагах других высших должностных лиц 2-й армии и Военного министерства. На основании этих сведений о Юшневском-интенданте можно составить лишь приблизительное представление.

Из этих разрозненных бумаг можно попытаться сделать вывод о «почерке» генерал-интенданта, возглавлявшего антиправительственный заговор. Как в 1826 году установило следствие, ни один из чиновников интендантского ведомства 2-й армии, кроме самого генерал-интенданта, в заговоре не состоял. Очевидно, Юшневский был крайне осторожен и не желал, чтобы в его собственном ведомстве подозревали о его тайной деятельности.

Конечно же, он хорошо помнил печальную участь своего предшественника: ни в коей мере не будучи заговорщиком, пользуясь поддержкой командующего Беннигсена, тот всё равно пал жертвой доноса. Начало же революции неминуемо должно было привести к перераспределению провианта и большим тратам. Юшневский не мог не учитывать возможность подобного доноса на себя. Видимо, именно поэтому генерал-интендант сократил до минимума свой штат и старался все дела вести самостоятельно<sup>99</sup>.

Он всеми силами старался оградить себя от контроля со стороны начальства, умело пользуясь тем, что все его предшественники на посту генерал-интенданта продержались совсем недолго и просто не успевали составить годовые отчеты по своему ведомству. Приняв должность, Юшневский начал

активно заниматься составлением отчетов за прошлые годы, начиная с 1816-го. Отчитываться же за собственную деятельность на этом посту он не спешил — в конце 1825 года с гордостью сообщал, что отчет за 1822 год «имеет быть» «подан в будущем сентябре»<sup>100</sup>.

Впрочем, если эти отчеты действительно были составлены, в бумагах интендантства 2-й армии они не сохранились. Не удалось их обнаружить и среди документов высших органов армейского управления. Начальник же штаба 2-й армии генерал Киселев утверждал в 1825 году, что за пять предшествующих лет на содержание составлявших отчеты чиновников ушло свыше 25 тысяч рублей, «сочтено» же было «только 4 месяца 1816 года»<sup>101</sup>. В любом случае деятельность генерал-интенданта за 1823—1825 годы оказалась вовсе не подотчетной его начальству.

К концу 1819 года в тульчинском штабе окончательно сложился круг людей, имевших возможность влиять на армейскую политику. Сложилась и система отношений этих людей с новым командующим и друг с другом. Безусловно, и Пестель, и Юшневский не только входили в этот круг, но и — благодаря «доверенности» Витгенштейна — занимали в нем лидирующие позиции. Их главным, если можно так выразиться, деловым партнером стал начальник армейского штаба генерал Киселев.

Связи Киселева с южными декабристами, в частности с Пестелем, неоднократно становились объектом пристального внимания историков<sup>102</sup>. Их интересовало прежде всего, насколько Киселев был посвящен в дела Южного общества в целом и Пестеля-заговорщика в частности, был ли он информирован о заговоре в тульчинском штабе. Некоторые исследователи убеждены, что «генерал Киселев знал о существовании тайного общества и довольно активно ему помогал»<sup>103</sup>. Другие, напротив, считают, что подозрения в «потворстве заговорщикам» совершенно несправедливо пали на начальника штаба, ничего не знавшего о тайных обществах<sup>104</sup>.

Второе мнение вряд ли верно. По меткому замечанию А. С. Пушкина, «о заговоре кричали по всем переулкам», не знали о нем только «полиция и правительство». Анонимный доносчик на Киселева в 1826 году справедливо утверждал, что для раскрытия тайного общества в Главной квартире армии достаточно было бы «и ленивого любопытства»<sup>105</sup>.

Киселев, несомненно, о заговоре знал и сочувствовал ему. Он читал «Русскую Правду», покровительствовал мно-



гим участникам тайного общества, в 1822 году позволил своему адъютанту Бурцову уничтожить случайно попавший в руки армейского командования список заговорщиков. Вообще южных декабристов и Киселева объединяла не только личная симпатия, но и общность взглядов. Начальник армейского штаба был убежденным вольнодумцем: и в России, и в армии ему многое не нравилось.

Но несомненно и то, что сам Киселев в тайном обществе никогда не состоял и в повседневных взаимоотношениях с декабристами исходил не из собственных взглядов и симпатий, а из постоянно меняющейся ситуации в армейском штабе. В штабной игре начала 1820-х годов Киселев был не «за» и не «против» декабристов. Быстро поняв штабную конъюнктуру и научившись плести штабные интриги, он неизменно играл «за себя».

Еще в 1816—1818 годах Киселев, тогда полковник, несколько раз по «высочайшему приказу» ревизовал 2-ю армию и, как уже говорилось, был главным следователем по «делу Жуковского». Он имел в армии репутацию человека неподкупного, и с этой точки зрения выбор императора был вполне объясним. Для Пестеля же назначение Киселева оказалось тяжелым испытанием — он едва не лишился адъютантской должности.

Получив в Тульчине приказ о смене начальника штаба, командующий Витгенштейн подал в отставку, объяснив причины своего поступка в письме императору от 16 марта 1819 года: «Назначение господина Киселева в начальники штаба 2-ой армии столь же чувствительно меня огорчает, сколь и оскорбительно для меня быть должно, не потому, что генерал Киселев не заслуживает сего места, ибо я никак не могу сомневаться в его способностях, как скоро он есть собственный выбор Вашего Величества, но потому, что его назначение удостоверяет меня в совершенной потере как милости, так и доверенности Вашей, Всемилостивейший Государь».

Знаком недоверия императора Витгенштейн считал тот факт, что Киселев «был прислан некоторые дела исследовать при прежнем главнокомандующем», а значит, его новое назначение и «удаление» Рудзевича «подадут, конечно, мысль не только армии, но и всему свету, что он (Киселев. — *О. К.*) ныне здесь находиться будет уже не для временного, но для постоянного надзора»<sup>106</sup>.

Резкий тон письма удивил Александра I, не принявшего отставку Витгенштейна. Удивление сквозит в строках «высочайшего рескрипта» от 30 марта 1819 года, которым государь ответил на возмущенное послание командующего. Император оправдывался, всячески расхваливая Киселева: «Я смело отве-

чаю, что лучшего Вам помощника по сей (штабной. — О. К.) части быть не может». Александр советовал не обращать внимания на светские сплетни и опровергал предположение насчет «постоянного надзора»: «...сие несходно ни с Моими правилами, ни с Моими понятиями, кои довольно Мною ясно доказаны в долгое продолжение времени, чтобы не быть известными всем». В конце письма император добавлял, что Витгенштейн может не сомневаться в его доверии, без коего командующий «и пяти минут» не остался бы на своем посту<sup>107</sup>.

Киселев, выезжая из Петербурга на новое место службы, не знал о переписке Витгенштейна с царем. Он был извещен о ней уже в пути, своими хорошо информированными петербургскими друзьями — генерал-майорами А. А. Закревским и А. Ф. Орловым (первый был в 1819 году дежурным генералом Главного штаба армии, а второй — командиром лейб-гвардии Конного полка). В письме Орлова содержался недвусмысленный намек на то, что обращение командующего 2-й армией к императору инспирировано его адъютантом Павлом Пестелем<sup>108</sup>.

Как свидетельствуют документы, история с «негодованием» Витгенштейна действительно во многом была делом рук Пестеля. Скорее всего, решительность адъютанта в данном случае объяснялась просто: он не хотел терять свое влияние в штабе. И, конечно, его поведение не могло не оскорбить нового начальника штаба. Пестель и Киселев были сослуживцами по Кавалергардскому полку, примерно равными по возрасту, принадлежали к одному светскому кругу.

Но когда в начале мая 1819 года Киселев появился в Тульчине, командующий — очевидно, успокоенный «рескриптом» Александра — совершенно «неожиданно» для нового начальника штаба принял его милостиво и выразил «сожаление о всём том, что он вынужден был писать» против его назначения<sup>109</sup>. Иными словами, Витгенштейн и Киселев договорились.

Такой поворот дела оказался малоприятным для Пестеля, которому пришлось расплачиваться за свою интригу. Очевидно, что реакция Киселева на поступок Пестеля была бурной. Очевидно также, что этот момент оказался критическим в карьере декабриста. Из его переписки с отцом мы знаем, что именно тогда, в середине мая 1819 года, любимый адъютант Витгенштейна решил сменить место службы — стать начальником штаба генерал-лейтенанта графа И. О. Витта, руководившего военными поселениями юга России<sup>110</sup>.

Правда, отношения Киселева с Пестелем быстро наладились — видимо, оба осознали, что друг без друга им не обой-

тись. Пестель увидел, что царский «друг» прибыл в армию «всерьез и надолго», понял, что его в любом случае лучше иметь в союзниках, чем во врагах. У него хватило ума и такта уйти с первой роли в штабе, предоставив ее честолюбивому генерал-майору. «Все дела, на имя начальника моего (то есть Витгенштейна. — *О. К.*) приходящие, идут ко мне и через меня», — с удовлетворением писал Киселев Закревскому в августе 1819 года<sup>111</sup>.

Но Киселев не имел никакого опыта штабной работы, у него не было в армии ни единомышленников, ни друзей, зато было много тайных недоброжелателей. Недовольны его назначением были штабные чиновники, которые готовили ему «бурю», существовала и генеральская оппозиция новому начальнику, возглавляемая смещенным генералом Рудзевичем<sup>112</sup>. Поэтому Киселев быстро понял, что без помощи некогда всеильного «графского адъютанта» ему будет очень трудно стать полноценным начальником штаба, и решил забыть все свои «обиды» на Пестеля. Началось «странное сближение» царского любимца и ротмистра-декабриста, нередко ставившее в тупик и современников, и историков.

Уже через два месяца после приезда в Тульчин Киселев писал Закревскому по поводу Пестеля: «Я личностей не знаю и забываю прошедшие до приезда моего действия, о которых известился я, но отдавая справедливость способностям его, я полагаю услужить тем государю». Этим же письмом адресат уведомлялся, что «из всего здешнего синклита он (Пестель. — *О. К.*) один и совершенно один, могущий с пользою быть употреблен — малый умный, с сведениями, и который до сих пор ведет себя отлично хорошо»<sup>113</sup>.

Правда, как явствует из той же переписки, сближение с Пестелем не проходило гладко. Так, например, резкий срыв произошел в конце лета — начале осени 1819 года. В августе Киселев признался Закревскому в письме, что ценит в Пестеле «не душевные качества», но «способность ума и пользу, которую извлечь можно». «Впрочем, — добавил автор, — о моральности не говорю ни слова». В октябре отзывы Киселева становятся гораздо более резкими: «Он (Пестель. — *О. К.*) действительно имеет много способностей ума, но душа и правила черны, как грязь; я не скрыл, что наша нравственность не одинакова, и как ему, так и графу (Витгенштейну. — *О. К.*) без дальних изворотов мнение мое объяснил»<sup>114</sup>. Конкретный повод написания этого письма неизвестен, но скорее всего, поскольку именно к этому времени относится серьезный разлад в отношениях Киселева и его «предместника» Рудзевича, Пестель пытался интриговать против нового начальника штаба армии<sup>115</sup>.

Разлад этот вскоре прошел, и восстановились взаимоотношения Киселева и Пестеля. Уже в ноябре начальник штаба сообщал Закревскому: «Должно сказать, что он (Пестель. — О. К.) человек, имеющий особенные способности и не корыстолюбив, в чем я имею доказательства. Вот достаточно, по мнению моему, чтобы всё прочее осталось без уважения». В воздаяние «покорства» Пестеля, потерявшего «совершенное в делах влияние», Киселев дал адъютанту, отправляющемуся в Петербург вместе с Витгенштейном, рекомендательное письмо самому Закревскому<sup>116</sup>.

В декабре 1819 года, во время пребывания Пестеля в Петербурге, между ним и Киселевым завязалась оживленная и вполне доверительная переписка<sup>117</sup>. И недолголюбившему «графского адъютанта» дежурному генералу Главного штаба оставалось только пенять другу: «До меня слухи доходят, что тебя в армии не любят и что ты свободное время проводишь большею частью с Пестелем. Не веря сему, я желал бы знать от тебя истину. Неужели ты не укротил порывчивый свой нрав, о котором тебе несколько раз писал по приезде твоём в Тульчин, и какая связь дружбы тебя соединила с Пестелем, зная характер и нравственность его, о коих ты ко мне не раз писал»<sup>118</sup>.

«Истина» же состояла в том, что Киселев и Пестель стали ближайшими сотрудниками. У начальника штаба и старшего адъютанта командующего оказалось много общих дел. Они оба были заинтересованы в том, чтобы 2-я армия оказалась надежной и боеспособной: неопытный в штабной работе, но честолюбивый и полный желаний сделать карьеру Киселев стремился оправдать царское доверие, Пестелю же сильная армия была нужна для будущей революции.

Конечно, сейчас уже невозможно в полной мере восстановить все служебные связи и общие дела Пестеля и Киселева, но можно с уверенностью говорить, что главными в их совместной армейской деятельности были три сферы: реформаторская, учебная и военно-полицейская.

Армейская реформа постоянно занимала воображение Киселева, причем виделась ему как часть общегосударственных реформ. Но в начале 1820-х годов он еще не был тем, кем стал в 1840-х: политиком-реформатором, умевшим мыслить в масштабах страны. По меткому замечанию историка М. А. Давыдова, у Киселева во 2-й армии «очень быстро сложилась психология трудяги-службиста»<sup>119</sup>. «Я себя убью дьявольской военной работой; продолжаю только потому, что надеюсь привести всё в порядок и тогда отдохнуть», — писал Киселев Закревскому 13 июля 1819 года<sup>120</sup>.

Разбросанные по частным письмам и официальным рапортам отрывочные мысли о том, какой в идеале должна быть армия, Киселев не успевал привести в систему. Пестель стал основным помощником начальника штаба армии в деле разработки военной реформы. «Витгенштейнов адъютант» талантливо обосновывал практические начинания Киселева, теоретически «укрупнял» его идеи, формулировал задачи масштабных военных преобразований. В «декабристском» фонде ГАРФ сохранилось множество работ Пестеля на эту тему, наиболее известные из них — «Записка о составе войска» и «Записка о штабах»; такого же рода и упоминавшаяся выше обширная «Записка о государственном правлении»<sup>121</sup>.

В мае 1821 года при личной встрече с императором в Слониме начальник штаба армии подал ему «записки» «о военном устройстве и о тех предметах, которые требуют нового постановления»; можно с большой долей уверенности предположить, что главным их автором был именно Пестель. О том, что декабрист писал свои военно-теоретические работы, рассчитывая, что они попадут в руки царя, свидетельствует, например, близкий к Пестелю майор Н. И. Лорер<sup>122</sup>.

Эти «записки» постигла печальная участь: царь отдал их начальнику штаба 1-й армии И. И. Дибичу, который через несколько месяцев выдал их за свои собственные предложения. «Два года я сидел, думал, подал и вижу, что остался в дураках», — сетовал Киселев<sup>123</sup>.

Важной сферой совместной работы Пестеля и Киселева было улучшение боеспособности армии. Самым главным из дошедших до нас мероприятий такого рода стала организация учебного батальона при армейском штабе. «Недостаток однообразия, необходимого условия военного устройства, заставил обратиться к устройству при главной квартире сводного батальона, в который были взяты люди ото всех полков, пионерных батальонов и артиллерийских рот. Однообразно обученные и обмундированные в нем офицеры и нижние чины должны были, по возвращении в свои части, передавать другим все правила службы и таким образом доставлять войскам средство... обучаться однообразно» — так определял задачи этого батальона Заблоцкий-Десятовский<sup>124</sup>.

Дело было поставлено на широкую ногу: при батальоне были организованы школы для горнистов, барабанщиков и писарей, а также юнкерские и ланкастерские\*. Командирам ар-

---

\* Метод обучения, изобретенный англичанами А. Беллем и И. Ланкастером, состоял в том, что наиболее способные ученики под руководством учителя передавали полученные знания менее способным товарищам. Он имел, конечно, большие недостатки, но был весьма актуален для России, так как позволял научить грамоте сразу большое количество крестьян и солдат.

мейских частей разного уровня предписывалось составлять подобные учебные команды в своих подразделениях. Естественно, не все подчиненные Витгенштейна приветствовали это начинание, добавлявшее им немало хлопот. В частности, резко против выступал генерал Рудзевич<sup>125</sup>. Но всё же победа осталась за Киселевым. Он очень гордился этим своим начинанием и писал Закревскому, что в деле организации батальона «всё стремится к усердию к достижению дела»<sup>126</sup>.

Немало сил на это положил и Пестель. Он, в частности, составил весьма понравившийся Киселеву приказ о создании батальона и сам принимал участие в обучении солдат. В своих записках адъютант командующего многократно теоретически обосновывал важность такого рода учебных заведений для армии, в его библиотеке присутствовали всякого рода пособия для рекрутских и ланкастерских школ<sup>127</sup>.

Но самым важным полем совместной деятельности Киселева и Пестеля оказалась не военная реформа и не организация учебного батальона. Много сил и времени они отдали тому, чтобы поставить на должный уровень полицейскую службу в армии.

«Полиция в армии необходима», «дух времени заставляет усиливать часть сию», — писал Киселев Закревскому<sup>128</sup>. Для реализации своего замысла начальник штаба армии вместе с корпусным командиром генерал-лейтенантом И. В. Сабаневым составил и подал по команде особый проект об учреждении тайной полиции. Проект был отклонен, но в июле 1821 года Киселев организовал такую полицию на свой страх и риск, без согласования с высшим командованием. «Тайные розыски» сразу же стали приносить свои плоды: полиция «много обнаружила обстоятельств, чрез которые лица и дела представились в настоящем виде»<sup>129</sup>.

Составленное в 1823 году под руководством Киселева новое «Положение об учреждении при 2 армии высшей полиции» поразительным образом перекликается с размышлениями Пестеля, изложенными в сочиненной в начале 1820-х годов «Записке о государственном правлении»<sup>130</sup>. Правда, если Киселев планировал подобный орган лишь для 2-й армии, то Пестель, называвший тайную полицию Высшим Благочиением, — для всей России. Как и в случае с военными реформами, Пестель теоретически обосновывал, укрупнял идеи шефа.

Высшая армейская полиция должна существовать «в непроницаемой тайне», действия ее необходимо «поставить в совершенную неизвестность от тех лиц, над коими она обязана иметь свой надзор», гласит киселевское «Положение».

«Вышнее Благодичиние требует непроницаемой тьмы»; необходимость же соблюдения тайны в данном случае «происходит от усилий зловредных людей содержать свои намерения и деяния в самой глубокой тайне, для открытия которой надлежит употребить подобное же средство, состоящее в тайных розысках», — утверждал Пестель<sup>131</sup>.

Согласно «Положению», действиями полиции руководит директор, который «состоит в главном штабе армии под собственным распоряжением главнокомандующего» и исполняет свои функции с помощью специально организованной канцелярии, действующей в «строжайшей тайне». Пестель же поручает Вышнее Благодичиние «единственно государственному главе сего приказа, который может оное устраивать посредством канцелярии, особенно для сего предмета при нем находящейся»; «образование канцелярии по сей части должно непременно зависеть от обстоятельств, совершенно быть предоставлено главе и никому не быть известным, кроме ему одному и верховной власти»<sup>132</sup>.

Киселев считает, что в тайные агенты следует вербовать «людей благородных и по хорошему воспитанию способных быть верными орудиями для отвращения зла, а не бесчестными клеветниками, годными только для размножения оногo». «Для тайных розысков должны сколь возможно быть употреблены люди умные и хорошей нравственности; от выбора сего наиболее зависит успех в приобретении сведений и содержания оных в надлежащей тайне», — вторит ему Пестель<sup>133</sup>.

Характерно, что сферы деятельности органов сыска Пестель и Киселев тоже представляют себе в общем одинаково. Одно из главных направлений их деятельности — слежка за «настроением умов». «Нет ли между войсками ропота, вредных мыслей и тайных сходбищ? Не возобновляются ли уничтоженные масонские ложи и нет ли суждений о делах политических?.. В чьем доме чаще сходятся в приметном количестве офицеры?» — эти вопросы, по мнению Киселева, должны были составлять «предметы наблюдения» тайных агентов. Пестель же считал, что «тайные вестники» должны «узнавать, как располагают свои поступки частные люди: образуются ли тайные и вредные общества, готовятся ли бунты... распространяются ли соблазн и учение, противное законам и веры, появляются ли новые расколы и, наконец, происходят ли запрещенные собрания и всякого роду разврат»<sup>134</sup>.

Как видно из сопоставления этих двух документов, они близки не только по идеям, но и по форме их выражения. Уместно предположить, что «Положение об учреждении при 2 армии высшей полиции» — плод совместного творчества

начальника штаба и «витгенштейнова адъютанта». Очевидно также, что та часть «Записки о государственном правлении», где Пестель повествует об образовании Вышнего Благочиния, написана под непосредственным влиянием военно-полицейских идей Киселева.

Пестель не только теоретически разделял взгляды начальника штаба и помогал ему в организации полиции, но и сам довольно активно действовал в роли «тайного вестника» — причем, конечно, не рядового, а организатора шпионской сети деятельности. И эта работа, как и деятельность по подготовке армейских реформ, Пестель не оставил, даже уйдя из штаба в конце 1821 года.

Пестель был хорошо осведомлен о всякого рода контрабандистах, орудующих в крае, прекрасно знал, кто из военнослужащих им пособничает. Когда он стал командиром Вятского полка, то сразу же потребовал от Киселева замены одного из замешанных в контрабанде офицеров — подполковника Каспарова. Вообще очевидно, что именно борьба с контрабандой была основным полем его военно-полицейской деятельности. Из переписки Пестеля с родителями выясняется, что в 1825 году ему было даже поручено вести некое дело о контрабанде, находившееся под личным контролем «государя и великого князя». Отец Пестеля надеялся, что успешное выполнение задания принесет сыну генеральский чин<sup>135</sup>.

В сферу деятельности Пестеля входил и надзор за проведением следствия в отношении провинившихся военнослужащих. Так, в 1821 году он писал Киселеву о некоем «офицере Акинке», попавшем под следствие. Суть этой истории неизвестна, но из письма следует, что Пестель вел параллельное, неофициальное расследование по заданию начальника штаба и информировал его, что хотя «не имел возможности собрать все подробности о преступлении и о следствии», всё же считает, что офицера «необходимо наказать... довольно строго, чтобы это произвело впечатление, однако же без разглашения этого дела слишком публично»<sup>136</sup>.

Активно занимался Пестель и наблюдением за «настроением умов» и поведением офицерского состава 2-й армии. Из переписки Пестеля с Киселевым известно, например, что на всех без исключения офицеров первый вел секретную картотеку, а второй, санкционировавший подобный сбор информации, пользовался ею в своей практической деятельности<sup>137</sup>. Впоследствии, приняв под команду Вятский полк, Пестель постарался удалить из него не только «контрабандиста» Каспарова, но и всех «неблагонадежных» младших командиров.



Естественно, что вся эта работа была бы невозможна без целого штата специальных осведомителей. И именно их действий справедливо опасался в 1825 году капитан А. И. Майборода, подавая донос на своего командира. Майборода считал, что Пестель вербовал своих агентов прежде всего из местных евреев<sup>138</sup>.

Очевидно, что военно-полицейская деятельность была для Пестеля непосредственно связана с заговорщической. Она способна была упрочить его положение в штабе, предоставляла доступ к секретной штабной информации, открывала возможности для получения сведений о настроениях в солдатской и офицерской среде. Поэтому свои обязанности «тайного вестника» Пестель исполнял совершенно бестрепетно.

Зато в лице начальника штаба Пестель до 1823 года имел мощную поддержку; пожалуй, это был главный результат всей его штабной деятельности. Поддержка эта выражалась прежде всего в том, что Киселев не давал хода доносам на руководителя Южного общества. Так, например, в 1822 году командир Уфимского пехотного полка полковник Добровольский в письме Киселеву прямо обвинил Пестеля в принадлежности к тайному обществу. Но письмо это не имело никаких последствий<sup>139</sup>.

Киселев помогал Пестелю и в карьере: в конце 1821 года, после удачно выполненного разведывательного задания в Молдавии и Валахии, тот стал полковником и командиром Вятского пехотного полка. При этом Киселев — естественно, с помощью Витгенштейна — буквально «выбивал» для подчиненного чин и полк. Император долго противился этому назначению, считая, что претендент очень молод и по возрасту, и по «числу лет, проведенных в звании» (чин подполковника Пестель получил в конце 1819 года). Кроме того, до назначения в полковые командиры «витгенштейнов адъютант» никогда не командовал ни одним солдатом<sup>140</sup>.

Документы свидетельствуют: до 1823 года Пестель вполне доверял Киселеву, безусловно считал его собственным союзником. Составляя для начальника штаба программу армейских реформ, он предлагал «объявить начальника Главного штаба армии средоточием всего военного управления в отношении к войскам, армию составляющим, и вручить ему полное начальство над интендантскою, полицейскою, инженерною, артиллерийскою и всеми прочими частями управления»<sup>141</sup>. Если бы император утвердил это положение, генерал-интендант Юшневский по службе оказался бы подчиненным Киселева. Очевидно, что удачное сотрудничество с Киселевым было для Пестеля важнее, чем служебная независимость Юшневого.

Взаимоотношения Киселева с генерал-интендантом Юшневским складывались совершенно по-иному, чем с Пестелем. Пестель, при всём его уме и таланте, оставался для Киселева всего лишь подчиненным. Юшневский же по должности был независим от Киселева; по армейской иерархии они были фигурами равными. С Пестелем Киселев мог сотрудничать практически безболезненно для своего положения в штабе, с Юшневским же у него сразу установилась стойкая вражда.

Ситуация осложнялась тем, что, судя по всему, Витгенштейн очень любил Юшневского и по-человечески недолюбливал Киселева. Командующий помнил обиду, нанесенную ему снятием Рудзевича, Юшневский же был назначен на должность генерал-интенданта по его просьбе. И одна из первостепенных задач Киселева состояла в том, чтобы поколебать «доверенность» Витгенштейна к своему интенданту, заняв тем самым лидирующее положение в штабе.

В частной переписке начальник штаба неоднократно отмечал «слабости» Юшневского на интендантском посту. «Юшневский человек правил строгих, но не знает ремесла своего, слаб с подчиненными и не умеет преодолеть затруднения, от сей части нераздельные», — писал он Закревскому<sup>142</sup>. Но до поры до времени он вынужден был мириться со «слабостями» интенданта: командующий стоял за него горой. Киселев — коль скоро он хотел пользоваться «благорасположением» Витгенштейна — должен был активно помогать Юшневскому.

В целом, если не считать мелких стычек с начальником штаба, первые два года интендантской деятельности Юшневского прошли спокойно. Никаких серьезных нареканий на генерал-интенданта не было; казалось, армия после бурной деятельности Порогского, Жуковского и Стааля могла вздохнуть спокойно. В сентябре 1820 года по представлению Витгенштейна генерал-интендант получил очередной чин статского советника. Более того, Юшневский и Киселев вместе работали над составлением истории Русско-турецких войн конца XVIII века: Юшневский писал статистическую часть, Киселев же взял на себя общее редактирование<sup>143</sup>.

Но наступил 1823 год, и ситуация в штабе резко изменилась. Причем хрупкий баланс нарушили сами декабристы, явно переоценившие свои влияние и возможности в штабе.

Давно замечено, что начало 1823 года — совершенно особый этап в жизни Южного общества, по словам М. В. Нечкиной, «значительная дата»<sup>144</sup>, период резкой активизации деятельности заговорщиков. В январе этого года в Киеве состоялся второй съезд южных руководителей. Это был самый важный съезд в истории общества: ни на одном совещании ни

до, ни после него не были обсуждаемы и принимаемы столь масштабные решения. При этом и форма проведения съезда была непохожа на большинство других декабристских совещаний: вместо разговоров «между Лафитом и Клико» было организовано официальное заседание с формальным голосованием по обсуждавшимся вопросам.

На съезде, кроме Пестеля и Юшневского, присутствовали Сергей Волконский, Василий Давыдов, Сергей Муравьев-Апостол и юный, только недавно принятый в заговор Михаил Бестужев-Рюмин. Согласно показаниям Бестужева-Рюмина и Давыдова, Пестель, председательствовавший на съезде, «торжественно открыл заседание» и предложил для обсуждения несколько теоретических вопросов: о введении в России республиканского правления, форме будущих демократических выборов («прямые» или «косвенные»), планировавшемся после революции переделе земельной собственности, религиозном устройстве будущего государства<sup>145</sup>.

Говорили и о тактических установках будущей революции: Пестель утверждал, что «действие» надо начинать в Петербурге «яко средоточии всех властей и правлений» и что задача Южного общества состоит в «признании, поддержании и содействии» петербургским революционерам. Возражая ему, Сергей Муравьев предлагал немедленные и решительные действия на юге<sup>146</sup>.

Главный вопрос, который Пестель поставил перед участниками съезда, — вопрос о царевубийстве в случае начала революции. Он заставил собравшихся рассматривать этот вопрос и в практической плоскости и вынес на обсуждение свой проект разделения будущего революционного действия на «заговор» и «собственно революцию».

«Заговор», по мнению Пестеля, должен был быть осуществлен особым «обреченным отрядом» людей, формально не принадлежавших к обществу. Целью его было царевубийство, а возглавить «обреченный отряд» мог бы его старый приятель Михаил Лунин, известный решительностью и отвагой. «Ежели бы такая партия была составлена из отважных людей вне общества, то сие бы еще полезнее было», — показывал на следствии сам Пестель<sup>147</sup>. Совершенное в столице царевубийство должно было стать сигналом к началу «собственно революции» — выступления армии.

Анализируя «повестку дня» киевского съезда 1823 года, нельзя не увидеть в ней целый ряд нелогичных моментов. Так, например, согласно идеям того же Пестеля, после победы революции надлежало не проводить «прямые» или «косвенные» выборы, а установить многолетнюю диктатуру временного ре-

волюционного правления. Не имело практического смысла и обсуждение вопроса об «обреченном отряде»: людей, готовых в него войти, у Пестеля не было, а с Михаилом Луниным он, служа в Тульчине, много лет не виделся. Цареубийство же как необходимый элемент революционного плана было принято уже при образовании в 1821 году Южного общества.

Представляется, что главная задача проводившего съезд Пестеля была вовсе не в обсуждении совершенно неактуальных проблем. Задача была в другом: добиться единства главных участников заговора. Сергей Волконский, один из ближайших друзей Пестеля, посвященный во многие его планы, впоследствии писал в мемуарах: южная Директория использовала обсуждение проектов цареубийства как «обуздывающее предохранительное средство к удалению из членов общества; согласие, уже не дававшее больше возможности к выходу, удалению из членов общества». По законам Российской империи «умысел» на цареубийство приравнивался к самому «деянию» — и решившийся на эту меру подвергался «полной ответственности за первоначальное согласие»<sup>148</sup>. Сурово должен был быть наказан и тот, кто знал об этом умысле, но не донес властям.

И здесь логично поставить вопрос, почему именно в начале 1823 года Пестелю понадобилось подобным образом цементировать свою организацию. Ответ можно найти, анализируя служебную деятельность Алексея Юшневского.

Очевидно, за несколько дней до киевского съезда генерал-интендант составил и отправил в Петербург, в Главный штаб, смету армейских расходов на 1823 год. Конкретную сумму заявленного бюджета установить на сегодняшний день не удалось, но документы свидетельствуют: для содержания 2-й армии Юшневский запросил сумму в несколько раз больше, чем та, которой армия «довольствовалась» раньше. Бюджет увеличивался, несмотря на то, что торги по поставкам продовольствия для армии оказались на редкость удачными для казны: удалось сэкономить 1,6 миллиона рублей<sup>149</sup>.

Судя по мгновенной резкой реакции царя и последовавшим событиям, предлагаемое увеличение бюджета было очень значительным<sup>150</sup> — при том, что в 1823 году не намечалось ни войны, ни передислокации крупных подразделений, а экономика страны была в тяжелейшем кризисе, вызванном постоянными войнами начала XIX века. За полгода до представления сметы Александр I особым рескриптом объявил «необходимость в уменьшении государственных расходов на 1823 год». По военному ведомству они должны были, по мысли императора, сократиться на 37 миллионов рублей<sup>151</sup>.

Неосторожные действия генерал-интенданта, сразу же попавшего под подозрение в «злом умысле», можно, конечно, попытаться объяснить заботой о нуждах армии. Однако вряд ли они настолько волновали Юшневского, чтобы ради них он был готов даже открыто нарушить предписание императора. Скорее верно предположение, что именно в 1823 году южные заговорщики планировали начать военную революцию. Требовались деньги — и Юшневский попытался добыть их вполне легально, путем увеличения армейского бюджета.

Между тем, если принять эту версию, понятна и настойчивость Пестеля, заставившего участников киевского съезда обсуждать цареубийство и формально голосовать за него. Главные деятели тайного общества, не посвященные в «план 1823 года», должны были, не задумываясь, поддержать революцию. Собственно, после киевского съезда выбора у них не осталось. Выступить против действий Пестеля и Юшневского они просто не могли — за согласие на цареубийство всем им грозила смерть.

1823 год — период резко возросшей активности эmissаров Пестеля в Петербурге. В феврале, вскоре же после съезда, в столицу отправились сразу два его участника — Сергей Волконский и Василий Давыдов. Некоторое время спустя вслед за ними поехал не участвовавший в съезде, но весьма информированный в делах общества князь Александр Барятинский. Все трое имели при себе письма Пестеля Никите Михайловичу Муравьеву, руководителю созданного за год до того Северного общества. Муравьева, своего старинного друга, Пестель в 1823 году не без оснований считал собственным единомышленником в столице. Цель этих поездок, по словам Волконского, состояла в том, чтобы «учредить связь через Никиту Муравьева между северной и южной управами»<sup>152</sup>.

Попав потом в экстремальную ситуацию следствия, и Пестель, и его эmissары согласно показывали, что цель этих поездок — теоретические разговоры с Никитой Муравьевым о слиянии двух обществ и будущей российской конституции. Исключение составляют лишь показания Барятинского, оказавшегося совершенно сломленным еще в самом начале следствия и поэтому активно с ним сотрудничавшего. Согласно им, Пестель поручил князю устно передать Никите Муравьеву, что южные заговорщики «непреренно решились действовать в сей год». От Муравьева Пестель потребовал «решительного ответа»: «могут ли и хотят ли» «северяне» «содействовать нашим усилиям»<sup>153</sup>.

Видимо, испугавшись своего признания, Барятинский тут же пошел на попятную, утверждая, что Пестель не собирал-

ся в 1823 году начинать восстание, а желал только «возбудить» в петербургских заговорщиках «более деятельности». Но вряд ли Пестель решился бы на такую грубую и примитивную ложь даже во имя благой цели объединения обществ и активизации действий северных лидеров. Судя по действиям Пестеля и Юшневского, «план 1823 года» был реальным, а Никита Муравьев действительно казался южным директорам человеком, способным организовать в столице его поддержку.

План этот провалился. Никита Муравьев испугался активности южных эmissаров; Александр I не утвердил бюджет. Более того, после этой истории у генерал-интенданта, не рассчитавшего политической конъюнктуры, начались крупные служебные неприятности. В феврале 1823 года император отправил во 2-ю армию ревизора — непосредственного начальника Юшневского «по провиантской части», генерал-провиантмейстера и директора провиантского департамента Военного министерства А. И. Абакумова.

Андрей Иванович Абакумов (1772—1841) незаслуженно забыт военными историками. Происходивший «из купеческих детей г. Торопца», он начал служить в 1787 году с чина унтер-офицера гвардейского Преображенского полка, а вскоре перешел в статскую службу. Абакумов оказался на редкость талантливым человеком: не будучи дворянином по происхождению, не имея никаких связей, рассчитывая только на себя, он к 1815 году дослужился до чина статского советника, а еще через год занял должность директора провиантского департамента. Среди современников он пользовался славой толкового и честного чиновника, «мастера своего дела». Собственно, именно ему русская армия обязана «правильной» организацией тыловой службы. Абакумов слыл также талантливым финансистом: весной 1823 года он едва не был назначен российским министром финансов<sup>154</sup>.

Назначение это не состоялось во многом потому, что директор провиантского департамента в этот момент отсутствовал в столице, исполняя ревизорские функции во 2-й армии. В феврале 1823 года Абакумов получил приказ императора «немедленно отправиться» туда, «войти в подробное рассмотрение тех оснований, по которым составлена смета генерал-интендантом Юшневским, и сообразить средства для уменьшения расходов»<sup>155</sup>.

Миссия Абакумова должна была оставаться тайной для начальства 2-й армии до момента его приезда в Тульчин. С собой Абакумов вез высочайший указ на имя командующего с требованием «воспользоваться всеми способами» для уменьшения расходов и объяснением, что генерал-провиантмейстер

послан во 2-ю армию «для облегчения» трудов командующего в деле сокращения расходов.

Правда, император не хотел, чтобы Абакумов действовал через голову Витгенштейна — и поэтому настоятельно советовал последнему самому дать генерал-провиантмейстеру поручение расследовать историю с составлением бюджета. «С возвращением генерал-провиантмейстера я ожидаю донесения Вашего о тех распоряжениях, которые по сему сделаны Вами будут, и повторяю полную уверенность мою в испытанной попечительности Вашей о пользах государственных, которую всегда с удовольствием в Вас вижу», — писал император Витгенштейну<sup>156</sup>.

Абакумов всё же не удержал в тайне свою миссию. Юшневский, видимо быстро оценивший последствия своего поступка, к его приезду уменьшил смету — совершенно безболезненно для армии — почти на полтора миллиона рублей<sup>157</sup>. Но, несмотря на это, «миссия» директора провиантского департамента вызвала в штабе армии бурю эмоций.

Особенно недоволен приездом Абакумова оказался даже не сам Юшневский, а начальник штаба. Абакумов лишил Киселева реальной возможности «научить» генерал-интенданта его «ремеслу», доказать командующему свое безусловное первенство в штабе. Ему казалось, что ревизорские функции, предоставленные другому, — свидетельство недоверия к нему со стороны императора. «Удобнее было бы пригласить меня заняться частью, мне неподведомственной, узаконить приглашение сие постановлением и возложить на меня ответственность, которой не боюсь и которую, конечно, оправдал бы, сколько человеку честолюбивому оправдать ее можно», — писал он Закревскому и добавлял, что имеет право на царское доверие, потому что честен и «не скупает» имений «за границую»<sup>158</sup>. Киселев сообщал Закревскому, что не хочет сотрудничать с Абакумовым и собирается выйти в отставку.

Такая неадекватная реакция весьма озадачила Закревского. Удивление сквозит в его ответе Киселеву: «Не понимаю, почему ты принимаешь к сердцу командировку в вашу армию Абакумова, тогда как интендантское управление не принадлежит к кругу твоих занятий и нет нужды тебе сего добиваться, ибо такая канальская часть, что мудрено и самому деятельному и честному человеку за них отвечать, ибо основано всё на воровстве»<sup>159</sup>.

Абакумову понадобился всего месяц, чтобы разобраться с бюджетом. Он «изыскал средства» для еще большего сокращения расходов, чем вызвал новый взрыв негодования начальника штаба<sup>160</sup>. Зато выводы о состоянии интендантства

оказались весьма благоприятны для Юшневского: Абакумов отмечал энергичную деятельность генерал-интенданта в деле составления интендантских отчетов, его рачительность в деле сохранения казенных средств, «исправность» поставщиков продовольствия для армии. Киселеву пришлось смириться с тем, что высокое мнение командующего о своем интенданте в ходе ревизии только прочилось.

Естественно, текст этого рапорта был предварительно согласован Абакумовым с самим Витгенштейном. Незнатному и нечиновному директору провиантского департамента не было никакого резона ссориться с могущественным командующим, Витгенштейн же вовсе не собирался наказывать своего интенданта, которого любил и которому доверял.

Более того, чтобы спасти репутацию Юшневского, командующий решил на весьма рискованный поступок — отправляя императору подлинник рапорта Абакумова, приложил к нему свою «докладную записку»: «...имея счастье поднести при сем таковое донесение генерал-провиантмейстера Абакумова в подлиннике на Высочайшее Вашего Императорского Величества благоусмотрение, приемлю смелость, для поощрения генерал-интенданта вверенной мне армии 5-го класса Юшневского к дальнейшему усердию в прохождении многотрудной его должности, всеподданнейше испрашивать у Вашего Императорского Величества всемилостивейшего пожалования его чином 4-го класса»<sup>161</sup>.

Просьба Витгенштейна была удовлетворена — очевидно, император был доволен сокращением бюджета и не хотел обижать командующего. Рапорт Абакумова датирован 15 апреля 1823 года, а 24 мая Юшневский, согласно высочайшему приказу, стал «особой 4-го класса» — действительным статским советником<sup>162</sup>, тем самым сравнявшись в чине с генерал-майором Киселевым и самим Абакумовым.

Обстоятельства заставили генерал-интенданта стать еще осторожнее и прекратить эксперименты с армейским бюджетом. В 1825 году он, например, усматривал свою заслугу уже в том, что бюджет на следующий год составлен с «экономией» в 354 708 рублей 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> копейки<sup>163</sup>. Но, несмотря на «экономия» и постоянное заступничество Витгенштейна, в глазах высшего военного начальства Юшневский потерял прежнюю репутацию безупречного чиновника. За его действиями стали пристально следить — и делали это в обход командующего.

Вообще в 1823 году неприятности буквально преследовали штаб 2-й армии — ревизия Абакумова была лишь первой из них. Летом того же года состоялось событие, потрясшее не только армию, но и всё русское общество: Киселев убил на ду-



эли генерал-майора И. Н. Мордвинова, бригадного генерала 2-й армии.

Самый полный на сегодняшний день источник, описывающий знаменитую «генеральскую дуэль», — мемуары осужденного впоследствии по делу о тайных обществах Н. В. Басаргина<sup>164</sup>, бывшего в 1823 году доверенным лицом Киселева, его адъютантом и единственным свидетелем всей этой истории, оставившим воспоминания.

Причина дуэли была чисто служебная. Подполковник Ярошевицкий, командир входившего в состав бригады Мордвинова Одесского пехотного полка, «человек грубый, необразованный, злой», «дерзко и неприлично» обращавшийся с подчиненными, подвергся остракизму со стороны своих подчиненных: на дивизионном смотре офицер Рубановский избил его прямо перед строем, за что был арестован и вскоре сослан в Сибирь. «Частным образом» Витгенштейну и Киселеву стало известно, что подполковник был избит с согласия всех офицеров, негласно поддержанных Мордвиновым.

После этого «генерал Киселев, при смотре главнокомандующего, объявил генералу Мордвинову, что он знает всё это и что, по долгу службы, несмотря на их знакомство, он будет советовать графу, чтобы удалили его от командования бригадой»<sup>165</sup>. Мордвинов вскоре действительно потерял свою должность и был «назначен состоять при дивизионном командире другой дивизии».

Это и стало причиной ссоры: Мордвинов обвинил Киселева в «нанесении будто бы ему оскорбления отнятием бригады» и вызвал его на дуэль. Поединок состоялся 24 июня 1823 года. По свидетельству Басаргина, «Мордвинов метил в голову, и пуля прошла около самого виска противника. Киселев целил в ноги и попал в живот»<sup>166</sup>. Мордвинов был убит.

Ни для кого в штабе не было секретом, что «негодование» Мордвинова явилось следствием интриги. На смертном одре незадачливый дуэлянт сознался, что «был подстрекаем в неудовольствии своем» Рудзевичем и кругом близких к нему людей<sup>167</sup>. Бывший начальник штаба, человек жестокий и мстительный, не простил своего «удаления»; «недрузи» Киселева ждали, что либо он сам будет убит, либо отправлен в отставку за убийство Мордвинова.

От современников не укрылся и тот факт, что в интриге против Киселева Рудзевича поддержал Павел Пестель, к тому времени уже полковник и командир Вятского пехотного полка. «Злой гений Пестель требовал, чтобы Мордвинов дрался», — читаем в автобиографических записках А. О. Смирновой-Рос-

сет, племянницы сослуживца Пестеля по Вятскому полку декабриста Н. И. Лорера и доброй знакомой Киселева<sup>168</sup>.

Степень соответствия этого свидетельства истине оценить сложно: сама мемуаристка, конечно же, не имела к этой истории ровно никакого отношения. Более того, описывая дуэль, она допустила множество фактических ошибок, в частности утверждала, что секундantom Киселева был Юшневский. Но обращает на себя внимание тот факт, что в середине 1823 года резко прерывается начавшаяся еще в 1819-м доверительная переписка между Киселевым и Пестелем. Тогда же прекращается и обмен письмами Киселева с Рудзевичем, продолжавшийся с 1817 года<sup>169</sup>. Видимо, сам Киселев был уверен, что историю с Мордвиновым Рудзевич инициировал с помощью Пестеля.

И если ненависть Рудзевича к Киселеву в общем понятна, то участие в этой интриге командира Вятского полка объяснить непросто. Никаких видимых конфликтов между Пестелем и начальником штаба 2-й армии в тот период не было. Более того, Киселев к этому времени успел оказать тайному обществу немало услуг.

К середине 1823 года опасность вреда, который могла нанести заговорщикам штабная деятельность Киселева, оказалась весьма высока — намного значительнее принесенной им пользы. Даже уйдя в 1821 году из штаба, Пестель был прекрасно осведомлен о том, что происходило в Тульчине. Не укрылась от него и реакция Киселева на ревизию Абакумова. Пестель не мог не понимать, что Киселев в дальнейшем будет пристально следить за Юшневским и при первом удобном случае скомпрометирует его в глазах командующего. Этого руководитель заговора допустить никак не мог: отставка Юшневского означала немедленный крах всех надежд на организацию революционного похода на столицу.

Оказавшись перед выбором между полезным заговором, но не входящим в него Киселевым и жизненно необходимым организации, входящим в состав южной Директории Юшневским, Пестель сознательно отдает предпочтение второму и пытается убрать мешающее ему спокойно работать препятствие в лице первого. К этому следует добавить, что сам генерал-интендант, скорее всего, не был в курсе этой интриги. Юшневский, конечно же, не поддержал бы Пестеля в таком рискованном шаге; очевидно, что «деятельнейший директор» не поставил его в известность о своих планах.

Историк С. Н. Чернов отмечал, что в качестве возможного главнокомандующего революционной армией Пестель видел генерал-майора князя Сергея Волконского<sup>170</sup>. Это мнение

кажется справедливым: среди южных заговорщиков Волконский был самым знатным, самым известным, имел самый большой боевой опыт. Волконский был флигель-адъютантом императора, стал генерал-майором еще в 1813 году, был едва ли не первым «по числу лет, проведенных в звании», среди всех генерал-майоров 2-й армии. Кроме того, прославленный генерал в 1812 году командовал партизанским отрядом, а в ходе кампаний 1813—1814 годов уже в составе регулярной армии принимал участие в большинстве крупнейших сражений.

Но к 1823 году князь командовал всего лишь одной из трех бригад в составе 19-й пехотной дивизии, и, конечно, его шансы легитимно возглавить армию были минимальны. Иное дело, если бы удалось убрать Киселева с должности начальника штаба. Казалось, что у Волконского есть все шансы занять его место.

Правда, император явно недолюбливал Сергея Волконского — не мог забыть его «шалости» и «дурачества» довоенных и послевоенных лет. Но в 1823 году ситуация, видимо, изменилась. В частности, во время высочайшего смотра 2-й армии осенью 1823 года оказалось, что государь доволен бригадой князя, доволен тем, что бывший гвардейский «шалун» наконец-то взялся за ум. Согласно мемуарам самого Волконского, император после смотра сказал ему: «Твоя головушка прежде сего заносилась туда, где ей не надо было бы заноситься, но теперь я убедился, что ты принялся за дело, продолжай, и мне будет приятно это в тебе оценивать»<sup>171</sup>. В приказе по армии, изданном по итогам смотра, Волконскому была объявлена высочайшая благодарность<sup>172</sup>.

Можно предположить, что Пестель решил рискнуть: если бы Волконскому удалось заменить Киселева, для штабных заговорщиков сложилась бы уникальная ситуация, когда и начальник штаба, и генерал-интендант не просто оказывались в курсе существования заговора, но были бы его руководителями. И тогда именно Волконский мог бы повести армию на столицу — популярности и опыта ему было не занимать.

По справедливому замечанию исследователя Я. А. Гордина, «в данном случае столкновение двух генералов (Киселева и Мордвинова. — О. К.) было лишь острием большой борьбы — борьбы, в конечном счете, за власть над 2-й армией, а власть над 2-й армией была могучим фактором во всеимперской политической игре, ставка в которой была головокружительно высока»<sup>173</sup>.

Интрига против Киселева закончилась ничем, если не считать смерти Мордвинова. Император, согласно мемуарам Басаргина, известил Киселева, «что вполне оправдывает его пос-

тупок и делает одно только замечание, что гораздо бы лучше было, если бы поединок был за границей»<sup>174</sup>.

1823 год прошел для Пестеля и Юшневского под знаком подготовки вооруженного выступления. И эта подготовка, и последовавшая затем дуэль Киселева с Мордвиновым требовали от руководителей заговора максимального напряжения сил. Следующий, 1824-й — это, судя по документам, время, когда их активность в штабе явно пошла на спад. Более того, и в заговоре, и в штабе 2-й армии обоих директоров Южного общества начали преследовать неудачи, во многом явившиеся следствием их предшествующей слишком активной деятельности.

Пятнадцатого апреля 1824 года главнокомандующий Витгенштейн уехал в «дозволенный отпуск», из которого вернулся только 5 октября<sup>175</sup>. Обязанности командующего во время его отсутствия исполнял корпусный командир генерал-лейтенант Иван Васильевич Сабанев. В отпуске был и Киселев, оправданный царем в дуэльной истории: он побывал в Петербурге, где виделся с императором, потом уехал за границу.

Воспользовавшись отсутствием первых лиц в армейском штабе, в отпуск отправился и Пестель. Его не было в армии с 1 февраля по 29 июля 1824 года<sup>176</sup>. В марте он приехал в Петербург, чтобы лично установить контакт с лидерами Северного общества, договориться о слиянии и совместном выступлении. Начались, так сказать, вторые Петербургские, на сей раз объединительные, совещания декабристов.

Эти совещания неоднократно попадали в поле зрения исследователей движения<sup>177</sup>. С выводом М. В. Нечкиной: «Петербургские совещания 1824 года явились вехой крупнейшего значения во всём движении декабристов» — невозможно спорить. Но нельзя согласиться с другим ее утверждением: что итоги этих совещаний «надо признать весьма значительными»<sup>178</sup>. Совещания закончились полным провалом, и это было самое серьезное поражение Пестеля за все годы его пребывания в заговоре.

Объединение обществ не состоялось — во многом потому, что участники Северного общества «опасались честолюбивых... видов, или стремления к диктаторству» со стороны Пестеля. При этом самому Пестелю пришлось выслушать много нелестных слов о собственных методах руководства заговором на юге, о навязывании южным заговорщикам своего «диктаторства», требовании от них «слепого повиновения»<sup>179</sup>.

Объяснения с «северянами» закончились не только провалом объединительной идеи, но и разрывом личных отноше-

ний между Пестелем и Никитой Муравьевым, который, собственно, оказался главным противником этого объединения. Завершились совещания 1824 года знаменитым собранием северных заговорщиков на квартире Оболенского, на которое они пригласили и Пестеля.

«Главным предметом разговора было Временное Правление, против которого говорили наиболее Трубецкой, а также и Никита Муравьев. Они много горячились, а я всё время был хладнокровен до самого конца, как ударил рукою по столу и встал», — показывал Пестель на следствии<sup>180</sup>.

Объединение двух обществ было отложено до 1826 года. Единственным реальным результатом пребывания Пестеля в столице стало образование «северного филиала» Южного общества. По словам участвовавшего в его создании Матвея Муравьева-Апостола, южный лидер хотел «составить отдельное общество так, чтобы Северное его не знало»<sup>181</sup>.

Пестель попытался создать организацию, разделяющую его собственные программные и тактические установки. При этом он опирался на своих бывших однополчан-кавалергардов, многие из которых к тому же окончили, как и он, Пажеский корпус. Историк С. Н. Коржов справедливо утверждает: «Без наличия в Петербурге сильной организации, способной нанести решительный удар царской фамилии, захватить правительственные учреждения, провозгласить республику и объявить Временное правительство, восстание было бессмысленным и заранее обреченным на разгром»<sup>182</sup>. К этому утверждению следует добавить, что подобная организация должна была быть предана лично Пестелю и в случае победы революции в столице могла бы помочь ему достичь «высшей власти» в новой российской республике.

Согласно новейшим исследованиям, в состав филиала до конца 1825 года был принят 21 человек<sup>183</sup>. «Тайну» своей организации члены филиала не смогли скрыть от северных лидеров. Вскоре после отъезда Пестеля из Петербурга в филиале началась борьба за власть, приведшая к полному безвластию и практически парализовавшая деятельность организации. В результате многие члены филиала, извещенные о готовящемся выступлении 14 декабря 1825 года, оказались в этот день в рядах верных властям войск и принимали участие в подавлении восстания<sup>184</sup>.

Между тем в штабе 2-й армии в отсутствие Витгенштейна, Киселева и Пестеля разворачивались события, крайне неблагоприятные для Южного общества. Замещавший командующего генерал-лейтенант Сабанеев, очень близкий к Киселеву, никоим образом не сочувствовал «генеральской оппозиции»,

не был связан никакими «личными отношениями» с Пестелем и Юшневским и совершенно не собирався помогать им в штабных интригах.

Весной 1824 года Юшневский снова чуть было не лишился своей должности. На этот раз причиной скандала были вовсе не революционные устремления интенданта, а банальная халатность с его стороны.

Проводя несколькими месяцами ранее закупки провианта для армии, Юшневский не сумел должным образом «соблюсти» казенную выгоду — заключил контракт лишь с одним поставщиком, купцом Гальпериним, который первым «изъявил желание» участвовать в поставках. Скорее всего, генерал-интендант, занятый делами тайного общества, просто поленился дожидаться других желающих и сравнивать цены. В результате казна была вынуждена заплатить за продовольствие на 100 тысяч рублей больше.

После заключения контракта Юшневский быстро понял, что допустил ошибку, и, очевидно испугавшись расследования, «покаялся» Витгенштейну. Командующий, «дабы оные [известия] не дошли до Высочайшего сведения в превратном виде», перед отъездом в отпуск написал письмо начальнику Главного штаба армии И. И. Дибичу, в котором подтвердил правильность действий своего интенданта<sup>185</sup> — и этим, сам того не желая, инициировал формальное следствие против своего подчиненного. 9 мая 1824 года Сабанеев получил приказ Дибича «войти в ближайшее рассмотрение дела сего», сделать выводы и на их основании составить «уведомление» «для представления оного на Высочайшее усмотрение»<sup>186</sup>.

Сабанеев оказался в непростом положении. Он обратился к Дибичу с частным письмом, пытаясь объясниться с начальником Главного штаба не как «с чиновником государственным, но как со старым однослуживцем и сотоварищем». «Пробегая предварительно всё сие дело, — писал он, — находя в нем многие ошибки, вовлекшие казну в убыток до 100 тысяч рублей и более».

Но указывать на ошибки генерал-интенданта значило подставлять под удар Витгенштейна, одобрявшего деятельность своего подчиненного, а этого Сабанеев делать не хотел: «Но прилично ли мне уличать в ошибке главнокомандующего и оставлять документы такой улики в делах армии? Не может ли заключение мое быть ошибочным?» Сабанеев просил Дибича разрешить ему просто сообщить об обстоятельствах дела, не формулируя никаких выводов<sup>187</sup>. Но и без них обстоятельства явно свидетельствовали как против генерал-интенданта, так и против командующего.

Летом 1824 года Пестелю, вернувшемуся к своему полку, тоже пришлось пережить много неприятных минут в связи с деятельностью Сабанеева. И если в истории с Юшневским Сабанеев был осторожен, не хотел ни вызвать на себя гнев командующего, ни подвести его самого, то по поводу Пестеля он подобных сомнений не испытывал. В августе «исправляющий должность» командующего осматривал пехотные полки и нашел, что Вятский полк — худший «по фронтовому образованию» в 18-й пехотной дивизии и один из худших во всей армии, что и было объявлено в приказе по армии от 1 сентября 1824 года<sup>188</sup>. В принципе, вслед за этим вполне могла последовать отставка не справившегося с обязанностями полкового командира.

Для Пестеля, годом ранее получившего от самого императора благодарность за образцовое состояние полка, это, конечно, был тяжелый удар. Близкий к полковнику капитан Вятского полка Аркадий Майборода рассказывал на следствии, что история с приказом Сабанеева вызвала у Пестеля приступ раздражения и гнева. «Это не что иное означает, как натяжку; они хотят, чтобы я оставил полк, но им не удастся» — так, по словам Майбороды, Пестель комментировал этот приказ<sup>189</sup>.

И Пестеля, и Юшневского в 1824 году спасло скорое возвращение командующего из отпуска. Однако Сабанеев подал Витгенштейну целый список «неудовольствий» по поводу интенданта. Кроме того, через месяц после возвращения командующий получил от Дибича бумагу: «...Его Императорское Величество... изволил заметить большое упущение со стороны интендантства 2-й армии, коего действия вообще по сей операции нимало не доказывают того усердия, коим оно обязано долгом службы и сбережению государственных интересов, за что следовало бы генерал-интенданта 4-го класса Юшневского подвергнуть строгой ответственности и взысканию; но Его Величество, по снисхождению к отличной рекомендации Вашего Сиятельства о прежней его службе, Высочайше повелеть соизволит: сделать ему, Юшневскому, на сей раз выговор, и что Его Величество изволит оставаться в твердой надежде, что впредь подобных упущений и беспорядков во вред казне по интендантству, ему вверенному, не случится»<sup>190</sup>.

После возвращения Витгенштейна в штаб последовал новый виток интриг, направленных в первую очередь против отсутствующего в штабе генерала Киселева и опосредованно задевавших сочувствовавшего Киселеву Сабанеева. Вполне логично предположить, что Пестель и к этим интригам имел самое непосредственное отношение. Видимо, эта была завуалированная форма его мести Сабанееву и Киселеву.

Вернувшийся в декабре 1824 года в Тульчин начальник штаба обнаружил, что Витгенштейн гневается на него. Причину он без труда установил и сообщил в письме Дибичу: «Главкомандующий мне сообщил, что во время моего отсутствия его старались убедить, что расследования генерала Сабанеева об интендантстве 2 армии возбуждены вследствие принесенных мною жалоб императору, в последнюю мою поездку в столицу».

Иными словами, командующий был уверен, что Киселев, пытаясь ослабить позиции Юшневского в штабе, донес на него императору. Получалось, что Юшневский ни в чем не виноват и просто стал жертвой несправедливого доноса. Доносчиков же Витгенштейн ненавидел — и, как показало дело Стааля, всеми силами старался «удалить» их от себя.

«Эти обвинения, — писал Киселев Дибичу, — не подействовали бы на меня, если бы я не боялся, что недоброжелатели, пользуясь моим молчанием, с жаром стараются утвердить в их мыслях главнокомандующего. Потому считаю долгом открыто объявить, что император не имел со мною разговоров о хозяйстве армии». Киселев не желал «оставлять этой грязной сплетни в неопределенности» и требовал от Дибича «свидетельства» собственной невинности. Дибич вскоре прислал требуемое «свидетельство» — написал Витгенштейну, что Киселев к истории с Юшневским не имел никакого отношения<sup>191</sup>.

«Главкомандующий поймет грязную интригу лиц, чувствующих себя неловко в моем присутствии; но мое обращение с ними не изменится, пока я буду служить Родине и государю», — утверждал Киселев в «благодарственном» письме Дибичу<sup>192</sup>. Начальнику штаба опять удалось победить «недоброжелателей».

И опять сам генерал-интендант не имел к этой интриге ровным счетом никакого отношения. Последствия же ее оказались для него более чем плачевными: его отношения с Киселевым неминуемо должны были перерасти в личный конфликт.

Следует признать, что схватку с Киселевым и его окружением за власть в армии декабристы проиграли. Проиграли именно из-за авантюрных действий Пестеля: будучи верным союзником начальника штаба в 1819—1821 годах, получив за это чин полковника и должность полкового командира, в 1823-м он открыто примкнул к «генеральской оппозиции» против него, попытался убрать его из армии. Но Киселев остался на своем посту и из фигуры нейтральной превратился в личного врага заговорщиков. Летом 1825 года в разговоре со



своим старым приятелем Сергеем Волконским он заметил: «...напрасно ты запутался в худое дело»<sup>193</sup>.

Конечно, Пестель и его сторонники могли не бояться преследований с его стороны. Начальник штаба понимал, что раскрытие штабного заговора будет чревато серьезными последствиями и для него самого. После смерти Александра I в его кабинете нашли записку, из которой следовало, что император считал Киселева «секретным миссионером» тайных обществ<sup>194</sup>. В 1826 году генерал привлекался к следствию по делу декабристов и ему с трудом удалось доказать свою невиновность.

Но в случае начала революции Киселев, скорее всего, встал бы на пути заговорщиков, мог помешать поднять армию и повести ее на столицу. Личная обида на «грязных интриганов» никогда не позволила бы честолюбивому генералу открыто принять их сторону. И поэтому, комментируя впоследствии на допросе свои отношения с начальством 2-й армии, Пестель утверждал: арест Киселева входил «яко подробность в общее начертание революции»<sup>195</sup>.

Киселева, как и, скорее всего, не знавшего о заговоре Витгенштейна, предстояло в начале революции изолировать от войск. И генерал Волконский — если он действительно виделся Пестелю командиром революционной армии — должен был быть объявлен войскам в этом качестве уже перед самым походом. Это резко снижало шансы заговорщиков на успех, но другого выхода у Пестеля и его соратников просто не оставалось.

1825 год оказался еще более сложным, можно сказать, критическим для существования заговора в Тульчине. Для Юшневского год начался с чувствительного удара по самолюбию: в феврале Киселев получил от Витгенштейна столь страстно желаемое им право ревизии армейского интендантства. Видимо, Витгенштейн понял, что обозленный Киселев, имевший доступ к императору через его голову, может стать личным врагом не только генерал-интенданта, Рудзевича и Пестеля, но и его самого.

Киселев, проведя инспекцию интендантства, составил две «докладные записки» на имя Витгенштейна, в которых сообщал о «неблагоустроенном течении дел по интендантскому управлению и о необходимости прибегнуть наконец к мерам решительным, могущим отвратить дальнейшую по сему управлению запутанность и вместе с тем личную ответственность Вашего сиятельства»<sup>196</sup>.

Главное упущение Юшневского Киселев усмотрел в том, что «все подведомственные места и лица генерал-интенданту не устроены и не состоят в законном порядке». «Генерал-интендант армии, действуя часто одним своим лицом, без посредства провиантской комиссии, и сносясь с полками, командами и проч., обременен чрез то бесполезною перепискою в то время, как самая комиссия и корпусные комиссионерства, обязанные в особенности пещтись о успешном продовольствовании войск, остаются без прямых занятий и без должного за действиями оных надзора». Кроме того, он указал на запутанность дел в интендантской канцелярии и на фактическую невозможность контроля за деятельностью генерал-интенданта. Начальник штаба предлагал «обратить» «ход дел» в канцелярии Юшневского «к законному их течению»<sup>197</sup>.

Конечно, Киселев был совершенно прав: концентрация всей власти над интендантством и всей документации в руках генерал-интенданта отнимала у него много времени и сильно осложняла его работу. Независимый контроль его деятельности тоже был невозможен, поскольку все документы концентрировались в его руках. Но очевидно, что Юшневскому-заговорщику ни в коей мере не были нужны ни лишние глаза и уши в собственной канцелярии, ни контроль над ним. Вообще же «законный ход дел» в ведомстве возглавлявшего антиправительственный заговор генерал-интенданта был просто невозможен.

Для улучшения «хода дел» в интендантстве Киселев предлагал доукомплектовать ведомство Юшневского недостающими кадрами, поставив чиновников под строгий надзор армейского начальства, и контролировать самого генерал-интенданта<sup>198</sup>.

Впрочем, хотя Витгенштейн и утвердил предложенные Киселевым меры, эти «докладные записки» оказались пустой формальностью. Единственной «мерой», которую счел нужным принять Витгенштейн, было утверждение в должности армейского генерал-провиантмейстера «исправлявшего» ее чиновника 7-го класса Трясцовского. Генерал-провиантмейстер возглавлял полевую провиантскую комиссию и был ближайшим подчиненным генерал-интенданта, его «первым заместителем». Сам же Юшневский вскоре был представлен к «ордену Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени» — и император снова подписал соответствующий указ<sup>199</sup>.

Стоило затихнуть истории с «записками» Киселева, как резко обострилась ситуация в самом тайном обществе. Летом 1825 года Пестель оказался на грани ареста — он запутался в собственных финансовых махинациях.

Впоследствии, когда Южное общество было разгромлено, было предпринято особое следствие, обвинявшее Пестеля в служебных преступлениях. Разбирательство тянулось очень долго: начавшись в феврале 1826 года, оно продолжилось и после смерти главного обвиняемого, а завершилось лишь в 1832-м. Казенные и частные «претензии» на Пестеля были заявлены на сумму около 60 тысяч рублей ассигнациями.

С помощью этих денег командир Вятского полка пытался (и достаточно успешно) подкупить своих непосредственных начальников: командира 18-й пехотной дивизии, в состав которой входил его полк, генерал-лейтенанта князя А. В. Сибирского и бригадного начальника генерал-майора П. А. Кладичева<sup>200</sup>. К концу своей заговорщической деятельности Пестель мог быть полностью уверен, что они не смогут эффективно противиться будущей революции.

С 1824 года главным помощником Пестеля в его финансовых операциях стал капитан Вятского полка Аркадий Майборода, принятый им в Южное общество и впоследствии предавший заговор. Осенью того же года Пестель послал его в Московскую комиссариатскую комиссию — получить для полка вещевое довольствие и шесть тысяч рублей. При этом другой офицер полка, полковой казначей капитан Бабаков, был отправлен командиром в город Балту, в тамошнюю комиссариатскую комиссию, с той же целью. Пользуясь неразберихой в системе организации вещевого довольствия армии, командир вятцев хотел дважды получить деньги на одни и те же расходы.

План Пестеля не удался: выплаченные в Москве деньги капитан Майборода попросту присвоил и в начале лета 1825 года вернулся в полк без них. Таким образом, руководитель заговора оказался в полной зависимости от растратчика. Он покрыл поступок капитана, поскольку его разоблачение автоматически приводило к краху всего заговора. Растрату необходимо было восполнить, в противном случае история с двойной выдачей денег могла вскрыться в любой момент. Между тем сам Пестель был беден, жил только на жалованье<sup>201</sup>.

Юшневский, скорее всего, имел представление о финансовых операциях Пестеля: пытаясь найти деньги, тот обратился за помощью именно к нему. В июле 1825 года командир Вятского полка послал к генерал-интенданту своего денщика с просьбой «по секрету взять от него денег». Но к Юшневскому посланец Пестеля не попал — князь Александр Бярятинский «отправил его обратно к Пестелю с запискою, что г. Юшневского не было в Тульчине»<sup>202</sup>. Сведениями о том, что генерал-интендант отлучался в это время из Главной квартиры, мы не

располагаем; более того, если он всё же уезжал, ничего не мешало ему дать деньги после приезда. Но, судя по материалам полкового следствия, Пестелю до самого своего ареста не удалось покрыть растрату Майбороды. Скорее всего, Юшневский просто не захотел выполнить его просьбу.

Финансовая нечистоплотность руководителя заговора, поставившая всю тайную организацию на грань провала, вряд ли могла вызвать сочувствие у честного генерал-интенданта. С лета 1825 года отношения между членами Директории стали весьма напряженными. Они прервали личные контакты и общались только в самых крайних случаях через специальных, особо доверенных курьеров.

Тогда же, летом 1825 года, согласно показаниям члена Южного общества квартирмейстерского подпоручика Владимира Лихарева, став членом тайного общества пожелал начальник военных поселений юга России, генерал-лейтенант граф И. О. Витт. Через своего «доверенного человека», помещика А. К. Бошняка, знакомого с Лихаревым, он выведал тайны заговорщиков, а потом сообщил им, что для исполнения их предприятия «предлагает содействие всех поселений». При этом Витт не хотел быть в заговоре «второстепенным лицом» и потребовал, «чтобы всё ему было открыто»<sup>203</sup>. В общество его не приняли. И тогда 18 октября генерал специально приехал в Таганрог, чтобы донести на заговорщиков императору Александру I<sup>204</sup>.

История доноса Витта на декабристов, несмотря на почти столетнее исследование, до сих пор до конца не выяснена. Почти все историки, занимавшиеся этим доносом, утверждали, что и Витт, и его агент Бошняк были провокаторами, задачей которых было «вывесть» состав тайного общества и предать его правительству<sup>205</sup>. Пестель же, получивший заманчивое предложение Витта, был не столь однозначен в его оценке. На следствии он показывал, что это предложение «не было принято, но и не было решительно отвергнуто»<sup>206</sup>.

Генерал-лейтенант граф Иван Осипович Витт (1781—1840) — человек яркий и неординарный. Его личный архив, к сожалению, не сохранился — и поэтому мнение о нем можно составить прежде всего по воспоминаниям современников. Сын польского офицера и знаменитой в свое время красавицы и авантюристки гречанки Софьи Потоцкой, Витт был человек крайне тщеславный. «Полный огня и предприимчивости, как родовитый поляк», Витт «с греческою врожденною тонкостью умел умерять в себе страсти и давать им даже вид привлекательный» — так характеризовал генерал-лейтенанта проницательный мемуарист Ф. Ф. Вигель, добавляя, что его «умствен-

ная и телесная» деятельность «были чрезвычайны: у него ртуть текла в жилах»<sup>207</sup>.

Вся жизнь генерала Витта — это головокружительная авантюра, связанная с разведывательной деятельностью. С юных лет он служил в русской гвардии, принимал участие в военных действиях начала XIX века, под Аустерлицем (1805) был контужен, в 1807 году вышел в отставку. В 1809 году Витт перешел на сторону Наполеона и снова начал воевать — на этот раз в составе французской армии. В 1811-м он — тайный агент Наполеона в Великом герцогстве Варшавском.

В 1812 году Витт вернулся в Россию, сформировал на свои деньги несколько казачьих полков и с ними прошел всю Отечественную войну. Император Александр никогда не считал его изменником и не поминал прошлое: видимо, у Наполеона генерал исполнял его собственные задания. После войны Витт командовал крупными воинскими соединениями, внедрял в России военные поселения — и неизменно выполнял конфиденциальные поручения императора. «Секретной» шпионской деятельностью он активно занимался и позднее, при Николае I<sup>208</sup>.

Анализируя биографию графа Витта, шпиона и доносчика, можно прийти к парадоксальному выводу: по мироощущению он был близок к многим декабристам. Ему тоже было тесно в рамках сословного бюрократического общества, и эти рамки он пытался преодолеть. Эту «особость» генерала вполне чувствовали и власти: несмотря на все услуги, оказанные Виттом императору, ему не доверяли, подозревали в неблагонадежности. Так, например, когда в 1826 году цесаревич Константин Павлович узнал о существовании в России военного заговора, то решил, что организовал его именно граф Витт. Константин утверждал: «Я полагаю, что всё это дело не что иное, как самая гнусная интрига генерала Витта, лгуна и негодяя в полном смысле этого слова; всё остальное одни прикрасы... Генерал Витт такой негодяй, каких свет еще не произволил, религия, законы, честность для него не существуют; словом, этот человек, как выражаются французы, достойный виселицы»<sup>209</sup>.

Несмотря на то что Витт донес на заговорщиков императору, следствие очень интересовалось степенью осведомленности генерала в делах тайного общества. Южных декабристов неоднократно и подробно допрашивали о их взаимоотношениях с Виттом.

Генерал Витт был близким другом другого генерала, Сергея Волконского. Размышляя впоследствии об агенте Витта Бошняке, тот заметит: «При его образованности, уме и жажде деятельности помещичий быт представлял ему круг слиш-

ком тесный. Он хотел вырваться на обширное поприще — и ошибся»<sup>210</sup>. Видимо, эта фраза вполне применима и к самому Витту, с той лишь разницей, что он не был помещиком.

Конечно, генерал Витт был предателем и с этой точки зрения не заслуживает никакого исторического оправдания. Но и Пестелю высокие идеалы не мешали организовывать в армии тайную полицию и следить за инакомыслящими. Витт был интриганом — но и те декабристы, которые имели хотя бы минимальную возможность влиять на армейскую политику, тоже вольно или невольно участвовали в интригах. Пестель был интриганом гораздо меньшего масштаба, чем Витт, но только потому, что обладал гораздо меньшей значимостью в обществе и армии.

Цесаревич Константин, считавший Витта беспринципным негодяем, «достойным виселицы», схоже характеризовал и Пестеля: «У него не было ни сердца, ни увлечения; это человек холодный, педант, резонер, умный, но парадоксальный и без установившихся принципов»<sup>211</sup>.

О политических взглядах генерала мы ничего не знаем. Однако почему бы не предположить, что поляку Витту не была безразлична судьба его родины? Другом генерала был великий польский поэт, участник освободительного движения Адам Мицкевич. В доносе на декабристов Витт противопоставлял «неблагонадежным» заговорщикам вполне «безупречного» Мицкевича. В конце 1824 года он хотел вступить в Польское патриотическое общество, тесно связанное с декабристскими организациями и стремившееся к независимости Польши. В польский заговор Витта не взяли — очевидно, боясь его авантюрной натуры. Однако в 1825 году, подавая свой донос, генерал не включил в него известные ему факты деятельности Польского патриотического общества<sup>212</sup>.

Кроме того, у Витта были веские личные причины вступить в заговор: как раз в это время у него возник острый конфликт со знаменитым александровским временщиком Аракчеевым, начальником всех российских военных поселений. Согласно мемуарам того же Волконского, Витту необходимо было «выпутаться из затруднительной ответственности по растрате значительных сумм по южному военному поселению, состоявшему в его заведовании»<sup>213</sup>.

Конечно, факт растрат характеризует Витта однозначно негативно — но такого же рода деятельность не мешала Пестелю испытывать «восхищение и восторг», размышляя о будущем счастье республиканской России<sup>214</sup>. Вообще однозначно «хороших» или «плохих» людей практически не было ни в лагере декабристов, ни в лагере их идейных противников.

Адам Мицкевич, впоследствии специально собиравший сведения о деятельности Витта, утверждал: вступив в контакт с заговорщиками, генерал первоначально не собирался становиться доносчиком, «не спешил предупредить правительство», а сделал это только тогда, когда узнал о существовании доноса, поданного «на Высочайшее имя» его подчиненным, унтер-офицером поселенных войск Иваном Шервудом<sup>215</sup>, сумевшим вкратце в доверие к декабристу Федору Вадковскому и выведать у него много сведений о тайном обществе в целом и о Пестеле в частности.

Как показывают исследования, история с Шервудом в данном случае ни при чем — донос Шервуда от Витта тщательно скрывали, вести следствие Александр I поручил врагу Витта Аракчееву<sup>216</sup>. Представляется, что причина поступка Витта в другом — в неадекватной реакции заговорщиков на его предложение.

Главным противником принятия генерала в тайное общество оказался Алексей Юшневский. Генерал-интендант не считал возможным довериться растратчику и «шарлатану». Он резко возражал против принятия Витта в заговор, говорил, что цель генерала — «подделаться правительству», «продав» заговорщиков «связанными по рукам и ногам, как куропаток». Согласно показаниям Юшневого на следствии, он «не верил» предложению генерала и «признавал необходимым» «прекратить существование самого общества»<sup>217</sup>.

Однако то, что, по мнению генерал-интенданта, характеризовало человека негативно, вызвало у Пестеля не столь однозначную реакцию. Для Пестеля растраты вовсе не являлись поводом для того, чтобы не принимать генерала в заговор. Кроме того, Пестель знал Витта лично и, видимо, ценил; в 1819 году, поссорившись с Киселевым, он хотел перейти на службу в штаб Витта, а в 1821 году даже чуть было не женился на его дочери. Пестель был склонен принять предложение Витта: поддержка революции на юге военными поселениями значительно увеличила бы шансы заговорщиков на успех, особенно в ситуации их открытой вражды с генералом Киселевым.

Конечно, Пестель тоже понимал, что Витт в принципе может оказаться предателем. Но человек, опасющийся ответственности за финансовые преступления, будет, скорее всего, хранить верность заговорщикам, поскольку успех их «предприятия» поможет ему избежать ответственности. Судя по взаимоотношениям Пестеля с его дивизионным и бригадным начальниками, именно так лидер заговора и думал, и действовал.

Решительных возражений Юшневского Пестель не принял. «Ну, а ежели мы ошибаемся? Как много мы потеряем» — так, судя по мемуарам Лорера, Пестель ответил на доводы генерал-интенданта<sup>218</sup>. Пестелю очень хотелось принять Витта в общество — и, конечно, помешал ему в этом только решительный отказ Юшневского.

В истории с Виттом Пестель и Юшневский всё же достигли некоего консенсуса. Согласно мемуарам Волконского, южные руководители договорились «стараться отклонять» предложение Витта, «не оказывая недоверия, но выказывать, что к положительному открытому уже действию не настало еще время, а когда решено будет, то, ценя в полной мере предложение Витта, оное принимается с неограниченною признательностью»<sup>219</sup>. Видимо, получив подобный ответ, Витт и написал донос на тайное общество.

На следствии Юшневский показал, что «после предложения графа Витта» он разочаровался в тайном обществе и «ожидал только конца 1825 года, дабы просить увольнения для определения к другим делам и, под сим предлогом удалившись, прекратить сношение с обществом и всякое помышление о его цели»<sup>220</sup>.

Это его показание подтверждается теми участниками заговора, которые были близки к генерал-интенданту в конце 1825 года. Так, служивший в штабе и состоявший в Южном обществе штаб-лекарь Фердинанд Вольф передал следствию слова, лично слышанные им от Юшневского: «Да я того и смотрю, как бы оставить общество. Бог с ним совсем». При этом генерал-интендант категорически запретил общаться с Пестелем своему брату Семену<sup>221</sup>.

1825 год был кризисным не только для генерал-интенданта, но и для Пестеля. Согласно мемуарному свидетельству князя С. Г. Волконского, еще в конце 1824-го Пестель объявил ему, что решил сложить с себя «обязанности председателя Южной думы» и уехать за границу. Согласно мемуаристу, Пестель был уверен, что только так сможет развеять «предубеждения» против себя, доказать, что он не честолюбец, «который намерен половить рыбку в мутной воде»<sup>222</sup>.

За границу Пестель не уехал, но в начале 1825 года сообщил своему другу Василию Ивашеву, «что хочет покинуть общество», Александру Бярятинскому сказал, «что он тихим образом отходит от общества, что это ребячество, которое может нас погубить, и что пусть они себе делают, что хотят». В ноябре, судя по мемуарам Николая Лорера, Пестель заговорил о необходимости «принести государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимос-



ти разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений и прав, каких мы добиваемся»<sup>223</sup>.

Сам Пестель показывал на следствии: «В течение 1825 года стал сей (революционный. — *О. К.*) образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно уже было совершить благополучно обратный путь. “Русская Правда” не писалась уже так ловко, как прежде. От меня часто требовали ею поспешить, и я за нее принимался, но работа уже не шла, и я ничего не написал в течение целого года, а только прежде написанное кое-где переправлял. Я начинал сильно опасаться междуусобий и внутренних раздоров, и сей предмет сильно меня к нашей цели охладевал»<sup>224</sup>.

Даже с учетом того, что и Пестель, и Юшневский наверняка преувеличивали на допросах степень своих колебаний и сомнений, можно сделать однозначный вывод: в конце 1825 года оба лидера явно устали. Необходимость, с одной стороны, многолетней конспирации, а с другой — постоянного участия в штабных интригах и коррупции не могла не оказать влияния и на такие сильные натуры.

Устали и другие главные действующие лица заговора на юге. В рядах организации не было единства: не удалось договориться о совместных действиях ни с Северным, ни с Польским патриотическим обществом. Южное общество разваливалось, и это стало очевидным во время ежегодного, уже четвертого, съезда руководителей управ в январе 1825 года в Киеве. Декабрист Александр Поджио на следствии показывал: «Муравьев и Бестужев не приезжали в Киев по запрещению корпусным их командиром... я имел также свои развлечения, Давыдов дела, Волконский свадьбу — словом, всё это приводило Пестеля в негодование, и он мне говорил: “вы все другим заняты, никогда времени не имеете говорить о делах”»<sup>225</sup>.

Иными словами, разговор явно «перезрел». Стало ясно, что еще немного — и он может совсем развалиться или просто будет раскрыт правительством. Наступал решающий момент: заговорщики должны были или разойтись, или начать действия. Документы свидетельствуют: несмотря на все колебания и сомнения, оба южных лидера выбирают второе. Революция в России была целью их жизни, и отказаться от этой цели они, скорее всего, не могли.

С лета 1825 года Пестель начал усиленно готовить революционное выступление. Его дата постоянно менялась и уточнялась. И, наконец, в ноябре, после того как заговорщики уз-

нали о смерти императора Александра I, выступление было назначено на 1 января 1826 года.

О существовании «плана 1-го генваря», как называли его сами заговорщики, хорошо известно историкам. Упоминания о нем присутствуют на страницах показаний большинства служивших в штабе 2-й армии членов Южного общества. Однако конкретное содержание этого плана осталось неизвестно исследователям. Декабристы на следствии старались говорить на эту тему как можно меньше. Чтобы это конкретное содержание выявить, необходимо вновь обратиться к методу исторической реконструкции и попытаться совместить официальные показания заговорщиков на следствии с документами, характеризующими их служебную деятельность в конце 1825 года.

Документы свидетельствуют: первой проблемой, с которой столкнулся Пестель при разработке плана революционного выступления 2-й армии, была проблема координации действий главных участников организации. В то время в Тульчине (Подольская губерния) служил только Юшневский, а остальные руководители заговора находились в различных населенных пунктах Киевской губернии. Сам Пестель, получив в 1821 году под свою команду Вятский полк, переехал из Тульчина в селение Линцы, место дислокации армейского штаба. Далеко от Тульчина служил и генерал Волконский: штаб 19-й пехотной дивизии, которой он временно командовал, находился в Умани. В деревне Каменке жил отставной полковник Василий Давыдов. Недалеко от Киева, в городе Василькове, служил председатель Васильковской управы подполковник Сергей Муравьев-Апостол. Он не был посвящен в планы Пестеля, но горел желанием немедленного «революционного действия». Его надо было постоянно держать под контролем, «дабы по случаю тогдашних обстоятельств он не начал бы неосторожно»<sup>226</sup>.

Чтобы решить проблему взаимодействия с остальными руководителями заговора, в конце октября 1825 года Пестель ушел с должности председателя Тульчинской управы Южного общества, которую оставил за собой в момент основания общества. Председателем управы по его настоянию и с согласия Юшневского был назначен штабс-ротмистр Барятинский, старший адъютант командующего, «слепо и беспрекословно» преданный Пестелю<sup>227</sup>.

Барятинский должен был находиться «в непосредственной зависимости» от постоянно присутствовавшего в Тульчине Юшневского, выполнять все его приказания. При назначении Пестель дал ему «наставления» «стараться поддерживать дух

в членах, говорить с ними чаще о делах общества, и для того их по несколько собирать». Главной же задачей нового председателя было «устроить коммуникацию» между Тульчином и Линцами<sup>228</sup>.

Именно в это время из в целом аморфного состава Тульчинской управы выделяется, по определению С. Н. Чернова, «более или менее спаянный кружок» молодых офицеров-квартирмейстеров, лично преданных председателю Директории. Позже, на следствии, участники этого кружка проявили нехарактерные для большинства декабристов «выдержанность и крепость» — и это, по мнению Чернова, «показывает, какую надежную силу имел в своем распоряжении Пестель»<sup>229</sup>.

Этот кружок, в который входили Н. А. Крюков, А. И. Черкасов, Н. А. Загорецкий, Н. Ф. Заикин, братья Н. С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины, признал начальство Бяратинского, и его члены начали осуществлять столь необходимую для успешного начала революции «коммуникацию»<sup>230</sup>.

Представляется, что активность их была обусловлена не только необходимостью осуществлять связь между главными действующими лицами заговора. Уместно предположить, что именно им предстояло проложить маршрут мятежной армии на столицу. В задачу квартирмейстеров входило прежде всего определение «военных дорог», по которым предстояло двигаться армии. Они же должны были выяснить места возможных стоянок войск, пути подвоза к этим местам продовольствия — без этого поход не мог даже начаться.

И тульчинским квартирмейстерам была в 1825 году предоставлена неплохая возможность выполнить эту работу: и в окрестностях Тульчина, и в Подольской и Киевской губерниях шли топографические съемки местности, в которых все они так или иначе были задействованы. Таким образом, они могли исполнять поручения руководства заговора почти легально, свободно передвигаясь по тем губерниям, по которым должна была пройти мятежная армия. Сохранилось свидетельство квартирмейстерского поручика Николая Бобрищева-Пушкина, что в курсе предположений Пестеля был даже генерал-квартирмейстер 2-й армии генерал-майор Хоментовский<sup>231</sup>.

Но для организации похода на столицу прокладки маршрута было мало. Предстояло обеспечить армию продовольствием. И здесь особая ставка была сделана на Юшневского, поскольку продовольственное обеспечение войск было его прямой обязанностью. И действия Юшневского во второй половине 1825 года свидетельствуют о том, что он на самом деле активно готовился к походу. Как и положено генерал-интенданту, он начал — в рамках своих возможностей — концент-

рировать запасы продовольствия и фуража на узловых точках будущего сбора войск.

Согласно документам 2-й армии, на территории ее дислокации — в Подольской, Херсонской, Киевской и Екатеринославской губерниях, а также в Бессарабской области — находилось 50 армейских «магазинов»<sup>232</sup>. Процесс заготовки продовольствия в них был достаточно длительным. Он обычно начинался в первых числах августа текущего года с издания приказа по армии, содержащего составленный генерал-интендантом «План продовольствия войск» и «Объявление о торгах, магазинах и армейских потребностях» на будущий год. В этих документах четко оговаривалось число «магазинов» и потребности каждого из них, а также содержались «кондиции» — условия, на которых армейское руководство готово было заключать контракты на поставки. Вслед за этим назначались даты торгов, к участию в которых приглашались все желающие поставлять для армии хлеб и фураж.

Приказы по 2-й армии за 1820-е годы сохранились в полном объеме, и поэтому есть возможность сравнить разработанные Юшневским «Планы» и «Объявления» на 1825 и 1826 годы. При сопоставлении этих документов выясняется любопытная подробность: объявляя «потребности» на 1826 год, Юшневский сильно сократил количество продовольствия и фуража в девяти из двенадцати «магазинах» в пограничной Бессарабской области. При этом происходила концентрация запасов в расположенных весьма далеко от турецкой границы Одессе, Тульчине и Каменец-Подольском, Балте: объемы «магазинов» в первых трех пунктах в 1826 году должны были по сравнению с предыдущим годом вырасти на треть, в четвертом — вдвое<sup>233</sup>.

И если бы высшее военное начальство пожелало сравнить наполнение «магазинов» в 1825 и 1826 годах, Юшневский мог лишиться свободы уже в августе 1825-го. Как уже говорилось, 2-я армия защищала протяженную границу с Турцией. С начала 1820-х годов война с турками могла вспыхнуть в любую минуту (в 1828-м она на самом деле началась). Кроме того, еще за год до того армейское начальство обращало внимание на «недостаток» провианта в бессарабских «магазинах»<sup>234</sup>.

Оголяющий и без того полупустые приграничные склады генерал-интендант мог оказаться под подозрением уже не в служебных упущениях, а в государственной измене.

Из этих приготовлений можно сделать вывод и о предполагаемом маршруте движения мятежной армии. Главная тактическая проблема, которую предстояло решить, — дойти до Петербурга, не столкнувшись по дороге с оставшимися верными

правительству частями 1-й армии. Расквартированная в западных губерниях, 1-я армия по численному составу в несколько раз превосходила 2-ю. При этом заговор пустил глубокие корни лишь в одном из пяти ее корпусов — в 3-м пехотном. В состав этого корпуса входил, в частности, Черниговский пехотный полк, в котором командовал батальоном Сергей Муравьев-Апостол. Большинство членов Васильковской управы тоже служили в полках этого корпуса. В остальных корпусах членов заговора практически не было. Руководители же армии — командующий Ф. В. Остен-Сакен и начальник штаба К. Ф. Толь (сменивший в этой должности Дибича) — славились среди современников жестокостью и консервативностью.

Ситуация усугублялась еще и тем, что революционной 2-й армии после выхода из зоны своей дислокации предстояло воспользоваться продовольственными складами соседей. Между тем из южных губерний в Петербург вели всего пять больших дорог, по которым могла пройти армия: через Житомир, Киев, Полтаву, Харьков и Каменец-Подольский<sup>235</sup>. При этом Полтава и Харьков находились далеко от войск 2-й армии. В Киеве же и Житомире находились штабы корпусов 1-й армии, и идти туда было крайне рискованно. Оставалось одно направление — на Каменец-Подольский. Дорога, которая вела из него в Петербург, шла по западным границам России и позволяла миновать места сосредоточения крупных соединений 1-й армии.

Именно в Каменец-Подольском Юшневский устроил самый большой армейский «магазин». Согласно плану поставок на 1826 год, именно туда должно было быть свезено наибольшее количество хлеба и фуража. Видимо, другие города, в которых находились крупные «магазины», должны были стать местами сбора войск, направлявшихся в Каменец-Подольский.

Согласно приказам по 2-й армии, торги на 1826 год проходили в октябре 1825-го. По условиям этих торгов генерал-интендант имел полное право «закупить продовольствие вдруг на несколько месяцев или на целый год»<sup>236</sup>. И хотя документы о том, как конкретно происходило заполнение армейских магазинов, не сохранились, можно с большой долей уверенности утверждать, что Юшневский этим своим правом воспользовался. Все поставки на 1826 год должны были быть окончены к 25 декабря 1825-го — после этого срока поход можно было начинать в любой момент. И выступление 1 января представляется в этом контексте весьма оправданным.

После того как был проложен маршрут и запасено продовольствие для похода, можно было начинать приготовления к выступлению армии. Пестель не случайно хотел начать действия в первый день 1826 года. В этот день Вятский полк заступал в караул в армейском штабе в Тульчине. Придя в Тульчин, вятцы должны были прежде всего арестовать армейское начальство. Обобщив показания тульчинских заговорщиков, следствие пришло к выводу, что «Пестелем и его главными соумышленниками было положено 1 генваря нынешнего года по вступлении Вятского полка, коим Пестель командовал, в караул в Тульчине арестовать главнокомандующего 2-й армии и начальника штаба и тем подать знак к возмущению»<sup>237</sup>. Видимо, именно тогда командиром мятежной армии мог быть объявлен генерал Волконский.

Однако Витгенштейн и Киселев, предупрежденные о готовящемся восстании, могли тайно уехать из Тульчина. Поскольку походу на столицу надо было обеспечить максимальную легитимность, войска не должны были знать о незаконном смещении командующего и начальника штаба; но, оставленные на свободе, те неминуемо сообщили бы войскам о незаконности действий Пестеля и его единомышленников, чем могли вызвать неповиновение подразделений приказам новых командиров. Поэтому в середине ноября Пестель через Бярятинского передал тульчинским квартирмейстерам еще одно распоряжение — наблюдать за тем, «чтобы его сиятельство главнокомандующий и господин начальник штаба не скрылись и тайком не уехали». Пестель предупредил, что за неисполнение приказа тульчинские заговорщики будут «отвечать головою»<sup>238</sup>.

Конечно же, составной частью «плана 1-го генваря» по-прежнему были переворот в столице и цареубийство, только Пестель думал, что убивать теперь пришлось бы императора Константина — о том, что цесаревич отказался от престола, он до своего ареста так и не узнал. Но на этот раз Пестель не собирался вводить в курс дела северных лидеров. Не надеясь на помощь с их стороны, он, согласно плану, предполагал сразу же после начала революции оставить свой полк майору Лореру и в сопровождении Бярятинского ехать в столицу<sup>239</sup>. Очевидно, что он решил самостоятельно поднять и петербургское восстание с помощью тех, кто сочувствовал его идеям или был предан ему лично.

В Петербурге Пестель хотел опереться прежде всего на бывших однополчан-кавалергардов. В Кавалергардском полку служили большинство членов южного филиала на Севере. Кроме того, одним из трех кавалергардских эскадронов

командовал ротмистр Владимир Пестель. Пестель-младший, скорее всего, поддержал бы восстание — не из-за сочувствия идеям заговора, а по дружбе к старшему брату<sup>240</sup>.

Безусловно, были у руководителя заговора серьезные надежды и на командира гвардейской бригады генерал-майора Сергея Шипова — его близкого друга и родственника, члена Союза спасения и Союза благоденствия. Шипов отошел от заговора после 1821 года, но всё равно до конца рассматривался Пестелем как военный министр во Временном правительстве<sup>241</sup>. Бригада Шипова состояла из трех полков: Семеновского, Лейб-гренадерского и Гвардейского морского экипажа. «Старшим полковником» Преображенского полка был брат Сергея Шипова Иван, на квартире которого во время «петербургских совещаний» 1820 года обсуждалась возможность цареубийства.

Суммируя все имеющиеся сведения о действиях Пестеля и его единомышленников, можно сделать вывод: «план 1-го января» вполне мог бы быть воплощен в реальные действия, и с исполнения этого плана вполне могла начаться российская революция. Недаром Пестель в ноябре 1825 года высказывал уверенность в том, что возможные аресты заговорщиков и даже его самого не могут «остановить» ход «общественных дел». «Пусть берут, теперь уж поздно!» — сказал он члену общества подпоручику Заикину, приехавшему к нему с «конфиденциальными поручениями» из Тульчина<sup>242</sup>.

Как известно, революционный поход на столицу не был осуществлен. Смерть императора Александра I намного усложнила ситуацию. Катастрофической ее сделал вал доносов на членов Южного общества, и прежде всего доносы генерала Витта и капитана Майбороды. Аресты провел специально присланный Дибичем опытный военный разведчик и следователь Александр Чернышев.

Правда, о цели приезда Чернышева в Тульчин заговорщики узнали заранее. За два дня до ареста Пестеля на квартиру к генерал-интенданту Юшневскому пришел некий «неизвестный», который передал ему записку примерно следующего содержания: «Капитан Майборода сделал донос государю о тайном обществе, и генерал-адъютант Чернышев привез от начальника Главного штаба барона Дибича к главнокомандующему 2-ю армиею список с именами 80-ти членов сего общества; потому и должно ожидать дальнейших арестований»<sup>243</sup>.

Сейчас уже невозможно установить наверняка, кто именно передал записку Юшневскому. Ясно, что предупреждение об

опасности не могло исходить от Чернышева, а Витгенштейна в тот день не было в штабе. Единственным человеком, который мог послать гонца, был генерал Киселев. И это была последняя услуга, оказанная им заговору; далее начальник армейского штаба очень активно сотрудничал с Чернышевым.

Юшневский, конечно, сразу же предупредил об опасности Пестеля. Сведения о практически неминуемом аресте в Линцы, где находился штаб Вятского полка, привезли два квартирмейстерских офицера-заговорщика, Николай Крюков и Алексей Черкасов<sup>244</sup>. Пестель сжег практически весь свой личный архив. Впоследствии в процессе проведенного в его доме обыска не было обнаружено ни одного противозаконного документа, как и при обыске у Юшневого.

Двенадцатого декабря Пестеля вызвали в Тульчин, а на следующий день арестовали. Приказ о начале выступления он не отдал, предпочитая, по словам майора Вятского полка Лорера, «отдаться своему жребию»<sup>245</sup>. Эта внезапная покорность южного лидера вызвала и продолжает вызывать удивление исследователей. Поведение Пестеля накануне ареста казалось нелогичным и даже предательским с точки зрения логики заговора. Таким оно виделось, в частности, признанному знатоку темы академику М. В. Нечкиной<sup>246</sup>.

Но с военной точки зрения поведение полковника было безупречным. В середине декабря 1825 года шансов на победу у заговорщиков не было; для осуществления своих планов полковнику не хватило всего двух недель.

Прежде всего, начавшиеся аресты уничтожили важнейший для успеха восстания фактор внезапности. Высшее военное командование было оповещено о готовящемся перевороте, а значит, приняло меры для его предотвращения. Поручик Павел Бобрищев-Пушкин показал на допросе, что после ареста Пестеля о «плане 1-го генваря» «единогласно» заговорил весь штаб 2-й армии<sup>247</sup>.

Сам Пестель в глазах многих офицеров очень быстро превратился из могущественного командира полка, любимца командующего, в преступника. И если раньше, подчиняясь приказу о выступлении, офицеры могли просто не знать, что этот приказ с точки зрения властей незаконен, то после начала арестов его незаконность была бы ясна всем. А это, в свою очередь, полностью уничтожало надежду на одномоментное выступление всей армии. Подготовленной к встрече с мятежниками наверняка оказалась бы и 1-я армия.

Кроме того, поход армии на столицу был назначен на январь. На эту дату ориентировались те, кто, собственно, должен был его подготовить: адъютанты, квартирмейстеры, про-



виантские и интендантские чиновники. И вряд ли у них всё было готово за две недели до срока.

Начинать же восстание без соответствующей подготовки означало для Пестеля возможность вновь обрести потерянную свободу, но стать при этом инициатором бесполезного кровопролития, гражданской войны. О своих колебаниях накануне ареста полковник откровенно рассказал на следствии: «Мне живо представлялась опасность наша и необходимость действовать, тогда воспламеняясь, и оказывал я готовность при необходимости обстоятельств начать возмущение и в сем смысле говорил. Но после того, обдумывая хладнокровнее, решался я лучше собою жертвовать, нежели междоусобие начать, как то и сделал, когда в главную квартиру вызван был»<sup>248</sup>. Это объяснение, видимо, следует признать исчерпывающим.

Юшневский был привлечен к следствию одновременно с Пестелем, 13 декабря. Именно тогда его допросил Чернышев. Арестовали же его двумя неделями позже, 26-го числа. В этот день генерал-интендант получил приказ главнокомандующего «немедленно сдать должность... а также все дела и казенные суммы генерал-провиантмейстеру 2-й армии 7-го класса Тряцковскому, дав знать о том от себя и комиссиям провиантской и комиссариатской»<sup>249</sup>. Такая поздняя дата ареста объясняется просто: Витгенштейн до конца боролся за своего генерал-интенданта. Юшневский был взят под стражу только тогда, когда в руках у Чернышева оказались неопровержимые доказательства его виновности.

За время, прошедшее с момента первого допроса до ареста, Юшневский отдал лишь один приказ по тайному обществу — уничтожить «Русскую Правду», документ огромной уличающей силы. Приказ не был выполнен — преданные Пестелю молодые квартирмейстерские офицеры отказались это сделать. Они спрятали «бумаги Пестеля», а в Тульчине распустили слух, что документы уничтожены<sup>250</sup>.

Конечно, тем самым квартирмейстеры оказали неоценимую услугу историкам. Но и для Юшневого, и особенно для Пестеля это обстоятельство стало катастрофическим. Оба жужных директора, полагая, что «Русская Правда» сожжена, давали в начале следствия весьма уклончивые показания о ее содержании. Когда же текст был найден, Пестель уже не мог объявлять следствию, что для него всё равно, будет ли «верховная власть» «заклучаться в самодержавном монархе, хоть в конституционном государе, хоть в избирательном или республиканском сословии»<sup>251</sup>, поскольку стало понятно, что он — убежденный республиканец. И уже делом техники оказалось

вырвать у него признание, что республика должна была быть введена путем царевбийства.

После того как «Русскую Правду» нашли, Юшневский тоже не мог больше вводить следствие в заблуждение, показывая, что в основе «конституции» Пестеля лежала идея монархии<sup>252</sup>. Следователи выяснили, что генерал-интендант редактировал документ — его пометки остались на страницах «Русской Правды».

Пестель был доставлен в Петербург 3 января 1826 года, Юшневский — спустя четыре дня. И если на первых допросах в Тульчине оба южных директора отговаривались полным «незнанием» о тайном обществе<sup>253</sup>, то в Петербурге им пришлось изменить тактику — начать давать признательные показания.

Ситуация, в которой в самом начале следствия оказался Пестель, была крайне тяжелой. Когда его доставили в Петербург, царь и те, кто исполнял его волю в Следственной комиссии, уже прекрасно понимали, что имеют дело с руководителем заговора. Следствие располагало множеством уличающих полковника показаний участников и Северного, и Южного обществ.

Николай I в мемуарах называл Пестеля «извергом»<sup>254</sup> — и, видимо, с самого начала рассматривал его как главного обвиняемого. Южному лидеру пришлось отвечать за все преступления заговорщиков с самого начала существования тайных обществ. По свидетельству знаменитого духовника православных арестантов Петра Мысловского, «никто из подсудимых не был спрашиван в Комиссии более его; никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же».

Тот же Мысловский был убежден: Пестель на следствии остался «равен себе самому»<sup>255</sup>. Следователям так и не удалось сломить его волю и мужество. Южный лидер остался таким же умным, смелым и стойким, способным на крайне рискованные шаги — пусть даже и небезупречные с точки зрения «чистой» морали, и при этом умеющим отвечать за свои поступки.

Практически сразу же Пестель вступил со следователями в некие «особые отношения», слухи о которых просочились даже сквозь стены Петропавловской крепости. Глубоко сочувствовавший южному лидеру декабрист Андрей Розен написал в мемуарах: «Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ»<sup>256</sup>. Аналогичные сведения имел и хорошо

информированный Александр Тургенев — родной брат политического эмигранта Николая Тургенева, приятель Пушкина, известный своими придворными связями. Тургенев не сочувствовал Пестелю, как и император, считал его «извергом» и отмечал в письме брату, что в период следствия «слышал» о том, как «Пестель, играя совестью своею и судьбою людей, предлагал составлять вопросы, на кои ему же отвечать надлежало»<sup>257</sup>.

Трудно сказать наверняка, насколько подобные утверждения верны в деталях. Можно утверждать лишь одно: предложенная Пестелем схема ответов была принята Следственной комиссией. Следствие над Пестелем во многом предопределило ход всего процесса по делу о «злумышленных тайных обществах». Схема эта была проста: полная откровенность в рассказе об идейной и организационной сторонах заговора в обмен на возможность умолчать о реальной подготовке революции в России.

Южный лидер был необычайно откровенен на допросах в том, что касалось структуры тайных обществ, их идейной эволюции, людей, входивших в них на разных этапах. Рассказал он и о проектах цареубийства, постоянно возникавших на протяжении десятилетнего существования заговора, но при этом умолчал о главном — о своей деятельности в тульчинском штабе, о том, кто и каким образом должен был вести революционную армию на столицы. Пестель представил свой заговор исключительно как идеологическое движение — и таким он остался и на страницах его следственного дела, и в составленном по итогам следствия «Донесении Следственной комиссии», и в позднейшей историографии.

Придерживаясь своей схемы, Пестель опять же пошел до конца. Так же безоглядно, как раньше участвовал в армейской коррупции и штабных интригах, он назвал все известные ему фамилии участников тайных обществ. С точки зрения морали он снова проиграл, заслужив у многих товарищей по заговору репутацию предателя. Обобщая устные рассказы заговорщиков, сын декабриста Ивана Якушкина Евгений писал: «В следственной комиссии он (Пестель. — *О. К.*) указал прямо на всех участвовавших в обществе, и ежели повесили только пять человек, а не 500, то в этом нисколько не виноват Пестель: со своей стороны он сделал всё, что мог»<sup>258</sup>.

Можно понять императора Николая I, согласившегося с предложенной схемой. Ему вовсе не нужно было показывать всему миру, что российская армия коррумпирована, плохо управляема, заражена революционным духом; что о заговоре знали и заговорщикам сочувствовали высшие армейские начальники: начальник штаба 2-й армии генерал Киселев, ко-

мандир корпуса генерал Рудзевич, знаменитый герой 1812 года, командующий 2-й армией генерал Витгенштейн. Гораздо удобнее было представить декабристов юнцами, начитавшимися западных либеральных книг и не имеющими поддержки в армии.

Сложнее понять, зачем самому Пестелю понадобилось так рисковать своей исторической репутацией. Возможно, он надеялся на сравнительно мягкий приговор — и на возможность в той или иной мере продолжить дело своей жизни. Может быть, он предвидел, что если следствие начнет распутывать заговор во 2-й армии, то круг привлеченных к следствию и в итоге осужденных окажется гораздо более широким, возрастет и число тяжелых приговоров; согласно его собственным замечаниям на следствии, всё же «подлинно большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить», «от намерения до исполнения весьма далеко», «слово и дело не одно и то же»<sup>259</sup>.

Схема, предложенная Пестелем, была следствием дополнена. Дополнена лишь одним пунктом: за возможность скрыть свой «заговор в заговоре» Пестель должен был заплатить жизнью. Южный руководитель, как следует из его показаний, понял это условие игры где-то в середине следствия — и принял его. Правда, смириться с этой мыслью Пестелю, очень молодому, полному сил, было непросто. «Если я умру, всё кончено, и один лишь Господь будет знать, что я не был таким, каким меня, быть может, представили», — писал он в частном письме следователю Чернышеву. Фразу эту он потом дословно повторил в одном из своих показаний<sup>260</sup>.

Следствие, которое велось в отношении второго южно-го директора, Юшневского, не было столь драматичным и не имело кровавого финала. Следственное дело Юшневского в несколько раз тоньше, чем следственное дело Пестеля. Представляется, что не последнюю роль в облегчении участи Юшневского сыграла та самая схема, которую предложил следствию Пестель.

Должность, которую занимал Юшневский до ареста, делала его исключительной фигурой среди заговорщиков. Это прекрасно понимало начальство 2-й армии. После ареста генерал-интенданта Витгенштейн постарался замести следы его деятельности, несмотря даже на то, что большинство документов Юшневский успел уничтожить сам. В начале января 1826 года ведомство генерал-интенданта спешно убрали из Тульчина и перевели в город Брацлав, подальше от штаба. При этом Витгенштейна не остановил даже тот факт, что еще в 1823 году Абакумов советовал убрать из Брацлава все подведомст-

венные интендантству учреждения, поскольку невозможно было ручаться за их безопасность<sup>261</sup>.

Если бы была расследована подлинная роль генерал-интенданта в подготовке восстания, эта мера вряд ли помогла бы и Юшневскому, и самому Витгенштейну. Генерал-интендант неминуемо был бы казнен, а командующий в лучшем случае лишился бы должности. Но поскольку Пестелю удалось увести следствие от штаба 2-й армии, Юшневский превратился в одного из многих участников движения, причем далеко не самого активного. «Что же касается в особенности г-на Юшневского, то он всё время своего бытия в Союзе в совершенном находился бездействии, ни единого члена сам не приобрел и ничего для общества никогда не сделал. Из всего поведения его видно было, что он сам не рад был, что в обществе находился», — показывал Пестель уже на первом допросе<sup>262</sup>. Надо признать, что именно Пестелю Юшневский был обязан жизнью.

Правда, в экстремальных условиях следствия генерал-интендант тоже оказался «равен себе». Осторожный, опытный, не привыкший рисковать, Юшневский не отказывался отвечать на вопросы, но, ссылаясь на плохую память, своими показаниями ничем следствию не помог.

Так, например, когда ему предъявили показания нескольких участников заговора о том, что Южным обществом и им лично царубийство было принято как «способ действий», он отвечал лаконично: «Подтверждаю, но не могу припомнить». На прямой же вопрос о «плане 1-го генваря» Юшневский отговорился полным неведением. «Впрочем, — добавил он, — единогласное показание стольких лиц одного со мною общества наконец рождает во мне недоверчивость к слабой моей памяти и заставляет думать, что я забываю действительно мне сказанное»<sup>263</sup>.

И при этом генерал-интендант вдруг «припоминает» деталь своей биографии, относящуюся к периоду до его вступления в заговор: он был определен в Коллегию иностранных дел именно «5-го генваря 1805 года»<sup>264</sup>. Вряд ли кто-нибудь из других подследственных с такой точностью помнил даты своего послужного списка.

Однако этой «избирательностью» памяти Юшневского следствие не заинтересовалось. Император явно не хотел делать его главным действующим лицом процесса. И потому следователи вполне удовлетворились следующим его показанием: «Я клянусь всем, что драгоценно для человека, клянусь счастьем моего семейства, что Пестель, который большею частию действовал без моего ведома и совещания, который

лично со всеми знаком, который знает все связи, имена действующих лиц и все обстоятельства — один может дать всему удовлетворительное объяснение»<sup>265</sup>.

Тридцатого июня 1826 года Верховный уголовный суд большинством голосов вынес Павлу Пестелю и еще четверым заговорщикам — Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому — смертный приговор: «...за преступления, сими лицами соделанные, на основании воинского устава (1716 года) артикула 19 казнить их смертью, четвертовать». Пять дней спустя вина Пестеля была конкретизирована. «Главные виды» его преступлений состояли в том, что он «по собственному его признанию, имел умысел на цареубийство, изыскивал к тому средства, избирал и назначал лица к совершению оного, умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех ее членов, на жертву обреченных, и возбуждал к тому других, учреждал и с неограниченною властью управлял Южным тайным обществом, имевшим целию бунт и введение республиканского правления, составлял планы, уставы, конституцию, возбуждал и приутоплял к бунту, участвовал в умысле отторжения областей от империи и принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других»<sup>266</sup>.

Давно замечено, что приговор руководителю «южан», составленный знаменитым государственным деятелем александровского и николаевского царствований Михаилом Сперанским, был неадекватно жесток. Конечно, Сперанский исполнял высочайшую волю, однако проявил немалую изобретательность: Пестель, в отличие от остальных четверых приговоренных к смерти, ни в подготовке, ни в ходе реальных восстаний не участвовал. По мнению А. Е. Розена, «осуждение Пестеля» было «противно правосудию». а Н. И. Тургенев утверждал, что «правительство» осудило руководителя «южан» «не потому, что он совершил некое политическое преступление, а потому, что его считали самым влиятельным из тех, кто, по мнению властей, должен был принимать участие в тайных обществах»<sup>267</sup>.

«Чтобы возместить недостаток важного обвинения в непосредственном участии в мятеже, Сперанский, составляя обвинительный акт, постарался оттенить сугубую виновность Пестеля по другим пунктам обвинения. Он утверждал, что Пестель не только “умышлял на истребление императорской фамилии”, но и “с хладнокровием исчислял всех ее чле-

нов, на жертву обреченных”. Он утверждал далее, сознательно допуская преувеличение, что Пестель управлял Южным тайным обществом с неограниченной властью», — писал в начале прошлого века историк Н. П. Павлов-Сильванский, первый биограф Пестеля<sup>268</sup>.

При этом ни одно смягчающее обстоятельство в тексте приговора не было учтено. Очевидно, императору был нужен «главный изверг», человек, отвечающий за оба восстания, за идеи политических преобразований, за цареубийственные проекты — словом, за все преступления тайных обществ с самого начала их существования. И Пестель, по своей значимости в заговоре, на эту роль годился больше, чем кто-либо другой.

Николай I с четвертованием не согласился. 10 июля генерал Дибич сообщил председателю суда князю П. В. Лопухину: «...его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную». 11 июля четвертование заменяется повешением<sup>269</sup>.

В полдень 12 июля приговор был объявлен осужденным. В тот же день последовал «Высочайший приказ о чинах военных», согласно которому полковник Вятского пехотного полка Пестель, в ряду других приговоренных «к разным казням и наказаниям», был «исключен из списков» военнослужащих<sup>270</sup>.

Согласно воспоминаниям православного священника Мысловского, от предсмертной исповеди Пестель отказался. Пришедший напутствовать его лютеранский пастор был вынужден «оставить жестокосердного»<sup>271</sup>. В отличие от Мысловского, пастор не присутствовал и на самой казни.

Экзекуция состоялась 13 июля на валу Петропавловской крепости. О процедуре ее исполнения можно судить по многочисленным источникам — мемуарным рассказам свидетелей, а также разного рода официальным документам. На основе их анализа историк Г. А. Невелев составил самую полную на сегодняшний день реконструкцию событий<sup>272</sup>.

Еще с ночи к крепости начали стекаться люди: жители окрестных домов, случайные прохожие, специально приглашенные зрители — сотрудники иностранных посольств. Тогда же на месте казни были собраны войска: «батальоны и эскадроны, составленные из взводов от всех полков гвардии, в которых проходили службу осужденные по делу 14 декабря. На эспланаду Петропавловской крепости были выведены сводный кирасирский эскадрон из взводов л[ейб]-гв[ардии] Ка-

валергардского, Уланского, Гусарского полков и 1-го конно-пионерного эскадрона; два сводных пехотных батальона из взводов лейб-гвардии Преображенского, Московского, Семеновского, Гренадерского, Измайловского, Павловского, Егерского и Финляндского полков; сводная батарея от гвардейской артиллерии из шести орудий»<sup>273</sup>.

Приказав вывести на место казни такое количество войск, Николай I вряд ли преследовал лишь цель наказать виновных и обеспечить должные «тишину и порядок». В войсках, стоявших перед крепостью, было много друзей и знакомых осужденных. Пестеля хорошо знали в двух гвардейских полках — Московском и Кавалергардском. В первом, который в 1812 году назывался Литовским, он начинал офицерскую карьеру, во втором служил с 1813 по 1821 год. Кавалергардским полковником был в 1826 году его младший брат Владимир (точных сведений о его присутствии на казни не обнаружено).

Знали Пестеля и многие из генералов, командовавших в то утро войсками. Согласно Невелеву, в процедуре казни участвовали И. И. Дибич, А. Л. Воинов, А. Х. Бенкендорф, А. И. Чернышев, В. В. Левашов, К. И. Бистром, И. О. Сухозанет, С. Ф. Апраксин, А. А. Чичерин, Г. Б. Кравстрем, Е. А. Головин, Н. Д. Дурново, В. Д. Вольховский. К этому перечню следует добавить генерал-майора С. П. Шипова, поскольку, судя по документам, в его непосредственном ведении находился сопровождавший осужденных конвой лейб-гвардии Павловского полка<sup>274</sup>.

Для тех, кто был близок с осужденными, в частности с Пестелем, разделял их взгляды, эта казнь тоже была своего рода наказанием, прежде всего морального свойства: они становились палачами своих друзей и теряли, таким образом, моральное право на какие бы то ни было оппозиционные действия в дальнейшем.

Около двух часов ночи конвой вывел осужденных на смерть из тюремных камер и разместил в одном из земляных помещений под валом, на котором стояла виселица. Здесь они пробыли около полутора часов: в три часа ночи на территории кронверка начался и продолжался в течение часа обряд гражданской казни. Кроме того, виселицу к нужному моменту достроить не успели. Очевидец рассказывал: «Эшафот был отправлен на шести возах и неизвестно по какой причине вместо шести возов прибыли к месту назначения только пять возов; шестой, главный, где находилась перекладина с железными кольцами, пропал, потому в ту же минуту должны были делать другой брус и кольца»<sup>275</sup>.

В ожидании окончания строительства приговоренных расковали, переодели в смертническую одежду (длинные бе-



лые рубахи с черными кожаными квадратами на груди, на которых были написаны фамилии осужденных, и с капюшонами, закрывавшими лица), их собственную одежду сожгли на костре. Затем их связали веревками (по другим свидетельствам — кожаными ремнями). Выведя под виселицу, их поставили на колени, еще раз прочли приговор, а затем подняли на эшафот.

Но исполнение приговора опять пришлось задержать — «за спешностью виселица оказалась слишком высока, или, вернее сказать, столбы ее недостаточно глубоко были врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей». Пришлось брать «школьные скамьи» из находившегося неподалеку здания училища торгового мореплавания. Скамьи были поставлены на доски, преступников встали на скамьи, надели им на шею петли, а капюшоны натянули на лица<sup>276</sup>.

Еще одно промедление произошло из-за того, что не выдержали нервы у палача. По свидетельству одного из полицейских чиновников, когда тот «увидел людей, которых отдали в его руки, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, он обессилел и упал в обморок. Тогда его помощник принял вместо него за исполнение этой обязанности»<sup>277</sup>.

Казнь совершилась около пяти часов утра. Мысловский, находившийся рядом со смертниками до самого конца, отметил в мемуарах две сказанные Пестелем фразы. Первая из них касалась способа казни и была произнесена «с большим присутствием духа»: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отворачивали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно было нас и расстрелять».

Вторую фразу Пестель произнес, «бывши уже на эшафоте», под петлей. Обращена она была к самому Мысловскому: «Отец святой! Я не принадлежу вашей церкви, но был некогда христианином и наиболее желаю быть им теперь. Я впал в заблуждение, но кому оно не свойственно? От чистого сердца прошу вас: простите меня в моих грехах и благословите меня в путь дальний и ужасный!»<sup>278</sup> Очевидно, это были его последние слова.

Большинство источников сходится в том, что Пестель умер сразу. Ему, в отличие от Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола и Каховского, не пришлось пережить падение с виселицы и второе повешение.

Юшневского приговорили к вечной каторге — за то, что он «участвовал в умысле на цареубийство и истребление императорской фамилии с согласием на все жестокие меры Южного общества, управлял тем обществом вместе с Пестелем с неограниченною властью, участвовал в сочинении Конституции и произнесении речей, участвовал также в умысле на отторжение областей от империи (имелись в виду переговоры с Польским патриотическим обществом о предоставлении независимости Польше. — *О. К.*)»<sup>279</sup>. В августе того же года каторжный срок Юшневскому был сокращен до двадцати лет, далее последовали новые сокращения: вначале до пятнадцати, потом до тринадцати лет.

После оглашения приговора бывший генерал-интендант больше года провел в Шлиссельбурге, дожидаясь отправки в Сибирь, и только в октябре 1827-го был конвоирован к месту отбытия наказания. Сенатор князь Б. А. Куракин, ревизовавший в 1827 году Сибирь и имевший поручение от шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа опрашивать государственных преступников о «претензиях», встретил Юшневского в Томске, когда тот с партией каторжников отправлялся в Читинский острог. По отзыву Куракина, Юшневский и его товарищи «имели вид скорее автоматов, нежели человеческих личностей, которых препровождают на каторжные работы». Отвечая на вопросы сенатора, преступники «не проявили решительно ничего особенного — ни раскаяния, ни печали, ни дерзости»<sup>280</sup>.

Тяготы изгнания с Юшневским разделила жена Мария Казимировна, приехавшая в Сибирь в 1830 году. В 1839-м бывший генерал-интендант — одним из последних осужденных по делу о тайных обществах — вышел на поселение и занялся педагогической деятельностью. Жизнь Юшневские в Сибири вели нищенскую и голодную: денег не было даже на самое необходимое. «В течение 10 лет мы не переменали белья. Бедная жена моя скрывает от меня, до какой степени она в нем нуждается, а пособить нечем. Будучи отцом семейства, ты поймешь, что должен я чувствовать, смотря на всё это», — сообщал Алексей Юшневский брату Семену в 1840 году<sup>281</sup>.

Впрочем, бывший генерал-интендант и тут не изменил себе, не пал духом и остался «стойком»: кроме брата, практически никто не знал о его бедах. Он старался не одалживать денег у товарищей по изгнанию, зная, что отдать долги всё равно не сможет.

После освобождения Юшневский прожил недолго — скончался 10 января 1844 года от сердечного приступа, не дожив трех месяцев до своего 58-летия. Приступ этот настиг его внезапно, на похоронах декабриста Федора Вадковского. Пестеля Юшневский пережил на 17 с половиной лет.

Подводя итог, следует отметить, что Пестель и Юшневский — не только в личном плане, но и в заговоре, и на службе — были противоположны друг другу. Постоянно шедший на риск Пестель был совсем не похож на осторожного в поступках и ровного по характеру Юшневского. Пестель часто выходил за пределы представлений об офицерской чести и общечеловеческой честности — Юшневский же за эту грань не переступал никогда. Пестель был честолюбив и властолюбив, Юшневский этих качеств был лишен. Пестель главенствовал в Южном обществе, оставляя Юшневского на вторых ролях, но в деле практической подготовки революции главенство генерал-интенданта было бесспорным.

Но у столь на первый взгляд разных людей была общая цель — великая цель проведения в России революции, разрушения сословного общества и отмены крепостного права. Будучи руководителями южного заговора, Пестель и Юшневский прекрасно дополняли друг друга. Изучать деятельность Южного общества вне представления о единстве действий его руководителей невозможно. Только в контексте этого единства связываются теория и практика южных декабристов. И только в этом контексте можно понять, насколько серьезными были их замыслы.

---

---

## СЕРГЕЙ ВОЛКОНСКИЙ

Декабрист Сергей Григорьевич Волконский — хрестоматийная историческая фигура, известная каждому из школьной программы: аристократ, Рюрикович, состоял в родстве с многими знаменитыми русскими фамилиями и даже с русскими царями. Сознательная жизнь Волконского началась как военный подвиг: герой Отечественной войны и Заграничных походов, в 24 года он стал генералом, его портрет был помещен в Военной галерее Зимнего дворца.

Вслед за военным последовал подвиг гражданский: в 1819 году князь вступил в заговор декабристов, был активным участником Южного общества, в 1826-м его осудили на 20 лет каторги и бессрочное поселение. В сибирский период жизни Волконский известен прежде всего как «муж своей жены»: княгиня Мария Николаевна Волконская, отказавшись от знатности, богатства, даже от собственного сына, одной из первых последовала за ним в Сибирь.

В этой хрестоматийности — главная причина того, что личность князя Волконского редко становится предметом специального внимания историков. О нем почти нет отдельных исследований. Имя его всегда упоминается историками с уважением, однако особого интереса не вызывает.

Между тем документы — переписка, мемуары самого Волконского, воспоминания современников, официальные бумаги — рисуют совершенно другого Волконского. Ранние этапы его биографии — это не только высокое служение отечеству, но и развратная жизнь светского повесы-кавалергарда. Биография Волконского-декабриста — не только гражданский подвиг и желание «принести себя в жертву», но и слежка за своими товарищами по заговору, вскрытие их переписки.

Наша задача — на основании документов определить место Сергея Волконского в движении декабристов. Возможно,

это позволит скорректировать хрестоматийные представления о нем, пробудит исследовательский интерес к одной из самых ярких личностей Александровской эпохи.

Князь Сергей Григорьевич родился в 1788 году — по возрасту он был одним из самых старших среди деятелей тайных обществ. По происхождению же Волконский был одним из самых знатных среди них.

В формулярном списке «о службе и достоинстве» в графе о происхождении записано лаконично: «Из Черниговских князей»<sup>1</sup>. Предки декабриста — печально знаменитые в русской истории Ольговичи (потомки Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого) — правили в Чернигове и были инициаторами и участниками множества междоусобных войн на Древней Руси. Сам декабрист принадлежал к двадцать шестому колелу рода Рюриковичей<sup>2</sup>.

По материнской линии Сергей Волконский происходил из рода князей Репниных. Прапрадедом декабриста был один из «птенцов гнезда Петрова», фельдмаршал Аникита Иванович Репнин, а дедом — Николай Васильевич Репнин, тоже фельдмаршал, дипломат и военный, подписавший в 1774 году Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Турцией. Бабушка Волконского по материнской линии, урожденная княжна Куракина, вела свой род от великого князя Литовского Гедимина.

Отличительную черту многих близких родственников Сергея Волконского можно определить одним словом — «странность».

Историкам хорошо известен отец декабриста князь Григорий Семенович Волконский (1742—1824), сподвижник П. А. Румянцева, Г. А. Потемкина, А. В. Суворова, своего тестя Н. В. Репнина. Согласно послужному списку, он участвовал во всех войнах конца XVIII века, особо отличился в сражении под Мачином в 1791 году, где получил тяжелое ранение в голову. Григорий Волконский был кавалером высших российских орденов: Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Александра Невского, Святого Георгия II и IV степени, Святой Анны I степени, получил чин генерала от кавалерии<sup>3</sup>. В 1803—1816 годах Григорий Волконский — генерал-губернатор в Оренбурге, затем член Государственного совета.

В вышедшей в 1898 году книге М. И. Пыляева «Замечательные чудачки и оригиналы» князь Григорий описан как один из самых ярких русских «чудаков». Он был известен, например, тем, что рано вставал и первым делом отправлялся «по

всем комнатам и прикладывался к каждому образу», а к вечеру «ежедневно у него служили всенощную, при которой обязан был присутствовать дежурный офицер»; «выезжал к войскам во всех орденах и, по окончании ученья, в одной рубашке ложился где-нибудь под кустом и кричал проходившим солдатам: “Молодцы, ребята, молодцы!”»; «любил ходить в худой одежде, сердился, когда его не узнавали, выезжал в город, лежа на телеге или на дровнях». По мнению Пыляева, Волконский следовал особенностям поведения своего друга и покровителя — «корчил Суворова»<sup>4</sup>.

«Чудачествами» Григорий Волконский был хорошо известен и жителям Оренбурга: «...в большой карете цугом выезжал он на базар, закупал провизию; позади кареты, по бокам ливрейных лакеев, висели гуси и окорока, которые он раздавал бедным»; «...посреди улицы... вылезал из кареты, становился на колени, иногда в грязь, в лужу, и творил молитву»; «...на улицах Оренбурга встречали военного губернатора гуляющим в халате поверх нижнего белья, а на халате все ордена; в таком виде он иногда заходил далеко, а возвращался на какой-нибудь крестьянской телеге». В честь именин любимой дочери Софьи он устраивал на оренбургских улицах грандиозные фейерверки и силой пытался заставить местных жителей полюбить старинную итальянскую музыку<sup>5</sup>.

Феномен мирового, и в том числе русского, «чудачества» уже давно обратил на себя внимание историков и культурологов. Так, Пыляев определял его как «произвольное или вынужденное оригинальничание, в большинстве обусловленное избытком жизнедеятельности и в меньшинстве — наоборот, жизненно неудовлетворенностью». Литератор подмечал, что «в простом сословии, близком к природе, редко встречаются чудаки». «Причуды» начинаются «с образованием» — «и чем оно выше у народа, тем чаще и разнообразнее являются чудаки»<sup>6</sup>.

Известный драматург, режиссер и теоретик театра Н. Н. Евреинов видел в «чудачестве» проявление «чувства театральности», которое «является чем-то естественным, природным, прирожденным человеческой психике». а Ю. М. Лотман подходил к вопросу конкретно-исторически: он утверждал, что «чудаки» конца XVIII века подобным «странным» образом пытались «найти *свою* судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность». По мнению исследователя, созданное Петром I «регулярное государство» «нуждалось в исполнителях, а не в инициаторах и ценило исполнительность выше, чем инициативу», однако со времен Екатерины II у лучших людей эпохи появилась «жажда выразить себя, проявить во всей полноте личность»<sup>7</sup>.

При всём разнообразии этих объяснений они не противоречат друг другу. Действительно, желание проявить себя, «выйти из строя», доказать свою «самость», прежде всего с помощью неких театрально-эпатажных форм жизни, присуще человеку во все времена. Вполне понятно, что чем больше развит человек и чем больше государство стремится низвести его до степени «винтика», тем сильнее его сопротивление и тем вычурнее становятся его «чужачества».

К этому следует добавить, что у образованных аристократов конца XVIII — начала XIX века «оригинальничание» никогда не выходило за известные рамки, не перерастало в политический радикализм. В служебной сфере эти люди были вполне адекватными исполнителями воли монарха. Именно таким, скорее всего, был и отец декабриста — «странный» человек, но при этом исполнительный и удачливый генерал, вельможа и крупный чиновник.

«Странностям» и «чужаствам» Григория Волконского успешно противостояла его жена Александра Николаевна (1756—1834). Основываясь на материалах семейного архива, ее правнук С. М. Волконский утверждал: «Дочь фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, статс-дама, обергофмейстерина трех императриц, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины первой степени, княгиня Александра Николаевна была характера сухого; для нее формы жизни играли существенную роль; придворная дама до мозга костей, она заменила чувства и побуждения соображениями долга и дисциплины... этикет и дисциплина, вот внутренние, а может быть, лучше сказать, внешние двигатели ее поступков»<sup>8</sup>. Обладая житейской опытностью, практичностью, редким даром ладить с властями предрержащими, она пыталась привить эти качества своим детям — сыновьям Николаю, Никите и Сергею и дочери Софье. Правда, удавалось это далеко не всегда.

Вполне удавшейся — по меркам того времени — можно считать жизнь лишь старшего из ее сыновей, Николая Григорьевича (1778—1845). «Будучи по фамилии князем Волконским», он в 1801 году получил Высочайшее повеление «называться князем Репниным» — «чтобы не погиб знаменитый род»<sup>9</sup>. Как и его отец, князь Репнин всю жизнь посвятил военной службе: участвовал практически во всех войнах начала XIX века, в 1813—1814 годах исполнял должность военного губернатора Саксонии. С 1816 по 1835 год он — малороссийский военный губернатор.

Николай Репнин слыл в обществе либералом, славился гуманностью (ему, например, принадлежала инициатива выкупа из крепостной зависимости актера М. С. Щепкина), пользо-

вался уважением современников. Он был признанным авторитетом и для младшего поколения семьи Волконских. «Брата я почитаю себе вторым отцом, и ему известны все мои мысли и все мои чувства», — писал Сергей Волконский в 1826 году, уже после своего осуждения<sup>10</sup>. Правда, в отличие от отца, Николай не был замечен в «странностях» и «чуждачествах».

Зато склонность к ним в полной мере унаследовала сестра декабриста Софья Григорьевна (1785—1868) — та самая, в честь которой в Оренбурге пылали фейерверки. В 1802 году она вышла замуж за близкого родственника, одного из самых влиятельных военных Александровской эпохи Петра Михайловича Волконского. С 1813 по 1823 год князь Петр Михайлович занимал пост начальника Главного штаба русской армии, в ноябре 1825-го император Александр I скончался в Таганроге на его руках. При Николае I П. М. Волконский был назначен министром императорского двора и уделов, стал генерал-фельдмаршалом. Естественно, что при обоих «венценосных братьях» Софья Волконская ни в чем не знала нужды.

Однако среди современников она славилась прежде всего крайней скупостью: «...ходила она грузным шагом, и так как она всегда носила с собой мешок, в котором были какие-то ключи, какие-то инструменты, то ее приближение издали возвещалось металлическим лязгом. Скупость ее к концу жизни достигла чудовищных размеров и дошла до болезненных проявлений kleptomании: куски сахара, спички, апельсины, карандаши поглощались ее мешком, когда она бывала в гостях, с ловкостью, достойной фокусника»; «в своем доме на Мойке княгиня сдавала квартиру своему сыну. Сын уехал в отлучку — она воспользовалась этим и сама вселилась в его комнаты. Таким образом она ухитрилась в собственном доме прожить целую зиму в квартире, за которую получала». При этом она была способна и на неожиданную щедрость: «бранила горничную за то, что та извела спичку, чтобы зажечь свечу, когда могла зажечь ее о другую свечку, а вместе с тем, не задумываясь, делала бедной родственнице подарок в двадцать тысяч».

Софья Волконская была одержима страстью к путешествиям, на омнибусе проехала всю Европу. «Однажды ее там на омнибусе арестовали, потому что заметили, что в чулках у нее просвечивали бриллианты; она подняла гвалт, грозила, что будет писать папе римскому, королеве нидерландской... Она действительно состояла в переписке со всей коронованной и литературной Европой». «Впоследствии, когда появились железные дороги, она ездила в третьем классе и уверяла, что это «ради изучения нравов»».



«Однажды, — пишет С. М. Волконский, — уезжая из Италии в Россию, Софья Григорьевна поручила своему брату Николаю сундук с некоторыми ее вещами, которые она с собою не брала, и просила сохранить до ее возвращения. Сундук этот, в течение многих месяцев переезжавший с места на место... пришел в такую ветхость, что, наконец, надо было его вскрыть: в нем оказались дрова»<sup>11</sup>.

«Странным» с точки зрения светских норм было и поведение Никиты Григорьевича (1781—1841) — среднего из трех братьев Волконских. Отечественную войну и Заграничные походы он провел при «особе» императора, отличился в Битве народов под Лейпцигом и сражении за Париж, был награжден несколькими орденами и золотой шпагой «За храбрость»<sup>12</sup>. Однако через несколько лет после войны генерал-майор свиты и обер-егермейстер бросил карьеру, предпочтя раствориться в лучах славы собственной жены — княгини Зинаиды Александровны (1792—1862), урожденной Белосельской-Белозерской, поэтессы и художницы, певицы и хозяйки знаменитого московского литературного салона, «царицы муз и красоты», воспетой Пушкиным и Баратынским<sup>13</sup>. Зинаида Волконская не хранила верность мужу: в свете говорили о ее многочисленных любовных связях, в том числе с самим императором Александром I. Но, несмотря на это, Никита Волконский всюду следовал за женой.

С 1820 года он числился «в бессрочном отпуске»<sup>14</sup>, жил в Италии, а в конце 1820-х туда приехала и Зинаида Александровна. Отношения с членами своей семьи он, судя по всему, не поддерживал. Очевидно, в Италии Никита Волконский принял католичество. Он умер в итальянском городе Ассизе; через несколько лет Зинаида Волконская перезахоронила его прах в одном из католических храмов в Риме<sup>15</sup>.

Первые этапы биографии князя Сергея Волконского, младшего ребенка в семье, очень похожи на начало карьеры его отца и старших братьев. В 1796 году, в восьмилетнем возрасте, он был записан сержантом в армию, однако считался в отпуску «до окончания курса наук» и реально начал служить с 1805 года. Первый его чин на действительной службе — чин поручика в Кавалергардском полку. Сергей Волконский принял участие в войне IV коалиции с Францией 1806—1807 годов; его боевое крещение произошло в сражении под Пултуском. «С первого дня приобик к запаху неприятельского пороха, к свисту ядер, картечи и пуль, к блеску атакующих штыков и лезвий белого оружия, приобик ко всему тому, что встречается в бо-

ево́й жизни, так что впоследствии ни опасности, ни труды меня не тяготили», — вспоминал он впоследствии<sup>16</sup>. За участие в этом сражении он получил первый орден — Святого Владимира 4-й степени с бантом.

Потом его послужной список пополнился делами при Янкове и Гоффе, Ланцберге и Прейсиш-Эйлау, «генеральными сражениями» под «Вельзбергом и Фриландом» (вероятно, под Гейльсбергом и Фриландом). Волконский участвовал в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов — штурмовал Шумлу и Руцук, осаждал Силистрию. Некоторое время он состоял адъютантом у командующего Дунайской армией М. И. Кутузова, а в сентябре 1811 года Волконский стал флигель-адъютантом Александра I<sup>17</sup>.

С самого начала Отечественной войны 1812 года он — активный участник и один из организаторов партизанского движения. Первый период войны он прошел в составе «летучего корпуса» генерал-лейтенанта Ф. Ф. Винценгероде — первого партизанского отряда в России.

Этот отряд был впоследствии незаслуженно забыт. В общественном мнении и историографии генерал Винценгероде должен был уступить лавры создателя первого партизанского отряда Д. В. Давыдову. Однако не так давно был опубликован датированный июлем 1812 года и адресованный Винценгероде приказ военного министра М. Б. Барклая де Толли о создании «летучего корпуса» для «истребления» «всех неприятельских партий», цель которого состояла в том, чтобы «брать пленных и узнавать, кто именно и в каком числе неприятель идет, открывая об нем сколько можно». Отряд должен был «действовать в тылу французской армии на коммуникационную его линию»<sup>18</sup>. Ротмистр Волконский исполнял при Винценгероде обязанности дежурного офицера.

Несколько месяцев спустя, уже после оставления французами Москвы, Сергей Волконский был назначен командиром самостоятельного партизанского соединения, с которым «открыл... коммуникацию между главной армией и корпусом генерала от кавалерии Витгенштейна»<sup>19</sup>. Ранее войска Витгенштейна прикрывали направление на Петербург, но после оставления французами Москвы и исчезновения угрозы занятия столицы империи действия корпуса надо было скоординировать с действиями основных сил — и Волконский успешно справился с задачей. Кроме того, за несколько недель самостоятельных действий отряд Волконского захватил в плен «одного генерала... 17 штаб- и обер-офицеров и около 700 или 800 нижних чинов»<sup>20</sup>.

После того как Отечественная война завершилась и начались Заграничные походы русской армии, отряд Волконского

вновь соединился с корпусом Винценгероде и стал действовать вместе с главными русскими силами. Волконский отличился в боях под Калишем и Лютценом, при переправе через Эльбу, в Битве народов под Лейпцигом, в штурме Касселя и Суассона. Начав войну ротмистром, он закончил ее генерал-майором и кавалером четырех русских и пяти иностранных орденов, владельцем наградного золотого оружия и двух медалей в память 1812 года.

Современники вспоминали: вернувшись с войны в столицу, Сергей Волконский не снимал плащ в публичных местах, при этом «скромно» говорил: «Солнце прячет в облака лучи свои» — грудь его горела орденами<sup>21</sup>. «Приехав одним из первых воротившихся из армии при блистательной карьере служебной, ибо из чина ротмистра гвардейского немного свыше двух лет я был уже генералом с лентой и весь увешанный крестами, и могу без хвастовства сказать, с явными заслугами, в высшем обществе я был принят радушно, скажу даже отлично», — писал он сам в мемуарах<sup>22</sup>.

Петербургский свет восхищался им, родители гордились. Отец уважительно называл его в письмах «герой наш князь Сергей Григорьевич»<sup>23</sup>. В Военной галерее Зимнего дворца вскоре появился его портрет Джорджа Доу. Перед молодым генералом открывались головокружительные карьерные возможности.

Но служебная карьера Сергея Волконского не ограничивалась участием в боевых действиях. В его военной биографии есть немало странностей. Незадолго до окончания войны он, генерал-майор, самовольно покинул армию и отправился в Петербург. После возвращения армии в столицу он опять-таки самовольно, не беря отпуск и не выходя в отставку, отправился за границу, как сам пишет, «туристом»<sup>24</sup>. Он стал свидетелем открытия Венского конгресса, посетил Париж, затем отправился в Лондон. Однако вряд ли он мог, находясь на действительной службе, так свободно перемещаться по Европе. Видимо, при этом он выполнял некие секретные задания русского командования.

Какого рода могли быть эти задания?

Самый странный эпизод его заграничного путешествия относится к марту 1815 года, времени знаменитых наполеоновских Ста дней.

Известие о возвращении Наполеона во Францию застало Волконского в Лондоне. Согласно его мемуарам, узнав о том, что «чертова кукла» «высадилась во Франции», он тут же просил русского посла в Лондоне графа Ливена выдать ему паспорт для проезда во Францию. Посол отказал, заявив, что ге-

нералу русской службы нечего делать в занятой неприятелем стране, и доложил об этой странной просьбе Александру I. Император же приказал Ливену выпустить Волконского в Париж<sup>25</sup>.

В занятой Наполеоном французской столице Волконский провел всего несколько дней — 18 марта 1815 года приехал, а 31-го уже вернулся в Лондон (эти даты устанавливаются из его письма П. Д. Киселеву, отправленного из Лондона 31 марта)<sup>26</sup>.

О том, чем занимался Волконский в Париже во время Ста дней, известно немного. Сам он очень осторожно упоминает в своих записках, что второй раз в Париже он был уже не как «турист», а как «служебное лицо», и деньги для этой поездки получил от своего шурина князя П. М. Волконского, тогдашнего начальника Главного штаба русской армии. Известно также, что его пребывание во вражеской столице не прошло незамеченным для русского общества; стали раздаваться голоса, что он перешел на сторону Наполеона. В письме своему другу Киселеву он вынужден был оправдываться: «Я не считаю с мнением тех, которые судят меня, не имея на то права и не выслушав моего оправдания»; «за меня в качестве адвокатов все русские, которые находились вместе со мною в Париже»<sup>27</sup>.

Имеются сведения, что главным заданием, которое Волконский выполнял в Париже, была эвакуация русских офицеров, не успевших выехать на родину и фактически оказавшихся в плену у Наполеона. В «Записках» Волконский называет четверых — трех обер-офицеров и знаменитого впоследствии придворного врача Николая Арендта, оставшегося во Франции при больных и раненых русских военных<sup>28</sup>.

Следует заметить, что эти люди вряд ли случайно задержались в Париже — иначе русское командование не стало бы посылать в занятый неприятелем город русского генерал-майора, близкого родственника начальника Главного штаба. Скорее всего, они тоже выполняли специальные задания и в случае разоблачения им грозили большие неприятности.

Иными словами, после окончания войны генерал Волконский приобрел опыт выполнения «секретных поручений» «тайными методами». И этот опыт оказался впоследствии бесценным для декабриста Волконского.

Несмотря на блестящую военную карьеру, Сергей Волконский «остался в памяти семейной как человек не от мира сего»<sup>29</sup>. Частное поведение Волконского предвоенных, военных и послевоенных лет казалось современникам не менее, если не более «странным», чем причуды его отца. При этом

для самого Сергея Григорьевича оно было весьма органичным: в его мемуарах описанию этих «странностей» отводится едва ли не больше места, чем рассказам о знаменитых сражениях.

В повседневной жизни Сергей Волконский реализовывал совершенно определенный тип поведения, названный современниками «гусарским». Этот тип поведения тоже попал в «классификацию» Пыляева: «...отличительную черту характера, дух и тон кавалерийских офицеров — всё равно, была ли это молодежь или старики — составляли удалство и молодечество. Девизом и руководством в жизни были три стародавние поговорки: “двум смертям не бывать, одной не миновать”, “последняя копейка ребром”, “жизнь копейка — голова ничего!”. Эти люди и в войне, и в мире искали опасностей, чтоб отличиться бесстрашием и удалством»<sup>30</sup>. Согласно Пыляеву, особенно отличались «удалством» офицеры-кавалергарды.

И если «чуждательства» Григория Волконского были, в общем, мирными, то «утехи» его младшего сына представляли значительную опасность для окружающих. Сергей Волконский — вполне в духе Пыляева — признавался в мемуарах, что для него самого и того социального круга, к которому он принадлежал, были характерны «общая склонность к пьянству, к разгульной жизни, к молодечеству, склонность к противоестественным утехам», «картёж... и беззазорное блядовство».

Образ жизни молодого бесшабашного офицера был, согласно тем же мемуарам, следующим: «Ежедневные манежные учения, частые эскадронные, изредка полковые смотры, вахтпарады, маленький отдых бессемейной жизни; гулянье по набережной или по бульвару от 3-х до 4-х часов; общей ватагой обед в трактире, всегда орошенный через край вином, не выходя, однако ж, из приличия; также ватагой или порознь по борделям, опять ватагой в театр...» Образ мыслей немногим отличался от образа жизни: «Шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы очень щекотливы. Еще другое странное было мнение — это что любовник, приобретенный за деньги, за плату, не подлое лицо»; «книги забытые не сходили с полок».

Волконский вспоминал, как в годы жизни в Петербурге он и квартировавший вместе с ним другой будущий декабрист — М. С. Лунин (попавший, кстати, в число пыляевских «чудаков») устраивали опасные забавы: «Кроме нами занимаемой избы на берегу Черной речки против нашего помещения была палатка, при которой были два живые на цепи медведя, а у нас девять собак. Сожительство этих животных, пугавших всех прохожих и проезжих, немало беспокоило их и пугало их тем более, что одна из собак была приучена по слову, тихо ей ска-

занному: “Бонапарт” — кинуться на прохожего и сорвать с него шапку или шляпу. Мы этим часто забавлялись, к крайнему неудовольствию прохожих, а наши медведи пугали проезжих». Следует заметить, что, согласно Пыляеву, Черная речка была излюбленным местом кавалергардских «потех» и петербургские обыватели старались обходить эту местность стороной<sup>31</sup>.

«В один день, — вспоминал Волконский, — мы вздумали среди бела дня пускать фейерверк. В соседстве нашем жил граф Виктор Павлович Кочубей (министр внутренних дел. — *О. К.*), и с ним жила тетка его, Наталья Кирилловна Загряжская, весьма умная женщина, которая пугалась и наших собак, и медведей. Пугаясь фейерверка и беспокоясь, она прислала нам сказать, что фейерверки только пускаются, когда смеркнется, а мы отвечали ее посланному, что нам любо пускать их среди белого дня и что каждый у себя имеет право делать что хочет».

Весть о заключении Тильзитского мира (1807) застала Волконского в военном лагере — и, по его собственным словам, «не была по сердцу любящим славу России». Неприятные эмоции патриоты решили заглушить водкой: «Вспоминаю я, что я, живши на бивуаке, пригласивши к себе знакомого мне товарища из свиты Беннигсена, молодого барона Шпрингпортена, с горя (по русской привычке), не имея других напитков, как водку, выпили вдвоем три полуштофа гданьской сладкой водки, и так мы опьянели, что, плюя на бивуачный огонь, удивлялись, почему он не гаснул».

Во время Русско-турецкой войны 1806—1812 годов Волконский и его полковой товарищ П. П. Валувев, находясь на территории дунайских княжеств, были поставлены на квартиру «к боярину Ролетти»: «У него было два сына, записные дураки, и две премиленькие дочери. За этими мы стали приволакиваться, но неудачно для нас, а мы, высмотрев, что они не так строги к каким-то молдаванам, высторожили это и привели отца и братьев на данное ночное свидание. Просто скажу о сем теперь — подлая шутка, и мы так насолити нашему хозяину, что в следующем годе, прибыв опять в армию и во время зимовых квартир, одного просил Ролетти, чтоб меня не ставили к нему на квартиру». В 1810 году Волконский за предосудительное поведение был выслан из Дунайской армии.

Начало Отечественной войны Сергей Волконский встретил в Вильно, в окрестностях которого была собрана большая часть русских военных сил. Армия жила в напряженном ожидании: «Родина была близка сердцу цареву, и та же Родина чутко говорила, хоть негласно, войску... в войсках от генерала до солдата всякий ждал с нетерпением начала военных действий»<sup>32</sup>.

Однако сам Волконский жил в то время не только ожиданием великих битв за Родину. Его приятель Н. Д. Дурново 18 апреля 1812 года зафиксировал в своем дневнике, что, «совершая прогулку», «отправился к князю Сергею Волконскому и князю Лопухину», которые жили на одной квартире: «Польская девушка нас развлекала в течение нескольких часов». Впрочем, Дурново утверждает, что сам он «остался верен своим принципам и не притронулся к ней»<sup>33</sup>.

Упомянутый в дневнике князь П. П. Лопухин — один из самых близких друзей молодого Сергея Волконского, впоследствии генерал-майор, активный масон и участник Союза благоденствия. Сам же Дурново будет в 1825 году идейным противником декабристов, и ночью с 14 на 15 декабря именно он арестует поэта-декабриста К. Ф. Рыльева.

Ни Отечественная война, ни Заграничные походы, ни даже получение генеральского чина не заставили Волконского отказаться от «буйного» поведения. Приехав после окончания войны во Францию, он сделал огромные долги — и отбыл, не расплатившись с парижскими кредиторами и торговцами. С просьбой помочь вернуть его долг французы обращались и в российское Министерство иностранных дел, и лично к императору Александру I<sup>34</sup>. Волконского разыскивали в России и за границей, он всячески уклонялся от уплаты — и всё это порождало большую официальную переписку.

В 1819 году генерал-майор и герой войны не без гордости сообщал армейскому начальству, что уплату его долгов «приняла на свое попечение» его «матушка», «Двора Их Императорских Величеств статс-дама княгиня Александра Николаевна Волконская». Впоследствии мать продолжала исправно платить его долги<sup>35</sup>.

В конце 1810-х годов столь блестяще начатая военная карьера Сергея Волконского резко затормозилась. До самого ареста в 1826 году он не был произведен в следующий чин, его обходили и при раздаче должностей.

Согласно послужному списку, с 1816 по 1818 год Сергей Волконский — командир 1-й бригады 2-й уланской дивизии. Когда же в августе 1818 года бригаду расформировали, то нового подразделения князю не дали — он был «назначен состоять при дивизионном начальнике оной же дивизии». В ноябре 1819 года его шурин П. М. Волконский просил государя назначить родственника «шефом Кирасирского полка», но получил «решительный отказ»<sup>36</sup>.

Причина карьерных неудач князя, по мнению большинства исследователей, заключается в том, что уже тогда он начал проявлять признаки «вольномудства». Историки Н. Ф. Караш

и А. З. Тихантовская считают, что Волконскому «не простили пребывания во Франции во время возвращения Наполеона с о. Эльбы», а также попытки в Париже — уже после реставрации Бурбонов — заступиться за полковника Лабедауйера, первым перешедшего со своим полком на сторону Наполеона и приговоренного за это к смертной казни<sup>37</sup>.

Однако «вольнодумство» Волконский выказал позже, события же во Франции, свидетелем и участником которых он был, состоялись намного раньше. Представляется, что в данном случае причину царского гнева на генерала следует искать в другом.

Сергей Волконский был хорошо известен и Александру I, и его приближенным: царь называл своего флигель-адъютанта «мсье Серж» и внимательно следил за его службой. Однако «гусарство» и «проказы» «мсье Сержа» и его друзей императору явно не нравились: Волконский описывает в мемуарах, как после одной из его выходов государь не захотел здороваться с ним и его однополчанами-кавалергардами, а после его высылки из Молдавской армии «был весьма сух» в обращении с ним<sup>38</sup>.

Очевидно, император рассчитывал, что после войны генерал-майор остепенится; но этого не произошло. «В старые годы не только что юный корнет проказничал, но были кавалеристы, которые не покидали шалости даже в генеральских чинах», — справедливо замечает Пыляев<sup>39</sup>. Скорее всего, следствием такого поведения и стали карьерные неудачи князя.

В самом конце 1819 года жизнь Сергея Волконского круто переменилась: он вступил в Союз благоденствия. Обидевшись на императора за собственные служебные неудачи, он не стал принимать должность «состоящего» при дивизионном начальнике и уехал в бессрочный отпуск, намереваясь еще раз побывать за границей.

Случайно оказавшись в Киеве на ежегодной зимней контрактовой ярмарке, он встретил там своего старого приятеля Михаила Федоровича Орлова. Орлов, генерал-майор и начальник штаба 4-го пехотного корпуса, уже давно состоял в тайном обществе, и его киевская квартира была местом встреч людей либеральных и просто недовольных существующим положением вещей.

То, что Волконский увидел и услышал на квартире Орлова, поразило воображение «гвардейского шалуна». Оказалось, что существует «иная колея действий и убеждений», нежели та, по



которой он до того времени шел: «Я понял, что преданность отечеству должна меня вывести из душного и бесцветного быта ревнителя шагистики и угоднического царедворничества»; «с этого времени началась для меня новая жизнь, я вступил в нее с гордым чувством убеждения и долга уже не верноподданного, а гражданина и с твердым намерением исполнить во что бы то ни стало мой долг исключительно по любви к отечеству»<sup>40</sup>.

Спустя несколько месяцев Волконский попал в Тульчин, в штаб 2-й армии. Там произошло его знакомство с Павлом Пестелем. «Общие мечты, общие убеждения скоро сблизили меня с этим человеком и вродили между нами тесную дружескую связь, которая имела исходом вступление мое в основанное еще за несколько лет перед этим тайное общество», — писал Волконский в мемуарах<sup>41</sup>. Формально же его принял в тайное общество генерал-майор М. И. Фонвизин<sup>42</sup>.

В показаниях на следствии Сергей Волконский утверждал, что первые либеральные идеи зародились у него в 1813 году, когда он в составе русской армии проходил по Германии и общался «с разными частными лицами тех мест, где находился»<sup>43</sup>, а укрепились в 1814 и 1815 годах, когда он побывал в Лондоне и Париже. На этот раз в кругу его общения оказались мадам де Сталь, Бенжамен Констан\*, члены английской оппозиции.

Конечно, князь был прав в том, что в послевоенной Европе либеральные идеи были столь широко распространены, что мало кто из молодых русских офицеров не проникся ими. Сочувствие этим идеям сквозит, например, в послевоенных письмах Волконского его другу П. Д. Киселеву. В письме от 31 марта 1815 года, описывая наполеоновские Сто дней, он замечает: «Доктрина, которую проповедует Бонапарт, это — доктрина учредительного собрания; пусть только он сдержит то, что он обещает, и он утверждён навеки на своем троне»; «Бонапарт, ставший во главе якобинской партии, гораздо сильнее, чем это предполагают; только после того, как хорошо подготовятся, можно начинать войну, которую против него вести с упорством, потому что — вы увидите, что если война будет, то она должна сделаться народной войной»<sup>44</sup>.

Однако от общих рассуждений о Бурбонах, Бонапарте и судьбах мировой истории весьма далеко до революционного образа мыслей и тем более образа действий. Кроме того, как видно из этого же письма, главным «либералом» для будущего декабриста в 1815 году был император Александр I: «Либеральные идеи, которые он провозглашает и которые он

---

\* Философ, отец французского либерализма Бенжамен Констан (1767—1830) и его гражданская жена писательница Жермена де Сталь (1766—1817) в начале XIX века считались символами европейского свободомыслия.

стремится утвердить в своих государствах, должны заставить уважать и любить его как государя и как человека»<sup>45</sup>. И нет документов, свидетельствующих о том, что к 1819 году мнение Волконского о «либерализме» русского монарха изменилось.

Скорее всего, в заговор Волконского привели не либеральные идеи.

К началу 1820-х годов «гусарство», которым Волконский очень дорожил на первых этапах своей карьеры, стало массовым и из «чудачества» превратилось в поведенческий штамп, едва ли не в норму. Князь стал искать себе новое поприще, чтобы выделиться, вступил в масоны — но, кажется, деятельность «вольного каменщика» не удовлетворила его. Впоследствии Волконский утверждал, что вся его жизнь до заговора была совершенно бесцветной и ничем не отличалась от жизни большинства его «сослуживцев, однолеток: много пустого, ничего дельного»<sup>46</sup>.

В тайном же обществе князь обретал иной способ, говоря словами Ю. М. Лотмана, «найти *свою* судьбу». Способ этот, гораздо более опасный, чем «удаль и молодечество», был более достоин истинного сына отечества. «Вступление мое в члены тайного общества было принято радушно прочими членами, и я с тех пор стал ревностным членом оногo, и скажу по совести, что я в собственных моих глазах понял, что вступил на благородную стезю деятельности гражданской», — писал Волконский в мемуарах<sup>47</sup>.

С начала 1820 года в генерале происходит разительная перемена: он перестает быть «шалуном» и «повесой», отказывается от идеи заграничного путешествия и, получив в 1821 году под свою команду 1-ю бригаду 19-й пехотной дивизии 2-й армии, безропотно принимает новое назначение и уезжает на место службы — в глухой украинский город Умань. Теперь его самолюбие не задает даже тот очевидный факт, что назначение командиром пехотной бригады — явное карьерное понижение, поскольку служба в кавалерии была гораздо более престижной, чем в пехоте. В 1823 году, согласно мемуарам Волконского, император уже выражал «удовольствие» по поводу того, что «мсье Серж» «остепенился», «сошел с дурного пути»<sup>48</sup>.

В личной жизни Сергея Волконского тоже происходят перемены — «блядовство» и традиционное светское женолюбие уступают место серьезным чувствам. В 1824 году он делает предложение Марии Николаевне Раевской, дочери прославленного генерала, героя 1812 года. «Ходатайствовать» за него перед родителями невесты Волконский попросил Михаила

Орлова, к тому времени уже женатого на старшей дочери Раевского Екатерине. При этом князь, по его собственным словам, «положительно высказал Орлову, что если известные ему мои сношения и участие в тайном обществе помеха к получению руки той, у которой я просил согласия на это, то, хотя скрепясь сердцем, я лучше откажусь от этого счастья, нежели изменю политическим моим убеждениям и долгу к пользе отечества»<sup>49</sup>. Генерал Раевский несколько месяцев думал, но в конце концов дал согласие на брак.

Свадьба состоялась 11 января 1825 года в Киеве; посажёным отцом жениха был его брат Николай Репнин, шафером — Павел Пестель. Впоследствии Репнин утверждал: за час до венчания Волконский внезапно уехал — и «был в отлучке не более четверти часа». «Я спросил его, — писал Репнин, — куда? — Он: надобно съездить к Пестелю. — Я: что за вздор, я пошлю за ним, ведь шафер у посаженного отца адъютант в день свадьбы. — Он: нет, братец, непременно должно съездить. Сейчас буду назад». Репнин был уверен: его брат в день свадьбы под нажимом Пестеля «учинил подписку» в верности идеям «шайки Южного союза»<sup>50</sup>.

Впрочем, современные исследователи не склонны верить в существование подобной подписки: Пестелю, конечно, вполне хватило бы и честного слова друга. Не заслуживает доверия и легенда, что Раевский добился от зятя противоположной подписки — что тот выйдет из тайного общества<sup>51</sup>. Видимо, для Волконского действительно легче было бы отказаться от личного счастья, чем пожертвовать с таким трудом обретенной «самостью».

Вступив в заговор, генерал-майор Сергей Волконский, которому к тому времени уже исполнился 31 год, полностью попал под обаяние и под власть адъютанта главнокомандующего 2-й армией 26-летнего ротмистра Павла Пестеля. В момент знакомства с Волконским Пестель — руководитель Тульчинской управы Союза благоденствия, а с 1821 года — признанный лидер Южного общества, председатель руководившей обществом Директории. Вместе с Пестелем Волконский начал готовить военную революцию в России.

Между тем, активно участвуя в заговоре, Волконский не имел никаких «личных видов». Если бы революция победила, сам князь ничего бы не выиграл. В новой российской республике он, конечно, никогда не достиг бы верховной власти, не стал бы ни военным диктатором, ни демократическим президентом. Он мог рассчитывать на военную карьеру: стать пол-

ным генералом, командующим армией, генерал-губернатором или, например, военным министром. Однако всех этих должностей он мог достичь и без всякого заговора и связанного с ним смертельного риска, просто терпеливо служа.

Более того, если бы революция победила, Волконский мог многое потерять. Князь был крупным помещиком: на момент ареста в 1826 году он владел десятью тысячами десятин земли в Таврической губернии; не меньшее, если не большее количество земли имелось у него в Нижегородской и Ярославской губерниях. В его нижегородском и ярославском имениях числилось более двух тысяч крепостных душ<sup>52</sup>. Крупными состояниями владели и его мать и братья. Согласно же «Русской Правде» Пестеля, в обязанность новой власти входило отобрать у помещиков, имеющих больше десяти тысяч десятин, «половину земли без всякого возмездия»<sup>53</sup>. Кроме того, после революции все крестьяне, в том числе и принадлежавшие участникам заговора, стали бы свободными.

Всё это Волконского не останавливало. И хотя никаких политических текстов, написанных до 1826 года рукой князя, не сохранилось, можно смело говорить, что его взгляды оказались весьма радикальными. В тайном обществе Волконский был известен как однозначный и жесткий сторонник «Русской Правды» (в том числе и ее аграрного проекта), коренных реформ и республики. При его активном содействии «Русская Правда» была утверждена Южным обществом в качестве программы. Несмотря на личную симпатию к императору Александру I, которая с годами не прошла, Волконский разделял и «намерения при начатии революции... покуситься на жизнь Государя Императора и всех особ августейшей фамилии»<sup>54</sup>.

В отличие от многих других главных участников заговора, князь Волконский не страдал «комплексом Наполеона» и не мыслил себя самостоятельным политическим лидером. Вступив в тайное общество, он сразу же признал Пестеля своим безусловным и единственным начальником и оказался одним из самых близких и преданных его друзей — несмотря даже на то, что председатель Директории был намного младше его по возрасту и ниже по чину, имел гораздо более скромный военный опыт. Декабрист Н. В. Басаргин утверждал на следствии, что Пестель «завладел» Волконским «по преимуществу своих способностей»<sup>55</sup>.

В 1826 году Следственная комиссия без труда выяснила, чем занимался Волконский в заговоре. Князь вел переговоры о совместных действиях с Северным обществом (в конце 1823 года, в начале и в октябре 1824-го) и с Польским патрио-

тическим обществом (в 1825 году). Правда, переговоры эти закончились неудачей — договориться так и не удалось.

В 1824 году по поручению Пестеля Волконский ездил на Кавказ, пытаясь узнать, существует ли тайное общество в корпусе генерала А. П. Ермолова. Там он познакомился с известным бретером капитаном А. И. Якубовичем, незадолго перед тем переведенным из гвардии в действующую армию. Якубович убедил князя, что общество действительно существует, и Волконский даже представил в южную Директорию письменный отчет о своей поездке. Но, как выяснилось впоследствии, информация Якубовича оказалась блефом.

Князь совместно с В. Л. Давыдовым возглавлял Каменскую управу Южного общества — но управа эта отличалась бездеятельностью. Волконский участвовал в большинстве совещаний руководителей заговора — но все они не имели никакого практического значения. На следствии князь признавался: большинство участников Южного общества были уверены, что именно он имеет «наибольшие способы» начать революцию в России. Действительно, под его командой находилась реальная — и немалая — военная сила. Летом 1825 года, когда командир 19-й пехотной дивизии генерал-лейтенант П. Д. Корнилов уехал в длительный отпуск, Волконский стал исполнять его обязанности — и исполнял их вплоть до своего ареста в начале января 1826-го<sup>36</sup>. Но в декабре 1825 года эта дивизия осталась на своих квартирах.

Однако у Волконского в тайном обществе был круг обязанностей, в выполнении которых он оказался гораздо более удачливым. На эту его деятельность Следственная комиссия особого внимания не обратила — но именно она главным образом и определяла роль князя в заговоре декабристов.

В «Записках» князя есть фрагмент, который всегда ставит в тупик комментаторов: «В числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству был Александр Христофорович Бенкендорф, и с этого времени были мы сперва довольно знакомы, а впоследствии — в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и как человек мыслящий и впечатлительный увидел, какие [услуги] оказывает жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смысленых, введение этой отрасли соглядатайства может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления, пригласил нас, многих его товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, людей добромслящих, и меня в их числе. Проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Ал[ександр] Хр[истофорович] осуществил при восшествии на престол Николая, в полном убеж-

дении, в том я уверен, что действия оной будут для охранения от притеснений, для охранения вовремя от заблуждений. Чистая его душа, светлый его ум имели это в виду, и потом как изгнанник я должен сказать, что во всё время моей ссылки голубой мундир не был для нас лицами преследователей, а людьми, охраняющими и нас, и всех от преследования»<sup>57</sup>.

События, которые здесь описаны, предположительно можно отнести к 1811 году — именно тогда Сергей Волконский стал флигель-адъютантом. Сведений о том, какой именно проект подавал Бенкендорф царю в начале 1810-х годов, не сохранилось. Известен более поздний проект Бенкендорфа о создании тайной полиции, относящийся к 1821 году. Однако вряд ли в данном случае Волконский путает даты: с начала 1821 года он находился в Умани и в этот период не мог лично общаться со служившим в столице Бенкендорфом.

Историки по-разному пытались прокомментировать этот фрагмент мемуаров Волконского. Так, например, М. Лемке в книге «Николаевские жандармы и литература» утверждал, что причина столь восторженного отзыва в том, что Бенкендорф оказывал другу-каторжнику «мелкие услуги», в то время как мог сделать «крупные неприятности»<sup>58</sup>. Современные же комментаторы делают иной вывод: Волконский, попав на каторгу, сохранил воспоминания о Бенкендорфе — сослуживце по партизанскому отряду, храбром офицере и не знал, «какие изменения претерпела позиция его боевого товарища»<sup>59</sup>.

Однако с подобными утверждениями согласиться сложно: почти вся сознательная, в том числе и «декабристская» жизнь Сергея Волконского эти утверждения опровергает. Князь Волконский был и остался убежденным сторонником тайной полиции. Этому немало способствовал, с одной стороны, опыт участия в партизанских действиях, которые, конечно, были невозможны без «тайных» методов работы. Способствовали этому и «секретные поручения» командования, которые ему доводилось исполнять.

В тайном обществе у Волконского был достаточно четко определенный круг обязанностей. Он был при Пестеле чем-то вроде начальника тайной полиции, обеспечивающим прежде всего внутреннюю безопасность заговора.

В 1826 году участь Волконского намного утяжелил тот факт, что, как сказано в приговоре, он «употреблял поддельную печать Полевого аудиториата»<sup>60</sup>. С этим пунктом в приговоре было труднее всего смириться его родным и друзьям. «Что меня больше всего мучило, это то, что я прочитала в напечатанном приговоре, будто мой муж подделал фальшивую печать, с

целью вскрытия правительственных бумаг», — писала в мемуарах княгиня Мария Николаевна<sup>61</sup>.

Ее можно понять: всё же заговор — дело пусть и преступное, но благородное, цель его — своеобразно понятое благо России, а генерал, князь, потомок Рюрика, поддельвающий казенные печати, — это в сознании современников никак не вязалось с образом благородного заговорщика.

Однако в 1824 году Волконский действительно пользовался поддельной печатью, вскрывая переписку армейских должностных лиц. «Сия печать... председателя Полевого аудиториата сделана была мною в 1824 году», — показывал князь на следствии<sup>62</sup>. Печать эта была использована по крайней мере однажды: в том же году Волконский вскрыл письмо начальника Полевого аудиториата 2-й армии генерала Волкова П. Д. Киселеву, в то время генерал-майору и начальнику армейского штаба, рассчитывая найти сведения, касающиеся М. Ф. Орлова, только что снятого с должности командира 16-й пехотной дивизии, и его подчиненного, майора В. Ф. Раевского. «Дело» Орлова и Раевского, занимавшихся, в частности, пропагандой революционных идей среди солдат и попавших под суд, могло привести к раскрытию всего тайного общества.

Следил Сергей Волконский не только за правительственной перепиской. В том же году князь вскрыл письмо своих товарищей по заговору, руководителей Васильковской управы С. И. Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина, членам Польского патриотического общества. Муравьев и Бестужев по поручению Директории Южного общества начали переговоры с поляками о совместных действиях в случае начала революции.

В сентябре 1824 года Муравьев и Бестужев, горевшие желанием немедленной революционной деятельности, составили письмо полякам с просьбой в случае начала русской революции устранить цесаревича Константина Павловича и попытались передать письмо через Волконского. «Сие письмо было мною взято, но с тем, чтобы его не вручать», — показывал Волконский. «Князь Волконский, прочитав сию бумагу и посоветовавшись с Василием Давыдовым, на место того, чтобы отдать сию бумагу... представил оную Директории Южного края. Директория истребила сию бумагу, прекратила сношения Бестужева с поляками и передала таковые мне и князю Волконскому», — утверждал на следствии Пестель<sup>63</sup>.

Естественно, после этого личные отношения Волконского с Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым оказались разорваны. На следствии Волконский показывал, что «на

слова начальников Васильковской управы с некоторого времени перестал иметь веру»<sup>64</sup>.

В конце 1825-го — начале 1826 года Сергей Муравьев поднял восстание Черниговского полка. Для того чтобы иметь хотя бы минимальные шансы на победу, руководителю мятежа была нужна поддержка других воинских частей, где служили участники заговора. Однако к генералу Волконскому, командовавшему 19-й пехотной дивизией, он даже не пытался обратиться за помощью.

В целях тайного общества Сергей Волконский использовал и свои родственные и дружеские связи с армейским начальством, высшими военными и гражданскими деятелями империи. А связей этих было немало: вряд ли кто-нибудь другой из заговорщиков мог похвастаться столь представительным кругом общения. С начальником штаба 2-й армии генерал-майором Киселевым Волконский дружил еще с юности; дружба, как уже говорилось выше, связывала его и с генерал-лейтенантом Бенкендорфом — в то время начальником штаба Гвардейского корпуса. «Ментором» и покровителем заговорщика был его шурин П. М. Волконский. «Близкое знакомство» соединяло князя с генерал-лейтенантом И. О. Виттом, начальником южных военных поселений, в 1825 году ставшим доносчиком на декабристов<sup>65</sup>. Волконский был прекрасно известен и всем членам императорской фамилии.

Согласно мемуарам князя, в 1823 году, во время высочайшего смотра 2-й армии, он получил от императора Александра I «предостерегательный намек» на то, что «многое в тайном обществе было известно». Довольный состоянием бригады Волконского, Александр похвалил князя за «труды», добавив, что «мсье Сержу» будет «гораздо выгоднее» продолжать командовать своей бригадой, чем «заниматься управлением» Российской империей<sup>66</sup>.

Летом 1825 года, когда появились первые доносы на южных заговорщиков и над тайным обществом нависла угроза раскрытия, подобное «предостережение» Волконский получил и от одного из своих ближайших друзей — начальника штаба армии Киселева: «...советую тебе вынуть булавку из игры»<sup>67</sup>.

Волконский узнал о тяжелой болезни и последовавшей затем смерти Александра I на несколько дней раньше, чем вышшие чины во 2-й армии и столицах. Уже 13 ноября 1825 года, за шесть дней до смерти императора, он знал, что положение почти безнадежное; сообщили же ему об этом проезжавшие через Умань в Петербург курьеры из Таганрога. Следует заметить, что, конечно, курьеры не имели права эту информацию разглашать. Однако П. М. Волконский, к тому вре-



мени уже снятый с поста начальника Главного штаба, но не потерявший доверия императора, был одним из тех, кто сопровождал Александра I в его последнем путешествии, присутствовал при его болезни и смерти. Видимо, именно этим и следует объяснить странную «разговорчивость» секретных курьеров.

Пятнадцатого ноября Волконский сообщил эти сведения Киселеву; впоследствии по этому поводу было даже устроено специальное расследование<sup>68</sup>. Когда же стало известно о кончине государя, Волконский сообщил Киселеву, что послал «чиновника, при дивизи[онном] штабе находящегося, молодого человека расторопного и скромного, под видом осмотра учебных команд в 37-м полку объехать всю дистанцию между Торговицею и Богополем и, буде что узнает замечательного, о том мне приехать с извещением»<sup>69</sup>. Фрагмент письма Волконского красноречиво свидетельствует: в армии у князя была собственная секретная агентура.

Естественно, что информацией Волконский делился со своим непосредственным начальником по тайному обществу Пестелем. Летом 1825 года тот пришел к выводу о необходимости скорейшего начала революции<sup>70</sup>. Во второй половине ноября председатель Директории начинает подготовку к решительным действиям: пытается договориться о совместном выступлении с С. И. Муравьевым-Апостолом, отдает приказ до времени спрятать «Русскую Правду». В эти же тревожные дни для переписки с Пестелем Волконский составляет особый шифр<sup>71</sup> (точно неизвестно, был ли этот шифр использован).

Двадцать девятого ноября 1825 года Пестель вместе с Волконским составляет хорошо известный историкам план «1 января» — план немедленного революционного выступления Южного общества<sup>72</sup>.

Согласно этому плану, восстание начинал Вятский полк, которым командовал Пестель. Придя 1 января 1826 года в армейский штаб в Тульчине, вятцы должны были прежде всего арестовать армейское начальство<sup>73</sup>, после чего должен был последовать приказ по армии о немедленном выступлении на Петербург. Естественно, что в этом плане Волконскому отводилась одна из центральных ролей. 19-я пехотная дивизия становилась ударной силой будущего похода. Не лишено оснований и предположение С. Н. Чернова, что Волконскому вообще могло быть предложено общее командование мятежной армией<sup>74</sup>.

Однако план этот осуществлен не был: за две недели до предполагаемого выступления Пестель был арестован. К самостоятельным же действиям в заговоре Волконский готов

не был — и поэтому отказался от плана поднять на восстание собственную дивизию и силой освободить из-под ареста председателя южной Директории<sup>75</sup>.

Седьмого января 1826 года Сергей Волконский был взят под стражу.

Спустя неделю князя Волконского привезли в Петербург и доставили на допрос к новому императору Николаю I. «Сергей Волконский набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоял как одурелый, он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека» — так по итогам этой встречи охарактеризовал князя император<sup>76</sup>.

Конечно, Николай I был очень раздражен событиями конца 1825-го — начала 1826 года, и это раздражение осталось даже по прошествии многих лет. Однако в его словах была и определенная доля истины. С самого начала и до самого конца следствия Волконский удачно играл роль «дурака» и солдафона.

Согласно М. И. Пыляеву, в своеобразный «кодекс» русского «военного повесы» входила откровенность на допросе: «Винные сознавались по первому спросу... лгать было стыдно»<sup>77</sup>. Внешне князь на следствии вел себя вполне согласно этому кодексу. «Представить имею честь чистосердечные и без всякого затмения истины сделанные мною ответы»; «готов на всякие дополнительные сведения и желал бы оградить себя от нареkania в заперательстве — и заслужить доверия о моих показаниях, желая тем оказать чувство меры моей вины» — такими или подобными словами начинаются большинство ответов Волконского на письменные вопросы следствия<sup>78</sup>.

При этом он хотел взять на себя как можно больше вины. «Вкоренению же сих мыслей в моем уме... приписываю убеждению собственного моего рассудка... Приняв вышеизъявленный образ мыслей в таких летах, где человек начинал руководствоваться своим умом, и продолжив мое к оным причастие с различными изменениями тринадцать лет — я никому не могу приписывать вину — как только себе, и ничьим внушением не руководствовался, а, может быть, должен нести ответственность о распространении оных»<sup>79</sup> — такими словами Волконский отвечал на трафаретный вопрос о происхождении собственных «либеральных» мыслей.

Однако взять на себя всё князь не мог: он не был в Южном обществе главным действующим лицом, о многом, особенно касающемся ранних периодов заговора, просто не знал. Его

показания — это искусно замаскированная под «откровенность» издевка над Следственной комиссией.

Так, на одном из первых допросов, 25 января 1826 года, у Волконского как у председателя Каменской управы спросили о природе надежд заговорщиков на военные поселения, якобы подготовленные к революционному выступлению, и получили следующий ответ: «Из сих запросных пунктов узнаю я, что я был один из управляющих Каменской отдельной управы, также могу уверить, что я не получал ни от кого поручения действовать на поселенные войска»<sup>80</sup>.

Спросили у Волконского и о том, удалось ли ему обнаружить на Кавказе тайное общество. Он отвечал, в частности, что с Кавказа вывез составленную Якубовичем «карту объяснений на одном листе Кавказского и Закубанского края, с означением старой и новой линии и с краткой ведомостью о всех народах, в оном крае обитающих», а также «общую карту» Грузии с «некоторыми топографическими поправками». Из ответа на этот же вопрос следствие узнало, что «на французском диалекте» князь «собственно же ручно» написал «некоторые... замечания насчет Кавказского края и мысли... о лучшем способе к приведению в образованность сих народов»<sup>81</sup>.

На том же допросе следователи интересовались: «В чем заключались главные черты конституции под именем “Русской Правды”, написанной Пестелем?...» Князь без тени сомнения отвечал, что «сочинение под именем “Русской Правды”» не было ему «никогда сообщено, ни письменно, для сохранения или передачи, ни чтением или изустным объяснением...»<sup>82</sup>. На следующем допросе, в феврале 1826 года, он подтвердил свои слова: «...не имею сведения ни о смысле сочинения “Русской Правды” — ни кто сочинитель оной»<sup>83</sup>.

Следователи не поверили князю — они располагали множеством показаний о дружбе и общности мыслей Пестеля и Волконского. И в начале марта 1826 года заключенный вновь получил вопрос о содержании «Русской Правды».

Только на третий раз Волконский, наконец, «упомнил» суть пестелевских идей. В его изложении они выглядели следующим образом: «...главные черты оных были, чтоб при начатии революции вооруженною силою, в Петербурге и Южною управою в одно время, начать тем, что в столице учредить временное правление и обнародовать отречение высочайших особ от престола, созвании представителей для определения о роде правления, и, наконец, как теперь, так и впоследствии, чтоб разговорами и влиянием членов общества объяснять, что лучший образец правления — Соединенные Американские Штаты, с тою отменою, чтобы и частное управление бы-

ло одинаковое по областям, а не разделялось бы на различные роды по провинциям... Ежели в вышеозначенных мною пояснениях заключалось то, что известно было комитету под сочинением “Русской Правды”, то о том я был известен; но как я полагал, что сие сочинение заключало в себе полный свод в подробности того, что означалось в вопросных пунктах, т. е. Конституцией наименованной “Русской Правды”, я вправе был утверждать, что сие сочинение мне неизвестно»<sup>84</sup>.

Естественно, что это изложение имело мало общего с содержанием «Русской Правды». Пестель, в частности, вовсе не собиравшись после победы революции созывать никаких «представителей для определения о роде правления», не собиравшись и придавать постреволюционной России форму правления, подобную Североамериканским Штатам.

Все эти многословные показания, написанные к тому же с огромным количеством орфографических ошибок, производили на следователей тяжелое впечатление. Князя пытались взять «на испуг»: 27 января ему была объявлена «высочайшая резолюция, что ежели он в ответах своих не покажет истинную и полную правду, то будет закован»<sup>85</sup>. Очевидно, предвидя, что боевой генерал может не испугаться кандалов, следствие давило на него и другим способом — через многочисленных родственников.

Подобно следователям, родные в один голос убеждали Волконского «показать истинную и полную правду»; видимо, эти письма были инициированы властью. Так, тесть Николай Раевский писал ему в приказном тоне: «Ты называешь меня отцом — то повинуйся отцу! Благородным, полным признанием ты окажешь чувство вины своей, им одним уменьшишь оную! Не срамись! Жены своей ты знаешь ум, чувства и привязанность к тебе: несчастного — она разделит участь, посрамленного... она умрет. Не будь ее убийца!» «Милый мой Сережа... откровенно признайся во всём государю и твоим чистым раскаянием перед ним возврати мне, твоей несчастной матери, в тебе сына утешительного», — умоляла преступника мать.

А брат Николай Репнин требовал от узника «позабыть все связи дружбы и помнить, что ты обязан верностью к государю». «Уверен я, что обо всём, собственно до тебя касающемся, ты уже решительно отвечал и открыл всю жизнь свою не скрывая, но боюсь, чтобы не завлекся ты понятием о дружбе и честности в ложную стезю», — писал он<sup>86</sup>.

Волконский, скорее всего, понимал, кто на самом деле автор всех этих писем. По крайней мере, получив цитированное выше письмо от матери, он пишет ответ — но не ей, а императору, в котором объявляет, что лично для себя не ждет от него

милости, и просит сообщить его матери, что «начал обращаться» к своим «обязанностям» перед монархом, поскольку для нее это будет «истинным утешением»<sup>87</sup>.

Следователям же он «обещал открыть всё с искренностью и по совести» — если, конечно, память не подведет его, поскольку «мудрено вдруг припомнить обстоятельства, в течение пяти лет случившиеся, при ежегодных в оных изменениях»<sup>88</sup>.

Однако на последующие вопросные пункты он снова отвечает многословно, невнятно, неграмотно — и не вполне о том, о чем его спрашивают. При этом следует заметить, что ни написанные Волконским до 1826 года тексты, ни его сибирские письма, ни мемуары впечатления бездарной графомании не производят. Современникам, знавшим Волконского, он запомнился как человек ясного ума и хорошей памяти.

Жизнь Сергея Волконского после приговора — тема отдельного исследования. Позволим себе здесь лишь несколько замечаний, дополняющих представление о личности и характере декабриста.

В июле 1826 года генерал-майор князь Сергей Волконский, лишенный чинов, орденов и дворянства, был осужден на 20 лет каторжных работ (в августе того же года каторжный срок был сокращен до пятнадцати лет, затем — до десяти) с последующим поселением в Сибири. Ни мать, придворная дама, ни многочисленные влиятельные родственники ничего не смогли сделать для облегчения его участи. Практически до самого конца следствия они не знали, сохранит ли император жизнь генералу-преступнику.

Согласно дневнику племянницы декабриста Алины Волконской, 13 июля, в день объявления приговора, мать Сергея Григорьевича «много плакала... почти не спала». Она даже собиралась поехать в Сибирь вслед за сыном. Но, по словам внука декабриста, С. М. Волконского, «это был истерический порыв, а может быть, простое изливание слов. Съездить навестить сына в крепости было много легче, нежели ехать в Сибирь; однако старая княгиня от этого воздержалась. Она писала сыну, что боится за свои силы, да и его не хочет подвергать такому потрясению». К тому же, согласно дневнику Алины, вдовствующая императрица Мария Федоровна «упрашивала» княгиню Александру Николаевну «беречь себя».

Среди «утешителей» старой княгини оказалась не только мать императора, но и сам Николай I. «Государь просил бабушку утешиться, не смешивать дела семейные с делами службы — одно другому не помешает», — читаем в дневнике Алины<sup>89</sup>.

Конечно, родные Сергея Волконского были потрясены жестоким приговором. Однако все они исполнили высочайшее повеление — и быстро утешились. Тем более что по случаю коронации княгиня Александра Николаевна получила бриллиантовые знаки ордена Святой Екатерины<sup>90</sup>. Были награждены и ее сыновья: князь Николай Репнин стал кавалером ордена Святого Александра Невского с алмазами, а находящийся в «бессрочном отпуске» Никита Волконский — кавалером ордена Святой Анны 1-й степени<sup>91</sup>.

В свете долго циркулировали слухи, что «княгиня Волконская... допустила хладнокровно отправить сына в каторжную работу и даже танцевала с самим государем на другой день после приговора»<sup>92</sup>. Впрочем, были и другие суждения: статс-дама «решилась не покидать своей должности при дворе, чтоб не раздражить императора, и надеялась, оставаясь при нем, улучшить удобную минуту, чтоб испросить прощения виновного»<sup>93</sup>.

Единственной из всей большой семьи Волконских, кто позволил себе публично не согласиться с приговором, оказалась княгиня Зинаида Александровна. Согласно агентурным данным, поступившим в Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии летом 1826 года, в своем московском салоне она «извергала» «злую брань» на «правительство и его слуг» и была готова «разорвать на части правительство»<sup>94</sup>. Прямо из ее салона отправилась в Сибирь Мария Волконская — и ее проводы приняли характер демонстративного выражения нелояльности к власти. Вскоре Зинаида Волконская приняла католичество; во многом этот демонстративный шаг тоже был выражением политической нелояльности. В отличие от многих других членов семьи, Зинаида Волконская постоянно писала своему осужденному родственнику; письма эти «горели лаской и приветом»<sup>95</sup>.

За Зинаидой Александровной был установлен секретный полицейский надзор, который, впрочем, не распространялся на ее мужа Никиту Григорьевича. В конце 1820-х годов княгине Зинаиде вынудили покинуть Россию.

Сам Сергей Волконский воспринял приговор спокойно. По словам его товарища по сибирскому изгнанию А. Е. Розена, в момент совершения обряда гражданской казни князь был «особенно бодр и разговорчив»<sup>96</sup>. Видимо, бывший генерал тогда плохо себе представлял, что его ждет. Через десять дней после оглашения приговора он уже был отправлен к месту отбытия наказания. Полностью он осознал всё произошедшее, только прибыв на каторгу: сначала на Николаевский

солеваренный завод, потом — на Благодатский рудник, входивший в состав Нерчинского горного завода.

Условия, в которых оказался Волконский на каторге, были тяжелейшие. Причем для декабристов — молодых, здоровых мужчин, бывших офицеров — тяжелы были не сами работы в руднике. Быт осужденных был организован таким образом, чтобы полностью уничтожить их человеческое достоинство. По образному выражению С. Н. Чернова, местные тюремные власти, получившие от императора общие указания о содержании арестантов, вышивали «жестокие узоры по начальнической канве»<sup>97</sup>.

Согласно документам, попавшие на Благодатский рудник государственные преступники находились под постоянным надзором; им было воспрещено общаться не только друг с другом, но и вообще с кем бы то ни было, кроме тюремных надзирателей. У них отобрали почти все вещи, деньги и книги, привезенные из Петербурга, не разрешали иметь у себя даже Библию. Осужденных «употребляли в работы» наравне с другими каторжниками, и при этом зорко смотрели, «чтобы они вели себя скромно, были послушны поставленным над ним надзирателям и не отклонялись бы от работ под предлогом болезни».

Рудничный пристав вел специальный секретный дневник, где «замечал... со всею подробностью, каким образом преступники производили работу, что говорили при производстве оной... какой показал характер, был ли послушен к постановленным над ним властям и каково состояние его здоровья». Дважды в день, до и после «употребления в работы», производился «должный обыск» преступников. От казармы к руднику и обратно они передвигались с особым конвоем — «надежным» унтер-офицером и двумя рядовыми. Покидать камеру каторжники могли только в сопровождении часового с прикнутым штыком<sup>98</sup>.

«Со времени моего прибытия в сие место я без изъятия подвержен работам, определенным в рудниках, провожу дни в тягостных упражнениях, а часы отдохновения проходят в тесном жилище, и всегда нахожусь под крепчайшим надзором, меры которого строже, нежели во время моего заточения в крепости, и по сему ты можешь представить себе, какие сношу нужды и в каком стесненном во всех отношениях нахожусь положении»; «физические труды не могут привести меня в уныние, но сердечные скорби, конечно, скоро разрушат брэнное мое тело», — писал Волконский жене из Благодатского рудника<sup>99</sup>.

Каторжная жизнь быстро подорвала здоровье и психику государственного преступника: у Волконского началась глу-

бокая депрессия, сопровождавшаяся острым нервным расстройством. «Бодрость» и «разговорчивость» его вскоре прошли, не возникало и желания выделиться из общей массы каторжников. «При производстве работ был послушен, характер показывал тихий, ничего противного не говорил, часто бывает задумчив и печален»<sup>100</sup> — так характеризовало каторжника тюремное начальство.

«Машенька, посети меня прежде, чем я опущусь в могилу, дай взглянуть на тебя еще хоть один раз, дай излить в сердце твое все чувства души моей»<sup>101</sup> — эти строки из письма Волконского красноречиво свидетельствуют: именно надежда на скорый приезд жены в Сибирь позволила ему выжить в первые страшные месяцы каторги.

Имя Марии Николаевны Волконской знакомо сегодня каждому школьнику. Она вышла замуж в 19 лет, до свадьбы практически не знала будущего мужа и согласилась на брак только по настоянию отца. После свадьбы Волконские почти не жили вместе: дела службы и тайного общества заставляли князя надолго оставлять жену.

В январе 1826 года, за пять дней до ареста Волконского, его жена родила сына Николая. Роды были трудные, и родные, опасаясь за ее здоровье, долго скрывали от нее правду о том положении, в котором вдруг оказался ее муж. Однако, узнав ее, Мария Волконская решила разделить с мужем тяготы ссылки и, несмотря на протесты родителей, в ноябре 1826 года была уже на Благодатском руднике.

Когда она приехала, Сергею Григорьевичу стало лучше — но лишь на некоторое время. Вскоре после приезда Мария Николаевна сообщала родным мужа, что «он нервен и бессилен до крайности», «его нервы последнее время совершенно расстроены, и улучшение, которому я так радовалась, было лишь кратковременным»; что он изъясляет «полную покорность» и «сосредоточенность в себе», испытывает «чувство религиозного сасания»<sup>102</sup>.

По словам С. Н. Чернова, «мучительные переживания несчастного Волконского приобретают религиозный оттенок. Он мог бы искать утешения в религии, в беседе со священником, в церковной службе. Но как раз здесь он ничего, по видимому, не может получить»<sup>103</sup>. Должность тюремного священника в Благодатском руднике была, скорее всего, просто не предусмотрена.

К сентябрю 1827 года болезнь Волконского до того усилилась, что на нее обратило внимание тюремное начальство. Он был признан «более всех похудевшим и довольно слабым». При переводе на новое место каторги, в Читинский острог,



ему было позволено взять с собой две бутылки вина и бутылку водки, которые в пути должны были заменить микстуры, поскольку при переезде «не встретится... на случай надобности в лекарствах никакой помощи медицинской»<sup>104</sup>.

Двадцать девятого сентября Волконский вместе с товарищами прибыл в Читинский острог. Режим содержания заключенных на новом месте был гораздо более гуманный, а тюремное начальство оказалось гораздо более «либеральным»: узникам были дозволены даже ежедневные встречи с женами. Здоровье каторжника быстро восстановилось, а вместе с ним восстановились и прежние привычки и черты характера. «На здоровье его я не могу жаловаться... что же касается его настроения, то трудно, можно сказать — почти невозможно встретить в ком-либо такую ясность духа, как у него», — писала М. Н. Волконская его родне<sup>105</sup>. Во дворе острога был небольшой огород — и Волконский впервые увлекся «огородничеством».

В Петровском Заводе — новой тюрьме, куда декабристов перевели из Читы в сентябре 1830 года, — каторги как таковой вообще не было: преступников не заставляли ходить на работы, те из них, у кого были семьи, могли жить в остроге вместе с женами. У Волконских там родились двое детей — Михаил и Елена.

В Петровском Заводе Волконский по-прежнему занимался «сельским хозяйством». И еще до того, как истек его каторжный срок, по Сибири стала распространяться слава о необыкновенных овощах и фруктах, которые он выращивал в парниках<sup>106</sup>.

В 1835 году умерла мать Волконского. В бумагах Александры Николаевны нашли письмо с предсмертной просьбой к императору — простить сына. Последовал царский указ об освобождении Волконского от каторжных работ; еще два года он жил в Петровском Заводе на положении ссыльнопоселенца<sup>107</sup>.

Весной 1837 года семья переезжает в село Урик Иркутской губернии. Мария Николаевна добивается для себя разрешения жить в Иркутске, чтобы иметь возможность обучать сына Михаила в тамошней гимназии. В 1845 году получает позволение жить в Иркутске и сам Волконский, однако практически не пользуется им. Он по-прежнему живет в Урике, лишь изредка навещая семью в городе. У него теперь совсем иная жизнь — жизнь «хлебопашца» и купца.

Очевидно, что по мере того, как нормализовался быт государственных преступников на каторге и поселении, отношения в семье Волконских ухудшались.

Современники и историки едины во мнении, что, разделив изгнание мужа, Мария Волконская совершила «подвиг любви бескорыстной». Бросив родителей и ребенка, который через два года умер, «она решилась исполнить тот долг свой, ту обязанность, которая требовала более жертвы, более самоотвержения», писал декабрист Розен<sup>108</sup>.

Зинаида Волконская посвятила родственнице известное стихотворение в прозе, в котором, в частности, были следующие строки: «О ты, пришедшая отдохнуть в моем жилище, ты, которую я знала в течение только трех дней и назвала своим другом!.. у тебя глаза, волосы, цвет лица, как у девы, рожденной на берегах Ганга, и, подобно ей, жизнь твоя запечатлена долгом и жертвою»<sup>109</sup>.

А оставшийся неизвестным современник — свидетель отъезда Марии Волконской в Сибирь из московского салона Зинаиды Волконской — заметил, что и сама будущая изгнанница видела в себе «божество, ангела-хранителя и утешителя» для мужа и обрекла себя на жертву во имя мужа, «как Христос для людей»<sup>110</sup>.

Но, как точно подметил ее внук С. М. Волконский, «куда, собственно, ехала княгиня, на что себя обрекала, этого не знал никто, меньше всех она сама. И тем не менее ехала с каким-то восторгом... И только в Нерчинске, за восемь тысяч верст от родного дома, она увидела, куда она приехала и на что себя обрекла. И окружавшая пустыня понемногу овладела ее душой»<sup>111</sup>.

Выяснение деталей личной жизни Марии Волконской в Сибири — дело столь же неблагоприятное, сколь и бесперспективное. Исследовательские мнения по этому поводу разделились<sup>112</sup>, и вряд ли выявление истины в этом вопросе столь уж важно для историка движения декабристов. Однако побывавший в 1855 году в Сибири сын декабриста Якушкина Евгений отмечал, что брак Волконских, «вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе».

«Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири, — отмечает Евгений Якушкин, — говорят, что даже сын и дочь ее — дети не Волконского... вся привязанность детей сосредотачивалась на матери, а мать смотрела с каким-то пренебрежением на мужа, что, конечно, имело влияние и на отношение к нему детей».

В 1850 году встал вопрос о замужестве пятнадцатилетней дочери Волконских Елены. Ее жених — сибирский чиновник Д. В. Молчанов — не нравился Волконскому; он высказал-



Обложка альманаха А. И. Герцена «Полярная звезда» с профилями пяти казенных декабристов. Лондон. 1855 г.



В 1-м кадетском корпусе в Петербурге учился К. Ф. Рылеев

Пажеский корпус в Петербурге окончил П. И. Пестель.  
*Литография по рисунку И. Шарлеманя. 1858 г.*





Предположительно подпоручик Павел Пестель (справа)  
и корнет Владимир Пестель.  
*Акварель А. Орловского. Июнь 1813 г.*





Павел Иванович Пестель.  
*Рисунок Е. Пестель. 1813 г.*



Сергей Иванович Муравьев-  
Апостол

В Бородинском сражении принимали участие С. Трубецкой, С. Муравьев-Апостол, был тяжело ранен П. Пестель. *Акварель первой четверти XIX в.*





Петр Христианович Витгенштейн.  
*Д. Доу. Между 1819 и 1825 гг.*

Сергей Григорьевич Волконский.  
*Д. Доу. 1823 г.*

Сражение при Лютцене 20 апреля (2 мая) 1813 года.  
*Гравюра Э. Бовине. Первая четверть XIX в.*





В сражении при Баутцене 8—9 (20—21) мая 1813 года участвовал С. П. Трубецкой. *Рисунок Ж. Белланже. Между 1825 и 1830 гг.*

В Битве народов под Лейпцигом 4—7 (16—19) октября принимали участие С. Волконский, П. Пестель, С. Трубецкой, С. Муравьев-Апостол. *Гравюра по оригиналу И. Клейна. Первая четверть XIX в.*







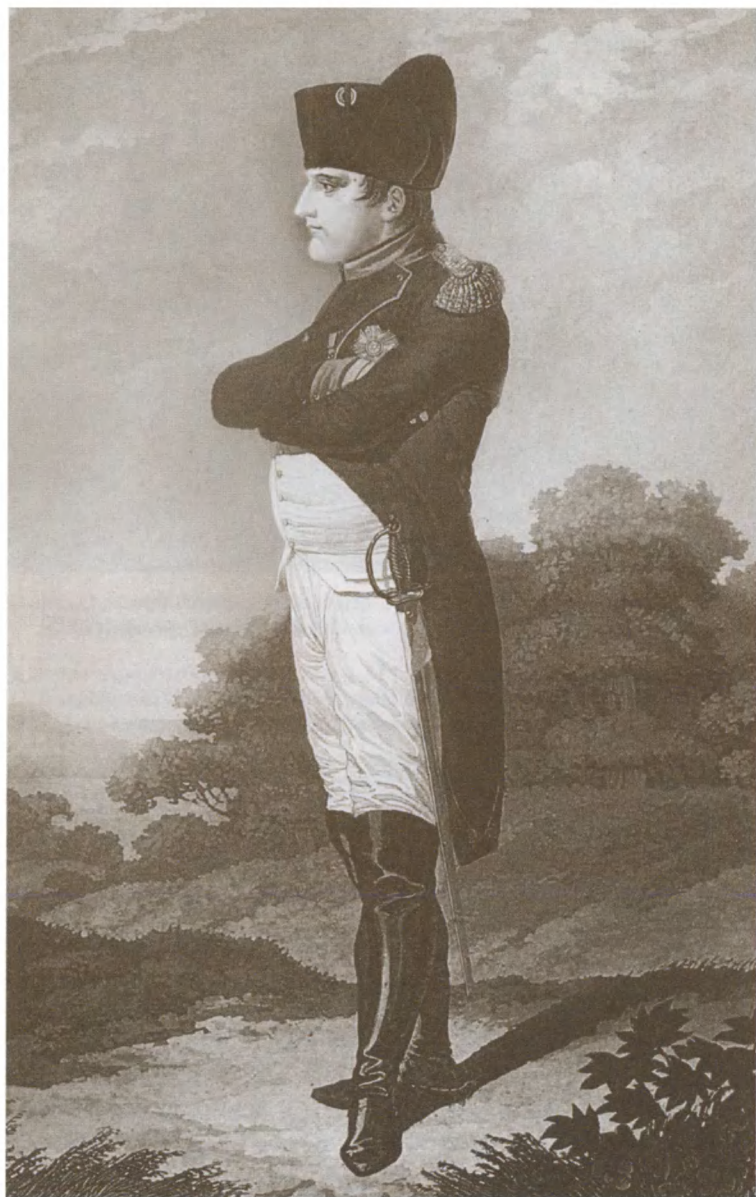
Император Александр I.  
*Ф. Жерар. Около 1814—1815 гг.*



Михаил Федорович Орлов.  
*А. Ризенер. Первая четверть XIX в.*

Среди победителей, вступивших в Париж 18 (30) марта 1814 года,  
был С. Муравьев-Апостол. *Гравюра Молло. Вена. Первая четверть XIX в.*

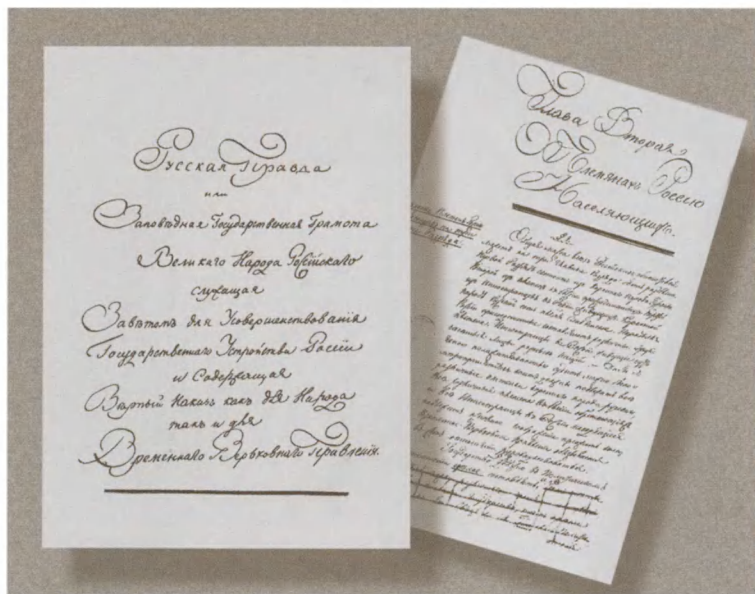




Император Наполеон I.  
*Гравюра Ф. Арнгольда по оригиналу Г. Делинга. Первая четверть XIX в.*



Павел Пестель в образе Наполеона.  
*Рисунок А. Пушкина. 1826 г.*



«Русская Правда» Пестеля. Титульный лист и начало второй главы

Памятный знак на месте, где в 1825 году была закопана «Русская Правда»





Памятник Пестелю  
в Тульчине



Дом Пестеля  
в Тульчине





Кондратий Федорович Рылев.  
*Рисунок О. Кипренского.*  
*Начало 1820-х гг.*



Владимир Иванович Штейнгейль.  
*Рисунок Е. Эстеррейха. 1823 г.*

В доме Российско-американской компании на Мойке с 1824 года до ареста жил Рылев и подолгу останавливался барон Штейнгейль





Титульный лист альманаха Кондратия Рылева и Александра Бестужева «Полярная звезда» на 1825 год

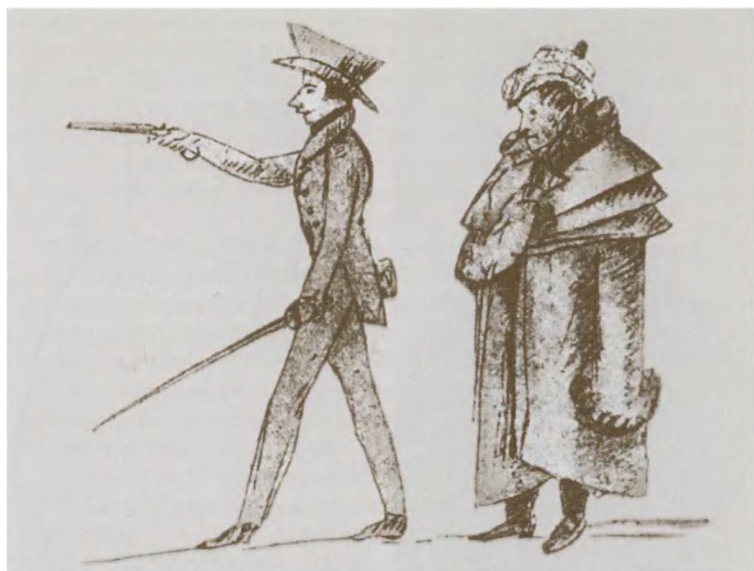


Николай I перед строем лейб-гвардии Саперного батальона во дворе Зимнего дворца 14 декабря 1825 года. *В. Максудов. 1861 г.*

Восстание 14 декабря 1825 года. *В. Тимм. 1853 г.*







Вильгельм Кюхельбекер и Кондратий Рылеев на Сенатской площади  
14 декабря 1825 года. *Рисунок А. Пушкина. Май — июль 1827 г.*

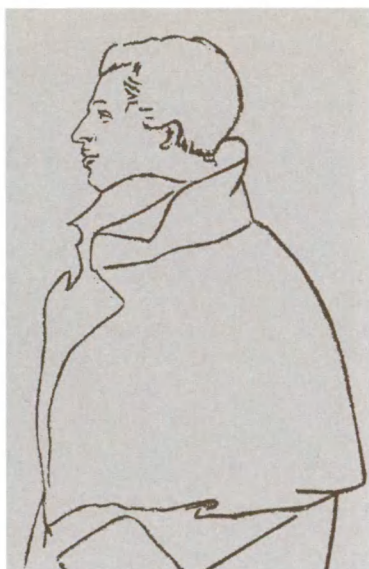
Восстание на Сенатской площади.

*Рисунок К. Кольмана. Конец 1820-х — начало 1830-х гг.*





Матвей Иванович Муравьев-Апостол.  
*Рисунок Н. Уткина. 1823 г.*



Михаил Павлович Бестужев-Рюмин.  
*Рисунок А. Ивановского (?). 1826 г.*

#### Штаб Черниговского пехотного полка в Василькове



ся решительно против этого брака. Но «Мария Николаевна... сказала приятелям мужа, что ежели он не согласится, то она объяснит ему, что он не имеет никакого права запрещать, потому что не он отец ее дочери. Хотя до этого дело не дошло, но старик, наконец, уступил»<sup>113</sup>. Судьба Елены Волконской оказалась в итоге сломанной: за финансовые злоупотребления Молчанов попал под следствие, потом тяжело заболел и вскоре умер.

Образ жизни Сергея Волконского на поселении совершенно не соответствовал образу жизни его жены. После окончания каторжного срока он получил большой участок земли и все силы отдал обработке этого участка. Современник вспоминает: «Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал целыми днями на работах в поле, а зимой его любимым времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородных крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства»<sup>114</sup>.

Мария Николаевна же «была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни». И в окружавшем Волконскую светском обществе ее муж очень быстро приобрел репутацию «чудака» и «оригинала»: «...знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ним краюхой серой пшеничной булки... в салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенной ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами... вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован»<sup>115</sup>.

К концу пребывания в Сибири ссыльнопоселенец Сергей Волконский собственным трудом собрал приличное состояние — и снова сумел «найти *свою* судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную личность».

В августе 1855 года, когда в Сибирь дошло известие о смерти Николая I, Мария Николаевна Волконская уехала из Иркутска, поскольку, видимо, совместное существование супругов стало невозможным. Через несколько дней после ее

отъезда новый император Александр II издал манифест, в котором объявил помилование оставшимся в живых декабристам. В сентябре 1856 года, бросив «землепашество», Сибирь покинул и Сергей Григорьевич.

Умер Волконский 28 ноября 1865 года, на два года пережив свою жену. До последних дней жизни он, по словам сына Михаила, сохранил «необыкновенную память, остроумную речь, горячее отношение к вопросам внутренней и внешней политики и участие во всём, близком ему»<sup>116</sup>.

Декабрист Сергей Григорьевич Волконский прожил долгую жизнь. Жизнь эта была, конечно, нелегкой — зато никогда не была обыденной и скучной. Вообще, как представляется, доминанта его личности — нежелание вписываться в какие бы то ни было рамки, общественные, сословные, служебные, конспиративные или рамки, определяющие жизнь политического преступника, сибирского ссыльнопоселенца.

Однополчане Волконского, офицеры-кавалергарды, участвовавшие вместе с ним в гусарских «забавах», впоследствии остепенились и вышли в чины — но имена большинства из них не сохранились в истории. Многие из его товарищей-декабристов ограничили свою деятельность лишь разговорами «между Лафитом и Клико», впоследствии избежали наказания — и тоже были забыты. Большинство же тех, кто всё же попал в Сибирь, оказались сломлены суровым приговором — и либо на каторге сошли с ума, либо умерли, либо просто не нашли в себе силы по-прежнему активно строить свою послекаторжную жизнь.

Волконский же оказался в числе тех немногих участников заговора, которые, пройдя каторгу и ссылку, сумели не сломаться и вновь найти себя. Если судить по мемуарам, которые бывший каторжник писал до самого последнего дня, собственную жизнь он считал вполне состоявшейся: «Избранный мною путь довел меня в Верховный уголовный суд, и в каторжную работу, и к ссылочной жизни тридцатилетней, но всё это не изменило вновь принятых мною убеждений, и на совести моей не лежит никакого гнета упрека»<sup>117</sup>.

Герой войны и светский повеса, князь и каторжник, генерал и «хлебопашец», Сергей Волконский всегда оставался верен себе. Остался он верен и своей любимой пословице, которую еще в 1815 году сообщил своему другу Киселеву: «Каков в колыбели, таков и в могиле»<sup>118</sup>.

---

---

## МИХАИЛ БЕСТУЖЕВ-РЮМИН

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин — едва ли не самая загадочная фигура в истории движения декабристов.

Противники оценили его вклад предельно высоко: 25-летний подпоручик был казнен вместе с лидером Южного общества П. И. Пестелем, организатором восстания 14 декабря К. Ф. Рылеевым, руководителем мятежа Черниговского полка С. И. Муравьевым-Апостолом и убийцей генерал-губернатора Петербурга П. Г. Каховским.

Вместе с именами Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола и Каховского имя Бестужева-Рюмина стало своего рода символом. При этом сложилась парадоксальная ситуация: о других декабристах написаны многочисленные монографии и статьи, а биография, служба и конспиративная деятельность Бестужева-Рюмина оказались вне пристального внимания историков.

Ему посвящено крайне мало специальных исследований. Из наиболее известных — глава в книге С. Я. Штрайха «о пяти повешенных». По сути, это некомментируемый свод показаний на следствии, мемуаров и фрагментов художественных произведений. Своего рода вольный пересказ тех же источников — статья Штрайха «Декабрист М. П. Бестужев-Рюмин». Биографию Бестужева-Рюмина написал также популярный ленинградский журналист В. Е. Василенко; правда, это скорее дежурный панегирик казненному декабристу, нежели аналитическая работа. Сравнительно небольшое по объему исследование Е. Н. Мачульского «Новые данные о биографии М. П. Бестужева-Рюмина» насыщено архивным материалом, однако посвящено раннему периоду жизни декабриста — содержит сведения о его детстве и службе в гвардии<sup>1</sup>.

Конечно, Бестужев-Рюмин всегда упоминается в работах о подполковнике С. И. Муравьеве-Апостоле, о деятельности Южного общества и движении декабристов в целом. Но общий тон этих работ задан фразой, вскользь сказанной Песте-

лем на следствии: Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин «составляют, так сказать, одного человека»<sup>2</sup>.

В начале 1950-х годов известный декабриствед М. К. Азадовский утверждал, что в дореволюционной историографии Бестужева-Рюмина «часто изображали как “тень” Сергея Муравьева-Апостола, как послушного и преданного исполнителя его планов и замыслов, но не проявлявшего собственной инициативы», зато позже усилиями советских историков такое положение было исправлено. Сходное мнение высказал в 1975 году Е. Н. Мачульский: «Только в советское время, благодаря глубокому и разностороннему изучению материалов по истории движения декабристов, его роль в Южном обществе и сама личность декабриста получили достойную оценку в трудах историков»<sup>3</sup>.

Но ни в 1950-х, ни в 1970-х годах ситуация кардинально не менялась — более того, в наши дни она осталась такой же. Никакого «нового взгляда» на роль и место Бестужева-Рюмина в истории декабризма не появилось. По-прежнему на виду — Сергей Муравьев-Апостол, которого Л. Н. Толстой назвал «одним из лучших людей того, да и всякого времени»<sup>4</sup>. Муравьев-Апостол «заслонил» своего младшего друга.

Судить о Бестужева-Рюмине трудно и по причине скудости личного наследия. Во-первых, он мало что оставил в архивах современников. Во-вторых, перед арестом 3 января 1826 года у декабриста было достаточно времени для уничтожения собственного архива, что он, как известно, и сделал.

Тем не менее главный комплекс документов, с достаточной полнотой характеризующий роль Бестужева-Рюмина в Южном обществе — следственное дело, — прекрасно сохранился и был опубликован в девятом томе серии «Восстание декабристов: Документы и материалы»<sup>5</sup>. Сведения о Бестужева-Рюмине содержат и десятки других, также опубликованных следственных дел. То, что они не привлекали особого внимания историков, — результат традиционного восприятия Бестужева-Рюмина как «тени великого человека».

Попытаемся уточнить биографические данные и определить истинную роль М. П. Бестужева-Рюмина в Южном обществе.

Род Бестужевых-Рюминых достаточно знатный. Племянник декабриста, известный историк К. Н. Бестужев-Рюмин писал: «По семейному преданию, подкрепленному грамотою, выданною в 1698 году от герольда герцогства Кентского, род наш происходит из Англии, откуда выехал в 1409 году Гавриил

Бест. Предок наш Федор Глазастый был братом Даниила Красного, предка графской линии». При Петре Великом, продолжает историк, «жил мой прапрадед Дмитрий Андреевич»; в 1713 году он ездил «в Турцию гонцом и привез ратификацию Прутского мира; за это Петр пожаловал ему свой портрет»<sup>6</sup>. Правда, к началу XIX века фамилия сильно обеднела.

Михаил Бестужев-Рюмин появился на свет 23 мая 1801 года в имении родителей — деревне Кудрешки Горбатовского уезда Нижегородской губернии<sup>7</sup>. Точная дата его рождения стала известна сравнительно недавно: при поступлении на службу семнадцатилетний Бестужев-Рюмин прибавил себе два года, и поэтому в документах появились разночтения.

Он был пятым, младшим ребенком отставного городничего города Горбатова. До пятнадцати лет жил вместе с родителями в Кудрешках, потом семья переехала в Москву<sup>8</sup>.

Об отце декабриста Павле Николаевиче мало что известно. К. Н. Бестужев-Рюмин, ссылаясь на семейные предания, писал, что тот был необразован, небогат, а по характеру жесток и деспотичен. Младшего сына бывший городничий, судя по всему, не жаловал: в 1824 году не дал ему согласия на брак с племянницей декабриста В. Л. Давыдова, а в 1826-м, узнав о казни, заявил: «Собаке собачья смерть»<sup>9</sup>.

Зато мать Екатерина Васильевна, родившая Михаила в 40 лет, любила его — поздний ребенок<sup>10</sup>. Скорее всего, именно поэтому мать долго не хотела отпускать его из дому, хотя старшие ее сыновья учились в Благородном пансионе при Московском университете. О его казни мать, к счастью, не узнала — умерла в конце 1825 года.

Исследователи считали, что Бестужев-Рюмин был недостаточно образован. К примеру, Е. Н. Мачульский утверждал: «В отличие от многих участников движения, получивших блестящее воспитание и образование в Москве или в Петербурге, М. П. Бестужев-Рюмин вырос в деревне, в дворянской семье, имевшей средний достаток, заброшенной в глухую провинцию и, несмотря на знатность своего рода, обреченной на забвение вдали от шумной столичной жизни»<sup>11</sup>.

При ближайшем рассмотрении это совсем не так. Будущий декабрист, как и многие его ровесники, получил вполне приличное домашнее образование. Сначала его воспитывал француз-гувернер, потом наняли преподавателей, иностранных и русских, в том числе известных профессоров Московского университета.

На следствии Бестужев-Рюмин показывал: «Старался я более усовершенствоваться в истории, литературе и иностранных языках. Готовился я быть дипломатом». Либеральные

убеждения, по его словам, сформировались поначалу благодаря «трагедиям Вольтера», затем — чтению трудов «известных публицистов» и стихов А. С. Пушкина<sup>12</sup>.

В 1818 году семнадцатилетний Бестужев-Рюмин, прибавив себе два года, держал экзамен на офицерский чин в самом привилегированном военном учебном заведении России — Пажеском корпусе. На экзамене ему следовало показать достаточные для гвардейского офицера знания французского и немецкого языков, истории, географии и математики. Кроме того, готовясь к экзамену, Бестужев-Рюмин, по его словам, «тщательно занимался естественным правом, гражданским, римским и политическою экономией»<sup>13</sup>.

Для получения чина после экзамена ему надлежало определенный срок «находиться на действительной военной службе». В том же году Бестужев-Рюмин — юнкер лейб-гвардии Кавалергардского полка. Там он служил полтора года, стал эстандарт-юнкером, но в офицеры так и не вышел. С марта 1820-го Михаил — подпрапорщик лейб-гвардии Семеновского полка — по мнению К. Н. Бестужева-Рюмина, инициатором перевода его дяди был командир кавалергардов Н. И. Депрерадович: «...недовольный его посадкою, просил взять его в другой полк»<sup>14</sup>.

Это маловероятно. Скорее уж причиной перевода стало «нескромное» поведение эстандарт-юнкера<sup>15</sup>. Во всяком случае, в 1819 году приказом по полку он «на три раза» был «наряжен не в очередь» дежурным по эскадрону «за незнание своего дела». И, как показало исследование Е. Н. Мачульского, подобного рода взыскания Бестужев-Рюмин получал нередко.

Однако офицером будущий декабрист не стал и на новом месте службы. В октябре 1820 года начались «беспорядки» в Семеновском полку; в итоге полк раскассировали, большинство солдат и офицеров перевели в армию. Для Бестужева-Рюмина это была серьезная карьерная неудача: гвардейские офицеры имели преимущество в два чина при переводе в армию, а подпрапорщика на вполне законных основаниях перевели «тем же чином». Почти два года службы в гвардии пропали даром.

Об отношении знакомых к событиям конца 1820 года в связи с судьбой Бестужева-Рюмина известно из частной переписки. К примеру, один из друзей семьи, петербуржец, писал родственнику-москвичу: «Бестужева назначили в Полтавский пехотный полк, который стоит в Полтаве... жаль его, бедного. Также этот случай крайне огорчит Павла Николаевича и Катерину Васильевну, но что делать; по крайней мере, они должны утешиться тем, что это участь общая и наказание сие



не лично им заслужено. Кажется, и он сделался поскромнее — чувствует, что некоторым образом сам виноват; ибо если [бы] лучше себя вел в кавалергардах, то не имел бы надобности переходить в Семеновский полк»<sup>16</sup>.

Сам же Бестужев-Рюмин сообщал родителям: «Сию мину-ту еду в Полтаву. Долго ли пробудем, неизвестно, есть надежда, что нас простят. Ради Бога, не огорчайтесь, карьера может поправиться. В бытность мою в Петербурге не успел заслужить прежние вины, но новых не делал и впредь всё возможное старание употреблю сделаться достойным вашей любви. Прощайте. Бог даст, всё переменится»<sup>17</sup>.

Из столицы новые места службы бывших гвардейцев виделись довольно смутно. На самом деле Полтавский полк стоял вовсе не в Полтаве, а неподалеку от Киева, полковой штаб находился в небольшом украинском городке Ржищеве. В январе 1821 года, по прибытии в полк, Бестужев получил, наконец, первый офицерский чин прапорщика. Армейский прапорщик без каких-либо серьезных карьерных перспектив, не бунтовщик, но всё же находящийся «под подозрением» — вот статус Бестужева-Рюмина к моменту вступления в тайное общество.

«Перевод в армию пресек все мои надежды; тут сделано мне было предложение вступить в общество; я имел безрас-судность согласиться», — утверждал он на следствии<sup>18</sup>.

Личность Бестужева-Рюмина, его деятельность в тайных обществах вызывала у современников неоднозначные, чаще всего отрицательные оценки.

Негативно характеризовал Бестужева на следствии генерал-майор М. Ф. Орлов, лидер «раннего декабризма», позже отошедший от заговора: «Бестужев с самого начала так много наделал вздору и непристойностей, что его к себе никто не принимает». Военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, не сочувствовавший заговорщикам, но по делам службы лично знавший Бестужева-Рюмина, утверждал позже: тот «играл в обществах роль шута» и «вел себя так ветрено, что над ним смеялись». Не пошадил казенного товарища по Южному обществу и Н. В. Басаргин, почти 30 лет спустя написавший, что сердце у Бестужева-Рюмина «было превосходное, но голова не совсем в порядке». В мемуарах же И. Д. Якушкина Бестужев-Рюмин и вовсе характеризуется как «взбалмошный и совершенно бестолковый мальчик» и даже «странное существо», причем, по мнению мемуариста, «в нем беспрестанно появлялось что-то похожее на недоумка»<sup>19</sup>. А Е. И. Якушкин, ссылаясь на мнение отца, и вовсе называет Бестужева-Рюмина дураком<sup>20</sup>.

Примеры можно множить, но тенденция очевидна.

Но коли Михаил Бестужев был «взбалмошный и бестолковый мальчик», «шут» и «недоумок», едва ли не душевнобольной и даже просто «дурак», уместно предположить, что Верховный уголовный суд ошибся в оценке его деятельности. В связи с этим уточним его положение в структуре тайного общества.

Южное общество стараниями Пестеля оформилось в 1821 году и действовало на достаточно обширной территории: по сути, чуть ли не на всей Украине, где были расквартированы войсковые части западной 1-й и южной 2-й армий. Заговор был четко структурирован. Руководила всем обществом могущественная и тщательно законспирированная (по крайней мере так хотелось думать самим заговорщикам) Директория во главе с председателем полковником Пестелем. Кроме председателя, среди директоров — генерал-интендант 2-й армии А. П. Юшневский, он же «блюститель», секретарь Директории. Заочно в Директорию был избран служивший в Гвардейском генеральном штабе Никита Муравьев — «для связи» с Петербургом». Директории подчинялись три отделения или, как их называли, управы.

Окончательно управы сложились в 1823 году. У каждой из них были свои руководители. Центр первой управы находился в Тульчине — месте дислокации штаба 2-й армии. Управой этой, как и Директорией, руководил Пестель. Своего рода столица второй управы — уездный город Васильков, где располагался штаб 2-го батальона Черниговского пехотного полка, входившего в состав 1-й армии. Командир батальона, подполковник С. И. Муравьев-Апостол, был председателем этой управы. Центром же третьей управы, во главе с отставным подполковником В. Л. Давыдовым и генерал-майором С. Г. Волконским, была деревня Каменка, имение Давыдова.

Существовала в заговоре и собственная иерархия, определявшая место каждого участника в составе организации. По показаниям Пестеля и Юшневского, «внутреннее образование общества заключалось в разделении членов онога на три степени» — «братьев», «мужей» и «бояр».

«Братом назывался всякий новопринятый», ему «объявляться должноствовало просто намерение ввести новый конституционный порядок без дальнейших объяснений». «Мужами» именовались «те, которые из прежних уклонившихся членов были вновь приняты»; иначе говоря — согласившиеся в 1821 году с роспуском Союза благоденствия, но потом вошедшие в Южное общество. В тот же разряд мог попасть и не состоявший в Союзе благоденствия — в том случае, если «по образу своих мыслей был склонен к принятию республи-

канского правления за цель». Собственно, «мужи» отличались от «братьев» именно знанием «сокровенной» цели — установления республиканского правления в России. Наконец, «боярами именовались только те, которые, не признав разрушения общества, вновь соединились». Как подчеркивал Пестель, присуждение состоявшему в обществе степени «боярина» — компетенция Директории. Предполагалось, что обо всех планах тайной организации следует оповещать только «бояр», именно с ними Директории надлежало консультироваться в самых важных случаях. Кроме того, по словам Юшневого, «бояре имели право принимать новых членов сами собою, давая только знать о том начальнику управы. Прочие же не имели права принимать без дозволения и удостоверения стороною самой управы о качествах предлагаемого члена»<sup>21</sup>.

В Южном обществе Бестужев-Рюмин был «боярином» и сопредседателем Васильковской управы. Если бы современники и впрямь считали его шутом, дураком, недоумком, 22-летний армейский прапорщик не поднялся бы столь высоко в иерархии заговора, не был бы на равных с генералами и штаб-офицерами. С этим выводом нельзя не считаться.

Впрочем, в документах о времени вступления Бестужева-Рюмина в тайное общество и его первоначальном статусе существуют серьезные разночтения.

Согласно собственным показаниям Бестужева, заговорщиком он стал в январе 1823 года. Принимал его в общество Сергей Муравьев-Апостол, а произошло это во время «Киевских контрактов» — ежегодной зимней ярмарки, где, в частности, заключались подряды на поставки для войсковых частей<sup>22</sup>. «Киевские контракты» — вполне легальный повод для встреч заговорщиков. В этот период и проводились съезды руководителей тайного общества.

Показание Бестужева-Рюмина о дате приема в общество подтвердил Пестель<sup>23</sup>. После окончания следствия эта дата попала в знаменитый «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ», составленный правителем дел Следственной комиссии А. Д. Боровковым, а оттуда — на страницы других биографических справочников по истории тайных обществ<sup>24</sup>.

Однако показания Бестужева-Рюмина и Пестеля опровергаются Муравьевым-Апостолом — «главным свидетелем» по делу о вступлении Бестужева в общество. По его словам, Бестужева-Рюмина он принял «в течение 1822 года»<sup>25</sup>. Это расхождение не случайно.

Как известно, в январе 1823 года Бестужев-Рюмин был на киевском съезде руководителей Южного общества, причем

участвовал в работе съезда уже как «боярин» и сопредседатель Васильковской управы, а потому имел право решающего голоса. А в «бояре» заговорщика могла принять только Директория, в которую Муравьев-Апостол тогда не входил, и только Директория имела полномочия назначить Бестужева сопредседателем управы.

М. В. Нечкина выдвинула гипотезу, объясняющую это противоречие: Бестужев-Рюмин принят в общество не только С. И. Муравьевым-Апостолом; в его случае была задействована «редкая форма приема нового члена на общем собрании руководителей»<sup>26</sup>. Правда, документов, подтверждающих это предположение, пока не обнаружено. Да и вряд ли полковник Пестель, генерал-интендант Юшневский, генерал-майор Волконский и подполковник Давыдов согласились бы принять в общество сразу «боярином» никому из них не знакомого прапорщика. Но даже если согласие на это по каким-то неизвестным причинам и было получено, остается необъясненным странный факт присутствия только что принятого заговорщика на съезде лидеров «южан».

Более вероятно, что Бестужев-Рюмин действительно был принят в общество Сергеем Муравьевым в 1822 году. При этом возможно даже, что он был посвящен «прямо в мужи, минуя степень братьев» (о допустимости такого варианта говорил в своих показаниях Пестель<sup>27</sup>). В ходе же съезда 1823 года южная Директория первый и единственный раз реализовала свое право «назначать» в «бояре» и в руководители управ. И только пройдя через эту процедуру, Бестужев-Рюмин мог быть допущен на съезд. Значит, на то были основания; «недоумка» и «шута» столь высоко не оценивают.

С 1823 года Бестужев-Рюмин стал одним из самых деятельных заговорщиков, и вполне логично, что свой конспиративный стаж он отсчитывал именно с этой даты. Скорее всего, именно поэтому и Пестель считал, что Бестужев-Рюмин был принят в общество именно в 1823 году: ранее на глаза не попался, не запомнился.

И здесь важно понять, чем руководствовалась Директория, принимая Бестужева в «бояре».

Очевидно, что одного поручительства Сергея Муравьева было мало. Пестелю, властному и решительному директору, нужны были не слова, а дела. До 1823 года Бестужеву похвастаться было нечем. Свообразной проверкой для него стали переговоры с Польским патриотическим обществом.

О существовании польского заговора Муравьеву и Бестужеву рассказал польский помещик, отставной генерал граф Александр Хоткевич на тех же «Киевских контрактах» 1823 го-

да. Через несколько дней Бестужев-Рюмин «о сем донес Директории», которая, в свою очередь, дала ему «порученность» разработать и заключить с поляками договор. Видимо, тогда и определился статус Бестужева-Рюмина: не будучи «боярином», он не мог вести переговоры от имени общества. При этом у Бестужева-Рюмина состоялась первая встреча с Пестелем, предупредившим начинающего конспиратора о возможности получить «несколько пуль в лоб», если он решится на предательство<sup>28</sup>.

Собственно, платформа для объединения обществ была. «Итак, по правилу народности (то есть согласно праву наций на самоопределение. — *О. К.*) должна Россия даровать Польше независимое существование»<sup>29</sup>, — гласил программный документ Южного общества.

Но одно дело теоретические рассуждения о «правиле народности» и совершенно другое — решимость действовать практически. Участники съезда, заслушав доклад Бестужева-Рюмина, согласились на переговоры с поляками, но реально предоставить Польше независимость, отторгнув от России немалую территорию, они еще не были готовы. «Его предложение было даже поводом некоторого негодования между сочленов», — показывал на следствии Волконский. а генерал Орлов, судя по его показаниям, узнав о переговорах, сказал Бестужеву: «Вы сделали вздор и разрушили последнюю нить нашего знакомства. Вы не русский; прощайте»<sup>30</sup>.

Бестужева-Рюмина это не остановило. Похоже, он считал, что независимость Польши — не слишком высокая цена помощи поляков при подготовке и проведении русской революции. В сентябре 1823 года он совершил «вояж в Вильно», где, по показаниям М. И. Муравьева-Апостола, «должен был снестись с одним посланным от польского общества» (правда, сам Бестужев-Рюмин на следствии объяснял свой «вояж» личными мотивами)<sup>31</sup>. География последующих переговоров Бестужева-Рюмина с поляками прослеживается по показаниям Волконского: кроме Вильно — «Киев, Житомир, Васильков и Ржищев»<sup>32</sup>.

Сам Бестужев-Рюмин показывал на следствии, что в переговорах с поляками Сергей Муравьев практически не участвовал, «ни во что почти не входил»<sup>33</sup>. Согласно анализируемым Л. А. Медведской архивным источникам, Муравьев действительно редко присутствовал на совещаниях с поляками и довольствовался ролью наблюдателя. По показаниям польского заговорщика подполковника Северина Крыжановского, «Муравьев говорил мало, и хотя я всегда обращал речь к Муравьеву, но Бестужев не давал ему отвечать, а только сам всё говорил»<sup>34</sup>.

Это подтверждает и сам Бестужев: «Муравьев виделся с Крыжановским в то же время, как и я. Но в дела ни с ним, ни с Городецким (другой эмиссар Польского патриотического общества. — *О. К.*) не вмешивался»<sup>35</sup>. Естественно, если бы Муравьев стремился активно участвовать в дискуссии, младший товарищ вряд ли мог «не дать» ему это сделать.

Роль Бестужева в переговорах с поляками оценила и Следственная комиссия: ему ставилось в вину «составление умысла» «на отторжение областей от империи», в то время как Сергей Муравьев обвинялся лишь в «участии» в этом умысле<sup>36</sup>.

Переговоры с Польским патриотическим обществом проходили успешно. Бестужев, выполняя данное ему в Киеве поручение, предложил полякам заключить устный договор, текст которого он представил для окончательного утверждения в Директорию. Согласно этому договору, Польше предоставлялась независимость, при этом поляки могли «рассчитывать на Гродненскую губернию, часть Виленской, Минской и Волынской». Кроме того, русские заговорщики брали на себя обязанность «стараться уничтожить вражду, которая существует между двумя нациями», считая, что «в просвещенный век» интересы «всех народов одни и те же и что закоренелая ненависть присуща только варварским временам»<sup>37</sup>.

Поляки же, в свою очередь, обязаны были признать свою подчиненность южной Директории, начать восстание одновременно с выступлением русских, помешать великому князю Константину вернуться в Россию, блокировать расквартированные на территории Польши русские войска, не давая им выступить. Польское патриотическое общество обязывалось предоставить русским заговорщикам сведения о европейских тайных обществах, а после победы революции «признать республиканский порядок»<sup>38</sup>.

За успехи, достигнутые на переговорах с поляками, «блюстителю» Южного общества Юшневский выразил Бестужеву-Юмину благодарность.

Стоит отметить, что в начале 1825 года переговоры с поляками взялся вести сам Пестель. Причем, по его собственным показаниям, согласованный Бестужевым текст договора был отвергнут. С польскими эмиссарами Пестель обращался не так, как Бестужев. «Во всех сношениях с ними, — показывал Пестель на следствии, — было за правило принято поставить себя к ним в таковое отношение, что мы в них ни малейше не нуждаемся, но что они в нас нужду имеют, что мы без них обойтись можем, но они без нас успеть не могут; и потому никаких условий не предписывали они нам, а напротив того — показывали готовность на все наши требования согла-

ситься, лишь бы мы согласились на независимость Польши»<sup>39</sup>. Вопрос о территориальных уступках полякам Пестель старался вообще не поднимать на переговорах.

Вмешательство председателя Директории погубило всё дело. Поляков оскорбил тон русского заговорщика, который присвоил право на решение вопросов польской независимости. Начавшись в январе 1825 года, официальные переговоры Пестеля с Польским патриотическим обществом тогда же и были прерваны, хотя, конечно, неофициальные контакты продолжались. Зато в ходе переговоров с поляками выяснилась главная функция Бестужева-Рюмина в Южном обществе — так сказать, «партийное строительство».

Второе важнейшее предприятие Бестужева-Рюмина по укреплению структуры заговора — присоединение к Южному обществу радикально настроенного Общества соединенных славян.

О «славянах» и уставе их организации рассказал Бестужеву и Муравьеву бывший семеновец, капитан Пензенского пехотного полка А. И. Тютчев. «Я просил Тютчева, — показывал на следствии Сергей Муравьев, — стараться достать сей устав, что он действительно через несколько дней и исполнил».

Правда, как и в случае с поляками, от непосредственных переговоров со «славянами» Муравьев опять-таки самоустранился. На этот раз — полностью. «Сношения между нашим и славянским обществами, — показывал он, — были препоручены Бестужеву, сам же я непосредственно с оными не сносился»<sup>40</sup>. Бестужева «славяне» считали инициатором объединения, именно он председательствовал на всех «объединительных» совещаниях. Слияние обществ произошло в августе—сентябре 1825 года во время маневров 3-го пехотного корпуса под украинским местечком Лещин недалеко от Житомира.

Переговоры со «славянами» оказались весьма трудными. Слишком серьезными были различия в понимании конечных целей и задач заговора, на что указывает С. С. Ланда в исследовании «Дух революционных преобразований»<sup>41</sup>. «Южан» не увлекала идея славянского единства, «славяне» же были далеки от идеи немедленной военной революции. Тем не менее Бестужев-Рюмин заставил «славян», как до того поляков, прислушаться к его мнению.

В тайной организации Бестужев был известен как непревзойденный оратор. Многие «южане» на следствии вспоминали его выступления на различных декабристских совещаниях; существовали и письменные варианты этих «речей», как называл свои выступления сам Бестужев. «Пламенным оратором», который «имел агитаторские способности, чувство-

вал их в себе и любил говорить», считала его М. В. Нечкина. О «неистойвой страсти», которой были пронизаны эти «речи», писал Н. Я. Эйдельман, а М. К. Азадовский даже утверждал, что эти «речи» должны «занять свое место в истории русской литературы»<sup>42</sup>.

Между тем при анализе пересказов этих «речей» приходится признать, что их эффект был обусловлен не только и не столько природной «пламенностью» или «страстностью» оратора, сколько профессионализмом.

Бестужев, судя по документам, не доверял импровизациям: почти все выступления сначала записывал, редактировал, а произносил в полном соответствии с правилами риторики. Приемам же ораторского мастерства учил будущего декабриста А. Ф. Мерзляков, литератор и филолог, друг В. А. Жуковского, получивший в 1804 году в Московском университете кафедру «российского красноречия и поэзии»<sup>43</sup>. Мерзляков был автором популярного учебника красноречия — «Краткой риторики, или Правил, относящихся ко всем родам сочинений прозаических», к 1820-м годам выдержавшего несколько изданий.

«Слово, речь в тесном смысле означает рассуждение, составленное по правилам искусства и назначенное к изустному произношению. Сие рассуждение заключает в себе одну какую-нибудь мысль, которая объясняется или доказывается для убеждения слушателей», — внушал Мерзляков своим ученикам<sup>44</sup>. Такой мыслью для Бестужева-Рюмина была идея присоединения «славян» к Южному обществу — к ней он и сводил все «речи».

Мерзляков, следуя риторической традиции, учил, что оратор должен «действовать не на один только разум человека, но на все его душевные силы», причем сначала следует «привязать к себе всё его внимание»<sup>45</sup>. Именно так, приковывая к себе внимание слушателей, удивляя их, Бестужев-Рюмин начинал переговоры и с поляками, и со «славянами».

Как правило, первая реакция собеседников была отрицательной. Экзальтированность, горячность и при этом обтекаемость бестужевских формулировок способны были скорее оттолкнуть, чем приблизить слушателей. По показаниям полковника Северина Крыжановского, напор Бестужева в первый момент обескуражил поляков. Согласно «Запискам» Горбачевского, при первой встрече со «славянами» Бестужев также произвел неблагоприятное впечатление<sup>46</sup>. Это подтверждается и показаниями «славян» на следствии. Однако в обоих случаях заговорщик сумел заинтересовать слушателей.



Согласно тому же Мерзлякову, после того как первая цель достигнута, следует пускать в ход систему аргументов и доводов, помня, что «убеждение рассудка» служит оратору средством достижения другой цели — «сильнейшего воспламенения страстей»: только так можно «действовать на волю»<sup>47</sup>.

Бестужев-Рюмин точно следовал риторическим правилам. При этом «разжечь страсти» было не так уж и сложно. Молодые армейские заговорщики, не успевшие повоевать, мечтали о «своем Тулоне», хотели заслужить благодарность отечества и горели желанием немедленного действия.

Именно поэтому «славянам» сразу же было предложено стать знаменитыми. По словам «славянина» прапорщика В. Бесчасного, уже на первом заседании Бестужев говорил, что «довольно уже страдали» и «стыдно терпеть угнетение», что «все благомыслящие люди решились свергнуть с себя иго», ведь «все унижены и презрены слишком — а в особенности офицеры», а значит, «благородство должно одушевлять каждого к исполнению великого предприятия — освобождению несчастного своего отечества». В итоге «избавителей» ждут «слава... в позднейшем потомстве», «вечная благодарность отечества»<sup>48</sup>.

Этот довод повторялся на каждом собрании. «Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века», — убеждал Бестужев «славян»<sup>49</sup>.

Для того чтобы стяжать славу, одних слов было недостаточно, необходимо было немедленно перейти к делу. Цель же «славянского» общества — объединение всех славянских племен в единую федерацию — оставалась весьма отдаленной. «Ваша цель, — доказывал Бестужев-Рюмин, — очень многосложна, а потому едва ли можно достигнуть ее когда-нибудь»<sup>50</sup>. «Южане» предлагали им другую цель, достижимую — установление в России республики и освобождение народа от «угнетения». Для этого нужно не так уж и много: произвести военную революцию и убить императора. «Поэтому, если хотят променять цель невозможную на истинно для России полезную, то они должны присоединиться к нашему обществу», — объяснял подпоручик<sup>51</sup>.

Изучая объединительные «речи» Бестужева-Рюмина, трудно убедиться, что практически все они построены на, мягко говоря, недостоверной информации. Так, например, он сообщил «славянам», что «для исполнения сего предприятия в 1816 году писана была конституция и очень хорошо обдумана, которую князь Трубецкой возил за границу, для одобрения к известнейшим публицистам» — «великим умам» эпохи<sup>52</sup>.

Как известно, в 1816 году в обществе еще не было никакой «конституции», да и через девять лет далеко не все заговор-

шки были едины в конституционных устремлениях. Конечно же, князь Трубецкой «конституцию» за границу не возил и везти не собирался; соответственно, никакого одобрения у «известнейших публицистов» она не получала.

«Дабы присоединить их («славян». — *О. К.*) к нашему обществу, нужно было им представить, что у нас всё обдуманно и готово. Ежели бы я им сказал, что конституция написана одним из членов, то «славяне», никогда об уме Пестеля не слышавшие, усумнились бы в доброте его сочинения. Назвал же я «славянам» Трубецкого, а не другого, потому что из членов он один возвратился из чужих краев; что живши в Киеве\*, куда «славяне» могли прислать депутата, Трубецкой мог бы подтвердить говоренное мною, и что быв человек зрелых лет и полковничьего чина, он бы вселил более почтения и доверенности, нежели 23-летний подпоручик», — показывал Бестужев-Рюмин на следствии<sup>53</sup>.

«Славянам» было рассказано и об огромных военных силах, которыми располагает Южное общество. Дабы убедить их, Бестужев с помощью С. И. Муравьева-Апостола устроил общее собрание «славян» и Васильковской управы. «Славяне» «застигли у Муравьева и Бестужева блестящее общество видных военных, перед которыми им пришлось бы стоять навтыяжку на каком-нибудь параде или при случайном разговоре», — отмечает М. В. Нечкина<sup>54</sup>. Присутствие на собрании полковых командиров А. З. Муравьева, В. К. Тизенгаузена, И. С. Павло-Швейковского и нескольких штаб-офицеров должно было произвести — и, конечно, произвело — на «славян» должное впечатление.

Аргументация Бестужева-Рюмина в беседах со «славянами» и поляками дает возможность судить о методах, использованных им на переговорах. Полякам, как уже отмечалось выше, было объявлено, что «в просвещенный век, в который мы живем», вражда наций — анахронизм, «интересы всех народов одни и те же», а «закоренелая ненависть присуща только варварским временам». В беседах же со «славянами» Бестужев использовал совсем иной аргумент: «Надобно больше думать о своих соотечественниках, чем об иноземцах»<sup>55</sup>. Россия противопоставлялась иным странам: «Мы, *русские* (курсив мой. — *О. К.*), должны иметь единственно в предмете на твердых постановлениях основать свободу в отечественном крае»<sup>56</sup>. А после присоединения Общества соединенных славян к Южному обществу Бестужев-Рюмин и вовсе запретил «славянам» общаться с поляками<sup>57</sup>.

\* С. П. Трубецкой в 1819—1821 годах находился за границей, а с начала 1825-го служил в Киеве.

Правда, порой Бестужев действовал методом проб и ошибок. Ошибки случались, когда заговорщик отступал от теории своего учителя и пытался апеллировать не к чувствам, а к разуму собеседников. На одном из совещаний он, например, попытался развить мысль о материальных выгодах, которые участники революции могут получить после ее победы. М. В. Нечкина обращает особое внимание на свидетельство одного из присутствовавших на этом совещании: Бестужев-Рюмин «со слезами в глазах, указывая на свои подпоручьи погоны, повторял, что “не в таких будем, а в генеральских”». По мнению исследовательницы, «славяне» были возмущены столь явным меркантилизмом васильковского лидера, и ему с трудом удалось отвлечь их внимание от инцидента<sup>58</sup>.

Трудно судить о степени достоверности этого эпизода. Но если даже «славяне» в самом деле искренне возмутились, это — одна из немногих ораторских неудач Бестужева на переговорах. В любом случае его «речи» убедили потенциальных сторонников. Немедленные активные действия, исполнение патриотического долга, «слава в позднейшем потомстве» — этим нехитрым набором Бестужев подчинил себе волю молодых офицеров. Они услышали то, что хотели.

Дабы окончательно закрепить победу, на одном из последних заседаний Бестужев-Рюмин, согласно показаниям П. И. Борисова, потребовал — и получил — от «славян» клятву «не щадить своей жизни для достижения предпринятой цели, при первом знаке поднять оружие для введения конституции». И «сию клятву подтвердили, целуя образ, который Бестужев снял [со] своей шеи». Со «славян» также было взято слово до начала переворота не выходить в отставку и не просить перевода в другую часть. При этом, по их свидетельствам, достойный ученик Мерзлякова хвалил их «решимость приступить к перевороту и старался внушить еще более рвения к достижению сей цели»<sup>59</sup>.

Для вышей убедительности Бестужев потребовал себе полный список членов Общества соединенных славян и отметил в нем тех, кто готовился в царубийцы. О том, что список, согласно правилам конспирации, сразу же был сожжен, «славяне» не догадывались.

Бестужеву не всегда удавалось достичь задуманного лишь с помощью своих ораторских способностей. И тогда в ход шли другие методы. В частности, в деле укрепления структуры тайного общества он умело использовал интригу. Пример тому — история с майором Пензенского пехотного полка Спиридовым.

Михаил Матвеевич Спиридов происходил из богатой семьи русских аристократов. По материнской линии он приходился

внуком знаменитому историку М. М. Щербатову и родственником самому Бестужеву-Рюмину (дед последнего был кузеном Щербатова). Скорее всего, четвероюродные братья были знакомы с детства; по крайней мере точно известно, что старший брат Михаила Бестужева Николай в 1810-х годах жил в московском доме Спиридовых<sup>60</sup>.

Майор Спиридов вступил в Общество соединенных славян непосредственно перед его слиянием с Южным и по прямой просьбе Бестужева-Рюмина. По мнению М. В. Нечкиной, «по типу своему этот человек более подходил к Южному обществу, и, вероятно, Муравьев и Бестужев надеялись на то, что этот знатный по происхождению дворянин, родственник князьям Щербатовым, будет проводником их замыслов в скромной среде Соединенных славян». «Но, — продолжает Нечкина, — надежды их не оправдались, и Спиридов стал вести себя самостоятельно, противореча руководителям Васильковской управы»<sup>61</sup>. В частности, Спиридов не понравился «Государственный завет» — составленная Бестужевым под диктовку Пестеля и предоставленная «славянам» краткая выжимка из «Русской Правды»<sup>62</sup>. Майор желал видеть свою страну не республикой, а конституционной монархией, не соглашался с идеей отмены сословий и предложенными Пестелем путями решения национального вопроса в России. На многие пункты этого документа он «написал было свои возражения»<sup>63</sup>, которые пытался высказать Бестужеву, и просил гласного обсуждения вопроса.

Однако Бестужев-Рюмин убеждал «славян», что рассматривать этот документ на «объединительных» совещаниях «совершенно лишнее» — «из сего могут произойти ссоры и несогласия». Когда же Спиридов попытался настоять на своем, началось то, что, по мнению «славян», называлось «интрига подпоручика Бестужева-Рюмина насчет отдаления майора Спиридова»<sup>64</sup>.

На одном из совещаний (проходившем в отсутствие Бестужева) Спиридов был избран «посредником» между «славянами» и «южанами», то есть фактически получил права «боярина», руководителя управы. И суть интриги состояла в том, чтобы не допустить этого. Бестужев потребовал нового собрания «для поправления сей ошибки»<sup>65</sup>.

Но выборы уже прошли, отменять их итоги было неудобно. По крайней мере среди демократически настроенных «славян» это было не принято. И Бестужев нащупал единственно возможный в таком случае ход — решил изменить структуру подчинения «славян» Южному обществу. Было предложено назначить не одного «посредника», а двух: от пехоты и от ар-

тиллерии. Из руководителя управы тайного общества «посредник» превратился в представителя «профессиональной» группы в Васильковской управе. Одним из таких «посредников» всё же остался непокорный майор, другим был избран артиллерийский подпоручик И. И. Горбачевский.

Если подводить итоги «объединительной» деятельности Бестужева в среде «соединенных славян», следует признать, что на самом деле члены «славянского» общества не были интересны Бестужеву ни как личности, ни как носители определенных идей, ни даже как представители иной формы конспиративной организации. На следствии, опровергая одно из показаний «славян», он скажет: «...я даже не припишу этого их раздражению против меня, но только малому навыку мыслить и некультурности», — а в другом показании добавит: «...я из “славян” пятой доли не знал, ибо *видел их толпою*, и то только три раза»; «как “славяне” *были многочисленны и незначащи*, то разделяя их на управы, я не давал себе труда узнавать поименно членов, предполагая в случае нужды снести с начальниками управ» (курсив мой. — О. К.)<sup>66</sup>.

В связи с этим следует признать справедливым вывод М. В. Нечкиной: Бестужев смотрел на членов Общества соединенных славян «как на орудие революции, пушечное мясо» и в ходе «объединительных» совещаний «ловко провел “славян”»<sup>67</sup>.

Кроме ораторского дарования и умения вести интригу, подпоручик Бестужев-Рюмин обладал и незаурядным актерским талантом. Это хорошо видно из истории его взаимоотношений с собственным полковым командиром полковником В. К. Тизенгаузенем.

Василий Карлович Тизенгаузен был в 1824 году принят в Южное общество Сергеем Муравьевым-Апостолом. Среди декабристов он был одним из самых старших, к моменту вступления в заговор ему уже исполнилось 44 года. За плечами полковника был немалый боевой опыт: в армии он начал служить с 1799 года, в военных действиях принимал участие с 1808-го<sup>68</sup>.

Принятый в общество всего лишь с правами «брата», Тизенгаузен не был убежденным заговорщиком, желание «порвать» с заговором возникало у него постоянно. Чтобы быть подальше от васильковских лидеров, он добивался перевода в другой полк или отставки. «Подполковник Муравьев при брате своем и, помнится, при подпоручике Бестужеве-Рюмине на коленях усерднейшим образом просил меня неотступно оставить намерение мое», — показывал Тизенгаузен на следствии<sup>69</sup>.

Васильковским лидерам, чтобы удержать полковника от исполнения его «намерений», пришлось даже прибегнуть к помощи Пестеля. «Просили меня Бестужев и Муравьев в разговоре с Тизенгаузеном прилагать много жару и говорить о начале действий в 1825 году... ибо по его характеру сие им нужно», — показывал Пестель<sup>70</sup>.

После ареста в январе 1826 года Тизенгаузен понял, что главная его «вина» состояла не в участии в заговоре как таковом, а в попустительстве «преступным предприятиям» подпоручика Бестужева-Рюмина, благодаря которому тот имел прекрасную возможность путешествовать по делам общества по Украине, Польше и России. «Он был главным связующим звеном между заговорщиками», — утверждал начальник штаба 1-й армии барон К. Ф. Толь<sup>71</sup>, и эти слова справедливы.

Кроме упоминавшихся выше Вильно, Киева и Житомира, Бестужев-Рюмин много раз бывал в Тульчине, Каменке и Линцах — месте квартирования штаба Вятского пехотного полка, которым командовал Пестель. В 1823 году он тайно совершил поездку в Москву для «склонения некоторых членов к содействию» в реализации «Бобруйского заговора», предусматривавшего военное восстание и «арестование» императора на летнем смотре под Бобруйском. Бывал Бестужев и в Хомутце — полтавском имении Муравьевых-Апостолов, и в Умани — месте службы князя Волконского. Известно, что в 1823—1825 годах он месяцами жил в Василькове у Сергея Муравьева.

Между тем дисциплина требовала нахождения всех офицеров при полку. В отношении же бывших семеновцев, сосланных на юг после «истории» 1820 года, лишенных права не только на отставку и отпуск, но даже на командировки, это правило должно было действовать и вовсе неукоснительно.

На следствии Тизенгаузен убедил себя в том, что виновником всех его бед был именно Бестужев-Рюмин, и пытался дать ответ (не только следствию, но прежде всего самому себе), как же он, молодой полковник, поддался обаянию обер-офицера и не только не «отстал» от общества, но и постоянно нарушал воинскую дисциплину. Практически в каждом своем показании он сам, без давления Следственной комиссии, возвращался к этой теме.

«Несмотря на либеральные идеи Бестужева, — пишет он в одном из таких показаний, — я всегда его считал за пустого и нимало не опасного для общества офицера. Суждения его мне всегда казались столь странными, что я часто над оными смеялся и принимал за бредни. Он никогда почти не выдерживал моего взгляда, и мне кажется, что он меня очень боялся; ибо почти всегда, когда я только начинал укорять его за бессмыс-

ленные его рассуждения и неосновательность оных ему доказывать, то он обыкновенно молчал, потупя взор вниз. Вижу, и ясно, что я в нем ошибался, и сильно ошибался! Кто в состоянии проникнуть все изгибы черной души?»<sup>72</sup>

Это показание весьма примечательно. Если не принимать во внимание его эмоциональный тон, то надо признать, что Тизенгаузен довольно точно описывает характер своих отношений с Бестужевым-Рюминым. Действительно, скорее всего, начались эти отношения с насмешек старшего и опытного полковника над молодым прапорщиком.

Однако Тизенгаузен ошибался, и ошибался сильно, утверждая, что Бестужев его боялся. Его подчиненный был в тайном обществе на равных не только с полковниками, но и с генералом Волконским, к его мнению прислушивался Пестель, он вел сложнейшие переговоры с польским обществом и «славянами». По заговорщицкой «табели о рангах» Бестужев-Рюмин стоял на две ступени выше Тизенгаузена.

Видимо, Бестужев быстро нашупал «слабую струну» своего полкового командира: Тизенгаузен кичился перед ним опытностью, считал себя вправе поучать его, «укорять» за «бессмысленные рассуждения». Бестужев же не возражал, умело играя роль покорного слушателя — «молчал, потупя взор вниз» — и взамен получал не только полную свободу передвижения, но и казенные подорожные: путешествовать иначе, «частным образом», бывший семеновец не мог.

Справедливости ради надо отметить, что в двадцатых числах ноября 1825 года Тизенгаузен арестовал подпоручика на десять дней. Причиной ареста послужила почти полуторамесячная отлучка Бестужева из полка (всё это время он жил в Василькове у Муравьева). Правда, через несколько дней полковник выпустил подчиненного из-под ареста по уважительной причине: в Москве скончалась его мать и серьезно заболел отец.

Бестужев-Рюмин обещал Тизенгаузену поехать в Киев и оттуда подать корпусному командиру просьбу об отпуске. Но, как известно, вместо Киева он отправился в Васильков. Последовавшее через несколько дней восстание черниговцев заставило его оставить первоначальные намерения.

«Бестужев должен быть изверг, чудовище! — Как забыть так скоро кончину матери и просьбы умирающего отца? — Гнусное чудовище и тогда, если адская роль, чтобы только меня обмануть ложными письмами из Москвы, была его изобретения или выдумана его другом Муравьевым»<sup>73</sup>, — сокрушался после ареста командир полтавцев.

Последний период существования Южного общества декабристов, как известно, ознаменовался тяжелым кризисом в

его руководстве. Ситуация была в 1935 году проанализирована М. В. Нечкиной, впервые заговорившей о том, что этот период прошел под знаком острого соперничества двух южных руководителей — Пестеля и Сергея Муравьева-Апостола<sup>74</sup>. Впоследствии ее выводы были подхвачены другими исследователями.

Собственно, главный пункт разногласий Пестеля и Муравьева состоял в тактической последовательности действий. Пестель, помимо упований на Петербург как на место, где должна начаться хорошо подготовленная военная революция, был уверен в том, что первым шагом в этой революции должно стать уничтожение императорской семьи. В отличие от него Сергей Муравьев настаивал, что убивать всю «фамилию» не нужно, достаточно «лишить жизни» государя, а восставать надо немедленно — и не в Петербурге, а на юге. Образцом для подражания была для Муравьева испанская революция, поднятая подполковником Рафаэлем Риго в 1820 году, начавшаяся вдалеке от столицы и завершившаяся победой инсургентов.

Тактические разногласия сопровождались личным соперничеством двух руководителей. Пестель был известен современникам как властный, спокойный и холодный прагматик, сторонник крайних мер не только в отношении царской семьи, но будущего государственного строительства. Готовя военную революцию, он постепенно прибирал к рукам своих воинских начальников, используя при этом подкуп и шантаж<sup>75</sup>. В тайном обществе Пестеля уважали и боялись, но не любили, многие подозревали его в желании узурпировать власть после победы революции и называли «русским Бонапартом».

В отличие от него, «русский Риго» Сергей Муравьев-Апостол воплощал в себе романтический дух тайных обществ. Его политические взгляды были весьма расплывчаты, о возможных последствиях будущего переворота он почти не думал. Революцию он считал результатом не длительной подготовки, а горячей революционной импровизации. Властность, жесткость и рассудочность Пестеля были для него неприемлемы.

«Васильковская управа была гораздо деятельнее прочих двух и действовала гораздо независимее от Директории, хотя и сообщала к сведению то, что у нее происходило», — сообщал Пестель на следствии. «В Тульчине подчеркнуто рассматривали нас скорее как союзников Общества, нежели как составную его часть»<sup>76</sup>, — подтверждал его слова Бестужев-Рюмин. Однако вопрос о роли самого Бестужева в этом кризисе никогда историками не ставился; предполагалось, что в споре с Пестелем он безусловно поддерживал друга.



Судя же по документам, позиция Бестужева-Рюмина была совсем не так однозначна. Это первым подметил в 1825 году полковник С. П. Трубецкой — руководитель Северного общества, личный враг Пестеля и близкий приятель Сергея Муравьева. Приехав в Киев, Трубецкой поставил перед собой задачу ограничить влияние Пестеля на юге и сделал ставку на сепаратные переговоры с Васильковской управой.

«Я видел, — показывал Трубецкой на следствии, — что хоть он (Бестужев-Рюмин. — *О. К.*) и не доверяет во многом Пестелю, в коем он видит жестокого и властолюбивого человека, но между тем обольщен его умом и убежден, что Пестель судит весьма основательно и понимает вещи в их настоящем виде. Я старался оспаривать принятые Бестужевым мысли Пестеля понемногу, чтоб тем вернее достичь моего намерения». Зная о близости Бестужева к председателю южной Директории, Трубецкой хотел сделать Бестужева своим «агентом» во вражеском стане, поручил ему «наблюдать за Пестелем»<sup>77</sup>. Трубецкой был убежден, что Бестужев-Рюмин действительно выполнял его просьбу.

Однако когда следователи, основываясь на показаниях Трубецкого, задали Бестужеву вопрос: «Что побуждало их (заговорщиков. — *О. К.*) к сему наблюдению и что вы успели заметить особенного в поступках Пестеля», — в ответ они получили резкую и эмоциональную отповедь: «Я не знаю, что комитет разумеет под словом *наблюдать*. Намерения его были нам известны; шпионить же за ним не было нужно, и никто бы сего не осмелился мне предложить»<sup>78</sup>.

Показания Бестужева-Рюмина содержат несколько метких характеристик личности и дел председателя Директории. Самая известная из них — в показании от 27 января 1826 года: «Пестель был уважаем в обществе за необыкновенные способности, но недостаток чувствительности в нем было причиною, что его не любили. Чрезмерная недоверчивость его всех отталкивала, ибо нельзя было надеяться, что связь с ним будет продолжительна. Всё приводило его в сомнение, и через это он делал множество ошибок. Людей он мало знал. Стараясь его распознать, я уверился в истине, что есть вещи, которые можно лишь понять сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проникательного ума»<sup>79</sup>.

Эта цитата позволяет сделать вывод: Бестужев действительно хорошо «распознал» лидера «южан», как «распознал» он и поляков, и «славян», и своего полкового командира. В отличие от многих не слишком проникательных современников, он не обвиняет Пестеля в бонапартизме. Он говорит о другом: доверчивый романтический век диктует человеку соответствующую

щую линию поведения. Человеку недостаточно «чувствительному», недоверчивому скептику невозможно рассчитывать на благоприятное мнение о себе. Однако, как свидетельствуют бестужевские показания, сам он относился к Пестелю не так, как «все».

1823, 1824 и 1825 годы — время постоянных контактов Бестужева и Пестеля<sup>80</sup>. Именно на Бестужева была возложена ответственная роль связного между Васильковской управой и Директорией. Взаимная неприязнь Пестеля и Муравьева была известна «всему обществу», Муравьев свое негативное отношение к южному директору даже не пытался скрывать. И во многом благодаря позиции Бестужева между ними не произошло окончательного разрыва.

Пестель был для Бестужева-Рюмина безусловным и авторитетным лидером, мнением которого он очень дорожил. В частности, он полностью разделял мнение южного лидера относительно судьбы императорской фамилии<sup>81</sup>.

Характеризуя же поведение в заговоре Сергея Муравьева, Бестужев показывал, что «чистота сердца» его друга «была признана всеми его знакомыми и самим Пестелем» (курсив мой. — О. К.). При этом он отмечал, что своими «отношениями» с Пестелем погубил Муравьева-Апостола: «...как характера он не деятельного и всегда имел отвращение от жестокостей, то Пестель часто меня просил то на то, то на другое его уговорить»<sup>82</sup>.

Очень точно заметил Трубецкой: Бестужев принял «мысли Пестеля», стал сторонником его политических взглядов и методов руководства тайной организацией.

Из показаний Бестужева-Рюмина не видно, чтобы он был в чем-то не согласен с «Русской Правдой». Содержание программного документа Южного общества он знал очень хорошо и довольно точно излагал. Введение в России конституционной республики, отмена крепостного права, десятилетняя диктатура Временного верховного правления — все эти, крайне радикальные для той эпохи, положения Бестужев-Рюмин в целом одобрял<sup>83</sup>.

Как и Пестель, Бестужев полагал, что далеко не все современники готовы разделить эти взгляды. Людей надо было убеждать, а для убеждения хороши все средства, даже не вполне честные. Судя по ходу и итогам его организаторской деятельности, этот тезис он усвоил очень хорошо.

Правда, Пестель не учился у Мерзлякова и, убеждая оппонентов, апеллировал прежде всего к их разуму, пытался сделать их своими сознательными союзниками. Это удавалось далеко не всегда. «Мы и тогда очень часто не разделяли его намере-

ний, но не могли ему противоречить по преимуществу его способностей и по влиянию, которое он имел над нами»<sup>84</sup>, — показал на следствии член Тульчинской управы Н. В. Басаргин. На основании этого и других показаний современный исследователь С. А. Экштут считает: «Пестеля невозможно было переспорить, но он оставлял людей нравственно и эмоционально неудовлетворенными»<sup>85</sup>. В отличие от него Бестужев-Рюмин не старался «переспорить» собеседников, он адресовался к чувствам — и был в деле общения с людьми гораздо более удачлив.

И Пестель, и Бестужев-Рюмин использовали в конспиративной деятельности «нечестные» с точки зрения «чистой морали» методы. Моральный релятивизм и макиавеллизм в политике были столь же свойственны Бестужеву, как и Пестелю, только у первого он был разбавлен изрядной долей профессиональной ораторской «чувствительности». Более того, подводя итоги организационной деятельности Бестужева в Южном обществе, можно с уверенностью сделать вывод, что Бестужев был лучшим учеником Пестеля в деле строительства и укрепления тайной организации.

«При отъезде Трубецкого из Киева, — показывал Бестужев-Рюмин на следствии, — было положено нами тремя (им самим, Сергеем Муравьевым и Трубецким. — *О. К.*), что он предложит Северному обществу по введению Временного Правления составить комитет из числа членов для сочинения конституции»; конституция же эта не должна была иметь своим источником отвергаемую Трубецким «Русскую Правду»<sup>86</sup>. Уважая Пестеля, дорожа его мнением, голосуя за «Русскую Правду», Бестужев тем не менее договаривался с Трубецким о фактической изоляции южного лидера и его конституционных разработок в случае победы революции.

Конечно, Бестужев-Рюмин был достаточно молод. Вполне естественно, что его путь конспиратора был тернист, на этом пути он делал много непростительных ошибок — и в ходе «объединения» со «славянами», и при переговорах с поляками. Так, известно, что в декабре 1824 года он с ведома Сергея Муравьева и в обход всех правил конспирации написал письмо польским заговорщикам, по некоторым сведениям, с просьбой убить цесаревича Константина Павловича. Однако князь Волконский, который, собственно, и должен был передать письмо полякам, отвез его Пестелю. «Директория истребила сию бумагу, прекратила сношения Бестужева с поляками и передала оные мне и князю Волконскому»<sup>87</sup>, — показывал Пестель на следствии.

В 1825 году, скорее всего, именно по вине Бестужева-Рюмина были прерваны сношения между Васильковым и Каменкой.

Согласно опубликованному Б. Л. Модзалевским в 1926 году письму Бестужева-Рюмина своему родственнику С. М. Мартынову, отец декабриста запретил ему жениться на племяннице декабриста Давыдова Екатерине<sup>88</sup>.

Сейчас, видимо, уже не удастся точно установить, кто была эта «Catherine», о которой Бестужев писал Мартынову. у Давыдова были две племянницы с таким именем, Екатерина Александровна Давыдова и Екатерина Андреевна Бороздина<sup>89</sup>. Ясно одно: исполнив волю отца и отказавшись от женитьбы, Бестужев тем самым скомпрометировал ни в чем не повинную молодую девушку.

Именно на это время — 1824 год — приходится ссора руководителя Каменской управы с Муравьевым и Бестужевым. «Известно всем, что мы с ним (Сергеем Муравьевым-Апостолом. — О. К.) разошлись неприятно, по особенным обстоятельствам», — показывал на следствии Василий Давыдов. «Я же более году не имел никаких сношений с Давыдовым»<sup>90</sup>, — вторил ему Сергей Муравьев.

Стоит отметить, что если причиной ссоры действительно был отказ Бестужева жениться на давыдовской племяннице, то реакция каменского руководителя на его поведение была, по представлениям той эпохи, еще весьма мягкой. Сходная житейская история явилась в сентябре 1825 года причиной знаменитой дуэли К. П. Чернова с В. Д. Новосильцевым, закончившейся смертью обоих участников.

Однако, к чести Бестужева-Рюмина, следует отметить, что, несмотря на все допущенные ошибки, результаты его организационной деятельности в Южном обществе оказываются ненамного меньше, чем результаты деятельности Пестеля. Кроме того, именно осторожный Пестель принял в общество главного декабристского предателя — капитана Аркадия Майборода. Не обошлась без «своих» предателей — А. К. Бошняка и И. В. Шервуда — и Каменская управа. Однако ни один доносчик не проник в общество по вине Бестужева-Рюмина. Видимо, он действительно лучше, чем тульчинские и каменские руководители, умел «распознавать» людей.

Но если с Пестелем Бестужева-Рюмина связывали «деловые отношения», то с Сергеем Муравьевым-Апостолом — близкая личная дружба. Обстоятельства, при которых эта дружба возникла, нам практически неизвестны. Сами друзья-заговорщики предпочитали на следствии не распространяться на эту тему, и в результате до нас дошло лишь одно смутное показание Бестужева: «Муравьев мне показал участие, и мы подружились. Услуги, кои он мне в разное время оказывал, сделали нашу связь теснее»<sup>91</sup>.

О том, как зародилась эта дружба, повествует запись Евгения Якушкина, сына декабриста И. Д. Якушкина: «Бестужев был пустой малый и весьма недалекий человек, все товарищи постоянно над ним смеялись — Сергей Муравьев больше других. “Я не узнаю тебя, брат, — сказал ему однажды Матвей Иванович Муравьев, — позволяя такие насмешки над Бестужевым, ты унижаешь себя, и чем виноват он, что родился дураком?” После этих слов брата Сергей Муравьев стал совершенно иначе общаться с Бестужевым, он стал заискивать его дружбы и всячески старался загладить свое прежнее обращение с ним. Бестужев к нему привязался, и он также потом очень полюбил Бестужева»<sup>92</sup>.

Запись эта восходит к воспоминаниям самого И. Д. Якушкина: «...в Киеве Раевские, сыновья генерала\*, и Сергей Муравьев часто поднимали его (Бестужева-Рюмина. — О. К.) на смех. Матвей Муравьев однажды стал упрекать брата своего за его поведение с Бестужевым, доказывая ему, что дурачить Бестужева вместе с Раевскими непристойно»<sup>93</sup>. Финал истории с «насмешками» над Бестужевым в мемуарах Якушкина соответствует тому, что сообщает его сын.

Другие же современники о причинах возникновения этой дружбы не думали, а только констатировали ее наличие. Причем пылкость взаимоотношений друзей подчас вызывала удивление и неприятие и у них, и у позднейших исследователей. Так, например, Матвей Муравьев-Апостол в одном из писем брату сетовал, что тот говорит о Бестужеве-Рюмине «не иначе, как со слезами на глазах», и называл последнего «мнимым другом». А генерал М. Ф. Орлов характеризовал эти отношения таким жестоким образом, что историки до сих пор еще не решаются пользоваться этой характеристикой: «...около Киева жили Сергей Муравьев и Бестужев, странная чета, которая целый год хвалила друг друга наедине»<sup>94</sup>.

«Сантиментальной и немного истерической взаимной привязанностью двух офицеров, похожей на роман», считал отношения Муравьева и Бестужева историк Г. Чулков. И даже Н. Я. Эйдельман удивлялся «непонятной дружбе» «видавшего виды подполковника с зеленым прапорщиком»<sup>95</sup>.

Между тем ничего «странного» и «непонятного» в этой дружбе нет, а есть целый ряд домыслов и легенд, разбивающихся при знакомстве с фактами. Во-первых, Муравьев и Бестужев были не только друзья, но и родственники. Мать Бесту-

---

\* Сыновья знаменитого героя войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского Александр (в 1825 году отставной подполковник) и Николай (в 1825 году полковник Харьковского драгунского полка) были близкими приятелями С. И. Муравьева-Апостола.

жева-Рюмина Екатерина Васильевна, урожденная Грушецкая, состояла в кровном родстве с Прасковьей Васильевной Грушецкой, мачехой декабристов Муравьевых-Апостолов<sup>96</sup>. Скорее всего, познакомились будущие декабристы еще до службы в Семеновском полку.

Во-вторых, не совсем правы те современники и историки, которые рассуждают о большой разнице в возрасте друзей. Сергею Муравьеву-Апостолу было в 1826 году 29 лет, в то время как Бестужеву-Рюмину в тюрьме исполнилось 25, то есть разница между ними составляла всего четыре года. Правда, Муравьев был участником Отечественной войны и Заграничных походов и имел военный опыт, которым не обладал Бестужев.

Образовательный уровень обоих тоже был примерно равным: Муравьев сначала учился в частном пансионе в Париже, затем окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге. Бестужев, хотя не учился в заграничных и российских учебных заведениях, получил блестящее домашнее образование. И, наконец, было много общего в их характерах: у обоих за внешней сентиментальностью, энтузиазмом и экзальтацией скрывались железная воля и решительность.

Родственники, однополчане, почти ровесники, близкие по духу, по образованию, они просто не могли не подружиться. Укрепили же эту дружбу семеновские «несчастья» и участие в «общем деле» заговора.

Рассказы же И. Д. Якушкина и его сына о «насмешках» и последующем «раскаянии» Муравьева следует признать явным вымыслом. Зная характер Сергея Муравьева, трудно поверить, чтобы он «насмехался» над кем-нибудь, тем более над своим родственником и однополчанином. Да и особая атмосфера в Семеновском полку, тот дух офицерского братства, которыми всегда отличались семеновцы, не позволили бы ему это делать ни в Петербурге, ни в Киеве.

Следует отметить, что в делах тайного общества Муравьев и Бестужев-Рюмин отнюдь не «составляли одного человека». Между ними существовали политические разногласия: как уже говорилось, Муравьев не одобрял радикализма друга в вопросе о судьбе императорской фамилии. Не нравилась ему и бестужевская решительность в вопросе о судьбе цесаревича Константина. Когда Бестужев-Рюмин, исполняя отданный «именем Директории» приказ Пестеля, стал требовать от поляков «немедленного истребления цесаревича», Муравьев заметил другу: «...зачем хочешь ты взять на себя преступления другого народа, не довольно ли уже того, что мы вынуждены были согласиться на смерть императора?»<sup>97</sup>

Функции Сергея Муравьева в Южном обществе коренным образом отличались от тех, которые исполнял Бестужев-Рюмин. Муравьев не занимался «партийным строительством» — он был военным лидером, разрабатывал планы вооруженного выступления. Бестужев-Рюмин действительно был в курсе всех его приготовлений и являлся его верным помощником. Но при этом в деле непосредственной подготовки военной революции он не выступал ни инициатором, ни главным исполнителем.

Для Бестужева-Рюмина вполне естественным оказалось участие в восстании Черниговского полка. Он играл активную роль в событиях, предшествовавших мятежу: предупредил Сергея Муравьева-Апостола и его брата Матвея о готовившемся аресте, «отклонил» павших духом братьев от самоубийства, пытался наладить связь со «славянами» и добиться от них вооруженной помощи. Однако о каких-то самостоятельных его действиях в ходе самого военного мятежа нам ничего не известно. Отнюдь не склонный на следствии выгораживать себя за счет Муравьева, он тем не менее утверждал на допросе: «...я почти машинально следовал за полком и в распоряжениях (как всем известно) участия не брал»<sup>98</sup>.

Скорее всего, в данном случае Бестужев-Рюмин говорил правду. Восстание Черниговского полка — звездный час и одновременно логический финал жизненного пути «русского Риго» Сергея Муравьева-Апостола. «Революция наподобие испанской» была его мечтой, его страстью. Сделав попытку осуществить свою мечту, он ни с кем не пожелал впоследствии разделить ответственность за события, утверждая на допросах, что «всё возмущение Черниговского полка было им одним сделано»<sup>99</sup>. Помощь не имевшего боевого опыта, никогда не командовавшего ни одним солдатом Бестужева была, кроме всего прочего, бесполезна для Муравьева.

Как известно, «пример Риго» не повторился: запланированная заговорщиками военная революция за три дня похода черниговцев превратилась в стихийный солдатский бунт, без труда подавленный верными правительству артиллерийской батареей и несколькими гусарскими эскадронами<sup>100</sup>. При усмирении восстания Сергей Муравьев-Апостол был тяжело ранен.

Подробный анализ поведения Бестужева-Рюмина на следствии в задачу данного очерка не входит — это тема отдельного исследования. Позволю себе высказать лишь некоторые общие соображения.

Сначала следствие приняло в отношении Бестужева тактику запугивания. По мемуарному свидетельству А. Е. Розе-

на, на одном из первых допросов в Зимнем дворце следователь В. В. Левашов угрожал заговорщику: «Вы знаете, императору достаточно сказать одно слово, и вы прикажете долго жить»<sup>101</sup>. Однако вскоре выяснилось, что пугать Бестужева — занятие бесперспективное.

Ни разу за время следствия он не попросил ни о прощении, ни о снисхождении к себе. Если в первые дни после ареста он находился в состоянии нравственного смятения, вызванного разгромом мятежа черниговцев и ранением Сергея Муравьева, то уже к середине января 1826 года из этого состояния вышел. У него появилась своя линия поведения, которой он придерживался до самого конца следствия.

Бестужев-Рюмин пытался вести со следователями сложную и опасную игру, в общем похожую на ту, которую вел Пестель: пытаться договориться с властью, показать ей, что идея насильственных реформ возникла не на пустом месте, доказать хотя бы частичную справедливость идей тайного общества, даже дать некоторые полезные советы. Более того, понимая свою значимость в делах тайного общества, в начале следствия Бестужев-Рюмин пробовал договориться напрямую с императором. Еще в Могилеве, на одном из первых допросов, он просил позволения «написать государю»<sup>102</sup>, а сразу же по приезде в Петербург, 24 января, был допрошен царем.

Из письма, которое Бестужев написал Николаю I через два дня после встречи, следует, что заговорщик хотел рассказать монарху «всё о положении вещей, об организации выступления, о разных мнениях общества, о средствах, которые оно имело в руках». «В мой план, — писал он, — входил[о] также говорить с Вами о Польше, Малороссии, Курляндии, Финляндии. Существенно, чтобы всё то, что я знаю об этом, знали бы и Вы».

Из того же письма явствует, что Николай I не оправдал надежд арестованного мятежника: его совершенно не интересовало мнение подпоручика «о положении вещей» — ему нужны были лишь фамилии участников тайных организаций. Верный тактике запугивания, император кричал на него, был «строг». Разговор с царем привел Бестужева-Рюмина «в состояние упадка духа».

В письме Бестужев просил Николая «даровать» ему еще одну встречу: «...есть много вещей, которые никогда не смогут войти в допрос; чего я не могу открыть Вашим генералам, о том бы я сообщил очень подробно Вашему Величеству»<sup>103</sup>.

Однако больше аудиенции у царя Бестужев-Рюмин не получил и был вынужден договариваться с «генералами». В показании от 4 февраля он писал: «Можно подавить общее



недовольство самыми простыми средствами. Если строго потребовать от губернаторов, чтобы они следили за тем, чтобы помещичьи крестьяне не были так угнетаемы, как сейчас; если бы по судебной части приняли меры, подобно мерам великого князя Константина; если бы убавили несколько лет солдатской службы и потребовали бы от командиров, чтобы они более гуманно обращались с солдатами и были бы более вежливы по отношению к офицерам; если бы к этому император опубликовал манифест, в котором он обещал бы привлекать к ответственности за злоупотребления в управлении, я глубоко убежден, что народ оценил бы более эти благодеяния, чем политические преобразования. Тогда тайные общества перестали бы существовать за отсутствием движущих рычагов, а император стал бы кумиром России»<sup>104</sup>.

Но для того чтобы эти и подобные идеи были восприняты адекватно, Бестужеву необходимо было доказать свою готовность сотрудничать со следствием. Поэтому его показания наполнены развернутым изложением замыслов заговорщиков. Весьма подробно он пишет о взаимоотношениях с Польским патриотическим обществом, не менее детально рассказывает о революционных планах Васильковской управы, о царубийственных приготовлениях Пестеля, Артамона Муравьева, Василия Давыдова и других участников Южного общества. Кроме того, логика ведущейся Бестужевым игры вела к «называнию фамилий» известных ему участников заговора.

Особенно не повезло «соединенным славянам». Видимо, по-прежнему считая их «пушечным мясом», Бестужев в показании от 27 января впервые заявил, что в ходе «объединительных» совещаний «славяне» сами вызвались «покуситься» на жизнь императора<sup>105</sup>. Он вспомнил о находившемся у него, а затем уничтоженном списке «славян», в котором были помечены те, кого готовили на роль царубийц, и утверждал, что большинство «славян» сами внесли себя в этот список.

На этих показаниях Бестужев-Рюмин настаивал почти до самого конца следствия. Однако в мае ему были предложены очные ставки со «славянами», и он был вынужден согласиться с тем, что почти все они попали в злополучный список «заочно», будучи помещены туда самим Бестужевым, а также славянскими «посредниками» Горбачевским и Спиридовым<sup>106</sup>.

Правда, в игре со следствием у Бестужева-Рюмина была некая грань, за которую он не переступал никогда: возможность доказать свою искренность за счет Сергея Муравьева.

То, что подполковника Муравьева-Апостола, руководителя военного мятежа, не оставят в живых, с самого начала следствия было понятно всем, в том числе и ему самому. Однако

Бестужев самоотверженно бросался защищать друга, пытался взять на себя как можно большую часть его вины. В бестужевском показании от 5 апреля читаем: «...не он меня, а я его втащил за собою в пропасть». Эту мысль он развивал и потом, в показаниях от 7 мая: «...здесь повторяю, что пылким своим нравом увлекая Муравьева, я его во всё преступное ввергнул. Сие готов в присутствии Комитета доказать самому Муравьеву разительными доводами. Одно только, на что он дал согласие прежде, нежели со мной подружился, — это на вступление в общество... Это всё общество знает, а в особенности Пестель, Юшневский, Давыдов, оба Поджио, Трубецкой, Бригген, Швейковский, Тизенгаузен». Составляя это показание, Бестужев, скорее всего, рассчитывал получить очные ставки не только с Сергеем Муравьевым, но и со всеми «знающими». И, предупреждая возможное «запирательство» со стороны товарищей по заговору, добавлял: «*Каждому из них*, буде вздумает опетереться, я многое берусь припомнить»<sup>107</sup>.

Однако ни сложная игра Бестужева-Рюмина, ни его самоотверженность по отношению к Сергею Муравьеву не нашли понимания у следователей. «Генералы» не простили ему высказанного в письме царю пренебрежения к собственным персонам. Всё время следствия Бестужева подозревали в неискренности на допросах, в утаивании части правды.

«В представленных Комитету ответах ваших вы сокрыли некоторые важные обстоятельства, о коих имели совершенную известность, и о коих теперь собраны достоверные сведения»; «комитет, имея все средства уличить вас в том, о чем вы говорите превратно или вовсе умалчиваете, не желает однако же лишить вас возможности к добровольному открытию всего вам известного»<sup>108</sup> — такие фразы содержатся почти в каждом «вопроснике», адресованном Бестужеву. Половину февраля, март и апрель 1826 года заговорщик содержался в тюрьме в ручных кандалах.

В связи со следствием над Бестужевым-Рюминым стоит вернуться к вопросу о причинах позднейшего отторжения современниками его личности и дел. Именно на следствии в сознании декабристов начал формироваться прижившийся в мемуаристике вышеизложенный миф, что сопредседатель Васильковской управы был экзальтированный «зеленый юнец», ничего полезного для тайного общества не сделавший и при этом глупый и необразованный.

Отчасти виновником возникновения этого мифа — особенно в отношении необразованности — был сам Бестужев-Рюмин. Очевидно, еще в ходе следствия его товарищам по заговору стало известно, что он просил у генерала Чернышева

разрешения отвечать на вопросы по-французски — «потому что я, к стыду моему, должен признаться, что более привык к этому языку, чем к русскому». В просьбе было отказано «с строгим подтверждением чрез коменданта, чтобы непременно отвечал на русском языке»<sup>109</sup>. И хотя на самом деле Бестужев писал по-русски не хуже, чем по-французски, а его показания поражают точностью подбора слов, образностью и грамотностью (в рамках грамматических представлений начала XIX века), ему не простили признания в неумении изъясняться на родном языке. В позднейших мемуарах этот факт нашел отражение в комичной истории с французскими словарями, которые Бестужев будто бы листал в камере, чтобы переводить на русский свои ответы комитету<sup>110</sup>.

Однако этого эпизода явно недостаточно, чтобы в глазах современников один из главных руководителей заговора превратился в «недоумка», не умеющего себя вести в приличном обществе. Процесс же этого превращения хорошо прослеживается, в частности, в показаниях А. З. Муравьева и позднейших мемуарах И. Д. Якушкина.

В 1823—1825 годах двоюродный брат Сергея Муравьева-Апостола полковник Артамон Захарович Муравьев был командиром Ахтырского гусарского полка, «боярином» Южного общества и одним из самых активных членов Васильковской управы. На следствии он показывал: «Приходил ко мне Ахтырского полка майор Линдинер; я, чтобы говорить с ним, принял его в доме. По прошествии нескольких минут входит Бестужев расстегнутый; меня это до того взорвало, что он так мог явиться при штаб-офицере, что хотя по несчастным моим с ним связям я и не мог ему ничего сказать, и не сказал, но в душе почти решился с ним прервать всё и совсем». По его словам, свое негодование он выразил Сергею Муравьеву-Апостолу, на что получил от кузена недоуменный ответ: «Может ли тебя такой вздор обидеть?»<sup>111</sup>

Скорее всего, этот эпизод действительно имел место. Полковник мог воспринять расстегнутый мундир руководившего Васильковской управой подпоручика как неуважение, даже вызов. А вот реакция Сергея Муравьева была вполне адекватна: он очень мягко напомнил брату, что в военной иерархии положение полкового командира и подпоручика несравнимо, зато в иерархии тайного общества у них один чин — «боярин», по должности же Бестужев выше, а коли так, то непорядок в обмундировании действительно являлся мелочью.

Очевидно, что в 1825 году Артамон хорошо понял намек. На следствии он лукавил, когда говорил, что после этого случая «почти решился» оставить общество. Полковник слишком

дорожил своим статусом южного «боярина», был включен в «вертикаль» заговора; страх прослыть нерешительным в глазах Сергея Муравьева-Апостола преследовал его все годы пребывания в тайном обществе. Совершенно точно известно, что ни до, ни после этого случая он не пытался выйти из заговора — напротив, его горячность и упорство в деле подготовки цареубийства пугали даже не страдавших трусостью васьковских лидеров.

Иван Дмитриевич Якушкин, на момент следствия отставной гвардейский капитан, излагает в мемуарах другую историю — неудачной поездки Бестужева-Рюмина в Москву в 1823 году с целью привлечения московских членов распущенного Союза благоденствия, в частности самого мемуариста, к исполнению «Бобруйского заговора». После развала Союза Якушкин отошел от общества, и ему от имени Сергея Муравьева было предложено вновь вступить в тайную организацию. По показанию Бестужева, Якушкин сделать это отказался, так как «был того мнения, что время политического преобразования России еще не настало»<sup>112</sup>.

На следствии Якушкину удалось обойти этот эпизод молчанием, отговорившись полным неведением относительно «Бобруйского заговора»<sup>113</sup>. Однако в мемуарах он подробно его излагает, предлагая совершенно иную причину своего отказа возобновить членство в обществе: якобы он не доверял Бестужеву-Рюмину, сомневался в том, что Сергей Муравьев дал этому «странному существу» «какое-нибудь важное поручение к нам». При этом Бестужеву было в лицо сказано, «что мы (бывшие московские участники Союза благоденствия. — *О. К.*) не войдем с ним ни в какое сношение». Но сам же мемуарист сообщает, что недоверие было напрасным: «После оказалось, что он точно приезжал от Сергея Муравьева с предложением к нам вступить в заговор, затеваемый на юге против императора»<sup>114</sup>.

Однако вряд ли самому этому свидетелю можно доверять. Если даже признать, что Якушкин действительно не верил в возможность дружбы и тесных конспиративных связей Муравьева и Бестужева, сомнительно, чтобы он об этом сказал Бестужеву, тем самым оскорбив дворянина и офицера. И, конечно же, если бы дело действительно обстояло так, Бестужев не стал бы на следствии повествовать о политических разногласиях Якушкина с южными заговорщиками.

Скорее, в ходе следствия перестала существовать привычная для заговорщиков «иерархия чинов» тайного общества. Бывшие южные «бояре», «мужи» и «братья», боевые офицеры и генералы, еще могли без ущерба для самолюбия представить себя наравне или даже в подчинении генерал-майора Волкон-

ского, полковника Трубецкого, полковника Пестеля, подполковника Муравьева-Апостола. Но признаться в повиновении 25-летнему армейскому подпоручику было выше их сил.

Именно на следствии в показаниях Артамона Муравьева и Михаила Орлова, Василия Тизенгаузена и Александра Поджио и многих других наметилась своеобразная реакция отторжения личности и дел Бестужева-Рюмина. Спустя годы она перешла в воспоминания (в частности мемуары Якушкина), и начались кочующие из текста в текст рассуждения о его неопытности, странности, неумении вести себя, малозначимости его дел и даже о его «ненормальности».

Однако и сам Бестужев-Рюмин, и те из руководителей заговора, с которыми он был особенно близок, оценивали его роль в тайном обществе совершенно по-иному. В письме царю Бестужев говорил о себе как «вожде» заговора, «пригодном» «к осуществлению революции». Сергей Муравьев-Апостол утверждал на следствии, что самое большое влияние на Южное общество имели три человека: он сам, Пестель и Бестужев-Рюмин<sup>115</sup>.

Документы подтверждают: эта оценка справедлива — с одной оговоркой: по своей роли в заговоре руководитель Васильковской управы подпоручик М. П. Бестужев-Рюмин должен занять второе после Пестеля место в истории Южного общества декабристов.

В заговоре он, как и многие другие декабристы, нашел то, чего был лишен в обычной жизни, — возможность самореализации. Он хотел стать дипломатом и стал им — в рамках тайного общества. Он учился искусству убеждать — и сумел применить свои познания в деле построения заговора. Военная карьера его прервалась из-за «семеновской истории», но он сделал карьеру в Южном обществе. Бестужев мыслил себя лидером, решающим судьбы страны. Он и стал таким лидером. Он планировал революцию, вел переговоры, занимался партийным строительством и всюду добивался тех результатов, которых желал.

В связи с этим следует признать, что Верховный уголовный суд не ошибся, высоко оценив статус и роль подпоручика Полтавского пехотного полка Михаила Бестужева-Рюмина в тайном обществе: он, проходивший в приговоре под четвертым номером, был признан виновным в том, что «имел умысел на цареубийство, изыскивал к тому средства, сам вызывался на убийство блаженной памяти государя императора и ныне царствующего государя императора, избирал и назначал лиц к свершению оного; имел умысел на истребление императорской фамилии, изъявлял оный в самых жестоких выраже-

ниях *рассеяния праха\**, имел умысел на изгнание императорской фамилии и лишение свободы блаженной памяти государя императора и сам вызвался на совершение сего последнего злодеяния, участвовал в управлении Южным обществом, присоединил к оному Славянское, составлял прокламации и произносил возмутительные речи, участвовал в сочинении лже-Катехизиса, возбуждал и приуговаривал к бунту, требуя даже клятвенных обещаний целованием образа, составлял умысел отторжения областей от империи и действовал в исполнении одного, принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других, лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови, возбуждал офицеров и солдат к бунту и взят с оружием в руках»<sup>116</sup>.

---

\* Отсылка к показаниям члена Общества соединенных славян В. А. Бесчасного: «...когда Бестужев говорил о истреблении Династии, то припоминаю себе, что отозвался в следующих выражениях: “надобно самый прах их по земле развеять”».

---

---

## КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ\*

Кондратий Рылеев принадлежал к старинному дворянскому роду, большинство мужчин в котором посвятили себя военной службе. Его отец Федор Андреевич был человек Екатерининской эпохи. Точную дату его рождения установить не удалось, но, вероятно, он появился на свет в середине 1740-х годов. К моменту рождения сына Кондратия у Федора Рылеева крестьян уже не было. Очевидно, родовое имение Охлябнино было промотано: в 1807 году жена писала ему с укоризной, что детям своим он «не оставил ни мальчика, ни девки, а всё продал спустя руки»<sup>1</sup>.

Федор Андреевич входил в военную элиту России, пять лет прослужил в Военной коллегии в Петербурге, был членом двух масонских лож. В 1788 году он был назначен командиром 2-го батальона Эстляндского егерского корпуса<sup>2</sup>. Рылеев-старший храбро воевал: со своим батальоном прошел Русско-шведскую войну (1788—1790). Война в основном шла на море, но и на суше было несколько сражений. За участие в них отец поэта получил орден Святого Владимира 4-й степени<sup>3</sup>.

Следующей кампанией стала для него война с Польшей. Монаршую благодарность он заслужил, в частности, тем, что «был с батальоном во многих движениях и делал форсированные марши, поспевал всегда благовременно на отражение неприятеля в повеленные места». За «оказанную им храбрость в сражении под Миром» 31 мая 1792 года Рылеев «был яко отличившийся рекомендован и получил всемилостивейше пожалованную золотую шпагу»<sup>4</sup>.

Точная дата его выхода в отставку неизвестна. Однако вряд ли он остался на службе после 1796 года, когда на престол вступил Павел I и был расформирован Эстляндский егерский корпус. Конец Екатерининской эпохи оказался и концом карьеры подполковника.

---

\* В этом и следующих очерках использованы материалы публикаций, подготовленных совместно с А. Г. Готовцевой.

Неудачной оказалась и его семейная жизнь.

Биографы единодушно указывают, что родители Рылеева не жили вместе: отец уехал в Киев, где и умер в 1813 году, мать же до самой своей смерти, последовавшей 11 лет спустя, жила в собственном имении Батово под Петербургом.

Разъезд родителей оказал самое серьезное влияние на формирование характера и взглядов будущего поэта. Известно, что он очень рано — почти в младенческом возрасте — был отдан в кадетский корпус. Согласно корпусным документам, Кондратий Рылеев стал кадетом 18 апреля 1800 года, в возрасте четырех с половиной лет<sup>5</sup>. Естественно, поначалу он числился в малолетнем отделении корпуса.

Можно сказать, что из-за семейной трагедии Рылеев с малых лет практически остался сиротой при живых родителях.

1-й кадетский корпус был одним из самых старых в России военно-учебных заведений. Под названием Сухопутный шляхетный корпус он был основан указом императрицы Анны Иоанновны в 1731 году, «дабы воинское дело... славное и государству зело потребное... наивящше в искусстве производилось»<sup>6</sup>. Располагался корпус в бывшем дворце знаменитого петровского «птенца» светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова.

Историк-мемуарист Дмитрий Кропотов, чей дядя был однокашником Рылеева по корпусу, утверждал в 1869 году: «В конце минувшего века это заведение в образовательном отношении всегда занимало у нас второе место после Московского университета. В смысле же воспитательного заведения и по военной специальности равных оно не имело. В те времена еще не существовало в Петербурге университета, и потому все лучшие преподаватели избирали для своего педагогического служения 1-й кадетский корпус, всегда находившийся под особым покровительством наших государей... Кроме военных заслуг, принадлежащих истории, воспитанники этого корпуса оказали не меньшие и отечественному просвещению. В стенах этого корпуса положено начало образованию русских юристов. Питомцы корпуса занимали с честью высшие места и в службе гражданской, и даже во флоте»<sup>7</sup>.

Однако после воцарения Павла I уровень образования в корпусе стал неуклонно падать. «Главначальствующим» корпуса Павел назначил собственного сына, цесаревича Константина. Ему подчинялся директор корпуса — в момент поступления туда Рылеева, в апреле 1800 года, это был генерал-лейтенант граф Матвей Ламздорф, впоследствии воспитатель



великих князей Николая и Михаила, младших сыновей Павла. В том же году Ламздорфа сменил знаменитый фаворит Екатерины II и участник убийства Павла I Платон Зубов, а в 1801-м директором стал Фридрих Максимилиан (Федор Иванович) Клинггер, прослуживший в этой должности 20 лет. Известный немецкий писатель, автор знаменитой пьесы «Буря и натиск», давшей начало целому литературному направлению, с конца XVIII века он состоял на русской службе, к началу XIX столетия был уже генерал-майором, впоследствии дослужился до чина генерал-лейтенанта.

Действиями на посту директора Клинггер в полной мере опроверг либерализм екатерининского устава. Старший друг и соученик Рылеева по корпусу Фаддей Булгарин утверждал, что директор был гениальным немецким писателем, но не любил Россию: «...почитал русских какой-то отдельной породой, выродившихся из азиатского варварства и поверхностности европейской образованности... сам предложил, чтоб сочинения его были запрещены в России, желая тем самым лишить своих недоброжелателей средств вредить ему»<sup>8</sup>.

С именем Клинггера связано введение в корпусе новой педагогической системы, суть которой хорошо выразил Николай Титов, обучавшийся в корпусе в начале века и впоследствии ставший известным композитором: «Клинггер говаривал: “Русских надо менее учить, а более бить”». А Кропотов, учившийся и преподававший в корпусе уже в Николаевскую эпоху, обобщая воспоминания бывших кадетов, утверждал: период управления Клинггера «можно без преувеличений назвать временем террора»: «Утром, почти ежедневно, в каждой роте раздавались раздирающие вопли и крик детей. Удивительно ли, что при такой системе воспитания ожесточались юные сердца?» Собственно, методу Клинггера, целиком основанную на телесных наказаниях воспитанников, пришлось испытать на себе почти всем кадетам. Булгарин вспоминал впоследствии, что когда четыре года спустя после выпуска из корпуса он встретил человека, похожего на его ротного командира, верного сторонника клингеро夫ской системы воспитания, то «вдруг почувствовал кружение головы и спазматический припадок»<sup>9</sup>.

Знаменитый в начале XIX века журналист Николай Греч писал в мемуарах, что большая часть деятелей 14 декабря вышла из стен 1-го кадетского корпуса<sup>10</sup>. Конечно, среди участников тайных обществ были и выпускники знаменитого Московского училища колонновожатых, Пажеского корпуса, 2-го кадетского и Морского корпусов, Царскосельского лицея и Московского университета. Однако бывших воспитанников 1-го кадетского корпуса среди заговорщиков действительно

было немало. Из числа наиболее известных участников заговора его окончили Павел Аврамов, Александр Булатов, Федор Глинка, Михаил Пушкин и Андрей Розен.

По-видимому, принятая в корпусе система воспитания сыграла не последнюю роль в том, что воспитанники корпуса стали революционерами: постоянное унижение человеческого достоинства не могло не породить протест против несправедливой власти, которую в корпусных стенах представлял Клингер, вне их — самодержавное государство.

Вполне возможно, что первые размышления о свободе — конечно, не о политической, а о личной — у Рылеева возникли еще в корпусе как реакция на жестокие и часто несправедливые телесные наказания. Кропотков утверждал: Рылеев «был пылкий, славлюбивый и в высшей степени предприимчивый сорванец». «Беспрестанно повторяемые наказания так освоили его с ними, что он переносил их с необыкновенным хладнокровием и стоицизмом. Часто случалось, что вину товарищей он принимал на себя и сознавался в проступках, сделанных другими. Подобное самоотвержение приобрело ему множество друзей и почитателей, вырученных им из беды и потому питавших к Рылееву безграничное доверие. Он был зачинщиком всех заговоров против учителей и офицеров. Года за три до выпуска он был жестоко наказан, и начальство, выведенное наконец из терпения, уже собиралось исключить его из заведения, как вдруг обнаружилось, что Рылеев был наказан безвинно»<sup>11</sup>.

Рылееву катастрофически не повезло с образованием. И дело было не только во введении в корпусе телесных наказаний. И Павел I, и вступивший на престол после его гибели Александр I не забывали о кадетах: неоднократно издавали указы о «потребных корпусу» суммах, о преобразованиях в нем, о переменах в мундирах воспитанников и т. п. Не коснулись павловские и александровские узаконения только методов преподавания учебных дисциплин, соотносённости преподавания с возрастом и наклонностями кадетов. Старая, екатерининская система преподавания рухнула, а новая так и не возникла. Четкого представления о том, чему и как следует учить кадетов, ни у начальства, ни у учителей и воспитателей не существовало. К началу XIX столетия корпус стал ординарным военно-учебным заведением.

Точно неизвестно, в каком году Рылеев был переведен из малолетнего во взрослое отделение корпуса: скорее всего, это произошло не ранее 1807 года. Одно можно сказать твердо: его подростковый и юношеский возраст, когда формируются первые убеждения и просыпается любовь к наукам, пришел-

ся на самое тяжелое для корпуса время. Лучшие преподаватели вскоре покинули учебное заведение, очевидно, по причине скудного жалования.

Конечно, именно в корпусе у Рылеева появились первые друзья. Общение с ними было, по-видимому, очень важно для кадета: покинув учебное заведение, он неоднократно упоминал в стихах их и проведенные вместе годы. Однако большинство из тех, кто окружал его во время учебы в корпусе, не оставили следов ни в истории России, ни в дальнейшей судьбе самого поэта.

Одним из немногих близких друзей Рылеева, связь с которым он пронес от корпусной скамьи до Сенатской площади, оказался Фаддей Булгарин. Исследователей истории отечественной словесности первой четверти XIX века неизменно удивлял и удивляет факт дружбы Рылеева и Булгарина. Участник Отечественной войны 1812 года на стороне Наполеона, коммерсант от литературы и журналистики, стремившийся после войны во что бы то ни стало стать «своим» для власти имущих, а после восстания на Сенатской площади ставший агентом тайной полиции, никак не подходит на роль друга «поэта-гражданина». Эта дружба кажется тем более странной, что репутация Булгарина как «литературного недоноска», «гада на поприще литературы», «зайца», который «бежит между двух неприятельских станов», стала складываться задолго до восстания декабристов<sup>12</sup>. Согласно мемуарам журналиста Николая Греча, «Рылеев, раздраженный верноподданническими выходками газеты, сказал однажды Булгарину: “Когда случится революция, мы тебе на ‘Северной пчеле’ (газета, которую Булгарин вместе с Гречем издавал с 1825 года. — О. К.) голову отрубим”»<sup>13</sup>.

Историки литературы до сих пор предпринимают попытки объяснить эту странную дружбу будущего висельника с будущим информатором тайной полиции. Правда, спектр мнений на эту тему небогат. Исследователи прошлых лет рассуждали по преимуществу о том, что Булгарин умело обманывал Рылеева, скрывая под маской дружбы «ренегатство» — желание открыто «перейти в стан реакции»<sup>14</sup>. В современных же работах доминирует идея, что «хороший» Рылеев пытался нравственно перевоспитать «плохого» Булгарина, «апеллируя к понятиям “чести” и “порядочности”»<sup>15</sup>. Однако подобные концепции не способны объяснить феномен этой дружбы.

Познакомившись в стенах малолетнего отделения кадетского корпуса, они потом долго не виделись: Булгарин пять лет служил в русской армии, затем еще три года во французской. Когда Рылеев покинул стены корпуса, Булгарин был уже

в русском плену, затем долго жил в Польше и Прибалтике, где завоевывал репутацию польского писателя, и только в 1819 году окончательно перебрался в столицу. Рылеев же после войны служил в Воронежской губернии, а в Петербурге оказался в том же году. Очевидно, встретившись, они восстановили прежнее знакомство, которое быстро переросло в дружбу.

Известно, что взаимоотношения эти не были равными: друзья-литераторы часто ссорились. Так, резкая размолвка между ними возникла в сентябре 1823 года: Булгарин пытался перекупить право издания официальной военной газеты «Русский инвалид» у петербургского журналиста Александра Воейкова. Рылеев публично встал на сторону Воейкова и написал Булгарину письмо: «После всего этого, ты сам видишь, что нам должно расстаться... Я прошу тебя забыть о моем существовании, как я забываю о твоём: по разному образу чувствования и мыслей нам скорее можно быть врагами, нежели друзьями»<sup>16</sup>. Вскоре дружба была восстановлена — во многом благодаря тому, что Воейков вовсе не был образцом журналистской честности: он без разрешения перепечатывал в «Русском инвалиде» материалы «Полярной звезды».

Но в июне 1824 года их отношения вновь стали достаточно напряженными: Рылеев принял предложение поэта Антона Дельвига стать его секундантом на дуэли с Булгариным. Причина вызова точно неизвестна, однако известно, что Булгарин отказался от поединка и велел передать Дельвигу, что «на своем веку видел более крови, нежели он чернил»<sup>17</sup>. Очевидно, в ответ на отказ Булгарина Рылеев написал ему: «Любезный Фаддей Венедиктович! Дельвиг соглашается всё забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твое громкое воспоминание о нем произведет или дуэль, или убийство... Твой Рылеев»<sup>18</sup>. Впрочем, вскоре и эта история была забыта: на одном из литературных обедов, писал А. Бестужев Вяземскому, «Булгарин пьяный мирился и лобызался с Дельвигом... точно был тогда чистый понедельник!»<sup>19</sup>.

Однако, несмотря на ссоры, Рылеев сотрудничал в изданиях Булгарина, переводил его произведения с польского языка на русский (в 1821 году за перевод булгаринской сатиры «Путь к счастью» он был избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности), посвятил ему думы «Мстислав Удалый» и «Михаил Тверской». Булгарин же печатался в альманахе Рылеева «Полярная звезда» и с неизменной теплотой отзывался о его литературной деятельности. Свои связи с Булгариным Рылеев характеризовал как «горячность нежной дружбы»<sup>20</sup>.

После разгрома восстания на Сенатской площади Рылеев отдал Булгарину часть своих бумаг; среди них были и такие, за хранение которых однокашник заговорщика вполне мог попасть в тюрьму. Однако Булгарин, вскоре ставший полицейским агентом, сохранил рукописи друга (впоследствии материалы из «портфеля Булгарина» попали в руки исследователей и были опубликованы)<sup>21</sup>.

Думается, не последнюю роль в этой истории сыграли представления обоих ее участников об «обязанностях дружбы», тем более возникшей еще в отрочестве.

Конечно, кадетская жизнь Рылеева не исчерпывалась постоянными муштрой, учебой у плохих преподавателей, телесными наказаниями и даже отношениями с однокашниками. «Дух литературный», о котором писал в мемуарах Булгарин, очевидно, не выветрился и к середине 1810-х годов.

Впоследствии, когда Рылеев уже будет казнен — и тем приобретет всероссийскую известность, — его юношеские стихи станут легендой 1-го кадетского корпуса. Николай Лесков, основываясь на воспоминаниях одного из воспитанников корпуса середины 1820-х годов, писал в заметке «Кадетский малолеток»: «Преимущественно мы дорожили стихами своего однокашника, К. Ф. Рылеева, с музой которого ничья муза в корпусе состязаться не смела. Мы списывали все рылеевские стихотворения и хранили их как сокровище. Начальство это преследовало и если у кого находило стихи Рылеева, то такого преступника драли с усиленной жестокостью»<sup>22</sup>.

Некоторые корпусные произведения Рылеева дошли до нас — но большая часть их утеряна. При знакомстве с сохранившимися ранними рылеевскими текстами выясняется, что на самом деле ничего необычного в них не было:

Шумы, греми, незвучна лира  
Еще неопытна певца  
Да возглаголю в пределах мира  
Кончину пирогов творца\*...  
*«Кулакиада»*

Да ведает о том вселенна,  
Как Бог преступников казнит  
И как он Росса, сына верна,  
От бед ужаснейших хранит...  
*«На погибель врагов»*

---

\* Старший корпусной повар Кулаков скоропостижно умер, стоя у плиты.

Дрожит, немеет Галлов вождь  
И думы спастись напрягает;  
Но сей герой как снег, как дождь,  
Как вихрь, как молния паляща  
Врагов отечества казнит!  
И вот ужасно цепь звеняща  
С Москвы раздробленна летит!..  
*«Героев тени, низлетите!..»*

Прощай, любезная пастушка,  
Прощай, единственна любовь!..<sup>23</sup>

Патриотический подъем времени Отечественной войны и Заграничных походов, «любезная пастушка» и корпусные служители — темы первых рылеевских стихов не дают возможности увидеть в нем будущего профессионального литератора и журналиста. Они были вполне традиционной формой проведения кадетского досуга.

Очевидно, что и сам Рылеев ни в годы учебы в корпусе, ни после его окончания серьезно к этим стихам не относился — и никогда их не издавал. Сам автор таким видел итог своего кадетского творчества:

Сколько, сколько я бумаги  
На веку перемарал  
И в пиитственной отваге  
Сколько вздору написал!<sup>24</sup>

Начало XIX века, предвоенные годы — не лучшее время в истории 1-го кадетского корпуса. Очевидно, что Рылеев сформировался как поэт и вольнолюбец уже после окончания этого учебного заведения. Но нельзя не признать и того очевидного факта, что начало этому формированию было положено именно в корпусе. Из раздумий юного поэта о собственном месте в мире, о патриотизме, о героизме, из попыток противостоять жестоким корпусным нравам впоследствии выросло его представление о себе как действующем лице российской истории.

Кондратий Рылеев был выпущен из корпуса в феврале 1812 года, после двенадцати лет пребывания в нем. Естественно, событие это для него было радостным. Случайно уцелевшая корпусная тетрадка хранит следы этой радости: «Генварь 1814. Наконец настала та минута, приближения коей я ждал с таким нетерпением. Минута выпуска моего из корпуса». На второй половине листа юный выпускник пробует подписываться по-взрослому: несколько раз повторена запись «артиллерии прапорщик Рылеев»<sup>25</sup>.

Прапорщик Рылеев был определен в 1-ю конноартиллерийскую роту 1-й резервной артиллерийской бригады. Рота в тот момент воевала во Франции, в составе отдельного отряда под командованием генерала Александра Чернышева. В феврале—марте 1814 года, в самом конце войны, она принимала участие в боях за французские города Лаон (Лан), Суассон, Реймс и Сен-Дизье.

Принято считать, что юный прапорщик сразу из корпуса попал на войну. Один из его сослуживцев впоследствии утверждал в мемуарах: после выпуска Рылеев отправился «прямо за границу, к батарее, которая в то время находилась в авангарде графа Чернышева, противу французских войск. Рылеев был несколько раз в сражениях, но особых отличий в делах не имел случая оказать»<sup>26</sup>.

Между тем в воевавшую во Франции роту прапорщик так и не попал — и, соответственно, в боевых действиях не участвовал. Согласно его послужному списку, сразу после выпуска из корпуса он поехал в Швейцарию, куда прибыл 4 марта 1814 года<sup>27</sup>.

Что Рылеев делал в Швейцарии, неизвестно. Скорее всего, он исполнял роль курьера и должен был привезти туда письма из столицы. Из Швейцарии он направился в Саксонию. Уже 28 февраля прапорщик сообщал матери из Дрездена, что «здесь» он «нашел дядюшку Михайла Николаевича»<sup>28</sup>. Генерал-майор М. Н. Рылеев (1771—1831), близкий родственник будущего поэта, принял его под свое покровительство.

В военном отношении Саксония была разделена на несколько округов (областей); генерал-губернатор («вице-король») Николай Репнин назначил генерал-майора Рылеева начальником третьего округа с центром в Дрездене. «Дядюшка находится теперь в Дрездене комендантом, — писал Рылеев, — место прекрасное! По 300 р[ублей] серебром жалованья в месяц! — Почтеннейшая супруга его, Марья Ивановна, с ним — и он в полном удовольствии! Слава Богу и благодарение! Такого дяди, каков он, — больше другим не найти! Добр, обходителен, помогает, когда в силах: ну, словом, он заменил мне умершего родителя!»<sup>29</sup> Кондратий Рылеев, как явствует из его переписки, находился в Саксонии по крайней мере до конца сентября 1814 года.

О службе Рылеева в послевоенные годы известно крайне мало. Он продолжал числиться в той же самой роте 1-й резервной артиллерийской бригады. Правда, рота несколько раз перенумеровывалась: в 1816 году стала 11-й, два года спустя — 12-й. Квартировала она по преимуществу в местечке Белогорье Острогжского уезда Воронежской губернии.

О Рылееве в годы его артиллерийской службы рассуждать непросто: документов, характеризующих этот период его жизни, крайне мало. Те из них, которые доступны исследователям, свидетельствуют: образ жизни Рылеева-артиллериста мало чем отличался от образа жизни его однополчан. Об этом можно прочесть, например, в мемуарах его сослуживца по конноартиллерийской роте, чье имя историкам до сих пор неизвестно<sup>30</sup>.

С виду прапорщик был таким же, как все: «при случае любил и покутить на чужой счет, и выпить лишнее». Он был азартным, но неудачливым картежником, проигрывал деньги, присылаемые матерью. Сослуживец утверждает: «Страсть к игре в карты и преимущественно в банк ставила его много раз в безвыходное положение пред командиром батареи и товарищами. И в батарее никто с ним не играл, как неумеющего (так в тексте. — *О. К.*) владеть собою; при проигрыше он выходил из себя и забывался; весьма редко случалось ему выигрывать небольшую сумму, которую недолго удерживал при себе, при первой возможности спускал с рук, постоянно жил без денег и был в долгах; будучи беспечен к самому себе, он не хотел знать, чего у него нет и что есть, жил кое-как, более на чужой счет и — не стыдился»<sup>31</sup>.

Согласно воспоминаниям, Рылеев был вспыльчив и далеко не всегда умел держать себя в руках: «Два раза дуэлировал на саблях и на пистолетах, причем получил хорошие уроки за свою заносчивость и интриги»; «в одном месте, по приказанию его, солдаты-квартирьеры наказали фухтелями\* мужика литовца за грубость, но так жестоко, что стоило больших усилий привести его в чувство и в самосознание. Жалоба дошла до генерал-губернатора, и дело едва кончилось мировую; Рылеев заплатил обиженному сто руб[лей] за увечья; в противном случае он был бы под судом и, конечно, разжалован»<sup>32</sup>.

Служил прапорщик из рук вон плохо: «Он не любил службы, даже возненавидел ее и только по необходимости подчинялся иногда своему начальству. Он с большим отвращением выезжал на одно только конно-артиллерийское ученье, но и то весьма редко, а в пеший фронт никогда не выходил; остальное же время всей службы своей он состоял как бы на пенсии, уклоняясь от обязанностей своих под разными предлогами. Часто издевался над нами, зачем служим с таким усердием; называя это унижением для человека, понимающего самого себя, т. е. подчиняться подобному себе и быть постоянно в прямой зависимости начальника; говорил: “Вы

---

\* *Фухтель* (нем. шпага, палаш) — здесь: телесное наказание, удар по спине плащом обнаженным клинком.



представляете из себя кукол, что доказывают все фрунты, в особенности пеший фрунт»; он много раз осыпал нас едкими эпиграммами и не хотел слушать дельных возражений со стороны всех товарищей его»<sup>33</sup>.

Далеко не все товарищи по роте любили и уважали Рылева: виной тому были лень, «заносчивость и интриги» — отличительные черты артиллерийского прапорщика; «характер его был скрытным и мстительным, за что никем не был любим». Впрочем, и Рылеев не был откровенен с сослуживцами, «избегая сотрудничества товарищей своих, которые только по необходимости держали его в обществе своем»<sup>34</sup>.

Вполне возможно, что, описывая Рылева подобным образом, его сослуживец несколько сгущает краски. Однако он не ставил себе цель очернить будущего заговорщика. Смысл воспоминаний другой, по-человечески вполне понятный: автор, считавший себя умным человеком, дельным офицером, весьма полезным для службы, искренне удивлялся тому, что он и большинство его сослуживцев оказались лишь рядовыми участниками исторического процесса, а тот, которого все вокруг «привыкли разуметь за человека обыкновенного, с недобрым сердцем, дурным товарищем и бесполезным для службы офицером», сумел прославить свое имя в веках. «Думал ли он или кто из товарищей, бывших из его сослуживцев в течение шести лет, что Р[ылеев] выйдет, к удивлению всех, человеком замечательным и потребует от каждого из нас передать потомству малейшие подробности жизни его?!», «могли ли мы когда думать, чтобы прапорщик конной артиллерии, без средств к жизни, с такими наклонностями, непостоянным характером, мог затеять что-либо, похожее на дело серьезное?» — риторически вопрошает мемуарист<sup>35</sup>.

Однако и в этих мемуарах, и в других документах присутствует одна существенная психологическая подробность: с юных лет Рылева одушевляла страсть к славе. Сослуживец передает его разговор с одним из офицеров роты: «Скажите, пожалуйста, Кондратий Федорович, довольны ли вы своею судьбою, которая, как кажется, лелеет и хранит вас на каждом шагу? Мы завидуем вам! — Что же тут мудреного, когда она так милостива ко мне! Я убежден, что она никогда не перестанет покровительствовать гению, который ведет меня к славной цели!»<sup>36</sup> Очевидно, в годы послевоенной службы он сумел осознать свой особый путь, который может привести его к славе.

Впоследствии, в 1823 году, Рылеев напишет стихотворное обращение к великому князю Александру Николаевичу:

Военных подвигов година  
Грозою шумной протекла;  
Твой век иная ждет судьбина,  
Иные ждут тебя дела.  
Затмится свод небес лазурных  
Непроницаемою мглой;  
Настанет век борений бурных  
Неправды с правдою святой<sup>37</sup>.

Отрывок этот отражал собственный опыт поэта: после войны стало ясно, что на военной службе прославиться или даже сделать сколько-нибудь заметную карьеру сложно. Мирное время требовало новых героев, тех, кто будет сражаться за социальную справедливость, во имя «святой правды». Эту истину первыми осознали столичные гвардейцы, бравшие уроки политических наук и создававшие тайные общества. Рылеев же до осознания этой истины дошел своим, особым путем.

Александр Никитенко, будущий цензор, литератор и академик, а в конце 1810-х годов образованный крепостной графа Шереметева, описывает случайную встречу с Рылеевым на книжной ярмарке: «Я с одним из приятелей не преминул заглянуть в лавочку, торговавшую соблазнительным для меня товаром. Там, у прилавка, нас уже опередил молодой офицер. Я взглянул на него и пленился тихим сиянием его темных и в то же время ясных глаз и кротким, задумчивым выражением всего лица. Он потребовал “Дух законов” Монтескье, заплатил деньги и велел принести себе книги на дом. “Я с моим эскадром не в городе квартирую, — заметил он купцу, — мы стоим довольно далеко. Я приехал сюда на короткое время, всего на несколько часов; прошу вас, не замедлите присылкою книг. Я остановился (следовал адрес). Пусть ваш посланный спросит поручика (мемуарист ошибся — прапорщика. — О. К.) Рылеева”»<sup>38</sup>.

Сослуживцы не видели — да и, в силу ограниченного круга интересов, не могли видеть — происходившей в Рылееве серьезной нравственной работы. Очевидно, именно поэтому они ощущали в нем дерзкого и заносчивого чужака, не понимали его, а зачастую просто смеялись над ним. И, как следует из мемуаров рылеевского однополчанина, прапорщик эту свою отчужденность чувствовал достаточно остро: «А как часто он говаривал нам: “Г[оспода], вы или не в состоянии, или не хотите понять, куда стремятся мои помышления! Умоляю вас, поймите Рылеева! Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны!! Души с благороднейшими чувствами постоянно должны стремиться ко всему новому, лучшему, а не пресмыкаться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каж-

дом шагу; так будем же стараться уничтожать и переменить на лучшее!»<sup>39</sup>.

В декабре 1818 года Рылеев вышел в отставку, а вскоре женился. Его избранницей стала дочь помещика Воронежской губернии Наталья Тевяшова. В мае 1820 года у них родилась дочь Анастасия.

Выходя в отставку, Рылеев, очевидно, хорошо представлял себе, как будет строить собственную жизнь, к чему стремиться. Через два года о нем — поэте и борце с несправедливостью — уже говорила вся образованная Россия.

В начале декабря 1820 года, с опозданием на месяц, вышел октябрьский номер либерального петербургского журнала «Невский зритель», в котором было помещено знаменитое стихотворение Рылеева «К временщику. Подражание Персевой\* сатире “К Рубеллию”»:

Надменный временщик, и подлый и коварный,  
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,  
Неистовый тиран родной страны своей,  
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!  
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь  
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!  
Твоим вниманием не дорожу, подлец;  
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!  
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!  
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем,  
Коль сам с презрением я на тебя гляжу  
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?  
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?  
Что власть ужасная и сан твой величавый?  
Ах! лучше скрыть себя в безвестности простой,  
Чем с низкими страстями и подлою душой  
Себя, для строгого своих сограждан взора,  
На суд их выставять, как будто для позора!  
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,  
Что пользы в сани мне и в почестях моих?  
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;  
Сеян!\*\* и самые цари без них — презренны;  
И в Цицероне мной не консул — сам он чтим  
За то, что им спасен от Катилины Рим...\*\*\*

---

\* *Авл Персий Флакк* (34—62) — римский поэт, в своих шести сатирах (изданы посмертно) в патетическом тоне рассуждал на темы, традиционные для стоической философии: о необходимости исправления нравов, воспитании, самопознании, истинной свободе, разумном пользовании богатством.

\*\* *Луций Элий Сеян* (ок. 20 до н. э. — 31) — префект преторианской гвардии в Риме, казненный по обвинению в подготовке заговора против императора Тиберия.

\*\*\* *Луций Сергий Катилина* (ок. 108 — 62 до н. э.) — глава заговора про-

О муж, достойный муж! почто не можешь, снова  
Родившись, сограждán спасти от рока злого?  
Тиран, вострепещи! родиться может он,  
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!\*  
О, как на лире я потщусь того прославить,  
Отечество мое кто от тебя избавит!  
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,  
От взора общего причины зла укрыть...  
Не зная о своем ужасном положении,  
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленье,  
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,  
Но свойства злобные души не утаишь:  
Твои дела тебя изобличат народу;  
Познает он — что ты стеснил его свободу,  
Налогом тягостным довел до нищеты,  
Селения лишил их прежней красоты...  
Тогда вострепещи, о временщик надменный!  
Народ тиранствами ужасен разъяренный!  
Но если злобный рок, злодея полюбя,  
От справедливой мзды и сохранит тебя,  
Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство  
Тебе свой приговор произнесет потомство!<sup>40</sup>

В вопросе о том, кого имел в виду Рылеев, современники единодушны: он метил в графа Аракчеева, знаменитого временщика Александровской эпохи.

Однако напрямую имя Аракчеева в сатире не названо. И вполне возможно, что публикация в «Невском зрителе» так бы и прошла незамеченной — если бы не время, в которое она появилась. Конец 1820 года в России был ознаменован «семёновской историей».

Вечером 16 октября солдаты 1-й гренадерской — «государевой» — роты лейб-гвардии Семеновского полка, недовольные жестоким полковым командиром полковником Федором Шварцем, самовольно собрались вместе и потребовали его смены. Их примеру последовали другие роты. Начальство Гвардейского корпуса пыталось уговорить солдат отказаться от их требований, но тщетно. 18 октября весь полк оказался под арестом.

---

тив республиканского строя, разоблаченный в римском Сенате речами консула, оратора и философа Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.).

\* *Гай Кассий Лонгин* (85—42 до н. э.) — римский полководец и общественный деятель, главный организатор и участник убийства диктатора Гая Юлия Цезаря (44 до н. э.). *Марк Юний Брут* (85—42 до н. э.) — римский сенатор, участник республиканского заговора и убийства Цезаря. *Марк Порций Катон Младший* (95—46 до н. э.) — римский судебный оратор, философ-стоик, республиканец и политический противник Цезаря.

Неделю спустя в казармах лейб-гвардии Преображенского полка нашли анонимные прокламации, призывавшие преобразенцев последовать примеру семеновцев, восстать, взять «под крепкую стражу» царя и дворян, после чего «между собою выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных»<sup>41</sup>. Впрочем, прокламации были вовремя обнаружены властями.

Волнения семеновцев вызвали в обществе всевозможные толки и слухи (вплоть до «явления в Киеве святых в образе Семеновской гвардии солдат с ружьями, которые-де в руках держат письмо государю, держат крепко и никому-де, кроме него, не отдают»<sup>42</sup>), а в государственных структурах — смтение и ужас. Дежурный генерал Главного штаба Арсений Закревский в январе 1821 года писал своему патрону князю Петру Волконскому: «Множество есть таких неблагонамеренных и вредных людей, которые стараются увеличивать дурные вести. В нынешнее время расползены к сему в высшей степени все умы и все сословия, и потому судите сами, чего ожидать можно при малейшем со стороны правительства послаблении»<sup>43</sup>.

Адъютант генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича Федор Глинка вспоминал пять лет спустя: «Мы тогда жили точно на бивуаках: все меры для охранности города были взяты. Через каждые 1/2 часа (сквозь всю ночь) являлись квартальные, чрез каждый час частные пристава привозили донесения изустные и письменные. Раза два в ночь приезжал Горголи (петербургский полицмейстер. — *О. К.*), отправляли курьеров; беспрестанно рассылали жандармов, и тревога была страшная»<sup>44</sup>. Подобные настроения объяснялись прежде всего отсутствием царя в столице и неясностью его реакции на произошедшие события.

Тайная полиция начала слежку за всеми: купцами, мещанами, крестьянами «на заработках», строителями Исаакиевского собора, солдатами, офицерами, литераторами, даже за испанским послом. Петербургский и Московский почтамты вели тотальную перлюстрацию писем<sup>45</sup>. Естественно, не свободна от этих настроений была и столичная цензура: несколько месяцев после «истории» она свирепствовала как никогда.

Поведение цензора Ивана Тимковского, пропустившего сатиру в печать в разгар «семеновской истории», было странным, но не менее странным оказался и выбор издания для публикации сатиры. Журнал «Невский зритель» выходил всего полтора года, с января 1820-го по июнь 1821-го, и резко отличался от многих других периодических изданий той эпохи. У главных журналов — «Сына отечества», «Вестника Европы», «Благонамеренного» — были своя эстетическая, а иногда

и политическая платформа, свое место в литературной полемике, свой, устоявшийся круг авторов и читателей. «Невский зритель» же был крайне неровным. В истории журналистики он известен прежде всего тем, что в нем публиковались молодой Пушкин и его друзья-поэты Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер и Евгений Баратынский. Однако их произведениями заполнены лишь первые четыре номера журнала, а с мая по сентябрь 1820 года ничего более или менее значимого для истории литературы в нем не появлялось. Затем в нескольких номерах, с октября 1820 года по март 1821-го, печатаются стихи Рылеева, появляются произведения близкого к нему литератора Ореста Сомова. Рылеев даже планировал стать соиздателем «Невского зрителя», однако по невыясненным обстоятельствам этот план не осуществился. В апреле Рылеев и Сомов ушли из журнала, и последние книжки его опять наводнили произведения второстепенных литераторов<sup>46</sup>. Постоянным автором «Невского зрителя» был только знаменитый графоман граф Дмитрий Хвостов.

В истории журналистики и литературы практически не оставили следов официальный издатель «Невского зрителя», 28-летний сотрудник Департамента горных и соляных дел, «магистр этико-политических наук» Иван Сниткин<sup>47</sup> и его главный помощник, служащий столичного почтамта Григорий Кругликов. Одно можно сказать твердо: до осени 1820 года на «Невский зритель» власти смотрели с большим недоверием.

Летом того же года среди столичных литераторов распространился слух, что журнал вскоре прекратит существование. «“Невский зритель” издыхает и... к новому году закроет глаза», — утверждал журналист Александр Измайлов тогда же, в августе 1820 года<sup>48</sup>.

Но эти мрачные прогнозы не оправдались — «Невский зритель» продолжал выходить.

В истории публикации сатиры «К временщику» странным выглядит и поведение ее автора, Рылеева. В конце 1820 года он еще не был знаменитым поэтом, не состоял в тайном обществе. Первые робкие шаги в литературе делал 25-летний отставной подпоручик, не выслуживший в армии ни денег, ни чинов, вынужденный с женой и грудной дочерью снимать дешевую квартиру и просивший «маменьку» прислать ему «на первый случай посуды какой-нибудь, хлеба и что вы сами придумаете нужное для дома, дабы не за всё платить деньги»<sup>49</sup>.

Сам Рылеев квалифицировал свою сатиру как «неслыханную дерзость»<sup>50</sup>. Александр Тургенев писал в феврале 1821 года Вяземскому: «Читал ли дурной перевод Рубеллия в “Невском зрителе”? Публика, особливо бабья, начала приписывать пере-

водчику такое намерение, которое было согласно с ее мнением». «Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему», — вспоминал Николай Бестужев<sup>51</sup>. Стихотворение произвело в петербургском обществе эффект разорвавшейся бомбы.

И, конечно, современники не могли не удивиться не только дерзости, с которой никому не ведомый отставной подпоручик бросал вызов Аракчееву, но и тому, что за публикацию сатиры «ничего не было» не только автору, но и цензору с издателями.

«1815—1825 гг. вошли в российскую историю как время сплошной *аракчеевщины*», — утверждает историк Н. А. Троицкий<sup>52</sup>, и такая оценка является общим местом в исследованиях, посвященных александровскому царствованию. Но к началу 1820-х годов можно говорить не об одном, а по меньшей мере о трех российских временщиках, наделенных «особливым доверием» Александра I. Кроме Аракчеева это были министр князь Александр Голицын и начальник Главного штаба князь Петр Волконский. Сравнивая эти фигуры, Филипп Вигель отмечал, что «в беспредельной преданности царю у Аракчеева более всего был расчет, у Волконского — привычка; только разве у одного Александра Николаевича Голицына — чувство»<sup>53</sup>.

У временщиков были разные сферы деятельности: Аракчеев руководил военными поселениями, заведовал канцелярией Кабинета министров и имел серьезное влияние на его персональный состав. Волконский, начальник Главного штаба, занимался по преимуществу делами военными. Министр духовных дел и народного просвещения Голицын отвечал за функционирование школ и университетов, был руководителем цензурного ведомства и через него управлял литературой, под его патронажем находились все существовавшие в России вероисповедания.

Естественно, они враждовали между собой. В конце 1820 года в связи с «семеновской историей» борьба за исключительное влияние на государя обострилась. Александру I, находившемуся за границей, представили эти волнения как следствие деятельности подчиненных, насаждавших «просвещение» среди солдат Гвардейского корпуса. Объективно мысль эта была выгодна и Волконскому, потому что снимала обвинения в

«подстрекательстве» солдат с его ведомства, и Аракчееву, поскольку позволяла ослабить влияние Голицына при дворе.

Вероятно, сатира «К временщику» была частью «защитительной» кампании Голицына, призывавшей отыскивать «причины зла» в другом месте.

Можно только строить догадки, почему выбор Голицына пал именно на Рылеева. Очевидно, министру необходим был человек неизвестный, не вполне включенный в литературный процесс. Соответственно, выпад против Аракчеева в этом случае можно было представить как «глас народа».

История с публикацией сатиры имела и вполне конкретные последствия. Очевидно, ближайшим из них было появление у общества мысли, что в «семеновской истории» виноват именно Аракчеев, который, зная Шварца как жестокого офицера, специально рекомендовал его к должности командира Семеновского полка. Впоследствии мысль эта закрепились и в мемуарах, и в историографии. На самом деле никакого отношения к получению Шварцем новой должности Аракчеев не имел и, по-видимому, даже не знал его лично.

После «семеновской истории» и сатиры «К временщику» имя Аракчеева становится едва ли не нарицательным, обозначающим государственного злодея, консерватора и противника любого инакомыслия. На «временщика» пишутся многочисленные эпиграммы, которые распространяются в списках и даже пересылаются по почте. Ни писать, ни читать эти эпиграммы уже не боялись — произведение Рылеева публиковалось в открытой печати.

Семеновский полк был раскассирован: и солдат, и офицеров перевели в армейские полки, стоявшие в провинции, без права отпуска и отставки. Некоторые особо активные солдаты оказались на Кавказе. Шварц, приговоренный военным судом к смертной казни, был в итоге лишь отправлен в отставку.

По-видимому, именно в связи с публикацией в «Невском зрителе» вынужден был покинуть пост цензор Тимковский — но цензурная политика правительства не стала мягче.

Положение же самого Голицына укрепилось. Его влияние на государственные дела стало практически безграничным.

Рылеев же, полный мечтаний о славе, в том числе литературной, после публикации сатиры в одночасье стал известным поэтом. Вскоре он вступил в Вольное общество любителей российской словесности, состоявшее, как и Общество учреждения училищ, в ведении Министерства духовных дел и народного просвещения. С 1823 года он совместно с Александром Бестужевым начал редактировать, а потом и издавать «Полярную звезду», быстро заслужившую славу лучшего рос-



сийского альманаха. У Рылеева появилось многое из того, о чем он мечтал: деньги, литературная известность, широкое общественное поприще. Сатира «К временщику» стала определяющей для дальнейшего творчества поэта: после 1820 года гражданские темы в его поэзии стали главными.

Одним из самых заметных событий в истории отечественной журналистики 1820-х годов стал выход в свет первого журнала Фаддея Булгарина «Северный архив, журнал истории, статистики и путешествий» (1822) и бесплатного приложения к нему «Литературные листки» (1823). У периодических изданий Булгарина были читатели и почитатели, к его мнениям прислушивались ведущие русские литераторы, он стал одним из организаторов коммерческой журналистики в России. Однако Булгарин еще при жизни превратился в своего рода символ нечестной конкуренции, подхалимства, предательства.

«Рассудительный человек подобен воде, которая принимает на себя цвет окружающих ее предметов», — утверждал Булгарин на страницах первого номера «Литературных листков»<sup>54</sup>. По-видимому, эта «восточная пословица» была его своеобразным журналистским кредо. Его издания были полностью ангажированы властью в лице министра Голицына. Более того, Булгарин стремился во что бы то ни стало сделать «Северный архив» официальным изданием Министерства духовных дел и народного просвещения — и ему это почти удалось: в феврале 1823 года формальное согласие дал сам Голицын<sup>55</sup>.

Естественно, пока шли переговоры, Булгарин был супер-полюен к Голицыну. Направление и «Северного архива», и «Литературных листков» строго соответствовало интересам Голицына и возглавлявшегося им министерства. Большинство опубликованных в «Северном архиве» материалов носило научный и научно-популярный характер. Недаром сам Голицын отмечал, что журнал «может быть весьма полезным по части преподавания географии, статистики и отечественной истории и служить как для преподающих верным и хорошим руководством в отношении к новейшим сведениям и открытиям, так и для учащихся любопытным и наставительным чтением»<sup>56</sup>.

Однако «Северный архив» был журналом научно-популярным и его возможности по части пропаганды идей Голицына были минимальными. Очевидно, эту проблему Булгарин решил восполнить выпуском «Литературных листков», созданных, как представляется, для прямой поддержки министра; по крайней мере, большая часть опубликованных там материалов

преследовала именно эту цель. Журнал этот был призван ускорить признание «Северного архива» официальным министерским изданием.

В августе 1823 года в «Литературных листках» было опубликовано очередное произведение Рылеева — ода «Видение», написанная, как следовало из названия, «на день тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»<sup>57</sup>. Цензурное разрешение на издание «Литературных листков» было дано 29 августа; следовательно, читатели получили возможность ознакомиться с рылеевской одой в самый день именин пятилетнего великого князя. По словам самого Рылеева, он не ограничился публикацией произведения и «решился пустить» его «в публику» в списках<sup>58</sup>.

Сюжет оды хорошо известен: лирический герой узрел «над пробужденным Петроградом» тень Екатерины II, наблюдающую за детскими играми правнука, «златокудрого отрока». «Минерве светлоокой» импонирует желание мальчика прославиться на военном поприще, однако она считает, что время бранных подвигов прошло:

Твой век иная ждет судьбина,  
Иные ждут тебя дела.  
Затмится свод небес лазурных  
Непроницаемую мглой.  
Настанет век борений бурных  
Неправды с правдою святой...

«Минерва» советует правнуку:

Быть может, отрок мой, корона  
Тебе назначена творцом;  
Люби народ, чти власть закона;  
Учись заране быть царем.

Твой долг благотворить народу,  
Его любви в делах искать;  
Не блеск пустой и не породу,  
А дарованья возвышать.  
Дай просвешенные уставы,  
Свободу в мыслях и словах,  
Науками очисти нравы  
И веру утверди в сердцах.

Люби глас истины свободной,  
Для пользы собственной любви,  
И рабства дух неблагородной —  
Неправосудье истреби.  
Будь блага подданных ревнитель:

Оно есть первый долг царей;  
Будь просвещенья покровитель:  
Оно надежный друг властей.

Старайся дух постигнуть века,  
Узнать потребность русских стран;  
Будь человек для человека,  
Будь гражданин для сограждан;  
Будь Антонином на престоле,  
В чертогах мудрость водвори —  
И ты себя прославишь боле,  
Чем все герои и цари<sup>59</sup>.

По традиции, идущей от Ю. Г. Оксмана, советские исследователи усматривали в рылеевской оде «иллюзии, характерные для всего правого крыла дворянской оппозиционной общестственности начала 20-х годов»: «В эту пору Рылеев еще не отказался от надежд на просвещенного монарха, полностью реализующего под давлением идеологов Северного общества ту программу социально-политических реформ, которая отвечала классовым интересам умеренно-либеральных слоев поместного дворянства и городской буржуазии. Не случайно связывается “Видение” с именем пятилетнего царевича Александра, возможность возведения которого на престол очень занимала членов декабристских тайных организаций и совершенно конкретно обсуждалась даже в дни междуцарствия»<sup>60</sup>. Подобные утверждения содержатся едва ли не во всех комментариях к этому произведению<sup>61</sup>.

Ода и впрямь оказалась пророческой — в 1855 году Александр Николаевич стал императором Александром II; автору действительно были близки идеалы просвещенной монархии; в тайных обществах на самом деле активно обсуждалась возможность возведения на престол юного великого князя — при избрании регента<sup>62</sup>.

Однако вопросов, возникающих в связи с этим рылеевским произведением, гораздо больше, чем ответов. Один из таких вопросов сформулировал в 1855 году знаменитый либеральный публицист и эмигрант Александр Герцен, обратившись к Александру II с открытым письмом: «Почему именно Ваша колыбель внушила ему (Рылееву. — О. К.) стих кроткий и мирный? Какой пророческий голос сказал ему, что на Вашу детскую голову падет со временем корона?»<sup>63</sup> Ничего подобного, действительно, не встретишь в других стихотворениях конца 1810-х — начала 1820-х годов. Никто из российских литераторов не отважился печатно обсуждать, кому из августейшей семьи «корона» «назначена творцом». Великий князь Александр Николаевич был сыном одного из двух

младших братьев императора, и его шансы занять трон были невелики.

Для участников тайных обществ малолетний царевич был не единственным кандидатом на престол. Еще с начала 1820-х годов заговорщики обсуждали планы возведения на трон жены Александра I Елизаветы Алексеевны. Среди активных участников восстания на Сенатской площади было много вполне искренних сторонников цесаревича Константина Павловича. Накануне восстания выражалось также желание «видеть на престоле» второго из младших великих князей, Михаила Павловича<sup>64</sup>.

Кроме того, инициатива обсуждения шансов на престол отдельных членов правящей династии никогда не исходила от Рыльева — по крайней мере свидетельств об этом нет. Готовя восстание, он предполагал «арестовать и вывезть за границу» всю императорскую фамилию<sup>65</sup>. Фактов, которые давали бы основание считать, что в оде «Видение» отразились политические планы Рыльева-заговорщика, обнаружить не удалось.

Вопрос о «пророческом даре» Рыльева в данном случае обсуждать вряд ли целесообразно, зато можно предположить, что, создавая оду, поэт ориентировался на современную ему политическую реальность.

Летом 1823 года в жизни царской семьи произошли важные события. 16 августа в Царском Селе Александр I подписал манифест, согласно которому престол наследовал не его брат Константин, а следующий, Николай: «Во-первых, свободно отречению первого Брата Нашего Цесаревича и Великого князя Константина Павловича от права на Всероссийский Престол быть твердым и неизменным... во-вторых, вследствие того на точном основании акта о наследовании Престола Наследником Нашим быть второму брату Нашему Великому Князю Николаю Павловичу»<sup>66</sup>. Таким образом, завершился многолетний процесс переговоров между Александром и Константином о возможности развода последнего с законной женой, урожденной принцессой Саксен-Кобургской, женитьбе на женщине, не принадлежавшей к европейскому царствующему дому, и, в связи с этим, потере цесаревичем права на корону. В соответствии с императорским манифестом великий князь Александр Николаевич действительно получал шанс стать царем — после отца.

Как известно, о манифесте знали трое из приближенных Александра I: архиепископ Московский и Коломенский Филарет (собственно, его автор), министр Голицын (сделавший с

документов копии) и Аракчеев. Спорным до сих пор остается вопрос, было ли известно содержание документа цесаревичу Константину и великому князю Николаю. В Петербурге манифест и официальное письмо Константина об отречении от престола и снятые с них копии тайно хранились в Государственном совете, Сенате и Синоде, в Москве — в Успенском соборе Кремля. Согласно распоряжению императора в случае его смерти пакеты с документами следовало вскрыть «прежде всякого другого действия». Однако до смерти императора всем посвященным в тайну престолонаследия предписывалось хранить ее. По воспоминаниям Филарета, «государю императору» была неужодна «ни малейшая гласность»<sup>67</sup>.

Мнения исследователей о причинах, по которым Александру I «гласность» была «неужодна», разошлись. Некоторые считали, что император просто был склонен «играть в прятки» с подданными. Другие усматривали в этом «вполне обдуманные действия», в частности, желание монарха «еще раз вернуться к вопросу о престолонаследии». Согласно С. В. Мироненко, «Александр I исключал возможность оглашения манифеста», поскольку это обнародование означало бы для царя признание «самому себе, что с мечтами о конституции покончено навсегда»<sup>68</sup>.

Бесспорно одно: вопрос о престолонаследии обсуждался в обществе. В отличие от великого князя Николая, у Александра I и цесаревича Константина не было детей, имевших право наследовать престол. Николай же, в отличие от Константина, был женат «правильно», на дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III, и семья у него была крепкая. Один из осужденных по делу о тайных обществах, Дмитрий Завалишин, утверждал в мемуарах: «Я не говорю уже об общих слухах, носившихся еще при самой свадьбе Николая, и особенно усилившихся при рождении у него сына. Положительно еще тогда уже утверждали, что прусский король не иначе выдал свою дочь, как при формальном обязательстве императора, что муж ее будет его (Александра I. — *О. К.*) наследником. Когда же дело шло о разводе Константина, то общие неопределенные слухи перешли в точную положительную известность о самой даже форме назначения Николая наследником. Было ли прямо узнано или только отгадано содержание завещания, сказать не можем, но знали, что завещание существует, и даже место его хранения было определенно известно»<sup>69</sup>.

Однако от светских слухов до прямого разглашения официальной информации в полуофициальном журнале еще очень далеко. Ода «Видение» появилась в подцензурной печати и, что выглядело особенно странным, всего через две недели

после подписания манифеста. Но, опять же, никаких санкций ни в отношении автора, ни в отношении редактора журнала, где она появилась, ни в отношении цензора не последовало.

Уместно предположить, что публикация эта опять-таки предусматривалась политическими планами Голицына, сторонника великого князя Николая. Согласно изданной «по Высочайшему повелению» книге М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I-го», князь убеждал Александра в «неудобности» сохранения в тайне актов о престолонаследии, поскольку от этого может «родиться» «опасность в случае внезапного несчастья»<sup>70</sup>. Даже в дни междуцарствия 1825 года, ни минуты не колеблясь, Голицын поддержал младшего великого князя в его праве на престол.

Таким образом, можно предположить, что ода «Видение», намекавшая на вполне конкретное решение императором династической проблемы, была, как и сатира «К временщику», произведением заказным. Логика Голицына могла быть примерно следующей. Секретный манифест обнародованию не подлежал, однако процесс приучения подданных русской короны к мысли о передаче престола Николаю, минуя Константина, безусловно, следовало начать. Публикация оды не могла в будущем препятствовать ни высочайшим намерениям, ни планам министра: ее автор был частным лицом, простым заседателем Петербургской уголовной палаты, к составлению «секретных бумаг» отношения не имевшим. Ода в любом случае могла быть объявлена личной инициативой Рылеева.

Рылеев же не случайно был выбран на роль проводника важнейшей правительственной идеи: к августу 1823 года он — известный петербургский литератор, выпустивший первый номер альманаха «Полярная звезда», сразу же ставший популярным. Петербургские журналы были наполнены восторженными отзывами об альманахе, по поводу отдельных опубликованных в нем произведений шла ожесточенная полемика. Имя Рылеева было у всех на слуху, его читали и любили.

Свидетельство тому, что акция Голицына удалась, можно найти в мемуарах Филарета: вскоре после составления манифеста, отмечал он, «приходили из Петербурга нескромные слухи, что в Государственный Совет и Святейший Синод поступили от государя императора запечатанные конверты»<sup>71</sup>.

«Северный архив» Булгарина так и не стал официальным министерским изданием: 15 мая 1824 года Голицын был отстранен от должности. Падение всесильного министра многократно прокомментировано исследователями<sup>72</sup>. Министром

просвещения был назначен Александр Шишков, ставленник Аракчеева.

Новая эпоха в отечественной журналистике, наступившая после отставки Голицына, заставила Булгарина пересмотреть журналистскую тактику. При Шишкове настаивать на слиянии изданий было бесполезно: новый министр начал с того, что отверг все начинания предшественника, обвинив его в желании погубить не только отечественное просвещение, но и православную веру. Вместо «Журнала Департамента...» Шишков распорядился печатать новое министерское издание — «Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения». Попытка издавать «Записки» окончилась полным провалом: за четыре года министерской деятельности Шишкова вышли всего две книги и еще одна после его отставки.

Падение Голицына (которое современники называли катастрофой<sup>73</sup>) было тяжелым ударом для многих литераторов и журналистов: к его политике в области литературы все уже привыкли, расклад в его игре был понятен, к подчинявшимся ему цензорам уже давно найдены подходы. Но отставка Голицына не только напугала. Падение некогда всемогущего вельможи, не устоявшего в неравной борьбе со «злодеем из злодеев» и «неистовым тираном родной страны своей», вызвало искреннее сожаление и часто трактовалось как временная победа зла над добром, «самовластья» над «вольностью».

Конечно, и Рылеев не мог остаться в стороне от произошедшего. Его лирика второй половины 1824-го и 1825 года изобилует отсылками на актуальные политические события. Без учета историко-политического контекста трудно объяснить разочарование, которым наполнены некоторые лирические произведения поэта этого периода: событиями его биографии пессимизм вроде бы никак не мотивирован. Таковы, например, «Стансы», адресованные Александру Бестужеву:

Не сбылись, мой друг, пророчества  
Пылкой юности моей:  
Горький жребий одиночества  
Мне сужден в кругу людей.  
.....  
Страшно дней не видеть радостных,  
Быть чужим среди своих...<sup>74</sup>

По мнению А. Г. Цейтлина, «установить конкретные причины этой депрессии трудно — биография Рылеева, вообще чрезвычайно неясная, особенно туманная в части, относящейся-

ся к 1824 году»<sup>75</sup>. В это время Рылеев был литературной знаменитостью, удачливым издателем и коммерсантом. Советовать на «горький жребий одиночества», а тем более называть себя «чужим среди своих» у него вроде бы не было никаких оснований. Однако с учетом политического контекста причины, обусловившие пессимизм лирического героя «Стансов», вполне объяснимы.

Но поздние произведения Рылеева — это не только отражение депрессивных настроений обманутого в ожиданиях либерала. Достаточно прозрачные намеки на политическую ситуацию после отставки министра находим в написанном в 1824 году и оставшемся неопубликованным варианте предисловия к «Думам»: «С некоторого времени встречаем мы людей, утверждающих, что народное просвещение есть гибель для благосостояния государственного. Здесь не место опровергать сие странное мнение; к тому же оно, к счастью, не может в наш век иметь многочисленных приверженцев, ибо источник его и подпора — деспотизм — даже в самой Турции не имеет прежней силы своей»<sup>76</sup>.

Таким образом, ситуацию, сложившуюся в России «с недавнего времени», Рылеев характеризует как борьбу «просвещения» с «деспотизмом». Подобная аллюзия, безусловно, была бы «считана» современниками — они без труда поняли бы, кто именно в середине 1820-х годов был персонификацией «просвещения», а кто — «деспотизма».

В том же варианте предисловия содержатся и более резкие суждения: «Просвещение — надежнейшая узда противу волнений народных, нежели предрассудки и невежество, которыми стараются в правлениях самовластных двигать или воздерживать страсти народа. Невежество народа — мать и дочь деспотизма — есть истинная и главная причина всех неистовств и злодеяний, которые когда-либо совершены в мире»<sup>77</sup>. «Деспотизм», воплощением которого для Рылеева был Аракчеев, становится, таким образом, ответственным за могущие произойти народные «неистовства».

Сам Рылеев, конечно же, причислял себя к сторонникам «просвещения». «Деспотизм» для него — главный враг. Его сторонники «деспотизма» торжествуют, но победа эта временная: «Пусть раздаются презренные вопли порицателей света, пусть изрыгают они хулы свои и изливают тлетворный яд на распространителей просвещения... пребудем тверды, питая себя тою сладостною надеждою, что рано ли, поздно ли лучи благодетельного светила проникнут в мрачные и дикие дебри и согреют окаменелые сердца самих порицателей просвещения»<sup>78</sup>.



Сборник «Думы», напечатанный в Москве в начале 1825 года, безусловно, достоин отдельного исследования. Здесь же стоит сказать несколько слов лишь о жанре. Как известно, в основе сюжета практически каждой думы лежало событие из отечественной истории — описанное под совершенно определенным углом зрения.

Произведения, позже вошедшие в этот сборник, Рылеев начал печатать с 1821 года (первой в журнале «Сын отечества» увидела свет дума «Курбский») — и почти сразу же в печати разразилась полемика об истоках этого жанра. В нее включились ведущие русские периодические издания — «Полярная звезда», «Русский инвалид», «Сын отечества», «Северный архив», «Новости литературы» и т. п. Полемика эта — в контексте истории отечественной журналистики — еще ждет своего исследователя, ибо, по справедливому замечанию Л. Г. Фризмана, «тогдашние споры о жанрах имели, как правило, многообразный и значительный подтекст, вне которого не может быть уяснено их подлинное значение»<sup>79</sup>.

Следует отметить только, что и сам Рылеев, и рецензенты так и не пришли к единому определению этого жанра. Публикуя «Курбского», Рылеев назвал его элегией; некоторые другие произведения, вошедшие потом в сборник «Думы», он печатал вовсе без указания жанра. Александр Бестужев то уподоблял жанр дум «гимнам историческим», то указывал, что «думу поместить должно в разряд чистой романтической поэзии» и что «она составляет середину между героидою и гимном». Петр Вяземский считал, что думы «по содержанию своему» «относятся к роду повествовательному, а по формам своим — к лирическому»<sup>80</sup>. Рецензенты дум активно спорили и об истоках этого жанра — заимствовал ли его Рылеев из польской поэзии или из устного народного творчества, малороссийского или русского.

Однако ближе всех к пониманию жанра дум подошел Булгарин. Рецензируя вышедший в январе 1825 года сборник, он отмечал: «Это рассказ происшествия, блистательного подвига или несчастного случая в отечестве: весь пиитический вымысел заключался в уподоблениях»<sup>81</sup>. И действительно, главный смысл каждой из дум вовсе не в описании того или иного исторического факта — они были всем известны и без Рылеева. Главным было *уподобление* героев и событий прошедших эпох героям и событиям 1820-х годов. Секрет столь мощного воздействия «Дум» на читателя — при том, что с литературной точки зрения они достаточно слабы — именно в их злободневности. И с этой точки зрения жанр дум — не столько литературный, сколько публи-

цистический: они во многом заменяли современникам злободневные газетные статьи.

Публицистичность этого жанра хорошо видна при анализе «Царевича Алексея Петровича в Рождестве». Дума эта — в связи с особой актуальностью — так и не была опубликована при жизни автора:

Страшно воеет лес дремучий,  
Ветр в ущелиях свистит.  
И украдкой из-за тучи  
Месяц в Оредеж глядит.

Там разбросаны жилища  
Угнетенной нищеты,  
Здесь стоят средь красоты  
Деревенского кладбища  
Деревянные кресты.

Между гор, как под навесом,  
Волны светлые бегут  
И вослед себе введут  
Берега, поросши лесом.

\*

Кто ж сидит на черном пне  
И, вокруг глядя со страхом,  
В полуночной тишине  
Тихо шепчется с монахом:  
«Я готов, отец святой,  
Но ведь царь — родитель мой...»

«Не лжеумствуй своенравно!  
(Слышен голос старика.)  
Гибель церкви православной  
Вижу я издавека...  
Видишь сам — уж все презренно:  
Предков нравы и права,  
И обычай их священный,  
И родимая Москва!  
Ждет спасенья наша вера  
От тебя, младый герой;  
Иль не зришь себе примера:  
Мать твоя перед тобой.  
Всё царица в жертву Богу  
Равнодушно принесла  
И блестящему чертогу  
Мрачну келью предпочла.  
В рай иль в ад тебе дорога...  
Сын мой! Слушай чернеца:  
Иль отца забудь для Бога,  
Или Бога для отца!»

Смолк монах. Царевич юный  
С пня поднялся, говоря:  
«Так и быть! Сберу перуны  
На отца и на царя!..»<sup>82</sup>

Об обстоятельствах и времени написания этой думы известно немного. Рылеев, планируя издать сборник «Думы», в 1822-м — начале 1823 года дважды составлял списки произведений, которые он планировал туда поместить, но ни в одном из них «Царевича Алексея» не было<sup>83</sup>. Ю. Г. Оксман в 1934 году высказал предположение: «...дума эта, не отмеченная ни в основном, ни в дополнительном перечне дум Рыльева, написана, вероятно, уже после составления обоих списков, т. е. в первой половине 1823 г. Подтверждает эту датировку и конструктивная близость “Царевича Алексея в Рождествене” к одной из последних дум Рыльева — “Петру Великому в Острогожске”». В 1956 году исследователь стал утверждать, что «дата думы — вторая половина 1822 г.». На чем основывался исследователь, изменяя датировку, неизвестно. Л. Г. Фризман, составитель академического издания «Дум», считает, что эта дума написана «не ранее 1823 г., т. к. не вошла во второй список». В 1987 году С. А. Фомичев, не датируя произведение в целом, отметил: «В ордежском пейзаже, открывавшем думу, отразились реальные впечатления от поездки в первых числах сентября 1824 г. в Батово (вместе с А. А. Бестужевым)»<sup>84</sup>.

Есть все основания считать эту думу написанной в конце 1824 года или даже в самом начале 1825-го. Во-первых, следует, по-видимому, признать правоту Фомичева: в думе отразились впечатления от совместной с Бестужевым поездки Рыльева в соседнее с Рождественом (Рождественном) Батово. В частности, строки, описывающие реку Ордеж («Между гор, как под навесом, / Волны светлые бегут / И вослед себе ведут / Берега, поросши лесом»), перекликаются с сентябрьским (1824) письмом Бестужева матери с описанием посещения Батова: «Местоположение там чудесное... Тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, где расширяется плесом, где подмывает скалы, с которых сбегают звонкие ручьи. Тишь и дичь кругом, а я пять дней провел на воздухе, в лесу, на речке»<sup>85</sup>. Очевидно, «на воздухе, в лесу, на речке» друзья обсуждали окружающий пейзаж — и это обсуждение отразилось и в поэтическом, и в эпистолярном текстах.

Как известно, Рылеев представил эту думу в московскую цензуру уже после получения цензурного разрешения на публикацию всего сборника (22 декабря 1824 года)<sup>86</sup>. Скорее всего, к моменту сдачи рукописи сборника в цензуру автор просто не успел дописать это произведение. Более того, смысл его самым тесным образом перекликается с политической ситуацией именно второй половины 1824 года.

В основе думы лежит отмеченный В. И. Масловым еще в начале XX века автобиографический момент: «Село Рождест-

вено, упоминаемое в думе, хорошо известно было Рылееву, так как родовая деревня его Ботова (Батово. — *О. К.*) находилась по соседству с этим селом. Возможно, что какие-нибудь глухие предания о царевице, сохранившиеся среди местных жителей ко времени Рылеева, могли побудить поэта приняться за обработку сюжета об Алексее»<sup>87</sup>. К этому следует добавить: «глухие предания» могли быть связаны с тем, что село Рождествено Царскосельского уезда в начале XVIII века было действительно подарено Петром I сыну.

Комментируя думу, Маслов отмечал, что «на этот сюжет мог натолкнуть Рылеева и близко знакомый ему Александр Корнилович, который также интересовался личностью царицы, разыскивал для этого материалы в петербургских архивах и в конце 1821 года (19 декабря) представил в Общество любителей российской словесности статью под заглавием «О жизни царицы Алексея Петровича». С тех пор мнение о статье Корниловича как возможной основе этой думы воспроизводят все исследователи и комментаторы. Однако статья эта не была опубликована и даже в рукописи не сохранилась<sup>88</sup>; следовательно, судить о степени ее идейной и фактографической близости с думой Рылеева достаточно сложно. Скорее всего, эпизод беседы сына Петра I с монахом был выдуман поэтом.

Зато если соотнести эпизод рылеевской думы с историческим контекстом, становятся вполне очевидны «уподобления», о которых писал Булгарин. Монах, уговаривающий Алексея Петровича восстать против «отца и царя», рассуждающий о «гибели церкви православной» и о том, что «всё презренно»: «Предков нравы и права, / И обычай их священный, / И родимая Москва», — почти дословно воспроизводит обвинения, предъявленные Голицыну Серафимом, Фотием, Шишковым и их сторонниками. Подобно тому как вымышленный монах, герой рылеевской думы, смущал царицу Алексею, реальный монах — архимандрит Фотий — смущал Александра I. Так, его высокопреподобие писал императору в апреле 1824 года, что «сатана», нашедший себе пристанище в голицынском министерстве и Библейском обществе, «умыслил смутить всю поднебесную», ввести «новое какое-то христианство, хуля же и осмеивая чистейшее, святейшее, первых времен христианство, отвергая учение святых отцов, уничтожая святые Вселенские Соборы, поругая всякое благочестие Церкви Христовой». «Новая религия», насаждаемая Голицыным и мистиками, согласно Фотию, «хулит и порицает... вечные законы, предания Церкви нашей, богослужения наши». Естественно, что именно от императора Фотий ожидал «спасения» православной веры, и — в помощь царю — предлагал даже конкретный план действий:

«1) Министерство духовных дел уничтожить, а другие два отнять от настоящей особы (князя Голицына. — О. К.).

2) Библейское общество уничтожить»<sup>89</sup> и т. п.

Именно позиция «ревнителя» «Церкви Христовой» трактуется Рылеевым как причина заговора царевича Алексея. В ситуации второй половины 1824 года основная идея думы «Царевич Алексей Петрович в Рождествене» могла быть прочитана следующим образом: в «карбонарстве» — заговоре против законной власти — оказывались виновными вовсе не церковные реформаторы, а, напротив, их противники, борцы за чистоту веры и конкретно архимандрит Фотий. Таким образом, смысл думы оказывался схожим со смыслом оставшегося неопубликованным предисловия.

Очевидно, Рылеев надеялся, что московские цензоры, в меньшей степени затронутые падением министра, чем петербургские, пропустят думу в печать, тем более что попечителем Московского учебного округа, отвечавшим за работу цензоров, до лета 1825 года оставался князь Андрей Оболенский, друг Голицына. Однако столь откровенно «проголицынское» произведение цензор, профессор Московского университета Иван Давыдов, пропустить в печать всё же не решился.

По традиции, идущей от Ю. Г. Оксмана, последней по времени написания законченной думой считается «Наталья Долгорукова», написанная летом 1823 года<sup>90</sup>. Однако в свете вышеизложенного более поздней следует признать именно думу «Царевич Алексей Петрович в Рождествене».

Стихотворение Рылеева «Я ль буду в роковое время...», известное также под позднейшим названием «Гражданин», — пожалуй, самое известное из его произведений и самое сильное по накалу гражданского пафоса:

Я ль буду в роковое время  
Позорить гражданина сан,  
И подражать тебе, изнеженное племя  
Переродившихся славян?  
Нет, не способен я в объятых сладострастья,  
В постыдной праздности влачить свой век молодой  
И изнывать кипящею душой  
Под тяжким игом самовластья.  
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,  
Постигнуть не хотят предназначенье века  
И не готовятся для будущей борьбы  
За угнетенную свободу человека.  
Пусть с хладною душой бросают хладный взор  
На бедствия своей отчизны  
И не читают в них грядущий свой позор

И справедливые потомков укоризны.  
Они раскаются, когда народ, восстав,  
Застанет их в объятьях праздной неги  
И, в бурном мятеже ища свободных прав,  
В них не найдет ни Брута, ни Риеги<sup>91</sup>.

Стихотворение явно отсылает читателя к опубликованному в 1820 году «Временщику». Их тексты роднит ожидание близкого народного мятежа во имя «свободных прав», бунта, который наверняка будет сопровождаться «тиранствами». Очевидно, что мятеж должен был произойти из-за жестокости и кровожадности «временщика», отбирающего у народа «права», лишаящего селения «прежней красоты». Очевидно также, что лирический герой обоих стихотворений противопоставляет деспоту, но в то же время не солидаризуется с мятежным народом, в первом случае ограничиваясь лишь гордым презрением, во втором — призывом всех честных «юношей» «разгадать» свою судьбу, стать «Брутами» и «Риегами» и обратиться народное недовольство в нужное русло.

Нельзя не согласиться с А. В. Архиповой в том, что это стихотворение — «произведение о роковом времени, когда мыслящая личность или становится героем и совершает высокий подвиг по примеру Брута и Риеги, или оказывается жертвой исторических событий, раздавленных ходом истории. Третьего не дано. Тема рока, судьбы, “предназначення века”, звучащая в этом стихотворении, окрашивает его в трагические тона. “Роковое время” — образ, возникающий уже в первом стихе, развит в последующих строфах. Эпитет “роковое” означает не только важность момента, но и его предопределенность»<sup>92</sup>.

Среди исследователей долго шли споры о времени написания этого стихотворения. С одной стороны, есть мемуарные указания на то, что оно создано в конце 1825 года и даже «должно считаться последним, написанным Рылеевым на свободе»<sup>93</sup>. Однако еще в 1934 году Ю. Г. Оксман обратил внимание на показание Рылеева Следственной комиссии, что он отдал это стихотворение Матвею Муравьеву-Апостолу, уехавшему из столицы в августе 1824 года<sup>94</sup>. Таким образом, сам поэт однозначно свидетельствует: в августе этого года стихотворение было уже написано. Эта датировка в настоящее время не подвергается сомнению<sup>95</sup>.

Комментаторы, приняв датировку Оксмана, столкнулись с неизбежной трудностью: смысл стихотворения оказывался неясен. О каком «роковом времени» писал Рылеев, когда до восстания на Сенатской площади оставалось почти полтора года? Однако с учетом политического контекста противоречие это

оказывается снятым: «роковое время» наступило для Рылеева после отставки Голицына.

Новая эпоха не сулила Рылееву ничего хорошего. Борец с «подлым и коварным» временщиком не мог рассчитывать не только на покровительство, но даже на нейтральное отношение Аракчеева к его литературным предприятиям. Под ударом оказывалась «Полярная звезда» — удачный коммерческий и литературный проект Рылеева, сомнительны были шансы на издание поэмы «Войнаровский» и сборника «Думы». Тучи сгустились и над тайным обществом, в котором Рылеев состоял с начала 1823 года. Рылееву предстояло либо совершить «высокий подвиг», либо быть «раздавленным ходом истории».

Альманах Кондратия Рылеева и Александра Бестужева «Полярная звезда» — одно из тех явлений русской литературы и журналистики, которые, казалось бы, давно и хорошо изучены. Этому весьма способствуют биографии его редакторов: оба они в процессе издания альманаха стали заговорщиками. По итогам следствия и суда Рылеев был казнен, а Бестужев приговорен к вечной каторге, замененной солдатчиной. Кроме того, Бестужев происходил из знаменитого семейства заговорщиков: по «делу 14 декабря» были впоследствии осуждены и его братья Николай, Михаил и Петр. И мало кто из исследователей мог удержаться от соблазна увидеть в альманахе «литературный извод» деятельности антиправительственных организаций 1820-х годов.

Рылеев и Бестужев к концу 1822 года — времени выхода первой книжки альманаха — стали уже достаточно известны в литературных кругах Петербурга: Рылеев снискал себе славу «поэта-гражданина», а Бестужев, тогда поручик лейб-гвардии Драгунского полка и адъютант главноуправляющего путями сообщения Августина Бетанкура, был известным критиком.

«Полярная звезда» вышла трижды: в конце 1822 года (на 1823-й), в начале 1824-го (на 1824-й) и весной 1825 года (на 1825-й), после чего Рылеев и Бестужев прекратили издание. На 1826 год они планировали издать небольшой по формату альманах «Звездочка», куда собирались поместить произведения, не вошедшие в выпуски «Полярной звезды». Однако события декабря 1825 года помешали выходу нового альманаха — он остался в корректурных листах.

Уже первый выпуск «Полярной звезды» стал главным литературным событием года: пожалуй, не было ни одного более или менее известного периодического издания, в котором бы новый альманах не стал бы предметом обсуждения. Так, бул-

гаринский «Северный архив» встречается альманах с «особой благосклонностью», утверждая, что он «заслуживает сие по своему содержанию и красивому изданию». Газета «Русский инвалид» Александра Воейкова утверждает, что «предприятие гг. Рылеева и Бестужева заслуживает признательность нашу и уважение». Московский журналист, издатель «Дамского журнала» князь Петр Шаликов рекомендует «Полярную звезду» своим читательницам: «Ведомые светом ее, они увидят истинное сокровище нынешней словесности нашей»<sup>96</sup>.

Открывавшую альманах критическую статью Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России» журналисты и литераторы обсуждали практически целый год. Ситуация повторилась и в 1824 году, когда из печати вышла вторая книжка альманаха, и в 1825-м, при выходе последней книжки.

Чтобы понять причины популярности «Полярной звезды», следует прежде всего обратиться к одной из самых загадочных публикаций в альманахе — стихотворению Константины Батюшкова «Карамзину», известному также под названием «К творцу “Истории государства Российского”»:

Пускай талант не мой удел,  
Но я для муз дышал недаром,  
Любил прекрасное и с жаром  
Твой гений чувствовать умел<sup>97</sup>.

Стихотворение было напечатано во втором выпуске альманаха (цензурное разрешение получено 20 декабря 1823 года). Безусловно, имя Батюшкова, кумира молодых литераторов 1820-х годов, добавило «Полярной звезде» популярности. «Поэзия Батюшкова подобна резвому водомету, который то ниспадает мерно, то плещется с ветерком. Как в брызгах оно-го переломляются лучи солнца, так сверкают в ней мысли новые, разнообразные», — утверждал Александр Бестужев<sup>98</sup>.

Однако исследователи «Полярной звезды», констатируя присутствие Батюшкова на страницах альманаха, никогда не задавались вопросом о том, каким образом его стихотворение попало к Рылееву и Бестужеву. Поэт, страдавший психическим расстройством, в 1818—1822 годах жил в Италии, потом вернулся в Россию, путешествовал по Кавказу, безуспешно пытаясь вылечиться. «Батюшкову хуже»<sup>99</sup>, — сообщал его друг Александр Тургенев князю Петру Вяземскому в ноябре 1823-го. Вскоре Батюшков оказался в клинике для душевнобольных в Германии. Естественно, сам он стихотворение в «Звезду» от-дать не мог.

Между тем послание Карамзину было написано в 1818 году — под впечатлением от чтения «Истории государства Рос-



сийского». Батюшков переслал его Тургеневу в частном письме, не предназначенном для распространения. Еще один экземпляр стихотворения поэт отправил жене Карамзина — от имени «навсегда неизвестного». О других автографах или списках этого послания ничего не известно — по-видимому, их просто не было<sup>100</sup>.

Вопрос, от кого — Карамзина или Тургенева — стихотворение попало к Рылеву и Бестужеву, решается просто. В данном случае гадать не приходится: Карамзин очень не любил Рылева и вряд ли согласился бы помогать ему с подбором произведений в альманах. Нелюбовь эта возникла, очевидно, еще в конце 1820 года, когда в «Невском зрителе» рядом с сатирой «К временщику» Рылеев опубликовал эпиграмму:

Не диво, что Вралеv так много пишет вздору,  
Когда он хочет быть Плутархом в нашу пору<sup>101</sup>.

Кроме того, Карамзин был если не личным, то политическим врагом Голицына, сомневался в полезности его деятельности и делился своими сомнениями с государем, а Министерство духовных дел и народного просвещения называл «министерством затмения»<sup>102</sup>.

Иное дело — Александр Тургенев. Скорее всего, именно он отдал стихотворение в альманах — и при этом заручился согласием самого Батюшкова. В литературных кругах было хорошо известно, что у больного поэта несанкционированные публикации его текстов вызывают тяжелые приступы агрессивной депрессии.

Роль «административного ресурса» в составлении «Полярной звезды» никогда не изучалась исследователями — априори считалось, что альманах выходил едва ли не вопреки правительственной воле, преследовавшей ее либеральных составителей. Между тем Министерство духовных дел и народного просвещения в лице одного из его руководителей Александра Тургенева оказывало изданию прямую поддержку.

Переписка Тургенева сохранила любопытные подробности его участия в судьбе альманаха. Так, 6 ноября 1823 года он сообщил Вяземскому: «Я хлопотал за “Полярную звезду” и говорил с цензором о твоих и Пушкина стихах. Кое-что выхлопотал и возвратил стихи Рылеву, поручив ему сказать, что почел нужным. Делать нечего! Многое и при прежней цензуре встретило бы затруднение». Три дня спустя он возвращается к судьбе альманаха: «Еще не знаю, на что решился цензор и что переменили издатели. Прошу Рылеева тебя обо всем подробно уведомить»<sup>103</sup>.

Мы не знаем, уведомил ли Рылеев Вяземского «обо всём» и почему цензор Бируков действительно не пропустил немало стихотворений, предназначенных во вторую книжку альманаха. Однако из этих писем следует: у «Полярной звезды» было явное преимущество перед многими другими изданиями. К Бирукову альманах носил ближайший сотрудник министра Голицына, действительный статский советник и камергер двора, помощник статс-секретаря Департамента законов Государственной канцелярии.

Эти письма, кроме всего прочего, подтверждают факт личного знакомства и делового общения Тургенева и Рылеева, а также проливают некоторый свет на то, почему одним из самых активных деятелей «Полярной звезды», фактически ее третьим составителем, оказался князь Петр Вяземский, до 1824 года лично не знавший ни Рылеева, ни Бестужева.

Тридцатилетний Вяземский ко времени собрания первого выпуска «Полярной звезды» — уже известный литератор. Князь был вхож в придворные круги и имел при этом репутацию отчаянного либерала, говорившего «и встречному, и поперечному о свободе, о деспотизме»<sup>104</sup>. Прослуживший несколько лет в Варшаве, в марте 1818 года официально переводивший с французского языка на русский речь императора Александра I, произнесенную на открытии Польского сейма, в 1821 году он был уведомлен о нежелательности его пребывания в Польше, после чего подал прошение о сложении с себя придворного звания камер-юнкера и уехал на жительство в Москву. Вяземский был одним из самых близких друзей Александра Тургенева, о чем свидетельствует огромная переписка между ними.

Заочно Вяземский, конечно же, хорошо знал обоих составителей альманаха. Тот же Тургенев привлек его внимание к Рылееву в 1820 году в связи с сатирой «К временщику»<sup>105</sup>. С Бестужевым же Вяземский оказался по одну сторону литературных баррикад: он был одним из самых яростных критиков Шаховского с его «Липецкими водами». Неизвестно, кто именно предложил Вяземскому опубликоваться в «Полярной звезде», зато подсчитано, что он лидировал по количеству произведений, отданных в первый выпуск альманаха.

В дальнейшем, в феврале—марте 1823 года, Вяземский познакомился с Бестужевым в Москве, и между ними завязалась оживленная переписка. Бестужев благодарил князя за присылку произведений («несколько новых монет с новым штемпелем таланта») для второй книжки альманаха и подробно от-

читывался о процессе ее собирания: «Жуковский дал нам свои письма из Швейцарии — это барельеф оной. Пушкин прислал кой-какие безделки; между прочими в этот год увидите там кой-каких новичков, которые обещают многое — дай бог, чтоб сдержали обет»; «Гнедич ничего беглого не написал и потому ничего и не дал»; «Денис Васильевич (Давыдов. — О. К.) не смиловался, и ничем не прислал нам, а его слог-сабля загорелся лучом, вонзенный в “Звездочку”. Не теряю надежды *наперед*, потому что он любил быть всегда впереди»; «Безголового инвалида Хвостова никак не пустим к ставцу»<sup>106</sup>.

Бестужев благодарил Вяземского и за конкретную помощь в собирательской деятельности — в частности, за привлечение к сотрудничеству поэта Ивана Дмитриева. Дмитриев, к тому времени уже пожилой человек, давно был живой легендой русской словесности, признанным «блюстителем», «верным стражем» «парнасского закона». Друг Державина и Фонвизина, Карамзина и Жуковского, он начал свою литературную деятельность во времена Екатерины II — и успешно совмещал ее с государственной службой в немалых чинах. Отставленный в 1814 году со всех должностей, он с тех пор жил в Москве в почете и уважении.

Ни у Бестужева, ни у Рылеева до 1823 года личных контактов с Дмитриевым не было — по крайней мере о них ничего не известно. Однако участие маститого поэта придало альманаху больший вес; Бестужев просил Вяземского «поблагодарить почтеннейшего Ивана Ивановича» «за его басенки, которые всем очень нравятся»<sup>107</sup>.

Зачем Рылееву и Бестужеву нужна была помощь Вяземского, с его контактами в литературных кругах, понятно. Другое дело — зачем Вяземскому своим авторитетом и своими связями поддерживать двух начинающих «альманашников», которые к тому времени отнюдь не считались литераторами первого ряда. Ответ представляется достаточно простым: Вяземский в деле собирания альманаха выполнял не столько просьбы составителей, сколько желание Александра Тургенева. При этом, конечно, никакого министерского приказа касательно собственной литературной деятельности гордый и независимый поэт не потерпел бы. Да и прямое руководство литературным процессом, как уже говорилось, было вовсе не в компетенции Тургенева.

Скорее Тургенев, правая рука Голицына, выступал добровольным посредником между министром и литераторами. Сам же альманах был литературным проектом министерства лишь в том смысле, что ему оказывалась информационная и цензурная поддержка. Причем, как следует из переписки Бес-

тужева и Вяземского, оба они не питали иллюзий относительно ангажированности «Полярной звезды». Бестужев радовался, рассказывая, что «князь Глагол» (в котором исследователи давно уже разглядели Голицына) остался доволен вышедшей в 1824 году книжкой. Вяземского же ангажированность альманаха и в особенности бестужевских критических обзоров раздражала. «Кому же не быть независимыми, как не нам, которые пишут из побуждений благородного честолюбия, бескорыстной потребности души?» — вопрошал он Бестужева в январе 1824 года. Князь опасался, что если словесность пойдет по предложенному Бестужевым пути, то «сделается... отделением министерства просвещения»<sup>108</sup>.

Содержание альманаха свидетельствует: в нем было крайне мало произведений, воспевающих непосредственно Голицына, его политику и его друзей, и вовсе ничего не говорилось о противостоящих Голицыну Аракчееву и «православной оппозиции»<sup>109</sup>. Смысл этого проекта был в другом: объединить российское литературное пространство, расколотое политическими, эстетическими и лингвистическими спорами. Пространство это должно было стать по преимуществу либеральным и лояльным к министру. Этот-то проект, по-видимому, и курировал Александр Тургенев. Очевидно, что идея пришла по душе Вяземскому — и ради нее он готов был терпеть даже ангажированность «Полярной звезды».

В целом проект оказался удачным: второй выпуск альманаха тиражом 1500 экземпляров разошелся в три недели. По справедливому замечанию Фаддея Булгарина, «исключая Историю государства Российского Карамзина, ни одна книга и ни один журнал не имел подобного успеха»<sup>110</sup>. Однако в мае 1824 года последовали отставки Голицына и Тургенева. Собранная в этом году и вышедшая в следующем книжка «Полярной звезды» стала последней.

О целях создания альманаха Бестужев поведал читателям в рекламном тексте, опубликованном в 1823 году в «Сыне отечества»: «При составлении нашего издания г. Рылеев и я имели в виду более, чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новости, по разнообразию предметов и достоинству пьес, коими лучшие писатели украсили “Полярную звезду”, она понравится многим; не пугая светских людей сухой ученостью, она проберется на камин, на столики, а может быть, и на дамские туалеты и под изголовья красавиц. Подобным случаем должно пользоваться, чтобы по возможности более ознакомить публику с русской стариной, с родной

словесностью, со своими писателями»<sup>111</sup>. С одной стороны, это объяснение вполне типично: апеллировать к благосклонности светской «красавицы» стало со времен Карамзина приемом традиционным. С другой стороны, Бестужев четко дает понять: перед читателем литературная «новость». «На русском языке не было донныне подобных книжек», — соглашался с Бестужевым Николай Греч<sup>112</sup>.

Дело тут даже не в относительно новой для российского читателя «альманашной» форме — литературного сборника-ежегодника. «Новость» заключалась прежде всего в том, что никогда раньше журналы не собирали под одной обложкой столько литературных знаменитостей. Большинство участников «Полярной звезды» — первые имена русской литературы, обусловившие ее золотой век в начале XIX столетия. Заметим, что у многих опубликовавшихся в «Полярной звезде» было достаточно оснований этого не делать.

Весьма показательна в этом смысле история с Пушкиным, который во время собирания первой книжки альманаха был в ссылке в Кишиневе, затем перебрался в Одессу, а оттуда в Михайловское. Рылеева Пушкин не любил и считал бездарностью, сурово критиковал выходившие в журналах «Думы», отмечал в них несообразности и отступления от исторической достоверности и подытожил свои размышления об этом жанре рылеевского творчества следующим образом: «“Думы” — дрянь, и название сие происходит от немецкого *dumm* (глупый. — О. К.)». «Не написал ли ты чего нового? пришли, ради бога, а то Плетнев и Рылеев отучат меня от поэзии», — просил он Вяземского в марте 1823 года<sup>113</sup>. Скорее всего, Пушкин еще до ссылки был знаком с обоими составителями альманаха, но знакомство это вряд ли можно назвать близким. Друзьями и литературными единомышленниками Пушкин их явно не считал. И нужны были, конечно, особые обстоятельства, чтобы он принял приглашение участвовать в альманахе и стал одним из его главных авторов.

В первую книжку «Полярной звезды» Пушкин послал, по его собственному выражению, свои «бессарабские бредни» — и четыре его стихотворения появились на ее страницах. В следующем письме, отправленном Бестужеву уже после получения экземпляра альманаха, Пушкин решил «перешагнуть через приличия» и перешел на «ты». В последующей переписке Пушкин и Бестужев горячо обсуждали литературные новости и проясняли эстетические позиции. В 1825 году к этому обсуждению присоединился и Рылеев, с первого письма перешедший с Пушкиным на «ты»: «Я пишу к тебе *ты*, потому что

холодное *вы* не ложится под перо. Надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям»<sup>114</sup>.

Никаких оснований соглашаться на предложения Рыльева и Бестужева не было и у Василия Жуковского; тем не менее он опубликовал в первой «Полярной звезде» семь своих произведений, а во второй — четыре. Жуковский, поэт с устойчивой литературной и придворной репутацией, близкий к вдовствующей императрице Марии Федоровне, учивший русскому языку жену Николая Павловича великую княгиню Александру Федоровну, в 1822 году возвратился из заграничного путешествия в свите своей ученицы.

Жуковский, как следует из его письма Бестужеву в августе 1822 года, знал его лично — однако, по-видимому, не коротко. Несмотря на это, поэт принимает в переписке с собирателем альманаха покаянный тон: «Прошу Вас... уведомить меня, к какому времени должен я непременно доставить Вам свою пиесу. Если бы я знал заранее о Вашем намерении издавать Альманах муз, то был уже готов с моим приношением...»<sup>115</sup> Участие в альманахе Жуковского, скорее всего, предопределило и участие в нем Александра Воейкова — родственника и друга поэта, редактора газеты «Русский инвалид», литератора и журналиста с сомнительной репутацией.

Странна и история с участием в альманахе знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова. Не сохранилось сведений как о том, что Давыдов до 1822 года имел представление о литературной деятельности Рыльева и Бестужева, так и об их личном знакомстве. Однако на приглашение принять участие в альманахе он ответил согласием, пояснив Бестужеву: «...гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятия»<sup>116</sup>.

Между тем и Пушкин, и Жуковский, и Давыдов входили в литературное общество «Арзамас», в котором состоял и Александр Тургенев, а Вяземский был одним из самых активных действующих лиц. «Арзамасцы» составляли тесный кружок близких друзей — даже несмотря на то, что к 1822 году общество это уже распалось. Однако назвать Тургенева авторитетом в глазах литераторов можно лишь с большой натяжкой; министерский функционер не участвовал непосредственно в литературном процессе. Вяземский же, всецело погруженный в изящную словесность, был одним из главных связующих звеньев между бывшими членами «Арзамаса», вел обширную переписку с большинством из них. Скорее всего, именно он обратил внимание друзей-литераторов на новый сборник и предложил принять в нем участие.

Конечно, далеко не все авторы «Полярной звезды» были крестуррами Тургенева и Вяземского. Так, Бестужеву на ранних

этапах его карьеры покровительствовали Николай Греч и издатель журнала «Благонамеренный», автор басен Александр Измайлов. Последний был многим обязан отцу Бестужева: его первые произведения появились в «Санкт-Петербургском журнале» Бестужева-старшего. «Я очень помню, что у нас весь чердак завален был бракованными рукописями, между коими особенно отличался плодovitостью Александр Ефимович: я не один картон слепил из его сказок»<sup>117</sup>, — вспоминал впоследствии Бестужев-младший. Очевидно, именно Измайлов, в конце 1810-х годов близко сотрудничавший с Гречем, представил ему будущего составителя «Полярной звезды», а его первые литературные опыты — стихотворные и прозаические переводы — были опубликованы в «Сыне отечества» в 1818 году.

Приятельские отношения связывали составителей альманаха с Евгением Баратынским. Рылеев дружил с Булгариным, Антоном Дельвигом и Николаем Гнедичем (которого поддерживал в полемике, развернувшейся в связи с переводом гомеровской «Илиады» «русским гекзаметром») — и с детства был знаком с Дмитрием Хвостовым и Иваном Крыловым (баснописец в 1797 году получил должность секретаря генерала Сергея Голицына, а затем несколько лет жил в его украинских имениях, где отец поэта служил управляющим)<sup>118</sup>. И Рылеева, и Бестужева хорошо знали президент Вольного общества любителей российской словесности Федор Глинка и редактор журнала «Соревнователь просвещения и благотворения» Петр Плетнев.

Однако без главных действующих лиц тогдашней литературной жизни — Пушкина и Жуковского, Дмитриева и Давыдова, Батюшкова и, конечно, Вяземского — «Полярной звезде» вряд ли удалось бы достичь такого громкого успеха.

Сразу после выхода первой «Полярной звезды» стало ясно: ситуация в российской словесности изменилась. По свидетельству участника заговора Николая Лорера, не бывшего литератором, но внимательно наблюдавшего за общими настроениями в Петербурге, альманах оказался «на всех столах кабинетов столицы»<sup>119</sup>. Его составители, еще вчера второстепенные молодые литераторы, в одночасье стали организаторами литературного процесса, а Бестужев, кроме того, еще и критиком-арбитром, с мнением которого уже нельзя было не считаться. И этот новый статус составителей альманаха был подтвержден авторитетом знаменитых писателей, поэтов и журналистов от Пушкина и Жуковского до Греча и Булгарина. Естественно, что подобная ситуация задевала честолюбие

очень многих литераторов, в том числе и тех, кто печатался в «Полярной звезде», но до ее выхода не представлял себе общей концепции издания.

«Временными заседателями нашего Парнаса»<sup>120</sup> назвал Рылеева и Бестужева Александр Измайлов, и его мнение разделяли многие: непонятно откуда взявшиеся репутации составителей альманаха стали раздражать современников. Они сами подогревали желание критиковать «Полярную звезду»: видимо, поверив в свое право руководить литературным процессом, они часто редактировали присланные в альманах тексты. Переписка Рылеева и Бестужева с участниками «Полярной звезды» сохранила возмущенные отповеди Вяземского и Пушкина<sup>121</sup>.

Против «Полярной звезды» выступали в печати и Петр Плетнев, и Александр Воейков, и Михаил Каченовский, и другие журналисты и литераторы. Тот же Измайлов, задетый отзывом Бестужева о собственном журнале «Благонамеренный», в начале 1824 года шокировал светское общество своим появлением на маскараде в костюме «Полярной звезды», со звездами на сюртуке и «барабаном критики» на шее. Об этой истории упоминает Булгарин в одном из номеров «Литературных листков»: по его словам, Измайлов «представляет себя вооруженного фонарем критики, рассматривающего произведения так называемых баловней поэтов и прозаиков, и даже не пощадил своих собственных произведений»<sup>122</sup>.

В январе 1824 года, когда вторая книжка «Полярной звезды» еще только выходила из печати, Бестужев написал письмо Вяземскому: «Дельвиг и Слѣнин грозятся тоже “Северными цветами” — быть банкротству, если Вы не дадите руки»<sup>123</sup>. Перед нами — первое упоминание о расколе в литературе и журналистике, который, не случись восстания 14 декабря 1825 года, имел бы далекоидущие последствия.

Собственно, время собирания последней книжки альманаха — весь 1824 год и начало 1825-го — было для Рылеева и Бестужева очень тяжелым. Голицын потерял министерский пост, отставленный со всех должностей Тургенев покинул столицу и не мог больше оказывать покровительство писателям и журналистам. Некоторые сторонники бывшего министра — те же Греч и цензор Бируков — подверглись уголовному преследованию. Ситуация осложнялась тем, что Рылеев в момент собирания альманаха уже вступил в тайное общество и осознал себя его лидером; кроме того, много времени отнимала работа в качестве правителя дел Российско-американской компании.



Альманах не вышел в означенный срок — к началу 1825 года; читатели увидели его лишь весной (цензурное разрешение было получено 20 марта). В объявлении о выходе третьего альманаха Рылеев и Бестужев просили прощения у «почтенной публики» за «невольное опоздание»: «Если она («Полярная звезда». — О. К.) была благосклонно принята публикой как книга, а не как игрушка, то издатели надеются, что перемена срока выхода ее в свет не переменит о ней общего мнения»<sup>124</sup>.

История возникновения альманаха-конкурента хорошо известна: в процессе подготовки второй книжки «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев поссорились со своим издателем, книгопродавцем Иваном Слёниным, и решили отказаться от его услуг. Слёнин предложил Дельвигу издавать «Северные цветы» и получил его согласие. За составление альманаха Слёнин обещал заплатить Дельвигу четыре тысячи рублей. Новый альманах опирался на тот же круг авторов, что и «Полярная звезда», — других литераторов, чьи имена способные были привлечь читателей, в ту пору в России просто не было.

Чтобы не потерять «звездный» состав издания, Рылеев и Бестужев решили поставить предприятие на коммерческую основу: начали платить авторам гонорары. Финансистом проекта стал Рылеев: с помощью разного рода финансовых операций ему удалось добыть сумму, достаточную для публикации третьей книжки и выплаты денег авторам<sup>125</sup>. «Во второй половине 1824 г. родилась у Кондратия Федоровича мысль издания альманаха на 1825 год с целью обратить предприятие литературное в коммерческое. Цель... состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов», — вспоминал друг Рылеева Евгений Оболенский. «Вознаграждение за литературный труд точно было одною из основных целей издания альманаха», — подтверждает его слово Михаил Бестужев, брат издателя «Полярной звезды»<sup>126</sup>.

Литературное соперничество перерастало, таким образом, «в борьбу торговых фирм», утверждает В. Э. Вацуро в книге, посвященной «Северным цветам»: «Грань между “словесностью” и “коммерцией” становилась исчезающе тонкой»<sup>127</sup>. Издатели «Полярной звезды» считали, что за «предприятием» Дельвига стоит Воейков, недовольный альманахом, желавший «подорвать» его авторитет и для того составивший план «Се-

верных цветов». Верный своей «разбойничьей» тактике, Воейков пиратским образом напечатал отрывок поэмы Пушкина «Братья-разбойники», предназначенный для новой книжки «Полярной звезды», в «Новостях литературы» — приложении к издаваемой им газете «Русский инвалид»<sup>128</sup>.

Бестужев был убежден, что Дельвиг — лишь исполнитель коварных замыслов Воейкова и что люди из окружения издателя «Русского инвалида» делают всё, чтобы поссорить его с Жуковским, Пушкиным и Баратынским. «Мутят нас через Льва (Пушкина, брата поэта. — О. К.) с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в “Звезду” им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно»; «[Жуковский] обещал горы, а дал мышь. Отдал “Иванов вечер” и взял назад; а теперь... в то самое время отказал на мое письмо, уверяя, что ничего нет, когда отдавал Дельвигу новую элегию», «одним словом, делают из литературы какой-то толкучий рынок», — жаловался он Вяземскому<sup>129</sup>.

Благодаря финансовой политике составителей «Полярной звезды» на ее страницах осталось много известных имен, в частности Пушкина и Жуковского.

Большинство главных авторов «Полярной звезды» печатались и в дельвиговском альманахе. Однако в последнем ее выпуске не было произведений самого редактора «Северных цветов» Дельвига, участвовавшего во втором выпуске Кюхельбекера, Александра Измайлова и некоторых других авторов, зато имелось много «литературной продукции» сомнительного качества, вышедшей из-под пера малоизвестных начинающих литераторов. Стало ясно, что альманах в прежнем его виде — объединявший всех и дававший издателям право быть «заседателями» «на Парнасе» — больше существовать не будет.

«Полярная звезда» перестала выходить не из-за того, что случилось восстание на Сенатской площади. Трудно выявить и прямую связь между прекращением издания и отставкой Голицына. Проект исчерпал себя не потому, что Рылеев и Бестужев были плохими издателями, и не потому, что их альманах стал качественно уступать тем же «Северным цветам». Дело, очевидно, было в том, что идея создания единого культурного и литературного пространства в начале XIX века не была органичной для российских литераторов и не имела для своего существования других предпосылок, кроме административных.

После появления «Северных цветов» литераторы вновь разделились по «партиям»: «партия» Рылеева, включавшая Бесту-

жева, Ореста Сомова, Греча и Булгарина и некоторых других авторов, вступила во вражду с «партией Дельвига», к которой примкнули Воейков, Жуковский и Баратынский и которую в целом поддерживал Пушкин.

Особняком в этой борьбе стоял, например, Свинын, не приглашенный ни в один из альманахов, но, конечно же, не забывший травлю со стороны близких к «Полярной звезде» литераторов. Его ученик, молодой московский журналист Николай Полевой, с 1825 года начал выпуск своего журнала. «В Москве явился двухнедельный журнал “Телеграф”, изд. г. Полевым. Он заключает в себе всё, извещает и судит обо всём, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего “Телеграфа”, а “смелым владеет Бог” — его девиз», — писал Бестужев в своем последнем обзоре<sup>130</sup>. Этот отзыв стал причиной резкой критики в адрес альманаха на страницах «Московского телеграфа», за которую, в свою очередь, на Полевого ополчились Греч и Булгарин. «Страх журнальной конкуренции заставил журналистов-монополистов встретить новый печатный орган в штыки; Полевой не остался в долгу, и вскоре между “Московским телеграфом” и изданиями Греча—Булгарина началась настоящая литературная война» — таким видит итог полемики двух изданий О. А. Проскурин<sup>131</sup>.

В конце 1825 года Рылеев опубликовал в «Сыне отечества» статью «Несколько мыслей о поэзии» — одно из последних произведений, которые он увидел напечатанными. Статья эта нехарактерна для Рылеева: талантом критика и теоретика литературы он явно не обладал. Ее содержание достаточно тривиально: автор сравнивает «подражательную» («классическую») литературу с «оригинальной» («романтической») — и отдает пальму первенства второй. Мысли эти были не новы; к примеру, тот же Бестужев в своих обзорах постоянно ратовал за оригинальность и самобытность поэзии, утверждал, что словесность в России «замедляет ход», в частности, оттого, что литераторов «одолела страсть к подражанию»<sup>132</sup>.

Очевидно, что статья писалась не для того, чтобы повторять то, что всем понятно. Задача была другая: Рылеев в последний раз попытался, облекая свою мысль в теоретико-литературные рассуждения, призвать собратьев по перу к объединению: «Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме... употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высо-

ких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных»<sup>133</sup>.

Однако статья прошла незамеченной, призыв к единству так и не был услышан. Последствия же новой литературно-журнальной войны в полной мере сказались уже в другую эпоху, когда власть в России сменилась, а Рылеев и Бестужев были признаны государственными преступниками. Эта война серьезно отличалась от всех предыдущих, ибо в ее основе лежали не столько эстетические и политические пристрастия воюющих сторон, сколько их представления о коммерческой выгоде и способах ее достижения. В историческом смысле Бестужев оказался прав: журналистика после 1825 года быстро превратилась в «толкучий рынок».

Рылеева принял в заговор Иван Пущин, друг Пушкина, бывший лицеист, служивший вместе с будущим руководителем столичной конспирации в петербургском суде. О том, когда именно это произошло, сам Рылеев давал на следствии противоречивые показания. Через сутки после ареста, 16 декабря 1825 года, он заявил, что «был принят в общество тому назад около двух лет», то есть в конце 1823-го. Однако четыре месяца спустя он назвал следствию другую дату: «В общество принят я в начале 1823 года»<sup>134</sup>. Соответственно, исследователи разошлись во мнениях — и этот вопрос до сих пор однозначно не решен.

Между тем после роспуска в 1821 году Союза благоденствия тайной организации в Петербурге долго не существовало. Разрозненные кружки и группы бывших «помощников» правительству периодически совещались, решали, что делать дальше, пытались выработать программные документы. Однако возродить общество не удавалось, а значит, в начале 1823 года Пущину просто некуда было принимать Рылеева. Ситуация изменилась лишь к концу осени, когда небольшой группе заговорщиков удалось провести новое учредительное совещание и воссоздать петербургскую организацию<sup>135</sup>.

Во многом этому способствовала внутривластная ситуация: успехи Аракчеева по нейтрализации собственных придворных врагов были очевидны. Весь год Россию сотрясали громкие отставки. В апреле поста лишился министр финансов Дмитрий Гурьев, близкий и давний друг Голицына. «У меня один только остался злодей — Гурьев, да и тот, слава богу, околевает», — прокомментировал сам Аракчеев отставку министра финансов<sup>136</sup>. На это место Аракчеев поставил верного человека — Егора Канкрин. В том же месяце был отправлен в

отпуск — а фактически в отставку — начальник Главного штаба Петр Волконский и его место занял аракчеевский ставленник Иван Дибич. Два месяца спустя бессрочный отпуск получил и министр внутренних дел Виктор Кочубей — умный и опытный царедворец. «Оказавшись под гнетом тотального контроля всевильного Аракчеева и практически потеряв всякую самостоятельность в исполнении служебных обязанностей, знатный и независимый граф Кочубей под предлогом болезни ушел в отпуск», — утверждает его биограф П. Д. Николаенко<sup>137</sup>. Место Кочубея занял бесцветный, но всецело преданный Аракчееву Балтазар Кампенгаузен. Французский посол Лафетонне доносил в октябре 1823 года своему правительству: «То, что здесь называют “русская партия”, во главе которой находится граф Аракчеев, старается в данный момент свалить графа Нессельроде»<sup>138</sup>. Карл Нессельроде, министр иностранных дел, был женат на дочери Гурьева — и уже поэтому вызывал гнев временщика. Впрочем, с Нессельроде тот в итоге сумел договориться.

Над Голицыным, таким образом, стали сгущаться тучи; стало ясно, что и его отставка — дело времени. Вскоре по Петербургу стали активно распространяться слухи о возможном падении «сугубого» министерства<sup>139</sup>.

Бывшие участники Союза благоденствия, поддерживавшие либеральные правительственные начинания, не могли не понимать: наступающие времена не сулят им ничего хорошего. Всевластие Аракчеева неминуемо ставило крест на их политических амбициях. Привыкшие видеть себя нужными «правительству», они должны были либо возродить общество на новых основах, либо смириться с незавидной ролью слепых исполнителей воли «надменного временщика». Недаром среди «восстановителей» общества оказались самые активные участники Союза благоденствия: Николай Тургенев, Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, Матвей Муравьев-Апостол.

Все они плохо представляли себе, чем конкретно предстоит заниматься в ситуации, когда старые формы «помощи правительству» рухнули, а Голицыну явно было не до них. На совещаниях они ограничивались лишь традиционными разговорами о бедственном положении России, о необходимости вести пропаганду либеральных идей и т. п. Именно в этот момент Рылеев вступил в общество.

Его друг Евгений Оболенский показал на следствии, что поэт «был поражен» «высокой нравственной идеей общества... и потому с чрезвычайным рвением старался о распространении оногo»<sup>140</sup>. Однако к концу 1823 года Рылеев — уже огнюдь не восторженный мальчик, которого можно было запросто

увлечь разговорами о «высокой нравственности», а опытный журналист и издатель, к тому же выполнявший ответственные задания власти. В связи с этим возникает вполне естественное недоумение: зачем автору оды «Видение», либерально настроенному, но лояльному подданному русской короны, понадобилось участвовать в тайном обществе?

Однако для него, участника политической игры 1820-х годов, как и для тех, кто остался верен идеалам Союза благоденствия, просто не оставалось иного выхода. Голицын сходил с политической арены, и поэт больше не был ему интересен. 1823 год неизбежно должен был принести Рылееву разочарование в возможности участвовать в большой политике легальным путем.

Соответственно затруднялась и его литературная деятельность: в конце 1823 года было запрещено печатать подготовленную к публикации в «Полярной звезде» на 1824 год оду «Гражданское мужество», воспевавшую адмирала Николая Мордвинова, председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, известного экономиста и гуманного человека. Она не отличалась ни дерзостью «Временщика», ни провокационностью «Видения». В основе «Гражданского мужества» — традиционная для александровского царствования либеральная риторика:

Но нам ли унывать душой,  
Когда еще в стране родной,  
Один из дивных исполинов  
Екатерины славных дней,  
Средь сонма избранных мужей  
В совете бодрствует Мордвинов?<sup>141</sup>

В самом факте цензурного запрета ничего необычного для литературной жизни тех лет не было, однако «Гражданское мужество» было первым произведением Рылеева, подвергнутым ему. Вскоре та же участь постигнет и другие его стихотворения.

Таким образом, предложение Пушкина вступить в тайное общество — в котором Аракчеева считали «тайнственным врагом государя императора и нашего отечества», а свобода печати и отмена предварительной цензуры являлись программными требованиями<sup>142</sup> — пришлось как нельзя кстати.

Впрочем, присоединение к тайному обществу еще не означало моментального превращения вчерашнего придворного поэта в бескомпромиссного борца с самодержавием и лидера

военного заговора. Заметная активность его началась с весны 1824 года, когда в Петербург приехал руководитель Южного общества полковник Павел Пестель и начались «объединительные совещания». Пестель приехал с идеей слить оба общества и договориться о совместных действиях.

Важнейшая же роль в том, что объединение не состоялось, принадлежала Рылееву — с ним Пестель встретился с глазу на глаз.

Скорее всего, они были знакомы и раньше, еще с Заграничных походов, когда вчерашний кадет Рылеев, выполняя приказ «дядюшки», сопровождал по Саксонии корпус генерала Витгенштейна, у которого Пестель служил адъютантом<sup>143</sup>. Однако новая встреча не принесла положительных эмоций — они не поняли друг друга.

Пестель в 1824 году был вполне состоявшимся человеком, имел за плечами войну, тяжелое ранение в Бородинской битве, многочисленные ордена и незаурядную карьеру: в 28 лет он стал полковником и полковым командиром. Карьере военной соответствовала и карьера заговорщика: к моменту разговора с Рылеевым Пестель состоял в тайных обществах уже восемь лет — и все эти годы, за исключением самых первых месяцев пребывания в заговоре, являлся лидером конспирации. Кто-то из заговорщиков был беззаветно, до фанатизма предан ему, кто-то считал опасным человеком, но в любом случае его уважали и к его мнению прислушивались.

Рылеев же, к моменту разговора всего лишь отставной подпоручик, по тогдашним меркам был совершенный неудачник. Ни звонкая литературная слава, ни должность правителя дел Российско-американской компании не могли считаться жизненным успехом: согласно представлениям той эпохи, достойной дворянина признавалась прежде всего военная карьера. В заговор Рылеев вступил буквально перед самыми совещаниями, его слово пока мало что значило для товарищей-заговорщиков. Скорее всего, эта социальная ущербность Рылеева, которую не мог не понять Пестель, и предопределила неудачу разговора.

В беседе с поэтом лидер Южного общества избрал неверный тон: не был откровенен в изложении своих взглядов и пытался «испытывать» собеседника. «Пестель, вероятно, желая выведать меня, в два упомянутые часа был и гражданином Северо-Американской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской», — показывал на следствии Рылеев. Во время этого «испытания» Пестель неосторожно позволил себе похвалить Наполеона, назвав его «истинно великим челове-

ком», и заявил: «...если уж иметь над собою деспота, то иметь Наполеона».

Конечно, политический опыт Наполеона Пестель учитывал, как учитывали его и многие другие деятели тайных обществ. Но судить о том, насколько в этом высказывании отражалось его реальное отношение к французскому императору, достаточно сложно. Однако Рылеев, весьма чувствительный к проявлениям высокомерия и неискренности, увидел в словах собеседника намек на собственную несостоятельность и, обидевшись, сразу же заподозрил его в личной корысти. Пестелю пришлось оправдываться, объясняя, что сам он становится Наполеоном не собирается и рассуждает чисто «теоретически»: «Если кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, в таком случае мы не останемся в проигрыше!» Рылеев не поверил пояснениям Пестеля; в показаниях на следствии он утверждал, что сразу «понял», «куда всё это клонится»<sup>144</sup>. Видимо, поэт был первым, кто уподобил Пестеля Наполеону — узурпатору, «похитившему» власть после победы революции во Франции.

Об итоге беседы столичные конспираторы узнали сразу же — Рылеев не захотел сохранить конфиденциальность. И Трубецкой, страстно желавший поражения Пестеля на совещаниях, в полной мере воспользовался мнением поэта.

На собрании членов Северного общества на квартире Оболенского Рылеева не было — очевидно, по причине недостаточности большого заговорщического стажа, зато присутствовал Пестель, которому было объявлено, что действует он в личных, «наполеоновских» видах. По показанию Трубецкого, перед тем как хлопнуть дверью, Пестель заявил: «Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и предполагает в другом личные какие виды, что последствие окажет, что таковых видов нет»<sup>145</sup>.

«Разговаривали и разъехались» — таким видел Пестель окончательный итог «объединительных совещаний»<sup>146</sup>. В дальнейшей конспиративной деятельности он перестал оглядываться на Трубецкого и Рылеева.

Эти совещания имели и еще один результат: конспираторы стали прислушиваться к голосу Рылеева.

Истинным вождем заговора Рылеев стал во второй половине 1824 года, после отставки Голицына с министерского поста. За следующие полтора года ему удалось собрать вокруг себя группу радикально настроенных молодых гвардейских офице-



ров, получившую в Северном обществе название «рылеевская отрасль». Эта «отрасль» от либеральных разговоров перешла к реальным делам: стала готовить государственный переворот. К 1825 году Рылеев был уже признанным лидером заговора, членом Думы — руководящего органа тайного общества. Последний период существования петербургской конспирации назван в историографии «рылеевским»<sup>147</sup>.

Однако неясно, каким образом подготовку к военному перевороту мог возглавить человек сугубо штатский, журналист и издатель, как ему удавалось «управлять» тайным обществом, состоявшим почти сплошь из военных, почему офицеры-заговорщики столь быстро признали штатского литератора своим безусловным лидером.

Ответ можно найти в показаниях Александра Бестужева, принятого Рылеевым в члены тайного общества. Он утверждал: Рылеев «воспламенял» заговорщиков «своим поэтическим воображением»<sup>148</sup>. Именно поэзия Рылеева, которая приняла в последние полтора года его жизни на свободе совершенно иной характер, позволила участникам заговора сплотиться и организовать восстание. Другой фактор, цементирующий столичное тайное общество, обнаружить весьма проблематично.

Участникам тайных обществ 1820-х годов, в особенности поздних организаций, были свойственны серьезные сомнения в правильности выбранного пути. «Я спрашивал самого себя — имеем ли мы право как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего; если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития?» — вспоминал, например, друг Рылеева Евгений Оболенский. Приступы острой депрессии, вызванной сомнениями в правильности собственных действий, испытывали даже радикальный Пестель и его друзья<sup>149</sup>.

Рылеев, вступив в общество, стал решительным противником такого рода рефлексии. Согласно Оболенскому, он «говорил, что идеи не подлежат закону большинства или меньшинства, что они свободно рождаются в каждом мыслящем существе; далее, что они общительны, и если клонятся к пользе общей, если не порождения чувства себялюбивого и своекорыстного, то суть только выражения несколькими лицами того, что большинство чувствует, но не может выразить. Вот почему он полагал себя вправе говорить и действовать в смысле цели Союза как выражения идеи общей, еще не выраженной большинством, в полной уверенности, что едва эти

идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением». Он прилагал максимум усилий, чтобы не допускать «охлаждения» собственных друзей к «общему делу»<sup>150</sup>.

Собственно, произведения Рылеева последних месяцев его пребывания на свободе как раз и призваны были убеждать колеблющихся в правоте «общего дела». Наиболее характерны в этом смысле поэма Рылеева «Войнаровский» и неоконченная поэма «Наливайко», фрагменты которой были опубликованы в периодике. Обе они посвящены борцам «за свободу Украины»: в «Войнаровском» речь идет о противостоянии гетмана Мазепы и Петра I, в «Наливайко» — о борьбе казаков с поляками в конце XVI века.

Поэма «Войнаровский», подобно «Думам», была опубликована в 1825 году (цензурное разрешение от 8 января). Она тоже увидела свет в Москве, где «от времен Новикова все запрещенные книги и все вредные ныне находящиеся в обороте» были «напечатаны и одобрены» и где при принятии органами цензуры решений важнейшим оказывалось слово князя Вяземского, поскольку цензоры боялись его семейных и дружеских связей. Очевидно, что и поэму, и «Думы» через московскую цензуру провел Вяземский — именно его благодарил Рылеев «за участие» в судьбе своих произведений и за то, что «Войнаровский» мало пострадал в цензурном «чистилище»<sup>151</sup>. По-видимому, немаловажную роль в истории публикации поэмы сыграло и то, что до лета 1825 года московской цензурой заведовал попечитель Московского учебного округа князь Андрей Оболенский, дальний родственник Евгения Оболенского и убежденный «голицынец».

Источники, которыми пользовался Рылеев при создании поэмы, ее байроническая форма, связи с другими романтическими произведениями давно выявлены исследователями. В данном случае интересен прежде всего публицистический смысл, вложенный в нее Рылеевым. Полное издание «Войнаровского» — в том виде, в каком поэму получили читатели в начале 1825 года, — представляло собой сложный комплекс противоречивших друг другу текстов.

На титульном листе книги был помещен эпиграф из «Божественной комедии» Данте на итальянском языке: «Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria» («Нет большего горя, чем вспоминать о счастливом времени в несчастье»). Открывалась книга авторским посвящением

Александр Бестужеву<sup>152</sup>. Затем шло краткое предисловие\*, из которого можно было узнать о сложностях, ожидающих всякого, кто возьмется читать эту книгу. Главная сложность касалась образа знаменитого гетмана Ивана Мазепы, изменившего Петру I и перешедшего в ходе Северной войны на сторону шведов: «Может быть, читатели удивятся противоположности характера Мазепы, выведенного поэтом и изображенного историком. Считаю за нужное напомнить, что в поэме сам Мазепа описывает свое состояние и представляет оное, может быть, в лучших красках; но неумолимое потомство и справедливые историки являют его в настоящем виде; и могло ли быть иначе?»<sup>153</sup>

За предисловием следовали прозаические биографии героев поэмы: «Жизнеописание Мазепы», написанное историком Александром Корниловичем, и «Жизнеописание Войнаровского», принадлежащее перу Александра Бестужева. И про главного героя, племянника Мазепы, и про самого мятежного гетмана авторы «Жизнеописаний» сказали немало резких слов. «Низкое, мелочное честолюбие привело его (Мазепу. — О. К.) к измене. Благо козаков служило ему средством к умножению числа своих соумышленников и предлогом для скрываетия своего вероломства; и мог ли он, воспитанный в чужбине, уже два раза опятнавший себя предательством, двигаться благородным чувством любви к родине?» — писал Корнилович. Бестужев, вторя ему, называет Мазепу «притворщиком», «обманщиком» и «славным изменником». О гетмане-изменнике повествовали и пять подстраничных примечаний к тексту поэмы: «Какая слава озарила бы Мазепу, если бы он содействовал Петру в незабвенную битву Полтавскую! Какое бесславие омрачает его за вероломное оставление победоносных рядов Петра!»<sup>154</sup>

С этими текстами резко контрастировала сама поэма. Гетман в ней — не изменник, а сознательный борец с российским самодержавием. Противостояние Мазепы и Петра осмысляется в терминах борьбы «свободы с самовластьем». Причем за счастье своей родины, «Малороссии святой», Мазепа готов не только отдать жизнь, но и «пожертвовать» «честью», а также принять от неразумного народа обвинения в предательстве и сравнение с Иудой<sup>155</sup>. Неравная борьба с царем оканчивается поражением мятежника. И, хороня своего лидера, сторонники гетмана «погребают» «свободу родины своей»:

---

\* По мнению Ю. Г. Оксмана, которое разделяют многие позднейшие исследователи, предисловие, выделенное кавычками и особым шрифтом, было написано «по требованию цензуры».

Он приковал к себе сердца:  
Мы в нем главу народа чтили,  
Мы обожали в нем отца,  
Мы в нем отечество любили<sup>156</sup>.

Немногим отличается от образа Мазепы и образ его племянника Войнаровского, сосланного в Сибирь за участие в замыслах дяди:

Кто брошен в дальние снега  
За дело чести и отчизны,  
Тому сноснее укоризны,  
Чем сожаление врага<sup>157</sup>.

Такая трактовка фигуры Мазепы вызвала недоумение современников. За два года до выхода «Войнаровского» в первой книжке «Полярной звезды» появилась дума Рыльева «Иван Сусанин» и вскоре была перепечатана несколькими столичными журналами. В думе утверждалось, что предателей «нет и не будет на русской земли» и что в России

...каждый отчизну с младенчества любит  
И душу изменой свою не погубит<sup>158</sup>.

Казалось странным, что Рылеев воспевает в поэме того, чье имя в сознании истинного патриота давно предано анафеме. Драматург Павел Катенин замечал в частном письме: «Всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катеном»<sup>159</sup>.

Образ Мазепы в поэме приводил в смятение и историков литературы; по мнению большинства из них, при изображении гетмана Рылеев был «антиисторичен», допустил «ошибку», отступил от исторической правды<sup>160</sup>. Не меньший шок у комментаторов вызвала и националистическая окраска поэмы, в которой свободолюбивые малороссы противостоят «врагам страны своей родной» — «москалям». Возникал вопрос: откуда в произведении русского дворянина и бывшего офицера могли появиться националистические ноты? Почему одним из источников «Войнаровского» стала анонимная рукопись «История руссов», повествовавшая о том, что «московиты» (у Рыльева «москаля») и «россы» — два разных славянских народа, причем истинно «русские» — именно малороссы? «Не только в простом народе, но и в образованном малороссийском обществе времен Рыльева редко встречались люди, способные назвать москаля “врагом страны своей родной”», — констатирует исследователь украинского сепаратизма Н. И. Ульянов<sup>161</sup>.

Исследователи давно пришли к мнению, что сложное построение книги, включавшей поэму «Войнаровский», было вызвано прежде всего цензурными причинами<sup>162</sup>. Для того чтобы поэма появилась в печати, идею «борьбы свободы с самовластьем» следовало несколько замаскировать. Сам Рылеев в письме Пушкину признавал, что из осторожности был вынужден «прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова»<sup>163</sup> (в данном случае фамилию петербургского цензора Рылеев употребил как имя нарицательное для обозначения цензуры вообще, поскольку читал поэму и пропустил ее в печать московский коллега Бирукова университетский профессор Николай Бекетов).

Однако, как уже говорилось, московская цензура была намного гуманнее петербургской. Кроме того, Рылеев вполне мог вообще не печатать свою поэму, а пустить ее в свет в рукописном виде — эта форма распространения произведений была в традициях эпохи: именно таким путем читатели познакомились с грибоедовской комедией «Горе от ума», с антиправительственными стихами Пушкина, с эпиграммами Вяземского, с «Историей руссов», с одой «Гражданское мужество» и стихотворением «Я ль буду в роковое время...» самого Рылеева. Если бы Рылеев изначально не хотел «говорить для Бирукова», он вполне мог воздержаться от такого разговора.

Представляется, что, обрамляя «Войнаровского» официально-патриотическими текстами об измене Мазепы, Рылеев не столько шел на поводу у «Бирукова», сколько заострял главные идеи, положенные в основу поэмы.

На страницах книги поэт ведет напряженный спор и с авторами жизнеописаний Мазепы и Войнаровского, и с самим собой, с собственными ранними произведениями. Никтоим образом не отказываясь от роли поэта-гражданина, подчеркивая эту роль в посвящении к поэме, он теперь понимает гражданственность по-другому, не так, как во «Временщике», «Видении» и «Думах». По-видимому, некоторой неловкостью за не вполне искренний патриотизм прошлых произведений самого Рылеева продиктованы слова Мазепы, обращенные к Войнаровскому:

Я не люблю сердец холодных:  
Они враги родной стране.  
Враги священной старине:  
Ничто им бремя бед народных.  
Им чувствь высоких не дано,  
В них нет огня душевной силы,  
От колыбели до могилы  
Им пресмыкаться суждено<sup>164</sup>.

Трудно судить, каков был первоначальный замысел «Войнаровского»: первые его фрагменты, судя по всему, написаны до вступления автора в тайное общество. Но ситуация изменилась, и со страниц поэмы заговорил со своими соратниками — настоящими и будущими — руководитель антиправительственного заговора, решившийся пойти в своих устремлениях до конца и сжигающий за собой мосты. Соратникам он объяснил, в частности, что борьба с «самовластьем», пусть даже обреченная на поражение, шельмование и клеймо «измены», — высокое и справедливое дело. «Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства»; значит, участники борьбы оказываются свободными от традиционных нравственно-патриотических запретов, с них снимается обязательство следовать обыкновенным гражданским нормам «любви к родине» и «верности монарху».

Автобиографичность, безусловно, присущая «Войнаровскому», выразилась в откровенном признании Рылеевым собственной измены по отношению к «самовластью». Поэма была едва ли не первым искренним и выношенным произведением Рылеева — в отличие от множества предшествующих стихотворений, написанных по политическому заказу. Именно поэтому «Войнаровский» стал его безусловным творческим успехом — в этой оценке едины и современники, и позднейшие исследователи.

Собственно, те же идеи Рылеев положил и в основу незавершенной поэмы «Наливайко», отрывки из которой увидели свет в «Полярной звезде» на 1825 год:

Чтоб Малороссии родной,  
Чтоб только русскому народу  
Вновь возвратить его свободу —  
Грехи татар, грехи жидов,  
Отступничество униатов,  
Все преступления сарматов  
Я на душу принять готов.

.....  
Известно мне: погибель ждет  
Того, кто первый восстает  
На утеснителей народа, —  
Судьба меня уж обрекла.  
Но где, скажи, когда была  
Без жертв искуплена свобода?  
Погибну я за край родной —  
Я это чувствую, я знаю...  
И радостно, отец святой,  
Свой жребий я благословляю!<sup>165</sup>

Судя по позднейшим сбивчивым объяснениям Бирукова, цензурировавшего последний выпуск альманаха, крамольный фрагмент он допустил в печать по просьбе ушедшего в отставку князя Голицына — это была прощальная услуга, оказанная поэту бывшим министром<sup>166</sup>.

Для вольнолюбивых молодых современников Рылеева поздние его поэмы оказались моментом истины: им было предложено, кроме всего прочего, ответить на вопрос о цене, которую они готовы заплатить за участие в борьбе с российским самодержавием. Так, титулярный советник Иван Горсткин рассказал на следствии, как шло обсуждение поэмы в кругах московских заговорщиков: «Что же до Тучкова, я у него бывал часто, но никогда никого у него не встречал, кроме, что один раз нашел у него Пушина, Нарышкина, меньшого Оболенского, Кашкина, двоих Семеновых и Колошина... Разбирали сочинение г[осподи]на Рылеева “Войнаровский”. Пушин и некоторые лица восхищались, мы с Тучковым находили в нем тьму нелепостей, терзали его строгими замечаниями. Пушина то сердило, а мне нравилось, да и все, кажется, наконец, с нами согласны были. В сих прениях прошло время целого вечера»<sup>167</sup>. (Интересно, что Иван Пушин, защищавший поэму, оказался одним из самых активных деятелей Сенатской площади, а Алексей Тучков, Михаил Нарышкин, Константин Оболенский, Сергей Кашкин, Алексей и Степан Семеновы, Павел Колошин, да и сам Горсткин оказались в стороне от происходивших в Северной столице событий.)

О том, чем может закончиться участие в тайных антиправительственных организациях, впервые начал размышлять именно в связи с «Войнаровским» член южного заговора, близкий к Пестелю Николай Басаргин. «Помню, что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму Рылеева “Войнаровский” и при этом невольно задумался о своей будущности. “О чем ты думаешь?” — спросила она. “Может быть, и меня ожидает ссылка”, — сказал я. “Ну, что ж, я также приду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать?” — прибавила она с улыбкой»<sup>168</sup>.

После неудачи восстания обе поэмы Рылеева зазвучали как пророчества о судьбе и его самого, и его товарищей по заговору. «Изображая борьбу Наливайко против польской шляхты, Рылеев явно имел в виду современную ему борьбу декабристов против русского самодержавия», «У Рылеева и Войнаровский, и Наливайко — декабристы», — утверждали исследователи<sup>169</sup>. Нельзя не отметить, что в подобных утверждениях — при всём «советском» их звучании — было рациональное зерно.

Весной 1824 года Рылеев становится правителем дел Российско-американской компании (РАК) — крупнейшей в начале XIX века торгово-промышленной организации Российской империи. Основанная в 1781 году, она занималась освоением Русской Америки: Аляски и Форт-Росса — поселения в Южной Калифорнии.

Согласно учредительным документам компании, в круг обязанностей правителя дел, которые он «по способностям своим» делил с директорами, входило: «...хранить наличную денежную казну, векселя, товары и вообще всё компанейское имущество и отвечать за целость всего оногo... всеми письменными делами, всякого рода отписками, ревизиею и поверкою счетов, и всем тем, что на бумагах производится, заниматься... во всех судебных местах и у начальств, в силу данного им уполномочия, о пользах и интересах компании ходатайствовать, подавать и посылать в оные какие случатся по делам бумаги, донесения, прошения и ответствия»<sup>170</sup>. Свои должностные обязанности Рылеев выполнял хорошо. Он принес компании много пользы, в частности старательно заботился о ее имидже.

Между тем один из самых сложных вопросов, которые предстояло решать Рылееву и его сподвижникам, — вопрос о судьбе императора и царской фамилии в случае победы революции. Тема эта обсуждалась практически с начала существования тайных обществ. С 1817 года, так называемого московского заговора, она была самым тесным образом связана с вопросом о цареубийстве.

Руководитель Южного общества Павел Пестель показывал на следствии: «Все говорили, что революция не может начаться при жизни государя императора Александра Павловича и что надобно или смерть его обождать, или решиться оную ускорить, коль скоро сила и обстоятельства общества того требовать будут. В сем точно по истине были все согласны. Но справедливость требует также и то сказать, что ни один член из всех теперешних мне известных не вызывался сие исполнить, а, напротив того, каждый в свое время говорил, что хотя сие действие, может статья, и будет необходимо, но что он не примет исполнения оногo на себя, а каждый думал, что найдется другой для сего. Да и подлинно большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить»<sup>171</sup>.

В Южном обществе, организованном в 1821 году стараниями того же Пестеля, обсуждалось несколько более или менее состоятельных планов цареубийства и устранения царской семьи. Этот акт был принят южными заговорщиками как один из обязательных элементов будущей революции. Под давле-



нием Пестеля на «истребление» всей царской фамилии согласились главные действующие лица заговора на юге. Южное общество занималось, в частности, поисками людей, готовых осуществить эту меру<sup>172</sup>.

Вопрос о судьбе царской семьи обсуждался и петербургскими конспираторами. Рылеев на следствии показывал, что на одном из первых совещаний, на котором ему довелось присутствовать, Пущин, услышав его вопрос: «А что делать с императором, если он откажется утвердить устав представителей народных?» — воскликнул: «Это в самом деле задача!» «Тут, — давал показания Рылеев, — я воспользовался мнением Пестеля и сказал: “Не вывезти ли за границу?” Трубецкой, подумав, отвечал: “Более нечего делать”, и все бывшие тогда у меня... согласились на сие»<sup>173</sup>.

Об искренности этих показаний судить трудно, тем более что руководитель Южного общества был последовательным сторонником не «вывоза», а полного истребления всей императорской семьи. Но в любом случае признание Рылеева красноречиво свидетельствует: северные заговорщики были не столь кровожадны, как южные, они предполагали оставить царя в живых и вывезти за границу.

От этой идеи северные заговорщики не отказались до самого 14 декабря. Например, своему другу Александру Бестужеву Рылеев сообщил, что императорскую фамилию собираются арестовать и вывезти из России морем. «Донесение Следственной комиссии» констатировало: мнение о вывозе императорской семьи за границу с Рылеевым разделяли Трубецкой, Никита и Матвей Муравьевы, Оболенский и Николай Тургенев<sup>174</sup>.

Историки, за редким исключением, подробно не исследовали планы петербургских заговорщиков, связанные с вывозом и содержанием императора и его фамилии в случае победы революции. Попытку проанализировать эти планы сделал П. О'Мара, посвятив этому вопросу целую главу своей монографии о Рылееве; однако лишь пришел к выводу: «Во всяком случае неясно, куда именно “за границу” Рылеев предлагал отправить императорскую фамилию»<sup>175</sup>.

Между тем вывоз царской семьи в Европу был невозможен: Россия была скреплена с ней узами Священного союза, а члены правящей династии приходились родственниками многим европейским владетельным домам. Этот факт хорошо осознавали и Рылеев, и его друзья; Пущин прямо заявлял, что в Европе члены «фамилии» станут «искать помощи чужестранных государств»<sup>176</sup>. Единственным местом, куда можно было бы вывезти венценосное семейство, не опасаясь немедленной реставрации, были русские колонии в Америке.

Естественно, Рылеев и его ближайшие сподвижники на следствии предпочитали не распространяться на эту тему, ибо понимали, что участие в конкретных планах вывоза «фамилии» может намного утяжелить их судьбу. Однако из их показаний можно сделать вывод: на квартире Рылеева шли постоянные разговоры как о колониях вообще, так и о «селении нашем в Америке, называемом Росс»<sup>177</sup>.

Форт-Росс, самое южное русское владение в Америке, основанное в 1812 году, с крепостью, которую можно было сделать неприступной, вполне подходил для содержания царской семьи. К тому же политическая ситуация в Верхней Калифорнии, на территории которой был расположен Форт-Росс, была крайне нестабильной. Формально Верхняя Калифорния принадлежала Мексике, только в 1821 году освободившейся из-под владычества Испании. Испанцы, мексиканцы, а также претендовавшие на плохо контролируемые мексиканские земли граждане США выясняли отношения друг с другом, и можно было надеяться, что вмешиваться в российскую политику они не станут. Таким образом, императорская фамилия оказывалась в заложниках у заговорщиков: при начале европейской интервенции можно было отдать приказ о ее истреблении, и он мог бы быть выполнен без особого труда.

Много лет спустя Александр Беляев писал в мемуарах: «Это местечко, населившись, должно сделаться ядром русской свободы. Каким образом ничтожная колония Тихого океана могла иметь какое-либо влияние на судьбы такого громадного государства, как Россия, тогда это критическое воззрение не приходило нам в голову — до такой степени мы были детьми»<sup>178</sup>. Трудно сказать, был ли Беляев в курсе всех рылеевских замыслов, однако несомненно, что и он принимал участие в разговорах о Калифорнии и Форт-Россе.

Михаил Назимов утверждал на следствии: «Я слышал от Рылеева... что общество предполагало возмутить Калифорнию и присоединить ее к североамериканским российским владениям и что туда отправлялся один из членов, не знаю кто именно, для исполнения сего»<sup>179</sup>. По-видимому, в этих показаниях также отразились соответствующие разговоры Рылеева со своим ближайшим окружением.

В связи с гипотезой о существовании у Рылеева планов вывоза императорской фамилии именно в Америку особое значение приобретала его деятельность по подбору персонала в русские колонии. Прежде всего, следовало сделать так, чтобы

на посту главного правителя колоний у заговорщиков оказался свой человек.

Должность главного правителя была одной из ключевых в Российско-американской компании. Именно он выполнял в колониях функции главы местной администрации, «поелику правительство не полагает еще ныне нужным иметь от себя в колониях чиновника», отвечающего за соблюдение российских законов. Кандидатура правителя представлялась компанией на высочайшее утверждение. Согласно учредительным документам компании, «главный колоний правитель» «должен быть непременно из офицеров морской службы», поскольку он автоматически становился комендантом Новоархангельского порта и все капитаны прибывающих русских кораблей, в каком бы воинском звании ни находились, оказывались в его подчинении<sup>180</sup>.

С 1819 года пост главного правителя занимал капитан-лейтенант Матвей Муравьев. В колониях ему пришлось нелегко: именно в его правление Русскую Америку постиг голод, связанный с запрещением торговли с иностранцами. Судя по письмам, которые Муравьев слал в Петербург, он очень устал, тяжело заболел и должность исполнять больше не мог. В 1824 году в колонии был отправлен корабль «Елена», командир которого, лейтенант Петр Чистяков, имел предписание сменить Муравьева. Однако согласно этому предписанию Чистяков должен был исполнять обязанности главного правителя только в течение двух лет, «ежели на то не будет какого-либо особенного случая»<sup>181</sup>, а в 1826 году в колонии должен был отправиться новый главный правитель. В поисках надежного человека на эту ключевую должность Рылеев познакомился с молодым флотским офицером Дмитрием Завалишиным.

Завалишин — одна из самых авантюрных фигур заговора 1825 года. Безусловно, талантливый и предприимчивый, он обладал болезненным самолюбием, слепо верил в свое исключительное предназначение, был склонен к мистификации и сильно преувеличивал свою роль в событиях, связанных с заговором. Однако внимательный анализ документальных материалов показывает: многое из того, что Завалишин говорил следователям, а затем писал в мемуарах, соответствует действительности<sup>182</sup>.

Связи Завалишина с членами тайных политических организаций не раз становились предметом изучения<sup>183</sup>. Известен Завалишин прежде всего основанием Вселенского Ордена Восстановления, в который он пытался принять даже императора Александра I. Не ставя перед собой цели анализировать деятельность этого полумифического ордена и его основателя,

остановимся лишь на тех мотивах, которые заставили Рылеева вести с Завалишиным долгие переговоры.

Завалишин, тогда мичман, принимавший участие в кругосветной экспедиции на фрегате «Крейсер», руководимой легендарным Михаилом Лазаревым, с ноября 1823 года по февраль 1824-го был в российских колониях в Америке. Вернувшись из путешествия, он получил чин лейтенанта. В начале 1825 года состоялось знакомство Завалишина с Рылеевым. Сам Рылеев пояснял на следствии, что через Завалишина он «много надеялся сделать в Кроншта[д]те», но надежды его не оправдались<sup>184</sup>. В полном соответствии с этими показаниями данное знакомство и толковалось исследователями<sup>185</sup>.

Однако на самом деле Завалишин был интересен Рылееву отнюдь не только своими кронштадтскими связями. За время путешествия молодому офицеру удалось хорошо изучить Америку и даже создать проекты присоединения всей Верхней Калифорнии к России. Он пытался заинтересовать этими проектами императора Александра I, а затем руководство Российско-американской компании<sup>186</sup>. Как признавался сам лидер «северян», «по случаю» этого знакомства он снова обратился к мысли об отправке императорской фамилии за границу. Рылеев также сообщил следствию, что Завалишин был интересен ему постольку, поскольку только что вернулся из колоний: «Знакомясь с ним, я имел прежде в виду получить от него обстоятельные сведения о состоянии заведений и промышленности Российско-американской компании на берегах Северо-Западной Америки. Сии сведения были мне нужны как правителю канцелярии упомянутой компании». Это подтверждает и Завалишин: «Уже с самого прибытия (в Петербург. — *О. К.*) обращено было на меня внимание заговорщиков... я тогда занимался... делами Рос[сийско-]амер[иканской] компании»<sup>187</sup>.

Завалишин не случайно занимался делами компании: он рассчитывал вскоре получить должность правителя Форт-Росса и реализовать свои планы присоединения к России Верхней Калифорнии. Затем и вовсе могло состояться назначение Завалишина правителем всех русских колоний в Америке. Как следует из его мемуаров, лейтенант был уверен: именно ему предназначено «устроить в течение двух лет земледельческие колонии в Калифорнии, а затем еще пять лет пробыть главным правителем колоний для проведения там реформ»<sup>188</sup>. Очевидно, эту уверенность он сумел передать Рылееву.

Но несмотря на то, что Рылеев возлагал на Завалишина большие надежды, сообщать лейтенанту о заговоре он долго не решался. Вероятно, правитель Форт-Росса, как и главный

правитель колоний, должен был, по плану Рылеева, узнать о произошедшей в России революции лишь тогда, когда в Русскую Америку пришел бы корабль с царской семьей. Рылеев рассказал Завалишину о тайном обществе в апреле 1825 года — к тому времени стало понятно, что ни правителем Форт-Росса, ни правителем колоний император Завалишина не сделает «из опасения, чтобы какою-нибудь самовольною попыткою» он не привел бы в исполнение свои «обширные планы» и «не вовлек бы Россию в столкновение с Англией и Соединенными Штатами»<sup>189</sup>. Очевидно, именно тогда Рылеев стал рассматривать Завалишина как своего человека в Кронштадте.

После того как стало ясно, что Завалишин в колонии назначен не будет, Рылеев стал искать другую кандидатуру и занимался этим практически всё лето и большую часть осени 1825 года. Он сообщил следствию, что одну из своих поездок в Кронштадт летом 1825 года предпринял, чтобы «узнать лично от капитана 2-го ранга Панафидина, согласится ли он принять на себя должность гл[авного] правителя колоний Компании в Америке»<sup>190</sup>. По-видимому, капитан от предложения отказался: по крайней мере никаких сведений о том, что переговоры с ним продолжились, не обнаружено.

Удача улыбнулась Рылееву лишь в начале ноября 1825 года: он наконец-то нашел человека на ключевой пост главного правителя колоний. Более того, подполковник инженерной службы Гавриил Батеньков согласился войти в заговор.

Батеньков — один из самых загадочных персонажей в истории тайных обществ. Он был своим в кругу двух знаменитых деятелей 1820-х годов, которые, по выражению Пушкина, стояли «в дверях противоположных» александровского царствования, как «гении Зла и Блага»<sup>191</sup>, — Алексея Аракчеева и Михаила Сперанского.

Родившись в Сибири, окончив кадетский корпус в Петербурге, приняв участие в Отечественной войне и Заграничных походах и получив после войны назначение обратно в Сибирь, Батеньков в 1819 году познакомился в Тобольске со Сперанским, назначенным сибирским генерал-губернатором. Сперанский приблизил к себе толкового чиновника, тем более что с окружением прежнего генерал-губернатора Ивана Пестеля у Батенькова были постоянные конфликты. Батеньков стал помогать Сперанскому в проведении местных реформ, в том числе и кадровых, в результате которых почти все сибирские чиновники лишились должностей. В 1821 году генерал-губернатор отправился в Петербург с отчетом о проведенной им ревизии, а Батеньков получил приказание ехать вслед за ним<sup>192</sup>.

В июле того же года он познакомился в Петербурге с Аракчеевым: их связала совместная деятельность в Сибирском комитете, созданном «для рассмотрения отчета, представленного сибирским генерал-губернатором по обозрению сибирских губерний». В комитете, заседавшем под председательством Аракчеева, Батеньков исполнял обязанности секретаря и сумел понравиться графу. В январе 1823 года подполковник был назначен «к особым поручениям по части военных поселений»; он стал также «членом комиссии составления проекта учреждения оных»<sup>193</sup>. Сотрудничество с Аракчеевым не поссорило его со Сперанским, в дом которого он по-прежнему был вхож.

При этом Батеньков никогда, за исключением последнего месяца 1825 года, не был близок к кругам вольнолюбивой молодежи. «Все знали, что он приближен к Аракчееву и пользуется его доверенностью, и потому многие боялись и остерегались его», — писал хорошо знакомый и с заговорщиками, и с Батеньковым Николай Греч. Участники тайных обществ «почитали опасным доверять более человеку, близкому по комитету поселений к графу Алексею Андреевичу Аракчееву», утверждал Николай Бестужев<sup>194</sup>.

Никакой особой симпатии к Рылеву Батеньков не испытывал; впрочем, Рылеев отвечал ему тем же. «Знакомство мое (с Рылевым. — О. К.) не доходило и до простой светской приязни, да и сам он, видимо, избегал сближения со мною, опасаясь моего положения, близкого при графе Аракчееве», — вспоминал подполковник. Вхожий в столичные литературные круги Батеньков не мог не знать о наделавшей в 1820 году много шума рылеевской сатире «К временщику». Для него Аракчеев вовсе не был «надменным временщиком» — скорее покровителем и старшим другом. «Всё исполнит, что обещает»; «с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: ни на что постороннее не смотрит»; «в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчиненным совершенно искренен и увлекается всеми страстями» — характеризовал его Батеньков<sup>195</sup>.

Однако в конце 1825 года сближение Рылеева и Батенькова всё же произошло, и основой его стало присущее обоим непомерное честолюбие. Батеньков на следствии прямо заявлял: «Я от природы безмерно самолюбив»; «...мне всегда хотелось быть ученым или политиком»; «...поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим». Когда перед самым восстанием 14 декабря члены тайного общества стали прочить Батенькова в секретари Временного

правительства, он особо настаивал, чтобы в состав этого органа не был включен Сперанский, ибо «при нем не мог бы уже я играть главной роли»<sup>196</sup>.

Сближению с Рылеевым способствовала и карьерная неудача, постигшая Батенькова осенью 1825 года. 10 сентября в аракчеевском имении Грузино, где подполковник провел всё лето, была убита крепостными любовница и экономка всеильного временщика Настасья Минкина. Неизвестно, как на самом деле воспринял Батеньков гибель фаворитки Аракчеева, но недоброжелатели подполковника начали активно распространять слухи, что он вполне одобряет ее убийство. Начальник штаба военных поселений Петр Клейнмихель, расследовавший преступление, получил соответствующий анонимный донос.

Батеньков не стал дожидаться развязки и, будучи уверен, что не сможет «продолжать службы без ближайшего руководства и благодетельного покровительства», подал прошение об отставке. Вероятно, он всё же рассчитывал, что Аракчеев не отвернется от него, но 14 ноября 1825 года был освобожден от обязанностей, связанных с военными поселениями. Свое отстранение Батеньков назвал «деспотической мерой»<sup>197</sup>.

«Служить более я не намерен. Запрячусь куда-нибудь в уголок и понесу с собою одно сокровище — чистую совесть и сладкое воспоминание о минувших мечтаниях», — признавался он в частном письме. Желание «запрятаться» и подтолкнуло бывшего соратника Аракчеева к поиску должности в Российско-американской компании. «Поняв, что я в России не найду уже приюта... решил удалиться и начал искать места правителя колоний Американской компании на Восточном океане», — показывал он на следствии<sup>198</sup>. Очевидно, получить согласие руководства компании на это назначение Батенькову помог Сперанский, принимавший деятельное участие в ее делах<sup>199</sup>. Без сильной протекции стать главным правителем колоний Батеньков не мог, ибо морским офицером никогда не был. Можно предположить, что перевод из армии на флот был обязательным условием получения им искомого места.

В связи с переговорами о назначении в колонии Батеньков попал в сферу внимания Рылеева. Сам Батеньков на следствии довольно подробно восстановил эпизод вовлечения его в разговор:

«Между тем положение мое было затруднительно и горестно. Это дало удобность членам т[айного] о[бщества] действовать на меня. У Прокофьева могли они видеть меня почти каждый день... Около половины ноября я заболел. А[лександр] Бестужев приехал ко мне ввечеру.. Мы говорили, что действи-

тельно перемена в России необходима. Он старался утверждать в той мысли, что лучше сделать ее нам, нежели допустить других...

После приехал Рылеев. Мне ясно уже было, что он в связи с Бестужевым. Разговор завел прямо о том, что в монархии не может быть ни великих характеров, ни истинных добродетелей».

Батенькову, по его собственному признанию, не понравился образ мыслей Рылеева, у него были другие взгляды. Однако разница во взглядах оказалась в данном случае вторичной, первичными же были общность интересов и стремление стать «людьми историческими», совершить революцию, не дожидаясь, пока ее сделают другие. По всей вероятности, Рылееву пришлось открыть Батенькову некоторые свои планы: честолюбивый подполковник, конфидент Сперанского и Аракчева, никогда не согласился бы на роль пешки в чужой игре.

К середине декабря 1825 года было достигнуто и соглашение с Российско-американской компанией об отправке Батенькова в колонию: он «обязывался служить 5 лет за 40 т[ысяч] ежегодно»<sup>200</sup>. Однако события 14 декабря на Сенатской площади помешали ему приступить к исполнению новых обязанностей: спустя две недели он был арестован по делу «о злоумышленных обществах» и 20 последующих лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости.

В конце 1824-го — начале 1825 года в планы Рылеева неожиданно вторглась большая международная политика: были приняты русско-американская и русско-английская конвенции о разграничении владений этих государств в Северной Америке. Руководство Российско-американской компании выступало против принятия конвенций, мотивируя тем, что они наносят ущерб компании. В протестах принимал участие и Рылеев, даже получивший за чрезмерную активность выговор от императора<sup>201</sup>. Возражения не были приняты во внимание. Между тем последствия принятия конвенций могли оказаться самыми печальными для Рылеева — и как правителя дел Российско-американской компании, и как заговорщика.

С принятием конвенций для компании заканчивалась эра дорогостоящих исследовательских кругосветных экспедиций — их государственное субсидирование сворачивалось, ибо воспрещалось освоение новых территорий, ставших, согласно конвенциям, чужими. Самой же компании было не под силу часто отправлять корабли из Кронштадта в Америку. О том, что ежегодные кругосветки обходятся слишком дорого,



стали говорить и в самой компании<sup>202</sup>. При подобном положении дел могла создаться ситуация, когда в случае удачного переворота царскую семью просто не на чем было бы вывезти за границу.

Между тем в Петербурге стало известно, что Англия подготовила последнюю большую экспедицию в свои американские колонии. В 1826 году английский шлюп отправился к берегам Северной Америки. Соответственно, летом 1825 года Россия также начала готовить к отправке подобную экспедицию. Специально для нее на Охтинской верфи в сентябре были заложены два брига, имевшие до получения официальных названий номера 7 и 9. Экспедиция должна была завершить эпоху научных кругосветных путешествий русских военных кораблей<sup>203</sup>. Ходили слухи, что отправка ее должна состояться в конце весны — начале лета 1826 года.

Четвертого января 1826 года штабс-капитан Вятского пехотного полка Аркадий Майборода, конкретизируя свой первый донос на полкового командира Пестеля, сообщил: восстание было запланировано на весну 1826 года «при Белой Церкви, где, говорят, наверное будут в сборе 3-й и 4-й корпуса»<sup>204</sup>. Следователи без труда выяснили, что сбор двух корпусов 1-й армии, на котором планировалось присутствие императора, должен был проходить в мае. Многим членам Южного общества, в том числе и Пестелю, был задан вопрос о существовании «майского» плана, и большинство опрошенных ответили утвердительно.

Дата эта возникла не случайно и была связана не столько с присутствием государя на южном смотре, сколько с ситуацией в Петербурге, в частности в Российско-американской компании в связи с отправкой последней кругосветной экспедиции.

Летом 1825 года на Украину поехал отставной полковник Александр фон дер Бриген, имевший от Рыльева несколько поручений. В частности, он должен был встретиться с другим руководителем «северян», Сергеем Трубецким, с начала года служившим в Киеве. Во встрече в Киеве участвовали также Муравьев-Апостол и сопредседатель Васильковской управы Михаил Бестужев-Рюмин. Бриген рассказал собеседникам о планах Северного общества<sup>205</sup>.

«Меры, предполагаемые Северной Директорией, были: лишить жизни государя, а остальных особ императорской фамилии отправить на корабле в первый заграничный порт», — показывал на следствии Бестужев-Рюмин. Сергей Муравьев-

Апостол «считал (то есть рассчитывал. — О. К.) больше всего на общество, которое Рылеев составил в Кронштадте». Именно Бестужев-Рюмин сообщил информацию, привезенную Бригеном, Пестелю<sup>206</sup>.

Таким образом, конец весны — лето 1826 года стали для северных и южных заговорщиков общей датой начала революционного выступления. Очевидно, предполагалось, что «южанам» удастся в ходе смотра «истребить» или арестовать царя. Затем должен был наступить черед их столичных единомышленников — им предстояло заниматься вывозом «фамилии» за границу.

Неожиданная смерть Александра I смешала карты заговорщиков. Ждать до лета 1826 года, когда планировался выход в море кругосветной экспедиции под командованием Торсона, было невозможно. Естественно, замыслы Рылеева не могли не измениться. Тактика, которой он придерживался накануне восстания, хорошо описана в воспоминаниях его друга Николая Бестужева: «Рылеев всегда говаривал: “Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо, тактика революций заключается в одном слове: дерзай, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других”»<sup>207</sup>.

Тактика эта — во что бы то ни стало «выйти на площадь» и захватить дворец малыми силами, «с горстью солдат», — названная историками «революционной импровизацией»<sup>208</sup> и кажущаяся с рациональной точки зрения полным безумием, на самом деле диктовалась определенными обстоятельствами.

Рылеев не мог не понимать: если задержать императорскую фамилию не удастся, военный переворот не может быть успешным. Однако в драматичной ситуации междуцарствия, зимой, при отсутствии навигации, вопрос о немедленной морской экспедиции становился бессмыслицей. Очевидно, поэтому возник план вывоза царской семьи в Шлиссельбург, под охрану «бывшего Семеновского полка». «В случае ж возмущения, пример Мировича\*»<sup>209</sup>. Пребывание царской семьи в Шлиссельбурге должно было рассматриваться как мера временная — до того момента, пока корабли, снаряженные с участием Российско-американской компании, не смогут выйти в море. Но и этому плану не суждено было осуществиться — восстание на Сенатской площади было разгромлено.

---

\* Свергнутый в 1741 году и содержавшийся в Шлиссельбургской крепости император Иван Антонович 5 июля 1764 года при попытке освобождения, предпринятой поручиком Василием Мировичем, был в соответствии с высочайшей инструкцией убит охранниками.

Четырнадцатого декабря 1825 года заговорщики вывели на Сенатскую площадь три неполных гвардейских полка: Московский, Лейб-гренадерский и Гвардейский морской экипаж; Финляндский полк не присоединился к мятежникам, но и не стал выступать против них. Большая часть полка под предводительством поручика Евгения Розена с середины дня стояла на Исаакиевском мосту через Неву и не поддавалась на уговоры и приказы примкнуть к правительственным войскам. Основная же часть гвардии, в том числе кавалерийские и артиллерийские части, с большим или меньшим энтузиазмом выступила против мятежников.

В ходе восстания были жертвы; в частности, пистолетным выстрелом и штыковым ударом был убит генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. Позже следователи решили, что выстрел произвел отставной поручик Петр Каховский, за что он и был казнен. Поручик Евгений Оболенский, ударивший графа штыком, был приговорен к вечной каторге. Операцией по усмирению восставших лично руководил новый император. Сначала военачальниками (тем же графом Милорадовичем) и представителями духовенства предпринимались попытки уговорить мятежные войска разойтись. Когда же уговоры не помогли, восставшие были разогнаны картечью.

Этот разгон красочно описал в мемуарах Николай Бестужев, брат издателя «Полярной звезды», в 1825 году капитан-лейтенант и начальник Морского музея:

«Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали; я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая пло-

щадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алая, замерзала»<sup>210</sup>.

Начавшись около девяти часов утра беспорядками в Московском полку, восстание закончилось в пятом часу дня. Количество жертв правительственных пушек установить трудно: мемуаристы и официальные источники называют от нескольких десятков до полутора тысяч убитых.

Однако к этим событиям Рылеев непосредственного отношения не имел. В самом восстании он не участвовал.

Последние часы перед арестом Рылеев провел дома: встречался с единомышленниками, избежавшими взятия под стражу непосредственно на площади, пытался связаться с Сергеем Муравьевым-Апостолом, жег документы, рукописи и письма.

Часть бумаг поэт, как уже упоминалось, отдал на хранение Фаддею Булгарину. Николай Греч вспоминал: «Булгарин... пришел к нему часов в восемь и нашел честную компанию, преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал, преспокойно отвел его в переднюю и сказал: “Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой! Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка”. Поцеловал его и выпроводил из дому»<sup>211</sup>.

Рылеев был арестован в ночь на 15 декабря, на глазах жены и дочери. Брал его под стражу флигель-адъютант полковник Николай Дурново, записавший в дневнике некоторые подробности: «Немного спустя после полуночи император приказал мне привести ему поэта Рылеева, живого или мертвого, и сказал, что я отвечаю головой за выполнение этого поручения. Я ответил его величеству, что через полчаса я ему представлю вышеупомянутое лицо. Взяв с собой шесть человек из Семеновского полка, я прямо направился на квартиру к Рылееву, в дом Американской компании. Вначале встретились некоторые затруднения при входе, но когда я объявил, что действую по приказу императора, двери открылись, я приказал провести себя в комнаты поэта, который спал или делал вид, что спал. Во всяком случае это пробуждение было не из приятных. Он повиновался без возражений и, одевшись, последовал за мной во дворец». Арестованный сразу же был доставлен к императору. «В это мгновение ко мне привели Рылеева. Это — поимка из наиболее важных», — писал Николай I брату Константину<sup>212</sup>.

После ареста Рылеева в Российско-американской компании началась паника. Водивший дружбу с заговорщиками, часто присутствовавший на их собраниях директор Прокофьев, по словам Завалишина, «со страху после 14 декабря сжег все бумаги, где даже только упоминалось мое имя, а не только те, которые шли лично от меня»<sup>213</sup>. Этому свидетельству можно доверять, ибо многие документы Главного правления компании за 1825 год исчезли безвозвратно<sup>214</sup>. Правда, вряд ли только имя Завалишина заставило Прокофьева уничтожить бумаги: по документам компании легко прочитывался план, составленный Рылеевым.

Из крепости Рылеев писал жене, что чувствует свою вину перед директорами компании, особенно перед «Иваном Васильевичем» (Прокофьевым)<sup>215</sup>. Думается, что «вина» заключалась не только в административных неприятностях, которые могли постигнуть компанию в связи с арестом начальника ее канцелярии. По-видимому, Рылеев осознал ответственность за вовлечение Прокофьева в круг заговорщиков.

Естественно, на следствии Рылеев всячески пытался скрыть свои «морские» замыслы, утверждая, что «сношений с морскими чиновниками, кроме Николая Бестужева, Арбузова и Завалишина, не имел ни с кем», более того, «вовсе не говорил с ними о намерении увезти царствующую фамилию в чужие края», да и сам лишь слышал об этом плане от Пестеля<sup>216</sup>. Он понимал, что вскрытие следствием его реальной деятельности по подготовке вывоза императорской семьи за границу не оставит ему шансов на сохранение жизни.

Труднее объяснить нежелание следователей разбираться в служебной деятельности Рылеева. Причина, надо полагать, заключалась в нежелании императора показывать истинные масштабы заговора. Следовало убедить как Европу, так и российских подданных, что «число людей, способных принять в оных (тайных обществах. — *О. К.*) участие, долженствовало быть весьма невелико, и сие, к чести имени русского, к утешению всех добрых граждан, совершенно доказано производимся следствием»<sup>217</sup>.

Не хотел император и того, чтобы под судом оказались представители «низших» сословий — купцы, ибо тогда надо было признать, что властью недовольна не только кучка дворян, воспитанных иноземными наставниками и начитавшихся европейских книжек. Очевидно, именно это спасло от наказания и директора Прокофьева, и многих других должностных лиц Российско-американской компании. Все слухи и факты относительно причастности компании к заговору сконцентрировались в анекдоте, ходившем по Петербургу в

конце 1825-го — начале 1826 года и записанном петербургским литератором Александром Измайловым. При допросе друга Рылеева, столоначальника и литератора Ореста Сомова Николай I спросил его: «Где вы служите?» — «В Российско-американской компании». — «То-то хороша собралась у вас там компания»<sup>218</sup>. Впрочем, Сомова, после допроса отпустили как невиновного.

Но, судя по всему, сам император в какой-то мере распознал рылеевский план, поскольку люди, связанные с этим планом, понесли неадекватно тяжелые наказания. Дмитрий Завалишин был приговорен к вечной каторге, по 20 лет каторжных работ получили Константин Торсон, Владимир Штейнгейль и Гавриил Батеньков — никто из них в восстании на Сенатской площади не участвовал, как и сам Рылеев, который тем не менее был казнен. За три с половиной месяца до казни, 26 марта 1826 года, из Главного правления в колонии в Америке было отправлено уведомление: «...по случаю выбытия из службы компании правителя канцелярии сего правления Кондратия Федоровича Рылеева, должность его впредь до времени поручена старшему бухгалтеру Платону Боковикову»<sup>219</sup>.

После первого допроса Рылеев был отправлен в Петропавловскую крепость. Император предписал коменданту крепости: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский равелин, но не связывая рук; без всякого сообщения с другими, дать ему и бумагу для письма, и что будет писать ко мне собственноручно, мне приносить ежедневно»<sup>220</sup>.

Арестованные заговорщики вели себя на допросах по-разному. Многие пытались играть со следствием, предлагали свои версии произошедших событий. Рылеев же пережил в крепости острый приступ раскаяния. Этому во многом способствовало гуманное отношение Николая I к супруге поэта: император снабдил ее деньгами и разрешил переписываться с мужем практически сразу же после его ареста.

История с царским пожалованием имела для Рылеева весьма серьезные последствия. Известие о подарках морально унижало, практически уничтожало заговорщика: император, против которого, собственно, и был направлен заговор, которого в ходе восстания намеревались убить или арестовать, оказывался благородным и честным человеком, протягивал несчастной женщине руку помощи. Николай победил заговорщика своим христианским человеколюбием, Рылеев же в собственных глазах неминуемо должен был выглядеть негодяем.

Получив от Натальи Михайловны сообщение о высочайших подарках, Рылеев ответил пространнным посланием, лейтмотив которого сводился к следующему: «Молись Богу за императорский дом». О себе же арестованный заговорщик общал: «Я мог заблуждаться, могу и впредь, но быть неблагодарным не могу. Милости, оказанные нам государем и императрицею, глубоко врезались в сердце мое. Что бы со мной ни было, буду жить и умру для них»<sup>221</sup>.

После этого Рылеев стал гораздо откровеннее на допросах. В частности, 24 апреля 1826 года он подтвердил, что вечером 13 декабря говорил Петру Каховскому: «Любезный друг! ты сир на сей земле; я знаю твое самоотвержение; ты можешь быть полезнее, чем на площади, — истреби царя!» Дополняя свое признание, заговорщик поведал следствию и о своих размышлениях накануне решающих событий: «Более всего страшился я, если ныне царствующий государь император не будет схвачен нами, думая, что в таком случае непременно последует междоусобная война. Тут пришло мне на ум, что для избежания междоусобия должно его принести на жертву, и эта мысль была причиною моего злодейскаго предложения»<sup>222</sup>.

По-видимому, это показание во многом предопределило судьбу Рылеева: у императора появилось моральное право отправить его на виселицу. Тот, чью семью Николай I лично облагодетельствовал, оказался цареубийцей. Причем если Пестель и его единомышленники, члены Южного общества, планировали убить Александра I, то в данном случае речь шла о покушении на самого Николая. Император не мог не понимать, что если бы обстоятельства сложились в пользу заговорщиков и Каховский выполнил поручение Рылеева, погибнуть могли и его собственные жена и ребенок.

«Если нужна казнь для блага России, то я один ее заслуживаю и давно молю Создателя, чтобы всё кончилось на мне, и все другие чтобы были возвращены их семействам, отечеству и доброду государю его великодушием и милосердием», — утверждал поэт в одном из показаний; те же мысли он излагал и в письме императору<sup>223</sup>. Но при этом его показания наполнены фамилиями участников заговора, подробными рассказами о подготовке восстания на Сенатской площади, пересказом собственных и чужих рассуждений о возможном цареубийстве.

Историк-мемуарист Дмитрий Кропотков, близкий к семье Рылеева и специально собиравший сведения о нем, утверждал в частном письме: «Впоследствии Рылеев отказался от всех своих заблуждений и раскаялся искренно. В искренности перемены своих убеждений и раскаяния не может быть ни-

какого сомнения. Рылеев был не из тех людей, которых можно было бы приневолить или заставить отказаться от своих убеждений»<sup>224</sup>.

Но несмотря на признание в «цареубийственных» замыслах и призыв казнить его одного, заговорщик очень надеялся на снисхождение императора. В конце концов, Николай I был отцом «златокудрого отрока», воспетого в оде «Видение» за два с половиной года до событий на Сенатской площади. Вполне возможно, что о реальности такого снисхождения поэту намекнул бывший министр Голицын, член Следственной комиссии, вошедший в ближний круг молодого императора. Голицын искренне сочувствовал Рылееву и помогал его семье. О том, что следователь и подследственный имели возможность общаться в неформальной обстановке, сообщает в мемуарах Трубецкой: «По соглашении предмета, по которому была у нас очная ставка, кн. А. Н. Голицын вступил с Рылеевым и со мною в частный разговор и продолжал его некоторое время в таком тоне, как будто мы были в гостиной; даже с приятным видом и улыбкой, так, что, вопреки всем дотоле бывшим убеждениям, пришла мне мысль, что, вероятно, кн. Голицыну известно, что дело наше не так худо кончится; что религиозный человек, каким он издавна почитался, не мог бы так весело разговаривать и почти шутить с людьми, обреченными смерти...»<sup>225</sup>

Зная о возможном смертном приговоре, Рылеев был уверен: император этому приговору противится. Николай Бестужев рассказывает в мемуарах о некоей «записке», посланной Рылеевым своим товарищам, «когда он узнал о действиях Верховного уголовного суда». Записка «начиналась следующими словами: “красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас Бог, государь и благомыслящие люди”»<sup>226</sup>.

Последний цикл стихов, написанный Рылеевым в Петропавловской крепости, имеет ярко выраженную мистическую окраску, нехарактерную для его предыдущих, вполне рационалистических произведений.

...Творец! Ты мне прибежище и сила,  
Вонми мой вопль, услышь мой стон.  
Приинкни на мое моление,  
Вонми смирению души,  
Пошли друзьям моим спасенье,  
А мне даруй грехов прощенье  
И дух от тела разреши.

.....



Для цели мы высокой созданы:  
Спасителю, сей истине верховной,  
Мы подчинить от всей души должны  
И мир вещественный, и мир духовный.  
Для смертного ужасен подвиг сей,  
Но он к бессмертию стезя прямая;  
И, благовествуя, речет о ней  
Сама нам истина святая:  
«И плоть и кровь преграды вам поставит,  
Вас будут гнать и предавать,  
Осмеивать и дерзостно бесславить,  
Торжественно вас будут убивать,  
Но тщетный страх не должен вас тревожить.  
И страшны ль те, кто властен жизнь отнять  
И этим зла вам причинить не может!»

...Ты прав: Христос спаситель нам один,  
И мир, и истина, и благо наше;  
Блажен, в ком дух над плотью властелин,  
Кто твердо шествует к Христовой чаше.  
Прямой мудрец: он жребий свой вознес,  
Он предпочел небесное земному,  
И, как Петра, ведет его Христос  
По треволнению мирскому.  
Душою чист и сердцем прав  
Перед кончиною подвижник постоянный,  
Как Моисей, с горы Навав,  
Узрит он край обетованный<sup>227</sup>.

Эти стихи адресованы Евгению Оболенскому. Тот вспоминал, что они были наколоты на кленовых листках, которые сторож принес ему в каземат. Однако сохранились эти строки не только в мемуарах Оболенского — черновики посланий были написаны на обороте писем Натальи Рылеевой мужу<sup>228</sup>.

Стихи были многократно прокомментированы исследователями. «Религия была единственным исходом, к которому должна была прийти эта сентиментальная натура, когда всякий способ и предлог к проявлению энергии был у нее отнят», — писал Н. А. Котляревский. «Религиозность, никогда не покидавшая его в течение всей жизни, теперь всецело овладела его душой и часто облегчала его страдания», — вторил ему В. И. Маслов<sup>229</sup>.

Однако, размышляя о предсмертных стихах Рылеева, исследователи часто упускают из виду еще один явный источник его религиозных раздумий — книгу средневекового монаха и теолога Фомы Кемпийского «О подражании Христу», которая была у него в крепости. В начале следствия, 21 января 1826 года, он писал жене: «Пришли мне, пожалуйста, все 11 томов Карамзина Истории... они, кажется, стоят в большом шкафу... да прикажи также приискать в книжных лавках книгу

«о подражании Христу», переводу М. М. Сперанского». «Историю государства Российского» передавать Рылееву было запрещено, но книгу Фомы Кемпийского он вскоре получил. 5 февраля он поблагодарил жену за книгу: «Она питает меня теперь. Советую тебе снова прочесть ее: в час скорби она научает внятнее и высокие истины ее тогда доступнее»<sup>230</sup>.

Следовательно, дома у Рылеева сочинения Фомы Кемпийского, в отличие от «Истории» Карамзина, не было и в круг его активного чтения до ареста эта книга не входила. Между тем она была одной из главных мистических книг эпохи, в начале XIX века неоднократно переводилась на русский язык. Один из таких переводов осуществил знаменитый государственный деятель Михаил Сперанский, не чуждый увлечения мистикой. Первое издание этого перевода появилось в России в 1819 году, последний раз перед событиями на Сенатской площади она была издана в 1821-м под эгидой голицынского министерства.

Главная идея «Подражания Христу» выражена в строках: «...если преуспяние наше в благочестии поставляем мы в исполнении одних только внешних обрядов, то благоговение наше скоро исчезнет. Но обратим секиру на самый корень древа, дабы, очистив себя от страстей, наслаждаться душевной тишиною»<sup>231</sup>. Это утверждение современные исследователи называют индивидуальной религиозностью, а современники Рылеева именовали внутренней Церковью.

Аскетизм, которым проникнута книга, выражается, в частности, в идее любви к Христу даже в том случае, когда ему «было угодно не посылать им никакой отрады», — именно в таком состоянии находился Рылеев в крепости. В сочинении средневекового теолога содержится и много других утешительных для узника изречений, в том числе «о пользе несчастий»: «...суды Божии различны от судов человеческих»; «...весьма великое дело пребывать в повиновении... и не быть в своей власти». Рылеев также мог найти у Фомы Кемпийского оправдание собственному поведению на следствии: «...если Бог пребывает с нами, нам нужно, для сохранения мира, иногда и отступать от наших мыслей». Рассуждал философ и об опасности дружеских связей, отвлекающих человека от познания божественных истин»<sup>232</sup>.

В книге «О подражании Христу» Рылеев мог обнаружить мысли, созвучные его собственным честолюбивым устремлениям. Еще в корпусе он писал отцу, что желает «вознестись» «превыше человеков» и готов для этого стоически переносить «все несчастья, все бедствия»<sup>233</sup>. Трактат Фомы Кемпийского вполне мог убедить Рылеева в правильности подобных мечтаний — просто действовать следовало не в политике, а на поп-

рище познания божественной истины: «Кто любит Иисуса и истину, кто действительно углублен во внутреннее и свободен от неправильных привязанностей, тот может свободно обращаться к Богу, возноситься духом превыше самого себя и покоиться уладительно»<sup>234</sup>.

Все эти утешительные, «питающие» узника мысли — о противостоянии земного и небесного, о тщете всего мирского, о необходимости жертвы ради торжества Бога, об очищающей силе страдания — можно увидеть в последнем цикле рылеевских стихов.

Перед смертью Рылеев написал жене письмо, проникнутое всё теми же религиозными мыслями: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть, и умереть смертью позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись Богу, он услышит твои молитвы. Не ропши ни на него, ни на государя; это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды непостижимого? Я ни разу не возроптал во всё время моего заключения, и за то Дух Святой дивно утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином. Благодарю моего создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе»<sup>235</sup>.

Во время казни, «когда отняли скамьи из-под ног, веревки оборвались, и трое преступников... рухнули в яму»<sup>236</sup>. Среди возможных причин падения с виселицы свидетели называют также плохо затянутые на шеях осужденных веревочные узлы. Согласно официальной версии событий, Рылееву вместе с Каховским и Сергеем Муравьевым-Апостолом пришлось умирать дважды. Сорвавшиеся сильно разбилися при падении, однако находились в сознании.

Большинство свидетелей запомнили этот момент как самый тяжелый во всей процедуре исполнения смертного приговора.

Не выдержал этого зрелища, в частности, генерал Александр Бенкендорф — один из следователей по делу о тайных обществах, будущий шеф российской тайной полиции. Мемуарное свидетельство сохранило рассказ присутствовавшего при казни протоиерея Мысловского: «...видя, что принимают снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось,

должен был освободить», Бенкендорф воскликнул: «Во всякой другой стране...» и оборвал себя на полуслове<sup>237</sup>. По воспоминаниям Николая Лорера, «чтоб не видеть этого зрелища», Бенкендорф «лежал ничком на шее своей лошади»<sup>238</sup>. Однако столичный генерал-губернатор Павел Голенищев-Кутузов, занявший эту должность после смерти Милорадовича, отдал приказ о повторном повешении.

Но починить виселицу в кратчайшие сроки не удалось: «Запасных веревок не было, их спешили достать в ближних лавках, но было раннее утро, всё было заперто; почему исполнение казни еще промедлилось»<sup>239</sup>.

Существует множество свидетельств о том, как вели себя сорвавшиеся с виселицы смертники, ожидавшие повторной казни. В частности, источники фиксируют диалог Рылеева с Голенищевым-Кутузовым:

«Весь окровавленный Рылеев... обратившись к Кутузову, сказал:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях».

На возглас Кутузова «Вешайте их скорее снова!» Рылеев ответил: «Подлый опричник тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз»<sup>240</sup>.

Некоторые мемуаристы приписывают этот разговор с Голенищевым-Кутузовым Каховскому. По свидетельству Ивана Якушкина, осужденного в 1826 году на каторгу, «Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова»<sup>241</sup>. Есть и свидетельство о том, что Рылеев, у которого при падении «колпак упал и видна была окровавленная бровь и кровь за правым ухом», сказал подошедшим к нему полицейским: «Какое несчастье!»<sup>242</sup>

Когда виселица была готова, троих сорвавшихся повесили вторично. «В таком положении, — сообщает очевидец, — они оставались полчаса, доктор, бывший тут, объявил, что преступники умерли»<sup>243</sup>. Однако другой наблюдатель сообщает, что «через три четверти часа» после повторного повешения «было 6 часов, и тела не смели висеть долее сего срока; сняли, внесли в сарай; но как они еще хрипели, то палачи должны были давить их, затесняя (затягивая. — О. К.) петли руками»<sup>244</sup>.

Через два дня после казни князь Голицын сообщил коменданту крепости генералу Александру Сукину: «...государь император указать соизволил, чтобы образ, бывший в каземате у Рылеева, и письмо, им писанное к жене, вы доставили ко мне для возвращения жене»<sup>245</sup>.

---

---

**СЕРГЕЙ ТРУБЕЦКОЙ  
И СЕРГЕЙ МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ.  
ПЕТР СВИСТУНОВ  
И ИПОЛИТ МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ**

В исторической науке давно устоялось мнение, что именно Рылеев был главным организатором восстания на Сенатской площади. Это мнение подкреплено множеством доказательств: показаниями арестованных заговорщиков, их позднейшими мемуарами, вердиктами следователей и судей.

Свою лидирующую роль в организации восстания признавал на следствии и сам Рылеев: «Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо... я мог остановить оное и не только того не подумал сделать, а, напротив, еще преступною ревностью своею служил для других... самым гибельным примером». Однако поэт считал, что вину с ним должен разделить другой заговорщик — князь Трубецкой, избранный диктатором — военным руководителем восставших войск, но не вышедший на площадь: «Он не явился и, по моему мнению, это есть главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились»<sup>1</sup>.

И в этих, казалось бы, взаимоисключающих признаниях была большая доля правды. Ведущая роль Рылеева в подготовке восстания определялась его положением правителя дел Российско-американской компании и, соответственно, реальной возможностью повлиять на судьбу императорской фамилии. Своими революционными стихами он воздействовал на молодых офицеров, литераторов и функционеров компании, поддерживал их решение участвовать в революционном действии.

Однако Рылеев, при всём его вдохновенном энтузиазме, не мог командовать войсками на площади: статский человек не имел возможности распоряжаться солдатами — они просто не стали бы его слушать. Именно поэтому он был вынужден сотрудничать с Сергеем Трубецким.

Но Рылеев не имел морального права обвинять Трубецкого в неявке на площадь — его самого там тоже никто не видел.

Согласно «Донесению Следственной комиссии», Трубецкой обманул товарищей; но и Рылеев «не сдержал слова» встать в ряды восставших<sup>2</sup>.

Показание поэта, обвиняющее Трубецкого в «беспорядках» и «убийствах», — отражение не столько ситуации самого восстания, сколько сложившихся задолго до 14 декабря конфликтных отношений двух лидеров.

Казалось бы, биография Сергея Трубецкого логична, типична и для офицера 1820-х годов, и для заговорщика. Представитель знатного княжеского рода, он поступил на службу в 1808-м. В составе лейб-гвардии Семеновского полка участвовал в Отечественной войне (Бородино, Тарутино, Малоярославец) и Заграничных походах (Лютцен, Баутцен, Кульм, Лейпциг), был награжден орденами Анны 4-й степени, Владимира 4-й степени с бантом, прусскими орденами «*Pour le Mérite*» («За достоинство») и Железного креста. В Битве народов был ранен. Послевоенная карьера князя Трубецкого выглядит вполне успешной. Служил он в самых привилегированных гвардейских полках — Семеновском, затем Преображенском, исполняя при этом должность старшего адъютанта Главного штаба. 14 декабря 1825 года он встретил в чине полковника гвардии.

Основатель Союза спасения, один из руководителей Союза благоденствия, восстановитель Северного общества в 1823 году, он входил в кружок «Зеленая лампа», общался с Пушкиным, способствовал организации ланкастерских школ, жил во Франции, организовывал 14 декабря, был назначен «диктатором» восстания, но на площадь не вышел. После провала антиправительственного выступления подвергся аресту, по итогам следствия едва не попал на виселицу и был приговорен к вечной каторге.

Однако биография князя изобилует белыми пятнами.

В 1819 году Трубецкой, тогда капитан лейб-гвардии Семеновского полка, становится старшим адъютантом Главного штаба русской армии.

Этот орган был создан 12 декабря 1815 года в ходе послевоенной перестройки армии. «Главный штаб есть сосредоточие, в котором соединяются все части военного управления в высшем их отношении», — гласил высочайший указ<sup>3</sup>. Начальник Главного штаба, генерал от инфантерии князь Петр Волконский, был докладчиком императору по всем вопросам воен-

ного управления. Ему подчинялись военный министр, дежурный генерал, генерал-квартирмейстер со штабом, инспекторы артиллерии и Инженерного корпуса, а также руководители военного духовенства.

Фактически вторым лицом в штабе после Волконского был дежурный генерал; в 1815—1823 годах эту должность занимал генерал-лейтенант Арсений Закревский. В его ведении были Инспекторский департамент, ведавший кадровым составом армии, судная часть (Аудиторский департамент) и старшие адъютанты штаба<sup>4</sup>, в том числе Сергей Трубецкой.

Среди дел Инспекторского департамента сохранилось «Дело по представлению генерал-адъютанта Потемкина о помещении в Главном штабе в число старших адъютантов л[ейб]-г[вардии] Семеновского полка капитана князя Трубецкого». Состоит оно всего из двух листков. На первом из них — отношение командира Семеновского полка, генерал-майора и генерал-адъютанта Якова Потемкина, датированное 6 мая 1819 года и адресованное, очевидно, князю Петру Волконскому: «Государь император приказать изволил доложить Вашему сиятельству, чтоб напомнить Его величеству лейб-гвардии Семеновского полка о капитане князе Трубецком». Далее следуют еще три записи: «Высоч[айше] повелено поместить в Глав[ный] штаб Е[го] и[мператорского] в[еличества] в число старших адъютантов. 6 мая 1819»; «Немедля!»; «Испол[нено] приказом 14 мая 819»<sup>5</sup>.

Из этого короткого дела следует: инициатором назначения Трубецкого в Главный штаб был лично император Александр I, просивший «напомнить» ему о капитане-семеновце. Спешка, с которой оно происходило, свидетельствует о крайней заинтересованности императора в том, чтобы Трубецкой быстрее получил новую должность.

Не прослужив в Главном штабе и двух недель, Трубецкой, согласно его показаниям, «был уволен в отпуск за границу и выехал в июне месяце; возвратился же из-за границы в С. Петербург в сентябре месяце 1821-го года... За границей... жил только в Париже». В воспоминаниях Евгения Оболенского также находим подтверждение истории с «отпуском»: по мнению мемуариста, Трубецкой приехал в Париж, «сопровождая больную свою двоюродную сестру княгиню Куракину»<sup>6</sup>.

Но документы свидетельствуют, что в 1819 году Трубецкой в отпуске не был — соответствующая запись отсутствует в его формулярном списке. Более того, князь действительно просился в отпуск, но не получил императорского согласия. Хранящееся в Российском государственном военно-историче-

ском архиве дело «Об увольнении в отпуск за границу старшего адъютанта Главного штаба князя Трубецкого» содержит прошение об отпуске, которое он подал «по команде»:

«Всепресветлейший державнейший великий государь император Александр Павлович, самодержец Всероссийский, государь всемилостивейший.

Просит старший адъютант Главного штаба Его императорского величества лейб-гвардии Семеновского полка капитан князь Сергей Петров сын Трубецкой о нижеследующем:

1-е

Я, нижепоименованный, имею необходимую надобность быть в отпуску за границу для излечения болезни, почему, прилагая при сем свидетельство, данное мне от главного по армии медицинского инспектора Виллие, всеподданнейше прошу, дабы Высочайшим Вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять, а меня, именованного, в отпуск за границу уволить.

Всемилоостивейший государь, прошу Ваше императорское величество о сем моем прошении решение учинить. Мая [...] 1819 года. К подаению надлежит по команде, прошение сие писал Лейб-гвардии Семеновского полка баталионный писарь Алексей Слободин 1-й.

К сему прошению старший адъютант Главного штаба Его императорского величества лейб-гвардии Семеновского полка капитан князь Сергей княж Петров сын Трубецкой руку приложил».

Рядом с этим документом — резолюция: «Записку к докладу. 26 мая 1819»<sup>7</sup>.

В том же деле содержится справка о состоянии здоровья Трубецкого:

#### «Свидетельство

При освидетельствовании лейб-гвардии Семеновского полка г. капитана князя Трубецкого нашел я, что он страдает сильною грудною болью с кровохарканием и изнурением всего тела, оказавшимся после раны под Лейпцигом ядром в лядвию (бедро. — *О. К.*). Хотя и не возможно думать, чтобы рана сия была единственною причиною означенной болезни, но я однако же полагаю, что она без сомнения несколько к тому способствовала, и нахожу, что едва ли возможно будет возвратить ему здоровье без увольнения от дел службы на несколько месяцев, ибо как строевая, так и канцелярская служба для него вредны. Во уверение чего и дано ему от меня сие за моим подписанием и печатью в С. Петербурге 15 мая 1819. Главный по армии медицинский инспектор Яков Виллие»<sup>8</sup>.



Далее следует записка, подготовленная, очевидно, «к докладу» императору 26 мая:

«Старший адъютант Главного штаба Его императорского величества лейб-гвардии Семеновского полка капитан князь Трубецкой просит об увольнении в отпуск за границу для излечения одержимой его болезни, испрашивая при том позволения ему отправиться на том фрегате, который назначается к отъезду в Англию. Санкт-Петербург. 26-го мая 1819».

На том же листе приписка:

«Переговорить с Вил[л]ие на словах о болезни к[нязя] Трубецкого. 28 мая 1819»<sup>9</sup>.

Последний документ в этом деле — черновик уведомления от 5 июня 1819 года:

«Старшему адъютанту Главного штаба Его в[еличест]ва, л[ейб]-г[вардии] Семеновского полка капитану князю Трубецкому. На поданное от вас прошение об увольнении вас за границу до излечения болезни г[осударь] и[мператор] не изъявил всеподданнейшего соизволения, предоставляя вам лечиться здесь, о чем сим вас и уведомляю.

Подписал: дежурный генерал Закревский»<sup>10</sup>.

В документах этих много непонятного. Во-первых, на прошении Трубецкого об отпуске отсутствует точная дата — а в таком виде подавать документы «на Высочайшее имя» было не принято. Во-вторых, в мае прошения об отпуске подавать было запрещено: летом, во время интенсивной строевой подготовки войск, постоянных маневров и парадов, требовалось присутствие всех офицеров.

Следующая странность — подпись на свидетельстве о болезни Трубецкого знаменитого русского военного врача баронета Якова Виллие. В 1819 году он — отнюдь не только «главный по армии медицинский инспектор». Знаменитый военный врач, он тогда был уже действительным статским советником, лейб-медиком императора Александра I, начальником Медицинского департамента Военного министерства, президентом Медико-хирургической академии. Естественно, что у него было много дел и далеко не каждый капитан, пусть и гвардеец, мог получить от него свидетельство, тем более что в то время в Семеновском полку служили три лекаря<sup>11</sup>.

Однако те, кто готовил справку о Трубецком для императора, баронету не поверили — и решили «переговорить» с ним «на словах о болезни к[нязя] Трубецкого». В самой справке тоже содержится странность: согласно ей, Трубецкой собирался

ехать вовсе не во Францию. Название фрегата, «который назначается к отъезду в Англию», в деле не фигурирует — очевидно, император был в курсе, какой корабль имелся в виду.

Как следует из дела, 5 июня Трубецкой узнал об отказе императора предоставить ему отпуск. Но, что самое удивительное во всей этой истории, спустя еще три недели капитан покинул Петербург. 26 июня в письме своему хорошему знакомому Алексею Оленину, директору Публичной библиотеки и президенту Академии художеств, явно написанном в спешке, он сообщал: «Я сам весьма захлопотался, ибо в обед получил повестку приготовиться к отъезду; почему сомневаюсь, чтобы вы имели время прислать ваши письма. В одиннадцать часов мы будем на пароходе и как скоро взойдем на фрегат, то эскадра примет якорь»<sup>12</sup>. В 1819 году пароходное сообщение в России существовало только между Петербургом и Кронштадтом. Соответственно, пароход из Петербурга должен был доставить князя на некий фрегат, стоявший на кронштадтском рейде и готовый к отплытию в составе эскадры.

Конечно, князь не был дезертиром или нарушителем, не исполнившим указание императора. Спешка с назначением старшим адъютантом, «свидетельство», подписанное лично Виллие, устные «переговоры» с ним, отказ императора предоставить князю отпуск, затем срочная «повестка» к отъезду заставляют подозревать в путешествии князя тайную государственную надобность. Известно, что старшие адъютанты Главного штаба нередко выполняли секретные поручения командования, в том числе и дипломатического свойства. Очевидно, в данном случае служебную командировку вначале хотели оформить как отпуск, однако потом из соображений секретности отпуск всё же решили не оформлять.

Между тем из архивных дел удалось выяснить, на каком корабле и куда отправился Трубецкой. 26 июня из Кронштадта отплыла и взяла курс на Англию маленькая эскадра из фрегата «Гектор» и брига «Олимп», укомплектованных моряками Гвардейского экипажа. Маршрут эскадры известен: его конечной точкой был английский порт Гримсби. План ответственного плавания разрабатывался с января: командиру Балтийской эскадры адмиралу Роберту Кроуну было поручено приготовить корабли «на случай другого предмета». «Предмет» рассекретили в начале апреля: следовало вывезти из Англии российского статс-секретаря по иностранным делам, фактически — министра иностранных дел Иоанниса Каподистрию<sup>13</sup>.

Каподистрия, личный друг и советник императора, имел очень высокий дипломатический статус. Однако летом 1819 года он возвращался в Россию из частной поездки, и отправлять

за ним в Европу два корабля было делом необычным для российской дипломатии.

Необычность эта, впрочем, легко объяснима: согласно письму второго статс-секретаря по иностранным делам графа Карла Нессельроде Каподистрии от 8 (20) мая 1819 года, тому следовало, при желании персидского посла в Англии мирзы Абуль Хасан-хана поехать в Россию, забрать его с собой из Лондона, предоставив на одном из кораблей специальную каюту. Очевидно, именно на этот случай одна каюта на «Гекторе» была обита дорогой тканью, а среди вещей находился серебряный сервиз. Возвращение Каподистрии в Россию приобретало, таким образом, «первостепенную важность для служения нашему августейшему государю»<sup>14</sup>.

Плавание «Гектора» и «Олимпа» — один из эпизодов жесткого дипломатического противостояния Англии и России в первой четверти XIX века. Сферой столкновения дипломатических интересов в данном случае была Персия, за влияние на которую, собственно, и боролись две страны. Борьба эта спустя несколько лет окончится Русско-персидской войной (1826—1828), подписанием Туркманчайского мира и убийством русского посла в Тегеране Александра Грибоедова. Не вдаваясь в тонкости дипломатических отношений начала XIX столетия, отметим только, что в 1816 году Абуль Хасан-хан возглавлял персидскую дипломатическую миссию в Петербурге. Его хорошо знали в столичном высшем свете и при дворе. Сам посол неоднократно демонстрировал свою лояльность к России; правда, исследователи считают ее лишь дипломатическим приемом, предназначенным напугать Англию и заставить ее выплачивать Персии субсидии<sup>15</sup>. Но в любом случае, если бы удалось уговорить его подняться на борт российского корабля, это была бы большая дипломатическая победа.

В письме Нессельроде содержались также подробные инструкции по организации поездки посла. Каподистрии предписывалось найти для сопровождения иранского дипломата «одного человека из чиновников нашей миссии с достаточно хорошим знанием английского языка, дабы можно было изъясняться с ним»: «При умелом поведении сопровождающий, возможно, без особого труда войдет в доверие к нему и получит представляющие интерес сведения о различных поручениях, которые он только что выполнил»<sup>16</sup>.

Мы не знаем, кто из сотрудников русской дипломатической миссии в Лондоне был выбран для исполнения важной миссии. Не исключено, что это был приятель Пушкина Николай Кривцов, пользовавшийся исключительным доверием Каподистрии<sup>17</sup>. Однако очевидно, что одним сотрудником Министерство иностранных дел не ограничилось: в помощь

Каподистрии из Петербурга был отправлен капитан Трубецкой, прекрасно знавший английский язык<sup>18</sup>. Иначе сложно объяснить присутствие гвардейского капитана на дипломатическом корабле, выполнявшем секретную миссию, суматоху и тайну, с какими совершалась эта отправка.

Каподистрия, согласно документам, поднялся на борт «Гектора» во французском Гавре и прибыл на нем в Гримсби. Оттуда, уже сухим путем, он отправился в Лондон — очевидно, в сопровождении Трубецкого. По крайней мере, точно известно, что в Лондоне Трубецкой был: об этом как о само собой разумеющемся факте он сообщил в письме своему приятелю Николаю Тургеневу<sup>19</sup>.

Однако миссия Каподистрии не удалась: взвесив все обстоятельства, опытный дипломат даже не стал предлагать персу ехать вместе с ним в Россию. Шахский посол покинул Лондон лишь год спустя, в марте 1820-го. Сам же Каподистрия вернулся в Гримсби, «Гектор» и «Олимп» подняли якоря и покинули территориальные воды Англии. Однако в Петербург статс-секретарь не поплыл: согласно его собственным запискам, он «в Данциге вышел на берег и отправился в Варшаву ожидать прибытия государя, которое должно было последовать в конце сентября месяца»<sup>20</sup>.

На обратном пути Трубецкого на «эскадре» уже не было. Очевидно, когда стало ясно, что сопровождать Абуль Хасан-хана в Россию не придется, он реализовал идею отдыха, уехав во Францию. В сентябре 1819 года он был уже в Париже — об этом свидетельствует письмо, отправленное Трубецким другому своему приятелю, Ивану Толстому. Во французской столице он жил, по его собственным словам, «мирно», «занимался слушанием курсов естественных наук, физики, химии, механики... иногда ходил слушать известнейших профессоров по другим частям; ходил на некоторые лекции в Политехническое училище»<sup>21</sup>. В Париже князь женился: его избранницей стала графиня Катерина Лаваль, дочь французского эмигранта и крупного чиновника сразу двух российских министерств: иностранных дел и просвещения.

Пока Трубецкой был за границей, в России произошла (октябрь 1820 года) «семеновская история». Как известно, после беспорядков полк был раскассирован: солдаты и офицеры переведены в армейские полки. Даже для тех офицеров, которые по каким-то причинам в тот момент находились вне Петербурга, «история» закончилась серьезным понижением служебного статуса. К примеру, штабс-капитан Семеновского полка Матвей Муравьев-Апостол служил на Украине адъютантом малороссийского генерал-губернатора Николая Репнина и к беспорядкам в столице никакого отношения не имел, но спус-

тя год без всяких объяснений стал майором армейского Полтавского полка<sup>22</sup>. Ему не оставалось ничего другого, как подать в отставку — чего, кстати, не могли себе позволить те, кто в момент восстания находился «при полку налицо», лишенные права не только на отставку, но даже на отпуск.

Однако Трубецкого правительственные репрессии не коснулись вовсе. Он тоже был переведен — но в лейб-гвардии Преображенский полк, считавшийся по старшинству гвардейских полков наравне с Семеновским. Через несколько месяцев после возвращения из-за границы он получил чин полковника<sup>23</sup>.

Неясно, почему Трубецкой так тщательно скрывал свою секретную миссию 1819 года на допросах Следственной комиссии по делу декабристов. Возможно, он не хотел признаваться в отношениях с Нессельроде и Каподистрией и тем порождать ненужные вопросы; возможно также, что он общался в Лондоне с тем или с теми, о ком следователям знать не полагалось.

Но более правдоподобным представляется другое объяснение. Умный и опытный заговорщик, он не мог не понимать, что раскрытие антиправительственного заговора всегда вызывает вопросы об «иностранном влиянии» и «иностранных деньгах». В отношении Трубецкого такие вопросы ставились с первого дня следствия: его арест сопровождался крупным дипломатическим скандалом. Князь был взят под стражу в доме своего близкого родственника, австрийского посла в России графа Людвига Йозефа фон Леббельтерна, а потому в аресте принимал участие сам Нессельроде. Вскоре после этого инцидента австрийский посол был отозван из России. И Трубецкому явно не хотелось добавлять к «австрийскому следу» в своей деятельности еще и «английский след».

Вернувшись в сентябре 1821 года в Россию, Трубецкой продолжил службу в столице в должности старшего адъютанта Главного штаба. Должность эта была в 1820-х годах ответственной и почетной. Число старших адъютантов колебалось от четырех до семи. Они назначались «из отличнейших штаб- и обер-офицеров армии». В число их обязанностей входило «развозить важнейшие приказания», «осматривать войска, караулы, госпитали», «наблюдать везде за благоустройством и порядком» — и доносить о найденных недочетах как командирам соответствующих подразделений, так и дежурному генералу<sup>24</sup>. Таким образом, функции старших адъютантов были прежде всего надзорно-полицейскими.

Трубецкой со своими обязанностями справлялся, по-видимому, хорошо, был ценим и любим Волконским и Закревским.

Все задания, которые выполнял Трубецкой в качестве старшего адъютанта Главного штаба, выявить не удалось, однако известно, что в 1822 году князю было поручено ответственное дело — проверка финансовой деятельности фельдъегерского корпуса, с которой он блестяще справился<sup>25</sup>.

Пока Трубецкой инспектировал фельдъегерский корпус, в Главном штабе произошли большие перемены: своих постов лишились и Волконский, и Закревский. Волконский, один из самых близких к Александру I людей, ненавидел графа Аракчеева, соперничал с ним за влияние на императора. Начальник Главного штаба открыто презирал Аракчеева и «называл змеем», а в частных письмах удивлялся «непонятному ослеплению» государя начальником военных поселений. Естественно, и близкие к Волконскому армейские генералы именовали Аракчеева «проклятым змеем», «уродом», «чудовищем», «чумой», «выродком ехидны», «извергом», «государственным злодеем», «вреднейшим человеком в России» и пр.<sup>26</sup>

Зато Аракчеев был молчалив — о его «мнениях» по поводу Волконского ничего не известно. Однако в апреле 1823 года император отправил начальника штаба формально в бессрочный отпуск, а фактически в отставку. Место его занял ставленник «урода» генерал-лейтенант Иван Дибич. А спустя еще четыре месяца лишился своей должности и Закревский. Новым дежурным генералом стал совершенно бесцветный генерал-майор Алексей Потапов.

Трубецкой же прекрасно уживался и с Дибичем, и с Потаповым. В декабре 1823 года, «по засвидетельствовании начальства об отличной службе и трудах», он был награжден орденом Святой Анны 2-й степени<sup>27</sup>. Вскоре у старшего адъютанта появились новый круг обязанностей и новые карьерные возможности.

Пожалуй, самая яркая страница служебной биографии князя — его деятельность в последний перед арестом год. Полковник Преображенского полка и старший адъютант Главного штаба в декабре 1824 года был назначен дежурным штаб-офицером 4-го пехотного корпуса со штабом в Киеве, а в феврале 1825-го приступил к своим обязанностям. Корпус, в котором он служил, входил в состав 1-й армии, которой командовал генерал от инфантерии граф Фабиан Остен-Сакен, а начальником штаба был генерал-лейтенант барон Карл Толь. Главная квартира армии располагалась в Могилеве.

Место дежурного штаб-офицера Трубецкому предложил командир 4-го корпуса генерал от инфантерии князь Алексей Щербатов, с которым полковник познакомился в Париже.

«Когда князь Щербатов, будучи назначен корпусным командиром, предложил мне ехать с ним, то я с одной стороны доволен был, что удалюсь от общества, с другой хотел и показать членам, что я имею в виду пользу общества и что там я могу ближе наблюдать и за Пестелем», — сообщил Трубецкой следователям<sup>28</sup>. Этому показанию вряд ли стоит доверять. Борьба с честолюбцем Пестелем стала для Трубецкого одной из главных линий самозащиты на следствии. «Удаляться» же от общества князь и вовсе не собирался. И события декабря 1825 года — явное тому подтверждение.

Между тем, соглашаясь ехать в Киев, князь не просто принимал предложение Щербатова. Он был не единственным кандидатом на эту должность. Командир Отдельного кавказского корпуса Алексей Ермолов ходатайствовал за своего племянника, капитана лейб-гвардии Егерского полка Каховского, и его просьбу поддержал генерал Толь. Назначение Трубецкого было явно «продавлено» «сверху». Император «высочайше отозвался, что вообще, а при 4-м корпусе особенно, по расположению оно в Киеве, находит нужным иметь дежурного штаб-офицера, знающего твердо фронтную службу»<sup>29</sup>. У Каховского же опыта «фронтной службы» не было — он служил адъютантом у Остен-Сакена.

Однако и опыт Трубецкого по этой части был весьма скуден: как уже говорилось, в мае 1819 года он перешел со строевой службы в Главный штаб. Необходима была очень сильная поддержка его кандидатуры, чтобы она была утверждена, невзирая на просьбы Ермолова и Толя. Впоследствии, уже после 14 декабря, Щербатов объяснял армейским властям, что взял Трубецкого к себе, потому что он пользовался уважением «своих начальников и даже самого покойного государя императора, изъявленным его величеством при определении его дежурным штаб-офицером»<sup>30</sup>. Иными словами, окончательное решение отправить Трубецкого в Киев принял опять-таки Александр I.

До Щербатова 4-м пехотным корпусом командовал знаменитый герой Отечественной войны генерал от кавалерии Николай Раевский. Время, когда он вдохновлял своей деятельностью поэтов и художников, давно прошло. В Киеве генералу было решительно нечем заняться. О том, как проводил время командир корпуса, читаем, например, в воспоминаниях Филиппа Вигеля: «Лет двенадцать не было уже в Киеве военного или генерал-губернатора. Первенствующею в нем особою находился тогда корпусный командир, Николай Николаевич

Раевский, прославившийся в войну 1812 года. Тут прославился он только тем, что всех насильно магнетизировал и сжег обширный, в старинном вкусе, Елисаветою Петровной построенный, деревянный дворец, в коем помещались прежде наместники». А польский помещик Кржишковский сообщал в доносе на генерала: «Публика занялась в тишине соблазнительным магнетизмом и около года была совершенно заблуждена или не смела не верить ясновидящим и прочая, а более всего, что занимается магнетизмом заслуженный и первый человек в городе»<sup>31</sup>.

Действительно, командир 4-го корпуса оказывался высшим должностным лицом в Киевской губернии. Раевского вовсе не интересовали его обязанности — но еще меньше они интересовали его подчиненных по «гражданской» части: гражданского губернатора Ивана Ковалева и обер-полицмейстера Федора Дурова. В губернаторской канцелярии процветало неконтролируемое взяточничество. Например, в 1827 году было обнаружено, что секретарь Ковалева Павел Жандр за несколько лет присвоил деньги на общую сумму 41 150 рублей, тогда как годовое жалованье армейского капитана составляло 702 рубля<sup>32</sup>. При этом и сам губернатор в убытке явно не оставался.

Уровень преступности в городе был очень высок. Одним из самых распространенных преступлений было корчемство — незаконная торговля спиртными напитками, прежде всего водкой. Монополия на производство алкоголя в начале XIX века принадлежала государству, частные лица покупали у государства право на торговлю им. Система откупов порождала желание торговать водкой, не платя за это казне. Корчемство вызывало к жизни целые преступные сообщества, занимавшиеся незаконным производством водки, ее оптовой закупкой, ввозом в город и последующей перепродажей в розницу. В 1824 году управляющий киевскими питейными сборами Павел Баранцов доносил начальству: «Жители киевские... увеличивают шайки свои многолюдием и, запасаясь всякого рода орудиями, как то: пиками, саблями, пушечными ядрами, топорами, косами и дрючьями, повседневно ввозят в город корчемного вина целыми транспортами». Выяснилось к тому же, что в этих «шайках» участвуют и солдаты, играя роль своеобразной охраны корчемников. Баранцов «входил неоднократно с просьбами к разным лицам» «о всех таковых обидах, откупом терпимых... и просил законной защиты», но все его обращения «остались поныне без удовлетворения», из чего управляющий сделал закономерный вывод, что «полиция очевидно дает повод и послабление к дальнейшему корчемству»<sup>33</sup>.



Кроме того, в 1820-х годах в Киеве обреталось множество всяких подозрительных личностей. Особая их концентрация наблюдалась на знаменитых ежегодных январских «контрактах». В это время в город съезжались окрестные помещики, играли в запрещенные законом азартные игры, возлияния часто бывали неумеренными, помещики и офицеры ссорились и дуэлировались, а иногда устраивали банальные драки.

С 1823 года за картежниками была установлена слежка, ни к чему, однако, не приведшая. Полицмейстер Дуров, сам игрок, рапортовал по начальству, что помещики «приезжали сюда по своим делам домашних расчетов в контрактное время» и играли в карты «вечерами в своих квартирах, к коим временами съезжались знакомцы и также занимались в разные игры, но значительной или весьма азартной игры, а также историй вздорных чрез оную не случилось во всё время»<sup>34</sup>.

В Киеве активно действовали и масоны, не прекратившие свои собрания после императорского указа (1822) о запрещении масонских лож и тайных обществ. В Петербург постоянно шли доносы: «...существовавшая в Киеве масонская ложа не уничтожена, но переехала только из города в предместье Куреневку»<sup>35</sup>. Но местная администрация, проводившая по этому поводу следствие, ложу не обнаружила. «С того времени как последовало предписание о закрытии существовавшей здесь ложи, она тогда же прекратилась, и могущие быть общества уничтожились, особенных же тайных сборищ по предмету сему здесь в городе и в отдаленностях окрестных, принадлежащих к городу по его пространству, никаких совершенно не имеется»<sup>36</sup>, — отчитался Дуров губернатору.

Особенную тревогу высших должностных лиц империи вызывали жившие в Киеве и его окрестностях поляки — им априорно приписывались антироссийские настроения. Ковалеву и Дурову было поручено следить за ними. Однако и эта слежка ни к чему не привела. «Суждений вольных я не заметил, кои были предметом моего наблюдения», — рапортовал Дуров. Ковалев докладывал императору, что польские помещики «ведут себя скромно и осторожно, стараются даже показывать вид особенной к правительству преданности»<sup>37</sup>.

В начале 1820-х годов в Киеве можно было обнаружить не только корчемников, масонов, азартных игроков и неблагонадежных поляков. Город стал излюбленным местом встреч участников антиправительственного заговора. На «контрактах» проходили «съезды» руководителей Южного общества. Кроме того, в 30 верстах от Киева, в уездном городе Василькове, был расквартирован полковой штаб Черниговского пехот-

ного полка. Это был и центр Васильковской управы Южного общества, руководимой подполковником Сергеем Муравьевым-Апостолом, командиром одного из батальонов Черниговского полка.

О Сергее Муравьеве-Апостоле никто и никогда не говорил плохо. Исключая правительственную переписку о восстании Черниговского полка, где Муравьева официально именуют «злодеем», «гнусным мятежником» и «главарем злоумышленной шайки», ни одно из документальных свидетельств того времени не ставит под сомнение личную честь вождя южного восстания, его мужество и бескорыстие.

Аристократ, в чьих жилах текла кровь трех славянских народов: сербского, украинского и русского, — сын сенатора и потомок гетмана Украины, Сергей Муравьев вместе со старшим братом Матвеем учился в Париже, в частном закрытом пансионе. Романтический ореол окружает его с самых первых лет жизни. Современник вспоминал: император Франции однажды посетил этот пансион и, «войдя в тот же класс, где сидел Муравьев, спросил: кто этот мальчик? И когда ему отвечали, что он русский, то Наполеон сказал: “Я побился бы об заклад, что это мой сын, потому что он так похож на меня”»<sup>38</sup>.

До тринадцати лет Сергей Муравьев не знал русского языка, а в 15 уже воевал против вчерашних учителей. Закончив войну семнадцатилетним штабс-капитаном, он имел три боевых ордена и наградную золотую шпагу. В 1816 году он стал одним из основателей Союза спасения — и все прожитые потом десять лет (исключая полгода следствия и суда) готовил себя к гражданскому подвигу во имя России. Восстание Черниговского полка — логическое завершение жизненного пути Муравьева; с этим соглашались большинство писавших о нем историков.

Муравьев-Апостол был в кругу будущих декабристов живой легендой. Переведенный на юг после «семеновской истории», в 1821—1825 годах он служил в городе Василькове Киевской губернии и в столицу не приезжал. Но практически в каждом следственном деле петербургских заговорщиков можно найти упоминание о Муравьеве. Мало кто из вступивших в тайное общество в последние пять лет его существования знал подполковника лично, но слышали о нем и за глаза уважали его почти все. И не случайно ни разу в жизни не видевший Муравьева-Апостола Рылеев именно с ним пытался связаться накануне 14 декабря, а после неудачи восстания на Сенатской



«И я бы мог, как шут...» Один из пяти рисунков Пушкина, изображающих виселицу с казненными декабристами. Между 9 и 28 ноября 1826 г.



Император Николай I.  
*В. Голике. 1843 (?) г.*



Александр Христофорович  
Бенкендорф.  
*Д. Доу. 1822 г.*

Допросы шли в Комендантском доме Петропавловской крепости





**Александр Иванович Чернышев.**  
*Д. Доу. Между 1823 и 1825 гг.*

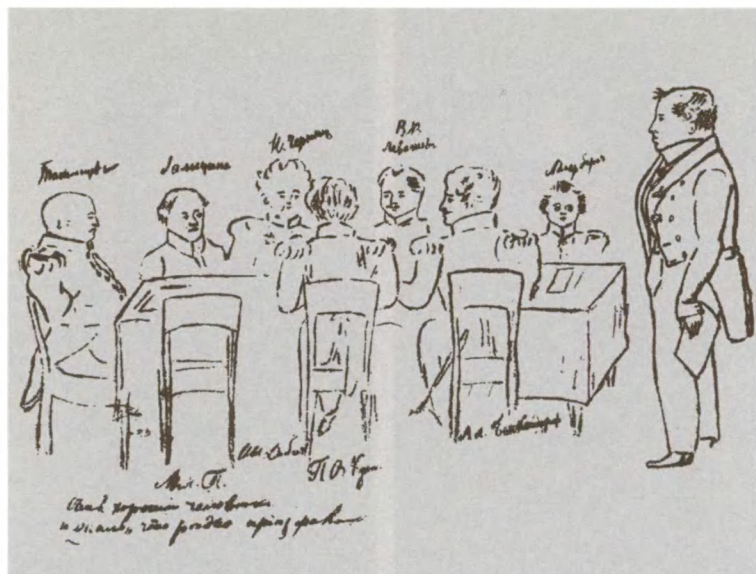


**Василий Васильевич Левашов.**  
*Д. Доу. Между 1823 и 1825 гг.*

**Зал Комендантского дома, где заседала Следственная комиссия  
и был оглашен приговор участникам тайных обществ**







Заседание Следственной комиссии.

Рисунок В. Адлерберга или делопроизводителя А. Ивановского. 1826 г.

Камера в Петропавловской крепости. Рисунок 1825—1826 гг.





Рылеев (?) на допросе.  
Рисунок А. Ивановского (?). 1826 г.



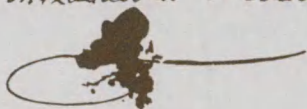
Пестель на допросе.  
Рисунок А. Ивановского (?). 1826 г.

«Роспись государственным преступникам». 1826 г.

1. Список государственных преступников, узнанных в следствии казачьих гонимых вольных	
государственные мстители	1
Ав...	2
портунгский сыро	3
вотки мурови	4
постолов	5
портунгский	6
бизматевский	7
портунгский	8
Ховенца	9
ЛО ВЪШЕДШИ	

2. Список вольных преступников, узнанных в следствии казачьих гонимых вольных	
1	23
2	24
3	25
4	26
5	27
6	28
7	29
8	30
9	31
10	32
11	33
12	34
13	35
14	36
15	37
16	38
17	39
18	40
19	41
20	42
21	43
22	44
23	45
24	46
25	47
26	48
27	49
28	50
29	51
30	52
31	53
32	54
33	55
34	56
35	57
36	58
37	59
38	60
39	61
40	62
41	63
42	64
43	65
44	66
45	67
46	68
47	69
48	70
49	71
50	72
51	73
52	74
53	75
54	76
55	77
56	78
57	79
58	80
59	81
60	82
61	83
62	84
63	85
64	86
65	87
66	88
67	89
68	90
69	91
70	92
71	93
72	94
73	95
74	96
75	97
76	98
77	99
78	100

Анастасии Михайловны Рылеевой.



спаси покровительством Живого Бога. Прощу тебя  
сказать всем родственникам и знакомым, что я желаю  
бы, чтобы она была воспитана при тебе. Спа-  
сительный предмет от нас для Христианской церкви  
— и она будет украшением комода не только  
в обратности души, и куда будет много му-  
жского, но и украшением нас, как ты, мой ми-  
лкий, мой добрый и неукротимый друг, украшением.  
Будь же и продолжением твоего дела. Прощу,  
мой друг, благодарить тебя за все, что ты делал,  
вспомогая меня в этом. Так тебе не забуду  
тебя. Пожеланиями Трудного Дела не забуду  
никогда, преданных благодарностей Прощу! В  
любви одобряю. Да будет воля Провидящего

Твой неукротимый друг Н. Рылев

У меня есть еще 530. 8. Москва 1826  
отдадут тебе





Сон декабриста Волконского. К. Брюллов (?). 1840-е гг.



**Вид Читы с острогом и домом коменданта.**  
*Акварель Н. Бестужева. Между 1828 и 1830 гг.*

**Декабристы у ворот Читинского острога.**  
*Н. Репин. Между 1828 и 1830 гг.*





Камера декабристов в Читинском остроге.  
*Литография с акварели Н. Репина. 1829 г.*

Декабристы на мельнице в Чите.  
*Акварель Н. Репина. Между 1827 и 1830 гг.*







Александра Григорьевна  
Муравьева.  
*Акварель Н. Бестужева. 1832 г.*



Екатерина Ивановна Трубецкая.  
*Миниатюра на слоновой кости  
Н. Бестужева. 1828 г.*

Главная улица в Чите. Слева — дом Е. Трубецкой,  
справа — А. Муравьевой. *Акварель Н. Бестужева. Между 1829 и 1830 гг.*





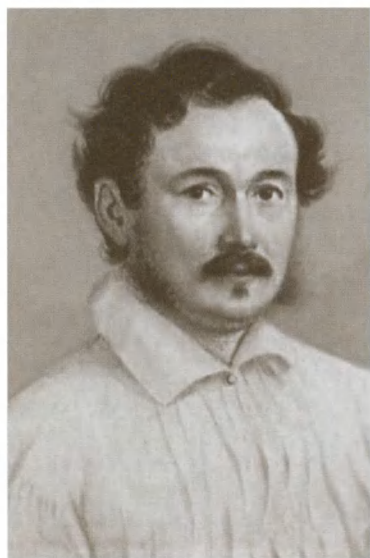
Алексей Петрович Юшневский.  
Акварель Н. Бестужева. 1839 г.



Иван Иванович Горбачевский.  
Акварель Н. Бестужева. 1837 г.

Петровский Завод. Вход в каземат. А. Юшневский. 1830-е гг.



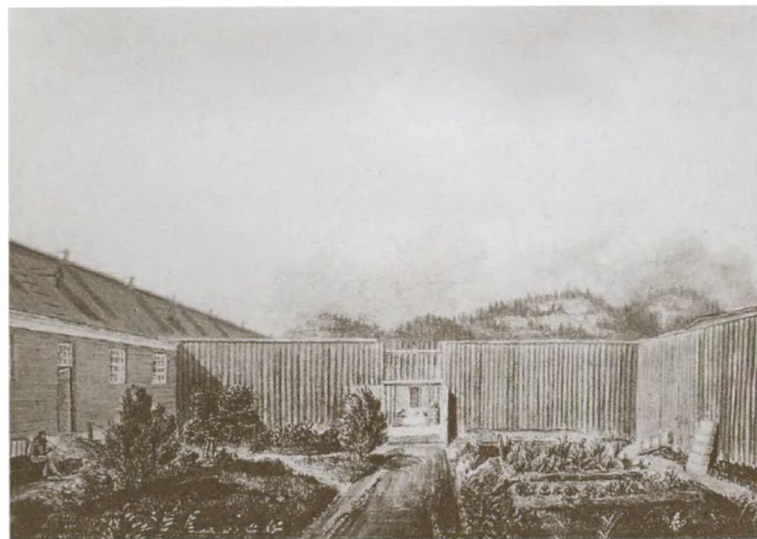


**Дмитрий Александрович Шепин-Ростовский.**  
*Акварель Н. Бестужева. 1839 г.*



**Александр Евфимиевич Мозалевский.**  
*Акварель Н. Бестужева. 1837 г.*

**Внутренний двор одного из отделений Петровского острога.**  
*Акварель Н. Бестужева. 1832 г.*





**Сергей Григорьевич Волконский.**  
*Акварель Н. Бестужева. 1837 г.*



**Мария Николаевна Волконская**  
**на фоне Читинского острога.**  
*Акварель Н. Бестужева. 1828 г.*

**С. Г. Волконский с женой в отведенной им камере Петровского острога.**  
*Акварель Н. Бестужева. 1830 г.*







Николай Александрович Бестужев.  
*Акварельный автопортрет. 1838 г.*

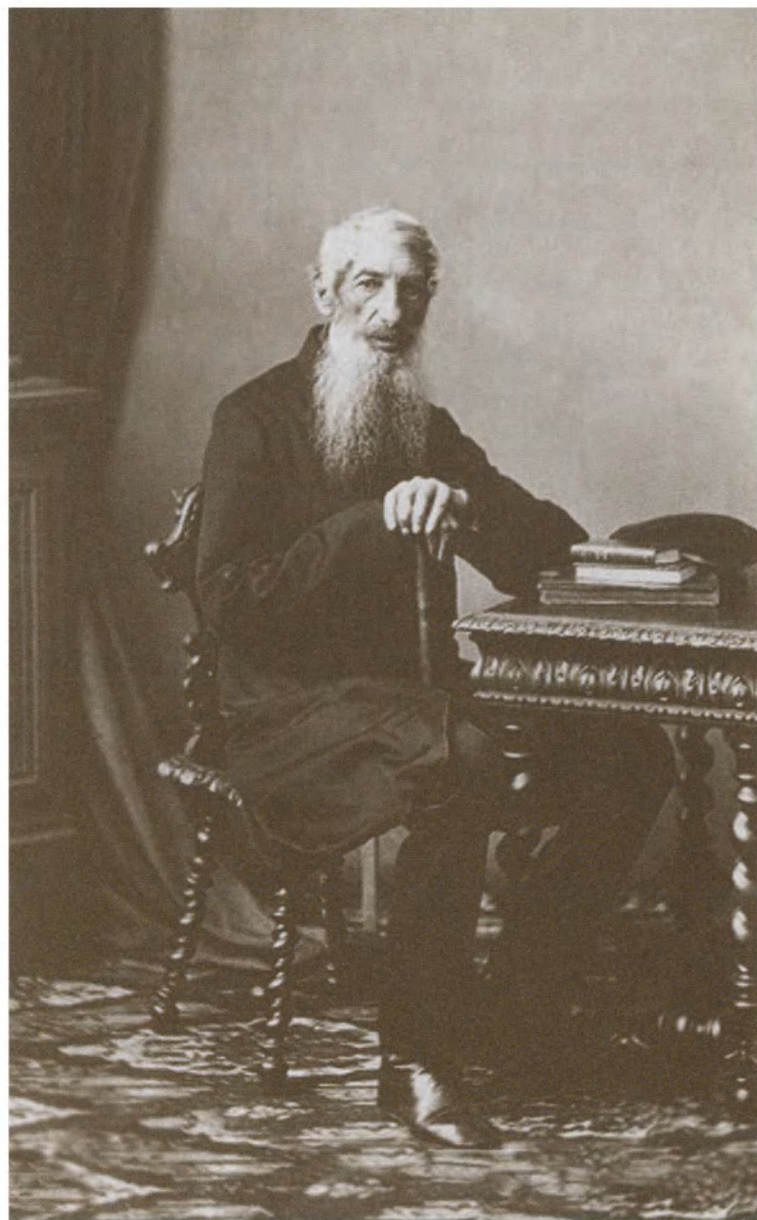


Петр Николаевич Свистунов.  
*Акварель Н. Бестужева. 1836 г.*

Вид Петровского Завода с острогом. *Акварель Н. Бестужева. 1834 (?) г.*







Сергей Петрович Трубецкой. 1860 г.



Обелиск на месте казни Павла Пестеля, Кондратия Рыльева, Петра Каховского, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина на восточном земляном валу кронверка Петропавловской крепости.

*Скульпторы А. Игнатъев и А. Дёма.  
1975 г.*

площади хотел сообщить ему, «что нам изменили Трубецкой и Якубович»<sup>39</sup>.

Отзывы современников о Сергее Муравьеве-Апостоле положительны вне зависимости от того, как они относились к движению декабристов.

«Одаренный необыкновенным умом... он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд», — характеризовал Сергея Муравьева император Николай I. В показаниях же арестованных заговорщиков можно встретить, например, такие слова: «Я с Муравьевым знаком действительно, уважая его добродетель. Он не был бесчестен, он не помрачил своего достоинства ни трусостью, ни подлостью; просвещен, любим всеми. За благородные его качества я почитал его и старался с ним быть знакомым. И если теперь посему и страдаю, сие страдание мне отраднo, ибо страдаю с другом человечества, который для общего блага не щадил не только своего имущества, но даже жизни»<sup>40</sup>.

В конце декабря 1825 года, заступаясь за Сергея Муравьева, которого пытались арестовать, восстал почти весь Черниговский полк.

Знаменитый отзыв о васьильковском руководителе принадлежит Л. Н. Толстому, назвавшему его «одним из лучших людей того, да и всякого времени». Историк декабризма Г. И. Чулков утверждал: Муравьев был «Орфеем среди декабристов. Вся его жизнь была похожа на песню». Историк М. Ф. Шугуров в работе, посвященной поднятому Муравьевым-Апостолом восстанию Черниговского полка, писал о некой «тайне обаятельного действия» подполковника на людей. По словам же другого историка, П. Е. Щеголева, во всех свидетельствах современников о руководителе Васильковской управы «его личность является в необыкновенно притягательном освещении»<sup>41</sup>.

Подобные мнения нетрудно найти и в более поздних работах. Полностью под влиянием «тайны обаятельного действия», своеобразной «муравьевской легенды» написана книга Н. Я. Эйдельмана «Апостол Сергей»<sup>42</sup>. И это вполне объяснимо: читая высказывания современников и потомков о Муравьеве-Апостоле, трудно этой «тайне» не подчиниться.

Документы свидетельствуют: Сергей Муравьев-Апостол был ярким харизматичным лидером, умевшим очаровывать и силой собственного властного обаяния вести за собой. Причем сам он хорошо осознавал эту свою способность, без сомнения причисляя себя к «энергичным вождям», чья «железная воля» — залог победы революции<sup>43</sup>. Свою власть над людьми

Муравьев — не без некоторой бравады — демонстрировал товарищам по заговору.

Так, в середине ноября 1825 года в Васильков приехал эмиссар Пестеля поручик Николай Крюков. Время было тревожное: только что умер император Александр I, но событие это еще не было предано огласке. Главнокомандующий 2-й армией П. Х. Витгенштейн и начальник штаба П. Д. Киселев, пытаясь сохранить конфиденциальность информации, предпринимали тайные поездки и секретные совещания. Сторонники Пестеля в армейском штабе в Тульчине решили, что «общество открыто». Пестель через Крюкова просил Муравьева переждать тревожное время, предупреждал, «дабы по случаю тогдашних обстоятельств он не начал бы неосторожно». В ответ Муравьев вывел Крюкова «пред какую-то команду и спросил: “Ребята! Пойдете за мной, куда ни захочу?” — “Куда угодно, ваше высокоблагородие”». По свидетельству же ближайшего друга Муравьева, сопредседателя Васильковской управы Михаила Бестужева-Рюмина, «солдат он не приготавливал, он заранее был уверен в их преданности»<sup>44</sup>.

Однако документы свидетельствуют и о другом: в качестве стратега и тактика Сергей Муравьев-Апостол был крайне слаб.

В Южном обществе он был известен как автор фантастического плана революционного переворота: на высочайшем смотре 1-й армии арестовать или убить императора, затем объявить начало революции, собрать все войска, которые на этот призыв откликнутся, и с ними идти на Москву. «Положили овладеть государем и потом с дивизиею двинуться на Москву»; «произвестъ возмущение в лагере и вслед за сим, оставя гарнизон в крепости, двинуться быстро на Москву», — показывал Муравьев-Апостол на следствии<sup>45</sup>. Впервые план этот был сформулирован в 1823 году, детали его со временем менялись, но суть оставалась неизменной.

Историкам до сих пор не удалось уловить тактический смысл предложенного Муравьевым-Апостолом маршрута движения восставших войск. Это движение могло стать только прологом к гражданской войне: взять власть в Москве было невозможно, поскольку страна управлялась из Петербурга. Между тем Муравьев-Апостол был уверен, что его действия гражданскую войну не спровоцируют, что «революция будет сделана военная... без малейшего кровопролития». Неясно также, на чем основывалась уверенность Муравьева-Апостола, что «первая масса, которая восстанет, увлечет за собою прочие и что посланные войска против нас к нам же и присоединятся»<sup>46</sup>.

В течение двух лет — с 1823 по 1825 год — Пестель и его сторонники занимались, в частности, тем, что отговаривали Муравьева-Апостола от его намерений. Так, в 1823 году этот план был отклонен на январском съезде руководителей Южного общества в Киеве. В 1824-м по указанию Пестеля князь Сергей Волконский прислал Муравьеву в Васильков письмо, в котором безапелляционно заявлял, «что общество в сем году еще не намерено действовать». На январском съезде 1825 года этот план снова обсуждался, и идеи Сергея Муравьева опять были раскритикованы. Ни Муравьев, ни Бестужев в работе этого съезда не участвовали, а потому Пестель сам приехал в Васильков и сообщил о принятых в Киеве решениях<sup>47</sup>.

Идеи Васильковской управы отклоняли не только Пестель и его сторонники в Южном обществе. Согласно воспоминаниям Ивана Якушкина, в 1823 году Бестужев-Рюмин приехал в Москву, чтобы добиться содействия осуществлению их с Муравьевым плана со стороны тамошних членов тайной организации. Однако московские заговорщики отказали ему в поддержке, заявив, что не войдут с ним «ни в какие сношения»<sup>48</sup>.

Но, несмотря на возражения, Сергей Муравьев-Апостол продолжал настаивать на своем плане. «Я предлагал начатие действия, явным возмущением отказавшись от повиновения, и стоял в своем мнении, хотя и противопоставляли мне все бедствия междоусобной брани, непременно долженствующей возникнуть от предполагаемого мною образа действия», — признавал он на следствии<sup>49</sup>.

Муравьев был человек безусловной личной храбрости и заговорщической дерзости, но соблюдать элементарные правила конспирации никак не желал. Васильковская управа — самая решительная из всех южных управ — занималась активной вербовкой сторонников и пропагандой военной революции и царубийства. При этом Муравьев мог вести опасные разговоры, вообще не опасаясь преследования: проведя кампанию 1814 года «при генерале от кавалерии Раевском», участвуя вместе с ним в боях за Париж, он был своим человеком в киевском доме генерала. Кроме того, Муравьев-Апостол был не чужд увлечения магнетизмом<sup>50</sup>.

В марте 1823 года киевскому безвластию пришел конец: на должность генерал-полицимейстера 1-й армии был назначен генерал от инфантерии Федор Эртель. Первым заданием, которое он получил от армейского командования, было задание разобраться с ситуацией, сложившейся в Киеве.

Имя генерала Эртеля, служившего в конце XVIII — начале XIX века вначале московским, затем петербургским обер-полицмейстером, а в 1812—1815 годах генерал-полицмейстером всех действующих армий, наводило на современников ужас. Согласно Вигелю, «сама природа» создала Эртеля «начальником полиции: он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться... Все знали ... что он часто делал тайные донесения о состоянии умов... всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека, чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы». И даже те немногие современники, которые приветствовали полицейскую деятельность генерала, видя в ней точное исполнение «воли монарха» и служебных обязанностей, признавали: Эртель любил действовать тайно, «невидимо» и жестоко. В Москве у него была целая шпионская сеть, состоящая из «знатных и почтенных московских дам», получающих за свою работу крупные суммы<sup>51</sup>.

Сам Эртель в автобиографической записке сообщал, что был послан в Киев «1-е) для следствия о корчемниках, убивших трех и ранивших шесть человек; 2-е) для открытия масонской ложи с членами; 3-е) для отыскания азартных игроков»<sup>52</sup>. Его действия по наведению порядка в городе и прекращению «криминального разврата» были весьма активными.

Искореняя корчемство, Эртель привлек платных агентов — нижних чинов из 3-го и 4-го пехотных корпусов. Вскоре это принесло результаты: по делу о корчемстве было арестовано около ста человек, в основном солдат и мещан. Под суд попали 11 офицеров — начальников военных подразделений, чьи солдаты активно занимались корчемством<sup>53</sup>.

Эртель регулярно присылал в Петербург списки «подозреваемых в азартных картежных играх, которые здесь в Киеве живут только временно, а по большей части по большим ярмонкам во всей разъезжают России». Среди «подозреваемых» оказался и родной брат киевского полицмейстера. По ходу следствия о картежниках было решено от лиц, «в списке поименованных... отобрать... подписки, коими обязать их иметь постоянно и безотлучно свое пребывание в местах, какие себе изберут, и что ни в какие игры играть не будут, затем, поручив их надзору местных полиций, отнять у них право выезжать по чьему бы то ни было поручительству»<sup>54</sup>.

Наибольший интерес генерал-полицмейстера вызвала слежка за масонами. Основываясь на тайных розысках, он выяснил, что «коль скоро воспоследовал указ 1822 года августа 1-го о закрытии тайных обществ, тотчас киевские ложи прекратили свое существование», однако от закрытых лож, «можно сказать, пошли другие отрасли масонов». Секретная деятельность масонов, согласно собранным Эртелем сведениям, заключалась в том, что они «магнетизировали» друг друга, давали друг другу деньги в долг, ели на Масленицу 1824 года «масонские блины», а за год до этого собирались «каждое воскресенье по полудню в пять часов» и гуляли во фруктовом саду «до поздней ночи»<sup>55</sup>.

Конечно, деятельность киевских масонов никакой опасности для государства не представляла. Однако Эртель всеми силами стремился доказать, что на самом деле они занимаются «подстреканием революции». Руководил же «подстрекателями», по его мнению, генерал Раевский: «Отставной из артиллерии генерал-майор Бегичев тотчас по уничтожении масонов прибег к отрасли масонского заговора, то есть... открыл магнетизм, которому последовал и г. генерал Раевский со всем усердием, даже многих особ в Киеве сам магнетизировал», — сообщал он в марте 1824 года в Могилев, в штаб 1-й армии<sup>56</sup>.

Ведя полицейскую и разведывательную деятельность, регулярно докладывая о ней руководству 1-й армии и лично императору, Эртель постоянно выносил частные определения в адрес местных военных и гражданских властей: «Военная полиция не имеет никаких чиновников, а на тамошнюю гражданскую полицию нельзя положиться, чтобы ожидать желаемого успеха»; «происшествия (связанные с корчемством. — *О. К.*)... суть следы послабления местного гражданского начальства»; «обыватели, не имея примеров наказанности, полагали простительным, а воинские чины, видя частое их упражнение и будучи ими же подучаемы, не вменяли себе в преступление корчемство. Но отлучка их по ночам на 5 верст за город означает слабость упорченного за ними надзора ближайших начальников». Соглашаясь с мнением Эртеля о ненадежности киевской администрации, армейское начальство командировало в его распоряжение целый штат следователей и полицейских<sup>57</sup>.

Расследование Эртеля закончилось для Раевского в ноябре 1824 года увольнением в отпуск «для поправления здоровья», но всем было понятно, что в Киев он больше не вернется. «Известно, что государь Александр Павлович, не жалуя Раевского, отнял у него командование корпусом, высказав, что не приходится корпусному командиру знакомиться с

магнетизмом»<sup>58</sup>, — констатировал хорошо знавший генерала Матвей Муравьев-Апостол. Вскоре на место скомпрометировавшего себя магнетизера был назначен Алексей Шербатов.

Исследователей, изучающих деятельность генерал-полицейстера, ставит в тупик простой вопрос: как могло случиться, что он, полицейский с огромным опытом, ловя картежников, поляков и масонов, не сумел разглядеть у себя под носом военный заговор с царубийственными намерениями? У Эртеля в 1825 году был неплохой шанс вмешаться в ход истории, предотвратить и Сенатскую площадь, и восстание Черниговского полка. Однако факт остается фактом: следствие о «тайном обществе» так и ограничилось поисками масонов и магнетизеров.

О причинах этой роковой ошибки можно только гадать — но гадать в совершенно определенном направлении.

Приезд Эртеля и отставка Раевского не смогли заставить Сергея Муравьева-Апостола быть осторожнее. И он сам, и его сподвижники по-прежнему часто бывали в Киеве и вели там громкие и опасные разговоры — гласно и, в общем, никого не опасаясь. Почти открыто Васильковская управа проводила переговоры с Польским патриотическим обществом о совместном революционном перевороте. На «контрактах» 1824 года, уже при Эртеле, Муравьев и его друг Михаил Бестужев-Рюмин обсуждали с поляками животрепещущую тему — об уничтожении вражды, «которая существует между двумя нациями, считая, что в просвещенный век, в который мы живем, интересы всех народов одни и те же и что закоренелая ненависть присуща только варварским временам». А для этого следовало заключить русско-польский революционный союз, в котором поляки обязывались подчиняться русским заговорщикам и признать после победы революции республиканское правление. Взамен им были обещаны независимость и даже территориальные уступки — они могли «рассчитывать на Гродненскую губернию, часть Виленской, Минской и Волынской»<sup>59</sup>.

Между тем под подозрение Эртеля сразу же попали люди, входившие в ближайшее окружение Муравьева-Апостола. Руководитель Васильковской управы тесно общался с «подозрительным» поляком, масоном и магнетизером графом Александром Хоткевичем — именно от него южные заговорщики узнали о существовании Польского патриотического общества.

Активная слежка была установлена за другим поляком и масоном, киевским губернским предводителем дворянства



(маршалом) Густавом Олизаром — другом Сергея Муравьева, известным вольнолюбивыми взглядами. Олизар был весьма близок к семейству генерала Раевского, в 1823 году сватался к его дочери Марии, но получил отказ — по «национальным» соображениям. Отказ этот поляк переживал весьма болезненно, и Муравьев был одним из его «утешителей».

Когда весной 1824 года Олизар отправился в столицу, генерал Толь известил Дибича: «Легко быть может, что цель поездки графа Олизара есть та, чтоб посредством тайных связей или членов своих, в различных управлениях в С[анкт-]Петербурге находиться могущих, выведать о последствиях поездки генерала Эртеля и стараться отвращать меры, которые против сего принимаемы будут». Нужно было прежде всего выявить круг его общения<sup>60</sup>. В столице Олизар пробыл около месяца, после чего был выслан обратно в Киев без объяснения причин.

В списке масонов, пересланном Эртелем в Петербург, оказались два бывших адъютанта Раевского, участники Союза благоденствия Алексей Капнист и Петр Муханов, первый — близкий родственник Муравьева, а второй — его светский приятель. Кроме того, в списке Эртеля попал руководитель Кишиневской управы заговорщиков Михаил Орлов. Сам Муравьев-Апостол, бывший семеновец, регулярно входил в списки «подозрительных» офицеров 1-й армии; за ним предписывалось иметь особо бдительный надзор<sup>61</sup>.

Трудно сказать, осознавал ли руководитель Васильковской управы степень грозящей ему опасности. Однако его многочисленные родственники, друзья и столичные соратники по заговору, узнав от Олизара о «секретной» миссии Эртеля, быстро поняли: опытный сыщик очень скоро обнаружит реальный, а не мифический масонский заговор.

«Вскоре по первом приезде генерала Эртеля разнесся слух, что он имеет тайное повеление разведать о заведенном на юге обществе, к которому принадлежал будто бы и подполковник Муравьев — все меры, принятые г. Эртелем, то свидетельствовали», — показывал на допросе Муханов. Другой заговорщик, Петр Свиштунов, услышав, что Эртель послан в Киев «для надзора над поляками», «заклучил, что должны быть сношения между поляками и Обществом юга»<sup>62</sup>.

У жившего в 1824 году в столице брата Сергея Муравьева-Апостола известие о назначении Эртеля вызвало настоящую истерику. На следствии Матвей Муравьев показывал: узнав, что «генерал от инфантерии Эртель в Киев приехал и что никто не знает, зачем он туда послан», он решил, что его брата арестовали, тем более что уже несколько недель не получал от него писем.

Для спасения брата Матвей Муравьев-Апостол задумал немедленно убить императора. Своими планами он поделился с Пестелем — весной 1824 года тот проводил в Петербурге «объединительные совещания». «Я видел Пестеля и сказал ему что, верно, Южное общество захвачено и что надобно бы здесь начать действия, чтобы спасти их. Пестель мне сказал, что я хорошо понимаю дела», — показывал Матвей на следствии. «Я с ним соглашался, что ежели брат его захвачен, то, конечно, нечего уже ожидать»<sup>63</sup>, — подтверждал Пестель.

Вскоре Матвей получил письмо от брата, и вопрос о немедленном цареубийстве и восстании был снят с повестки дня. Однако спустя несколько месяцев, в октябре, он опять предупреждал Пестеля и других об осторожности: «...В Киве живет генерал Эртель нарочито, чтоб узнавать о существующем тайном обществе, кое уже подозреваемо правительством»<sup>64</sup>. Пестель же, вернувшись на юг, осенью 1824 года отстранил Сергея Муравьева от переговоров с Польским патриотическим обществом — за нарушение правил конспирации (с ведома и согласия руководителя Васильковской управы было написано письмо полякам с просьбой в случае начала русской революции устранить цесаревича Константина Павловича)<sup>65</sup>.

Очевидно, Трубецкой, еще будучи старшим адъютантом Главного штаба, узнал подробности киевской деятельности Эртеля от графа Олизара. В его показаниях содержится любопытное свидетельство о встрече с поляком: «Г[осподин] Олизар приезжал сюда, кажется, в 1823 году; я встретился с ним и меня познакомили... Он мне сделал визит. Между тем, осведомился я также, что он здесь в подозрении, потому что слишком вольно говорит, я дал ему о сем сведение, прося, чтобы меня ему не называли, но посоветовали бы ему быть осторожным. Тем сношения мои с ним и ограничились»<sup>66</sup>.

Показания эти примечательны: они подтверждают, что Трубецкой имел доступ к секретной информации о слежке за Олизаром, организованной по просьбе генерала Толя начальником Главного штаба Дибичем и дежурным генералом Потаповым<sup>67</sup>. Скорее всего, князь получил эти сведения от своих начальников Дибича и Потапова, вполне доверявших князю, ценивших его «усердие к службе» и всячески покровительствовавших ему.

Называя дату встречи, князь откровенно вводил следствие в заблуждение: Олизар приехал в разгар петербургских «объединительных совещаний» — неудачной попытки договориться с Пестелем о совместной деятельности двух тайных организаций. Последствием этого столичного вояжа был «ца-

реубийственный» план Матвея Муравьева-Апостола, поддержанный Пестелем. Участник всех этих событий, Трубецкой не мог просто так «забыть» год приезда опасного поляка. С полной уверенностью можно утверждать, что, давая показания, Трубецкой не желал, чтобы следователи увязали встречу с Олизаром с его собственным отъездом в Киев.

Между тем решение князя поехать в Киев было, скорее всего, результатом этой встречи и последовавших за ней событий. Принимая должность в штабе Щербатова, князь не мог не понимать: авантюрная поездка поляка вполне могла обернуться катастрофой лично для него. Деятельность Эртеля угрожала не только Сергею Муравьеву, давнему, близкому другу и однополчанину Трубецкого — она представляла смертельную угрозу для тайного общества. Служба в Киеве давала князю шанс спасти заговор — дело всей его жизни.

Вероятно, именно поэтому Трубецкой проявил немалую настойчивость, добиваясь для себя должности дежурного штаб-офицера 4-го корпуса.

Обязанности Трубецкого на новой должности были сродни тем, которые он исполнял в Главном штабе: он должен был инспектировать входившие в корпус воинские подразделения, наблюдать за личным составом. Дежурный штаб-офицер мог «за упущение должности» арестовывать обер-офицеров, а нижних чинов «за малые преступления» просто наказывать без суда. Он был обязан «наблюдать за охранением благоустройства и истреблением бродяжничества, непозволительных сходбищ, игр, распутства и малейшего ропота против начальства»<sup>68</sup>. Дежурному штаб-офицеру подчинялся обер-гевальдигер — главный полицейский чин корпуса.

Трубецкой находился в непосредственном подчинении начальника штаба корпуса Афанасия Красовского. Генерал-майор состоял на действительной службе с 1795 года, участвовал в Отечественной войне и Заграничных походах, был несколько раз ранен, награжден за храбрость орденами. Получив в 1819 году позволение «для излечения от ран» состоять по армии, то есть, числясь на службе, нигде конкретно не служить, Красовский, несмотря на неоднократные предложения, отказывался вернуться на действительную службу. В армии знали: он устал, дают себя знать старые раны и «нервическая горячка», и он только и ждет случая, чтобы окончательно уйти в отставку<sup>69</sup>.

Красовский был очень близким, семейным другом Закревского — например, в 1821 году, когда и сам Закревский,

и его жена тяжело заболели, он специально приехал в столицу, чтобы ухаживать за ними. Закревский уговаривал друга не оставлять службу и искал для него должность, не требующую присутствия в войсках, в частности, предлагал ему стать генерал-полицмейстером 2-й армии со штабом в Тульчине; однако Красовский отказался<sup>70</sup>. В мае 1823 года он был назначен начальником штаба 4-го корпуса, но сразу после падения Волконского и Закревского снова стал проситься в отставку. В ноябре того же года он писал Дибичу: «При самом возобновлении трудов, сопряженных со службою, я опять начал чувствовать самые жестокие болезненные припадки от раны в правом боку... в горестном положении моем приемлю смелость Ваше высокопревосходительство убедительнейшее просить... снисхождения позволением Вашим и ходатайством о увольнении меня от службы»<sup>71</sup>. Просьбу поддержал тогдашний командир корпуса Раевский.

В 1824 году военные власти решали вопрос, в какой форме следует дать возможность Красовскому заниматься поправкой здоровья. Император, ценивший генерала, «высочайше повелеть соизволил... вместо увольнения генерал-майора Красовского вовсе от службы отпустить его в отпуск до излечения ран с производением жалованья». Конкретизируя высочайшее распоряжение, Дибич сообщил начальнику штаба, что тот может ехать в столицу «для совета с медиками для лечения своей болезни»<sup>72</sup>.

Настаивая на назначении Трубецкого на должность дежурного штаб-офицера, Дибич понимал, что для старшего адъютанта должность эта временная. В случае отсутствия Красовского полковник Трубецкой должен будет исполнять его обязанности. Так и произошло: уезжая в июне 1825 года из Киева, Красовский спокойно передал дела дежурному штаб-офицеру, с которым у него сразу сложились доверительные отношения<sup>73</sup>. Таким образом, есть все основания полагать, что, не случись восстания 14 декабря, Трубецкого ожидали скорое повышение по службе и, возможно, генеральский чин.

В 1825 году в руках Трубецкого сконцентрировалась немалая власть — прежде всего полицейская, причем не только над войсками 4-го корпуса, но и над городом. Принимая назначение в Киев, Трубецкой не потерял и должность старшего адъютанта Главного штаба, а потому был практически независим от киевских властей и мог сообщать обо всём напрямую в Петербург, Дибичу и Потапову. Полномочия Трубецкого во многом пересеклись с полномочиями Эртеля.

В начале своей деятельности в Киеве генерал-полицмейстер сетовал, что ни среди киевских полицейских, ни в 4-м корпусе нет «надежного чиновника», который мог бы помочь ему проводить следствие<sup>74</sup>. Очевидно, что в 1825 году такой «чиновник» нашелся — и им оказался князь Трубецкой. Как видно, например, из дел по корчемству, Трубецкой активно помогал Эртелю в расследовании.

Правда, полицейская деятельность Трубецкого чуть не была сорвана. После высылки из Петербурга в Киеве появился Олизар. Доверчивый и пылкий граф принялся с благодарностью рассказывать о Трубецком, предупредившем его о петербургской слежке. «В бытность мою в Киеве я узнал от Бестужева (Михаила Бестужева-Рюмина. — *О. К.*), что Олизар хвалился мной, что я ему оказал услугу и что сие доведено было до сведения общества в Варшаве... на поступке сем основались, чтоб удостоверить членов Польского общества, что члены русского помогают полякам». Именно поэтому Трубецкой счел невозможным возобновить в Киеве знакомство с Олизаром<sup>75</sup>.

Стоит, однако, отметить, что информация, привезенная из столицы Олизаром, по-видимому, из круга заговорщиков всё же не вышла. Дежурный штаб-офицер, разделивший с Эртелем полицейские труды, остался вне подозрений.

Трубецкой, конечно же, сделал всё, чтобы спасти от разгрома Васильковскую управу и вывести из-под удара ее руководителя. Каким конкретно образом князь смог это сделать, исследователи, наверно, уже никогда не узнают. Но в одном из своих «оправдательных» рапортов в конце декабря 1825 года командир корпуса Щербатов утверждал: «Все сведения, полученные мною как от начальника корпусного штаба генерал-майора Красовского... так и от здешнего губернатора Ковалева, удостоверили меня, что как в войске, так и в городе не замечено никаких собраний, ни разговоров, сумнению подлежащих»<sup>76</sup>.

Восьмого апреля 1825 года 58-летний Эртель умер. Смерть его была загадочной: чувствуя лихорадку, он тем не менее отправился на Пасху в штаб 1-й армии и скончался по приезде в Могилев. Вне зависимости от того, была ли эта смерть естественной или насильственной, она сыграла на руку Трубецкому (кстати, в его киевской квартире при обыске была найдена банка с мышьяком<sup>77</sup>).

Следственные дела, которые Эртель не успел довести до конца, после его смерти перешли в руки дежурного штаб-офицера 4-го корпуса. Так, с июня 1825 года Трубецкой фактически руководил разбирательством по корчемству, давал предписания соответствующей военно-судной комиссии, получал

от нее копии допросов арестованных и т. п.<sup>78</sup> Расследование же дел «неблагонадежных» картежников, поляков и масонов во второй половине года странным образом вообще остановилось.

Заговорщики же после смерти Эртеля могли действовать, никого не опасаясь. Осенью 1825 года Трубецкой и Сергей Муравьев-Апостол составили совместный план революционного переворота, согласно которому следовало «начинать действие, не пропуская 1826-й год». «В случае успеха в действиях» следовало «вверить временное правление Северному обществу, а войски собрать в двух лагерях, одном под Киевом, под начальством Пестеля, другом под Москвою». Одновременно должно было начаться восстание в Петербурге<sup>79</sup>.

В ноябре Трубецкой приехал в столицу в краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам: его шурин, корнет лейб-гвардии Конного полка Владимир Лаваль, проигравшись в карты, покончил жизнь самоубийством<sup>80</sup>. Собственно, целью поездки князя в столицу было свидание с убитыми горем родителями жены. Однако в Петербурге Трубецкой услышал о смерти Александра I — и решил дожидаться развязки событий.

Девятнадцатого декабря 1825 года командующий 1-й армией Остен-Сакен узнал о восстании на Сенатской площади, что называется, из первых рук — в Могилев из столицы вернулся начальник армейского штаба Карл Толь, не только ставший свидетелем восстания, но и принимавший участие в первых допросах арестованных, в частности Трубецкого.

Основываясь на рассказе Толя и собранных Эртелем сведениях, Остен-Сакен в письме князю Щербатову поведал, что с помощью «секретного разведывания» «обнаружено было существование тайного союза в Киеве», цель которого, «по основательному подозрению, клонилась к ниспровержению законной императорской власти»: «Сомнения сии оправдались ныне совершенно. Союз обнаружен и часть преступников созналась. Остается теперь открыть весь круг преступного общества сего». Командиру корпуса был передан личный приказ нового императора — «принять самые деятельные, но осторожные меры к открытию дальнейших отраслей сего союза, части коего существуют точно в 4-м пехотном корпусе». Остен-Сакен также сообщил Щербатову об аресте его подчиненного: «Сколь мало можно верить в нынешнее время окружающим, это показывает дежурный штаб-офицер вверенного Вам корпуса князь Трубецкой, один из главных участников заговора, который, будучи изблечен, пав к стопам государя, сам во

всём сознался и теперь содержится в крепости впредь до окончания дела»<sup>81</sup>.

Тогда же генерал Толь написал Красовскому. В письме содержались весьма справедливые упреки: «Опыт настоящих происшествий показал, что несомненная уверенность в общей правоте есть слабость, пагубная для общего блага. Везде оказались отрасли злонамеренных. Замыслы их давно б были уничтожены, если бы они были преследуемы подозрением и начальство не имело слепой доверенности. А потому я нахожу, что лучше везде подозревать, нежели отвергать всякую мысль злонамерения. Вы, конечно, более уверились теперь в необходимости правила сего, ибо к кому был ближе кн. Трубецкой, как не к Вашему превосходительству? Правота подозрением нимало не может оскорбиться. Я сам нисколько не почел бы обидою для себя, если бы у меня был сделан осмотр бумаг моих; напротив того, долгом почту во всякое время представить готовность мою к открытию неприкосновенности моей»<sup>82</sup>.

«Касательно князя Трубецкого я не имею слов изъяснить Вашему сиятельству моего удивления о его поступке... я никогда не мог вообразить, чтобы он мог участвовать в преступном заговоре», — оправдывался Щербатов в ответном письме<sup>83</sup>.

Не веря корпусному начальству, подозревая и Щербатова, и Красовского в потворстве заговорщикам, начальство армейское отправило в Киев старшего адъютанта штаба 1-й армии, гвардии капитана Василия Сотникова с заданием «наблюдать образ мыслей и действия всех чинов корпусного штаба 4-го пехотного корпуса»<sup>84</sup>.

Трудно сказать, удалось бы Сотникову обнаружить Васильковскую управу, не случись восстания Черниговского полка, или по-прежнему источником крамолы военные власти считали бы «недобитую» масонскую ложу. Однако события, произошедшие в ночь с 28 на 29 декабря 1825 года, сделали «тайные розыски» неактуальными: «наблюдать» Сотникову пришлось прежде всего за настроениями в городе.

Между тем Остен-Сакен и Толь были правы, не доверяя Щербатову и Красовскому. Судя по их поведению в дни восстания, и само существование «преступного заговора», и роль в нем Трубецкого были им хорошо известны, как был известен и Сергей Муравьев-Апостол. В ходе восстания Муравьев пытался установить связь с Щербатовым. Командир корпуса отказался выполнить прямой приказ командующего — не вывел свой корпус против мятежников. Все шесть дней восстания между Васильковым и Киевом не было правительственных войск, и поход на Киев был для Муравьева единственной возможностью избежать быстрого разгрома.

После поражения восстания Щербатов и Красовский еще долго находились под подозрением если не в пособничестве, то в попустительстве заговорщикам. И если бы Трубецкой рассказал на следствии правду о своей киевской деятельности, подозрения эти вполне подтвердились бы. Однако князь молчал — а император не хотел привлекать к следствию высших военных начальников. Арест генералов никак не вписывался в старательно выстраиваемую властью картину, в которой участники антиправительственных выступлений были молоды, не имели военного опыта и плохо представляли себе, что они хотят.

Один из самых сложных вопросов современного декабристоведения — вопрос о замыслах захвата власти в России. Особенный интерес вызывают планы, разрабатывавшиеся накануне 14 декабря 1825 года: если бы они были реализованы, история России вполне могла бы пойти по иному пути.

Между тем можно констатировать, что в ходе расследования по делу о тайных обществах вопрос этот остался непроясненным. Историк М. М. Сафонов констатирует: ни следователи, ни позднейшие исследователи так и не сумели «четко понять, что же задумали лидеры, что из задуманного было исполнено, а что осталось невыполненным, почему это произошло и кто виноват»<sup>85</sup>. Сложность изучения объясняется прежде всего крайней невняtnостью основного источника сведений о планах действий — следственных показаний декабристов.

С одной стороны, заговорщики понимали, что по законам Российской империи всем им грозит смертная казнь, и на следствии старались всячески преуменьшить свою вину. Ответ на поставленный следствием вопрос напрямую зависел от тактики, которую избирал для себя тот или иной арестант, его душевного состояния в момент допроса, условий его содержания, методов, применявшихся следователями, и т. п. Кроме того, многие из рядовых членов тайных обществ не были в курсе замыслов руководителей, зачастую они на допросах «допраивали» эти замыслы в соответствии с собственным пониманием ситуации.

С другой стороны, следователи, исполнявшие волю императора Николая I, вовсе не желали добиваться от заговорщиков *всей* правды. Нити заговора вели к высшим государственным сановникам и руководителям крупных воинских соединений. Однако Николай не хотел распутывать эти нити, дабы не продемонстрировать всей Европе, что армия и государственные уч-



реждения плохо управляемы и заражены революционным духом. Следствие свело заговор к дружеским беседам о формах правления, а вооруженные выступления — к непродуманным действиям молодых офицеров, преданных своими руководителями<sup>86</sup>.

Впервые русская публика получила возможность познакомиться с планами действий заговорщиков (в том числе и с планом, подготовленным петербургскими конспираторами) 12 июня 1826 года — в этот день газета «Русский инвалид» опубликовала «Донесение Следственной комиссии», составленное главным на тот момент правительственным пропагандистом Д. Н. Блудовым. Согласно «Донесению», план выступления 14 декабря разработали «директоры Северного тайного общества: Рылеев, князь Трубецкой, Оболенский и ближайшие их советники».

Начало составления этого плана Блудов отнес к концу ноября, к моменту, когда до заговорщиков «дошел слух, что государь цесаревич тверд в намерении не принимать короны». «Сия весть возбудила в заговорщиках новую надежду: обмануть часть войск и народ уверить, что великий князь Константин Павлович не отказался от престола, и, возмутив их под сим предлогом, воспользоваться смятением для испровержения порядка и правительства» — читаем в «Донесении». Несколькими днями спустя военным руководителем восстания был избран Сергей Трубецкой.

Местом разработки плана стала квартира Кондратия Рылева, в которой проходили ежедневные совещания. Их участники, согласно следствию, «представляли странную смесь зверства и легкомыслия, буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному»<sup>87</sup>.

Стратегия, в конце концов выработанная на этих «буйных» и «легкомысленных» совещаниях, была единой: под предлогом незаконности отречения Константина Павловича собрать войска на Сенатской площади и силой оружия заставить сначала Сенат, а затем и императора Николая вступить в переговоры с целью ограничения власти монарха, созыва парламента и организации временного правления.

Однако у двух главных организаторов восстания — Рылева и Трубецкого — были расхождения тактического характера. Ссылаясь на показания Трубецкого, следствие утверждало, что он планировал «с первым полком, который откажется от присяги, идти к ближайшему, а там далее, увлекая один за другим... потом все войска, которые пристанут, собрать пред Сенатом и ждать, какие меры будут приняты правительством».

Рылеев же, судя по донесению, считал, что полки надо собирать сразу на Сенатскую площадь, где «начальнику их, Трубецкому, действовать по обстоятельствам»<sup>88</sup>.

Но в итоге тактические противоречия были сняты: заговорщики договорились выводить полки прямо к Сенату. 13 декабря Трубецкой, согласно его показаниям на следствии, обещал «на другой день быть на Сенатской площади, чтобы принять главную команду над войсками, которые не согласятся присягать Вашему Величеству; под ним же начальствовать капитану Якубовичу и полковнику Булатову». Тогда же он предложил захватить Зимний дворец.

Однако и Рылеев, и Трубецкой, и Якубович с Булатовым в решающий момент испугались. Говоря словами «Донесения», «все те, коих заговорщики назначили своими начальниками, в решительный день заранее готовились их бросить». Восстание подняли младшие офицеры Гвардейского экипажа, лейб-гвардии Московского и Лейб-гренадерского полков. Этих офицеров главари якобы заманили — по большей части обманом — в заговор. Главным же виновником событий, по версии Блудова, был именно Трубецкой, тщеславный трус, в решительную минуту бросивший сообщников на произвол судьбы<sup>89</sup>.

«Донесение Следственной комиссии», декларировавшее единство действий руководителей Северного общества по разработке плана восстания, оказало сильное влияние на исследователей. Одни историки в большей или меньшей степени разделяют правительственную концепцию, другие спорят с ней.

К первым принадлежали, например, биограф Трубецкого Н. Ф. Лавров и М. В. Нечкина. Лавров, подобно Блудову, полагал, что в ходе подготовки к восстанию среди заговорщиков никаких противоречий не было, план действий менялся в зависимости от конкретной политической ситуации и расклада сил в столице и в итоге выглядел следующим образом: «Часть, которая придет первой на Петровскую площадь, должна немедленно захватить дворец и арестовать царскую семью, не дав противнику возможности принять оборонительные меры»<sup>90</sup>. Однако, в отличие от Блудова, историк считал, что в провале плана виноват не Трубецкой, а те заговорщики, которые получили от него конкретные задания, но не выполнили их.

Нечкина принимала тезис Блудова о тактических расхождениях Трубецкого и Рылеева: диктатор настаивал «на движении восставших полков от казармы к казарме и лишь в конечном счете, когда налицо будет достаточная масса восставших солдат, предполагал выход и на площадь», однако в итоге отказался от своей тактики: «В результате долгих и страстных пре-

ний на совещаниях декабристов в дни междуцарствия» был создан единый план действий, предусматривавший движение прямо на Сенатскую площадь. Нечкина писала: «Было бы неправильно утверждать, что в этом плане победило мнение определенной группы, с которым не согласилась бы какая-то другая. Нет, лица, которые первоначально спорили против победивших в дальнейшем предложений, в конце концов примкнули к ним». «Накануне решительных действий, — сделала она вывод, — несомненно, сформировалось некоторое общее мнение, в основном принятое и поддержанное (правда, с разной степенью убежденности) всей руководящей группой». Исследовательница была уверена, что это «общее мнение» было за решительные революционные действия, подразумевающие захват царской резиденции и арест императорской фамилии. Главным же виновником провала этого плана Нечкина, как и автор «Донесения», считает Трубецкого, усматривая в его действиях безусловную «измену главнокомандующего»<sup>91</sup>.

С этими утверждениями во многом солидарен современный историк Я. А. Гордин, считающий, что существовал единый план Трубецкого и Рылеева, состоявший из двух основных компонентов: «Первый — захват дворца ударной группировкой и арест Николая с семьей, второй — сосредоточение всех остальных сил у Сената, установление контроля над зданием Сената, последующие удары в нужных направлениях — овладение крепостью, арсеналом». Исследователь признаёт некоторое расхождение во взглядах авторов этого плана на будущее восстание: в отличие от Рылеева, сторонника решительной революционной импровизации, Трубецкой «полагал целесообразной только хорошо подготовленную в военном отношении операцию с высокими шансами на успех». Однако катастрофу 14 декабря Гордин склонен объяснять не противоречиями между лидерами Северного общества и не изменой диктатора, будучи убежден, что Трубецкому, корифею заговора, решительно противостояла «декабристская периферия» в лице А. И. Якубовича и А. М. Булатова, которые и сорвали разработанный им план: «Булатов был уверен, что Рылеев и его сподвижники стараются для того лишь, чтоб сменить на российском престоле династию Романовых династией Трубецких. И решил помешать этому, перехватив у Трубецкого руководство восстанием и тем облагодетельствовать Россию»<sup>92</sup>.

Одним из тех, кто не согласился с «Донесением Следственной комиссии», был А. Е. Пресняков, считавший, что накануне 14 декабря сложилось два плана: условно говоря, план Трубецкого и план Рылеева: «Всё у Трубецкого сводилось к давлению на власть, которая должна будет уступить без боя.

Он стремился, прежде всего, действовать «с видом законности». Мысль же Рылеева и его сторонников «была направлена на решительные революционные акты, которые одни могли бы дать, будь они осуществимы, победу революционному выступлению»<sup>93</sup>.

На тех же позициях стоит и М. М. Сафонов. Разбирая вопрос, планировал ли Трубецкой захват Зимнего дворца, исследователь приходит к важным обобщающим выводам: у руководителей восстания накануне решительных действий не только не было единого плана, но и возник острый конфликт по вопросам тактики. Согласно Сафонову, сценарий, который заговорщики пытались осуществить 14 декабря, был разработан именно Кондратием Рылеевым. Используя показания не только Рылеева и Трубецкого, но и других участников восстания, автор утверждает: план этот был весьма радикальным, подразумевал взятие Зимнего дворца «малыми силами», «с горстью солдат» и проведение — под угрозой применения силы — переговоров с Сенатом о создании Временного правления. Трубецкой же, замечает Сафонов, действовать по этому плану явно не хотел, «находил необходимым вначале собрать все неприсягнувшие войска вместе, определить возможности восставших и только исходя из них решать, как действовать дальше: развивать ли начатое либо же отказаться от дальнейших действий». Но 13 декабря князь понял, что у заговорщиков слишком мало сил для реализации его замысла и успех его более чем сомнителен, а потому счел, что лучше не начинать, чем потерпеть поражение: «Сам диктатор, видя малочисленность сил, уверен, что выступление приведет в таком случае к катастрофе. Однако Рылеев настаивает: надо выступать в любом случае, даже с малым количеством войск. Руководители тайного общества уже обречены на смерть, они слишком далеко зашли, возможно, их уже предали. Поэтому необходимо подниматься в любом случае и при любых условиях. Но такая позиция была неприемлема для Трубецкого в принципе». Когда же Рылеев понял, что Трубецкой не собирается выполнять его план, он своей властью назначил другого диктатора — полковника Александра Булатова. Накануне восстания Рылеев сообщил о своем решении Трубецкому, и, следовательно, тому вообще незачем было выходить 14 декабря на Сенатскую площадь<sup>94</sup>.

Эту концепцию можно было бы признать исчерпывающей, если бы не одно весьма важное обстоятельство: она противоречит показаниям Рылеева, которые на очной ставке 6 мая 1826 года подтвердил Трубецкой, отказавшись, таким образом, от собственной версии событий<sup>95</sup>.

Учитывая разнообразие исследовательских мнений, следует признать, что вопрос о наличии или отсутствии у заговорщиков единого плана действий нельзя считать закрытым. Для его решения следует проанализировать не только следственные показания и мемуары непосредственных участников событий, и не только в той части, которая непосредственно касается подготовки вооруженного переворота. Следует обратиться ко всему комплексу показаний декабристов, обратив особое внимание на освещение ими событий, предшествующих смерти императора Александра I и междуцарствию.

Однако специфика этих источников такова, что на их основе невозможно сделать окончательных выводов. Данный очерк лишь реконструирует не противоречащую источникам картину событий конца 1825-го — начала 1826 года.

Прежде всего следует отметить: мнение ряда историков, что накануне решающих событий Рылеев сменил диктатора, вряд ли справедливо.

Мнение это основано на мемуарных записях самого Трубецкого: «Надобно было найти известного гвардейским солдатам штаб-офицера для замещения передавшихся на сторону власти батальонных и полковых командиров. Этот начальник нужен был только для самого первого начала, чтобы принять начальство над собравшимися войсками. Был в столице полковник Булатов, который недавно перешел из Лейб-гренадерского полка в армию. Его помнили и любили лейб-гренадеры, а этот был одним из полков, на который более надеялись. Булатов согласился принять начальство над войсками, которые соберутся на сборном месте»<sup>96</sup>.

На следствии же вопрос о новом диктаторе не всплывал, хотя, учитывая поведение Трубецкого на допросах, логично было бы ждать от него стремления переложить главную ответственность на Булатова, тем более что тот в самом начале следствия покончил жизнь самоубийством и вряд ли этот факт остался неизвестен другим подследственным. Однако ни сам Трубецкой, ни Рылеев, ни другие участники подготовки восстания не упоминали на следствии о смене военного лидера. Более того, Евгений Оболенский показывал: «Со времени выбора князя Трубецкого начальником мы старались сколько возможно менее излагать мнения наши касательно действий, дабы внушить членам более почтения и доверенности к князю Трубецкому». Оболенский, назначивший на 12 декабря совещание заговорщиков у себя на квартире «в противность пра-

вил, нами принятых, не действовать без ведома князя Трубецкого», «получил нареkanie от Рылеева и от других»<sup>97</sup>.

Скорее всего, история с «диктаторством» Булатова — не более чем позднейшая выдумка Трубецкого, его попытка оправдаться в общественном мнении. На деле же до самого вечера 14 декабря заговорщики считали диктатором именно Трубецкого.

Рассуждая о Трубецком-декабристе, историк М. Н. Покровский считал его участие в заговоре «ненормальностью». Люди его круга, представители богатейшей высшей знати, у которых были «не тысячи, а сотни тысяч душ», как правило, поддерживали правительство. С этим, по мнению историка, и связаны нравственные терзания диктатора накануне и в самый день 14 декабря и его «невыход» на Сенатскую площадь: «...всё же был солдат и в нормальной для него обстановке сумел бы по крайней мере не спрятаться»<sup>98</sup>. Естественно, такой «вульгарно-социологический» подход к движению декабристов советские исследователи много раз опровергали, и в конце концов он был оттеснен на обочину историографии. Между тем в работах Покровского было немало здравых идей. В данном случае он также оказался прав: среди готовивших восстание Трубецкой действительно был чужим.

В данном случае дело, конечно, не в том, что все люди его круга сплотились около трона. Трубецкой был прямым потомком литовского великого князя Гедимина. Но среди декабристов были и другие представители древних княжеских родов: Сергей Волконский, Евгений Оболенский, Александр Одоевский, Александр Барятинский, Дмитрий Щепин-Ростовский. Трубецкой был очень богат — но, например, Волконский и Никита Муравьев владели вполне сравнимыми состояниями. Кроме того, все конституционные проекты, разрабатывавшиеся заговорщиками, предусматривали в случае победы революции полную отмену сословий.

Чужеродность Трубецкого в среде «северных» декабристов определялась другим. Князь много воевал, имел чин полковника гвардии и должность старшего адъютанта Главного штаба, тогда как большинство из тех, с кем он готовил переворот, не имели боевого опыта, служили в обер-офицерских чинах (ниже майорского) или вышли обер-офицерами в отставку. Он был корифеем заговора, отдал ему девять лет жизни — а многие его соратники провели в тайном обществе от нескольких дней до нескольких месяцев.

Почти весь 1825 год Трубецкого не было в столице. Приехав из Киева в Петербург в десятых числах ноября, он столкнулся с новой реальностью, которую историк В. М. Бокова

характеризует следующим образом: «В начале 1825 г. Рылеев был избран в “верховную думу” (триумvirат) на место уехавшего кн. С. П. Трубецкого. Этот акт на практике знаменовал собой поглощение или даже вытеснение рылеевской отраслью остатков “Союза соединенных и убежденных” (самоназвание Северного общества. — О. К.) в Петербурге. С этого времени Северное общество целиком стало обществом Рылеева: второй член триумvirата — кн. Е. П. Оболенский — находился под личным рылеевским влиянием, а первый — Н. М. Муравьев — поглощенный семьей и писанием Конституции, активного участия в делах общества почти не принимал. К этому следует добавить, что в Союзе (в Петербурге) реально не существовало других управ, кроме созданных участниками рылеевской отрасли или подведомственных им»<sup>99</sup>.

Естественно, что Трубецкому, осторожному политику, не могли imponировать решительность и горячность молодых заговорщиков, возглавляемых оставшим подпоручиком, поэтом и журналистом Рылеевым. И в мемуарах князь признавал, что «может быть, удалившись из столицы... сделал ошибку»: «Он\* оставил управление общества членам, которые имели менее опытности и, будучи моложе, увлекались иногда своею горячностью и которых действие не могло производиться в том кругу, в котором мог действовать Трубецкой. Сверх того, тесная связь с некоторыми из членов отсутствием его прервалась»<sup>100</sup>.

Нетрудно предположить, что князь уехал бы обратно к месту службы, так и не договорившись с «отраслью» Рылеева о конкретных совместных действиях, если бы не внезапные болезнь и смерть императора Александра I и ситуация междуцарствия. Пропустить столь удобный случай воплотить свои замыслы в жизнь он не мог. Однако единственной реальной силой, на которую князь мог опереться, была именно «отрасль» Рылеева. Трубецкому предстояло действовать вместе с людьми, которым он не мог доверять и к которым относился свысока. По крайней мере Булатов утверждал: в разговорах с молодыми офицерами князь принимал «важность настоящего монарха», а Оболенский показывал, что на бурных совещаниях в квартире Рылеева диктатор по большей части молчал, «не входил в суждения о действиях общества с прочими членами»<sup>101</sup>.

Рылеев и «рылеевцы» не могли этого не видеть и со своей стороны не доверяли Трубецкому. Сам князь был им не так интересен, как его придворные связи и «густые эполеты» гвардейского полковника. Согласно показаниям Трубецкого, Рылеев,

---

\* В мемуарах Трубецкой писал о себе в третьем лице.

уговаривая его принять участие в готовящемся восстании, утверждал, что он «непременно для сего нужен, ибо нужно имя, которое бы ободрило». При назначении князя диктатором Рылеев еще раз повторил, что его «имя» «необходимо нужно» для успеха революции<sup>102</sup>.

«Кукольной комедией» назвал избрание Трубецкого диктатором ближайший друг Рылеева Александр Бестужев, однако он же отмечал, что отсутствие диктатора на площади имело «решительное влияние» на восставших офицеров и солдат, поскольку «с маленькими эполетами и без имени принять команду никто не решился»<sup>103</sup>.

Участник событий Петр Свистунов размышлял в мемуарах: «Тут возникает вопрос... что побудило Рылеева, решившего действовать во что бы то ни стало, предложить начальство человеку осторожному, предусмотрительному и не разделявшему его восторженного настроения. Это объясняется очень просто. Рылеев, будучи в отставке, не мог перед войском показаться в мундире; нужны были если не генеральские эполеты, которых налицо тогда не оказалось, то по меньшей мере полковничьи». Неудавшийся же царевича Петр Каховский и вовсе предполагал, что диктатор был «игрушкой тщеславия Рылеева»<sup>104</sup>.

Конечно, полковник князь Трубецкой не был игрушкой в руках отставного подпоручика и поэта. Но и Рылеев, ощущавший себя безусловным лидером петербургского заговора, действовать по указке Трубецкого не собирался. По-видимому, Рылеев и Трубецкой, разыгрывая каждый свою карту в сложной политической игре, пытались в этой игре использовать друг друга. И именно это взаимное недоверие оказалось роковым для исхода восстания.

Рылеев на следствии несколько раз излагал их с Трубецким общий план действий — и его показания выглядят непротиворечиво. Согласно им, Трубецкой с момента избрания диктатором «был уже полновластный начальник наш; он или сам, или чрез меня, или чрез Оболенского делал распоряжения. В пособие ему на площади должны были явиться полковник Булатов и капитан Якубович». Трубецкой поручил ротным командирам «распустить между солдатами слух, что царевич от престола не отказался, что, присягнув недавно одному государю, присягать чрез несколько дней другому грех. Сверх того сказать, что в Сенате есть духовная покойного Государя, в которой солдатам завещано 12-ть лет службы, и потом в день присяги, подав собою пример, стараться вывести,



каждый кто сколько успеет из казарм и привести их на Сенатскую площадь». При этом Якубович должен был «находиться под командою Трубецкого с Экипажем гвардейским и в случае надобности идти к дворцу, дабы захватить императорскую фамилию... Дворец занять брался Якубович с Арбузовым, на что и изъявил свое согласие Трубецкой». Булатов же соглашался возглавить Лейб-гренадерский полк, в котором он раньше служил и где его помнили и любили. После захвата дворца следовало силой «принудить» Сенат издать манифест об уничтожении старого правления, создании Временного правления и организации парламента — Великого собора<sup>105</sup>.

Трубецкой же много месяцев отрицал показания Рылеева, утверждая, что никому не давал «поручения о занятии дворца, Сената, крепости или других мест»<sup>106</sup> и не собирался арестовывать императора и его семью.

На очной ставке 6 мая 1826 года показания Рылеева были обобщены и сведены к следующему лаконичному утверждению: «Занятие дворца было положено в плане действий самим кн[язем] Трубецким. Якубович брался с Арбузовым сие исполнить, — на что к[нязь] Трубецкой и изъявил свое согласие. Занятие же крепости и других мест должно было последовать, по его же плану, после задержания императорской фамилии». Точка зрения же Трубецкого выглядела следующим образом: «Занятие дворца не было им положено в плане действия, и он, князь Трубецкой, не говорил о том ни с Якубовичем, ни с Арбузовым, и никому не поручал передать им сие или выискать кого для исполнения сего; не изъявлял также на то и своего согласия. Равным образом в план действия не входило ни занятие крепости, или других мест, ни задержание императорской фамилии»<sup>107</sup>. В итоге очной ставки Трубецкой отказался от своих показаний и подтвердил правоту Рылеева.

Пытаясь объяснить это странное признание, М. М. Сафонов цитирует мемуары Трубецкого: «Я имел очную ставку с Рылеевым по многим пунктам, по которым показания наши были несходны. Между прочим были такие, в которых дело шло об общем действии, и когда я не признавал рассказ Рылеева справедливым, то он дал мне почувствовать, что я, выгораживая себя, сваливаю на него. Разумеется, мой ответ был, что я не только ничего своего не хочу свалить на него, но что я заранее согласен со всем, что он скажет о моем действии. И что я на свой счет ничего не скрыл и более сказал, нежели он может сказать»<sup>108</sup>.

По-видимому, очная ставка действительно была мучительна для обоих декабристских лидеров. Однако и в данном случае вряд ли стоит полностью доверять мемуарному свидетель-

ству князя, вовсе не склонного выгораживать других за свой счет.

С Рылеевым же, как справедливо отмечает тот же Сафонов, Трубецкой вел на следствии заочную дуэль. Все месяцы следствия, начиная с первого допроса в ночь на 15 декабря, Трубецкой перекладывал вину на Рылеева, и нет никаких оснований полагать, что на очной ставке он сознательно избрал другую тактику. Кроме того, вопрос о плане действий был лишь одним из одиннадцати, по которым Трубецкой и Рылеев обнаруживали «разноречия в показаниях» и, как свидетельствуют документы, в большинстве случаев правду говорил именно Рылеев.

По-видимому, если бы Трубецкой на очной ставке возражал Рылееву, то рисковал быть уличенным в даче ложных показаний и namного утяжелить свою участь. Трубецкой перед восстанием действительно поддержал радикальный план, подразумевавший взятие Зимнего дворца и арест императора. Но он не лгал, говоря о своем несогласии с этим планом — с оговоркой, что это несогласие являлось его внутренним убеждением и Рылееву об этом почти ничего не было известно. По-видимому, Трубецкой был уверен, что, командуя восставшими войсками, он в любом случае сумеет удержать ситуацию под контролем.

Диктатор перед восстанием боялся только одного — что в нем примет участие малое количество войск. Накануне 14 декабря он убеждал Рылеева: «Не надо принимать решительных мер, ежели не будете уверены, что солдаты вас поддержат... Что же мы сделаем, ежели на площадь выйдет мало, роты две или три?» — и услышал в ответ: «Вы, князь, всё берете меры умеренные, когда надо действовать решительно»<sup>109</sup>.

Но и в этом случае последнее слово Трубецкой оставлял за собой. По крайней мере барон Владимир Штейнгейль отмечал в показаниях, что вечером 13 декабря диктатор «рассуждал о приведении намерения их на другой день в исполнение». Участникам последнего, вечернего совещания было объявлено, что следует собраться на Сенатской площади и там ожидать приказаний Трубецкого<sup>110</sup>, что, как известно, и было сделано.

Очевидно, Рылеев подозревал, что Трубецкой ведет свою игру, строит планы, отличные от тех, которые декларирует в разговорах с ним и его сторонниками. По крайней мере уже на первом допросе в ночь на 15 декабря он обвинил диктатора не столько в невыходе на площадь, сколько в сознательной провокации: «Страшась, чтобы *подобные же люди* (курсив мой. — О. К.) не затеяли что-нибудь подобное на юге, я долгом совес-

ти и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество... Надобно взять меры, чтобы там не вспыхнуло возмущение»<sup>111</sup>.

Все месяцы следствия Рылеев, яростно оспаривая показания Трубецкого, боролся с человеком, который, по его мнению, ради достижения целей, весьма далеких от благородных целей тайного общества, спровоцировал беспорядки в столице. Одной из главных задач Рылеева на следствии было вывести князя на чистую воду, не дать ему избежать ответственности: «Трубецкой может говорить, что упомянутые приготовления и распоряжения к возмущению будто бы делались только от его имени, а непосредственно были мои; но это несправедливо... Настоящие совещания всегда назначались им и без него не делались. Он каждый день по два и по три раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и когда я уведомлял его о какомнибудь успехе по делам общества, он жал мне руку, хвалил ревность мою и говорил, что он только и надеется на мою отрасль. Словом, он готовностью своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностью, не всем себя открывая»<sup>112</sup>.

Догадки Рылеева во время следствия были недалеки от истины: у диктатора перед восстанием действительно был свой план, о котором его коллега и конкурент не знал. Этот план Трубецкий описывал несколько раз — и в показаниях, и в позднейших мемуарах — крайне невнятно и противоречиво. Поначалу он утверждал, что предполагал собрать отказавшиеся от присяги полки «где-нибудь в одном месте и ожидать, какие будут приняты меры от правительства»; затем — что «полк, который откажется от присяги», следует вести «к ближнему полку, на который надеялись», после чего стянуть все неприсягнувшие полки к Сенату; потом — что Лейб-гренадерский и Финляндский полки «должны были идти прямо на Сенатскую площадь, куда бы и прочие пришли». В мемуарах же появляется еще одна деталь плана, противоречащая предыдущим: «Лейб-гренадерский [полк] должен был прямо идти к Арсеналу и занять его»<sup>113</sup>.

Однако все без исключения рассказы диктатора о плане действий объединяет один общий элемент — Трубецкий хотел добиться вывода восставших войск за город: «...лучше будет, если гвардию или хотя и не все полки выведут за город, тогда государь император Николай Павлович останется в городе и никакого беспорядка произойти не может»; «...обстоятельства должны были решить, где удобнее расположить полки,

но я предпочитал расположить их за городом, ибо тогда в городе сохранится тишина, да и самые полки можно будет лучше удержать от разброда». Князь предполагал «вытребовать» для полков «удобное для стоянки место для окончания всего» и «думал, что если в первый день не вступят с ними в переговоры, то увидев, что они не расходятся и проночевали первую ночь на биваках, непременно на другой день вступят с ними в переговоры». Таким образом «будет соблюден вид законности и упорство полков будет сочтено верностию». «Уверенность вообще была, что окончание будет по желанию», — убеждал Трубецкой следователей<sup>114</sup>. «Он так был уверен в успехе предприятий, что, говоря с своими военачальниками, полагал, что, может быть, обойдется без огня» — так, по словам Александра Булатова, выглядела позиция Трубецкого за два дня до восстания<sup>115</sup>.

Князь несколько раз повторил в показаниях, что вывести войска за город впервые предложил член Северного общества, подполковник Корпуса инженеров путей сообщения Гавриил Батеньков, а сам он только воспользовался этой идеей. Впоследствии в мемуарах князь объяснил причину: вывод войск за город был условием, «на котором обещано чрез Батенькова содействие некоторых членов Государственного совета, которые требовали, чтоб их имена остались неизвестными»<sup>116</sup>.

Батеньков действительно был человек влиятельный и имел большие связи при дворе. Однако многолетние попытки историков выявить тех членов Государственного совета, которые через него обещали содействие Трубецкому, успеха не принесли. К тому же неясно, зачем таинственным покровителям Батенькова было нужно, чтобы восставшие войска вышли за город и оставили столицу во власти верных императору частей.

Этот элемент плана (в том виде, в котором диктатор изложил его на следствии и в мемуарах) не поддается логическому объяснению. Невозможно согласиться с тем, что действия мятежников — даже в случае активной эксплуатации константиновского лозунга — в глазах представителей власти могли иметь «вид законности». Вряд ли можно поверить и в то, что Трубецкой рассчитывал на сочение собственных действий «верностию». Любое неповиновение в армии, вне зависимости от причин, каралось очень жестоко, и Трубецкой как человек военный не мог этого не знать. Естественно, восставшие полки могли произвести «беспорядок» в городе; но каким способом их можно было удержать от беспорядков «за городом», диктатор предпочел не пояснять.

Император, создающий мятежникам комфортные условия для мятежа и добровольно соглашающийся на их требования,

с учетом того, что гвардия была лишь небольшой частью огромной российской армии, выглядел бы экстравагантным самоубийцей. Руководитель же восстания, планирующий захват власти в столице и выводящий для этого из нее верные себе части, и вовсе кажется умалишенным. И совершенно непонятно, откуда у Трубецкого могла возникнуть уверенность, что «окончание будет по желанию».

Проанализировав показания Трубецкого, следует признать: распространенное мнение, что на первых же допросах диктатор сломался, раскаялся и выдал все свои планы, в корне неверно. Трубецкой понимал, что шансов выжить у него крайне мало, и все его показания с самого начала до самого конца следствия — смесь полуправды с откровенной ложью. Он боролся за собственную жизнь, боролся с немалым упорством и изобретательностью. Естественно, что, излагая собственный план действий, он стремился, с одной стороны, не быть уличенным в прямой лжи, с другой — скрыть самые опасные моменты этого плана, которые, будь они известны следствию, вполне могли привести автора на эшафот.

Для того чтобы понять этот план действий, следует проанализировать тактику, которой Трубецкой придерживался на следствии.

Тактика же эта на первый взгляд кажется весьма странной. Трубецкой обвинялся в организации военного мятежа, его положение было в полном смысле слова катастрофическим — и, по-видимому, князь хорошо понимал степень угрожавшей ему опасности. Попав в тюрьму, он сразу же согласился сотрудничать со следствием, и логично было бы ждать от него подробных описаний предшествовавших 14 декабря событий, серьезного анализа причин, по которым в столице империи произошел мятеж. Вероятно, именно это и рассчитывали услышать от него следователи.

Однако, несмотря на покаянный тон показаний диктатора, на его полное самоуничижение на первых допросах, эти ожидания были обмануты. «В присутствии Комитета допрашиван князь Трубецкой, который на данные ему вопросы при всём настоянии членов дал ответы неудовлетворительные», — читаем запись в «журнале» Следственной комиссии от 23 декабря<sup>117</sup>. Невнятно повествуя о своих взаимоотношениях с отставным подпоручиком Рылеевым накануне событий, он упорно отсылал следствие на юг, туда, где находился главный, по его мнению, виновник произошедшего — полковник Павел Пестель.

Согласно Трубецкому, Пестель был «порочным и худой нравственности», злым и жестоким честолюбцем, рвущимся к диктаторской власти и ради этого готовым на всё, в том числе и на цареубийство: «Он обрекал смерти всю высочайшую фамилию... Он надеялся, что государь император не в продолжительном времени будет делать смотр армии, в то же время надеялся на поляков в Варшаве, и хотелось ему уговорить тож исполнить и здесь»<sup>118</sup>.

По показаниям Трубецкого, цель столичного тайного общества, как и его личная цель, состояла в противодействии Пестелю. Не будь его, все заговорщики давно разошлись бы и 14 декабря не случилось. Таким образом, Пестель оказывался виноватым и в событиях на Сенатской площади.

Трубецкой резюмировал: «Я имел все право ужаснуться сего человека, и если скажут, что я должен был тотчас о таком человеке дать знать правительству, то я отвечаю, что мог ли я вздумать, что кто б либо сему поверил; избоблечить его я не мог, он говорил со мною глаз на глаз. Мне казалось достаточною та уверенность, что он без содействия здешнего общества ничего предпринять не может, а здесь я уверен был, что всегда могу всё остановить — уверенность, которая меня теперь погубила»<sup>119</sup>.

Из показаний Трубецкого следовало, что с разгромом столичных заговорщиков опасность для государственной власти в России не исчезла. Князь утверждал: перед его отъездом из Киева в ноябре 1825 года Пестель передал, «что он уверен во мне, что я не откажусь действовать, что он очень рад, что я еду в Петербург, что я, конечно, приготовлю к действию, которое, может быть, он начнет в будущем году, что его вызывают к нему из Москвы и Петербурга»<sup>120</sup>.

В данном случае Трубецкой подтасовывал факты: истинных планов Пестеля он не знал и собирался действовать в 1826 году вовсе не вместе с ним. Но он старательно внушал следствию: пока Пестель на свободе, праздновать победу рано (о том, что руководитель Южного общества 13 декабря был арестован в Тульчине, ни Трубецкой, ни следователи еще не знали).

Согласно настойчивым показаниям Трубецкого, у правительства был только один шанс избежать кровавого кошмара: не арестовывать единственного человека, который мог бы противостоять Пестелю, — руководителя Васильковской управы «южан», подполковника Черниговского пехотного полка Сергея Муравьева-Апостола.

Трубецкой неоднократно подчеркивал: Муравьев — человек мирный, совершенно неопасный для правительства и при этом «Пестеля ненавидит» и всячески препятствует его зло-

дейским замыслам. Князь писал, что Муравьев поклялся, «если что нибудь Пестель затеет делать для себя, то всеми средствами ему препятствовать»<sup>121</sup>.

Правда, император и следователи Трубецкого не послушались: 18 декабря был отдан приказ об аресте Муравьева-Апостола<sup>122</sup>. Но мотив противостояния двух лидеров Южного общества, настойчиво звучавший в показаниях одного из руководителей северной организации, весьма показателен — он позволяет прояснить многие моменты в подготовленном диктатором плане действий.

Ни Пестель, ни Сергей Муравьев-Апостол на следствии не распространялись по поводу взаимной ненависти и смертельной вражды. В показаниях Пестеля практически не звучит и тема борьбы лично с Трубецким. Более того, авантюрист и «цареубийца» Пестель в декабре 1825 года хладнокровно сдался властям, а для того чтобы арестовать «мирного» Сергея Муравьева-Апостола, потребовались неделя времени и усилия практически целого армейского корпуса. Обезвредить его смогли только прямым попаданием картечи в голову.

Однако именно в Пестеле князь видел своего главного конкурента, способного отобрать у него лавры организатора революции. В 1824 году во многом из-за непримиримой позиции Трубецкого окончились провалом инициированные Пестелем «объединительные совещания» в Петербурге. Пестель приехал в столицу с идеей объединения северных и южных заговорщиков, но получил решительный отпор. Ему открыто предъявили обвинения в том, что его цель — не ликвидировать российское самодержавие, а установить в России диктатуру, при этом присвоив себе верховные полномочия<sup>123</sup>.

Личные разногласия Пестеля и Трубецкого, двух самых крупных декабристских лидеров, ярче всего проявились при подготовке ими конкретных планов действий по свержению российского самодержавия.

Пестель считал, что начинать восстание должны столичные заговорщики. «Приступая к революции, — показывал он на следствии, — надлежало произвести оную в Петербурге, яко средоточии всех властей и правлений, а наше дело в армии и губерниях было бы признание, поддержание и содействие Петербургу. В Петербурге же оное могло произойти восстанием гвардии, а также флота»<sup>124</sup>.

Но восстание в столице было важно Пестелю лишь как элемент большого плана. Параллельно с ним должно было начаться и выступление на юге, во 2-й армии, и с конца 1822

года руководитель «южан» постоянно готовил его. В 1823 году революционный поход 2-й армии не состоялся только из-за решительных действий графа А. А. Аракчеева; за потворство заговорщикам лишился должности начальника Главного штаба князь П. М. Волконский. В конце же 1825-го планы Пестеля были сорваны генерал-лейтенантом А. И. Чернышевым.

Объясняя на следствии свой перевод в Киев, Трубецкой утверждал: «Хотел я показать членам, что я имею в виду пользу общества и что там я могу ближе наблюдать за Пестелем»; «...я намерен был ослабить Пестеля»<sup>125</sup>. По всей видимости, в ходе «объединительных совещаний» Трубецкой понял, что Пестель действительно готов к серьезным и решительным действиям и вполне может отобрать у него лавры организатора революции, а этого честолюбивый заговорщик никак не желал.

Взаимоотношения Трубецкого с руководителем Васильковской управы Южного общества Сергеем Муравьевым-Апостолом строились совершенно иначе. Они знали друг друга давно: вместе воевали, вместе служили в Семеновском полку, вместе основывали первое тайное общество — Союз спасения, вместе участвовали и в Союзе благоденствия. И когда Трубецкой в начале 1825 года оказался в Киеве, его дружеское общение с Муравьевым тут же возобновилось. Причем было оно столь тесным, что дало историкам повод полагать, будто Трубецкой не устоял против муравьевской харизмы и согласился исполнять предложенный васильковским руководителем план действий<sup>126</sup>.

Однако эта точка зрения не выдерживает критики. Согласно документам, прежде всего следственным показаниям Трубецкого и Сергея Муравьева-Апостола, северный лидер умело использовал как тактические противоречия Пестеля и Муравьева, так и революционную решительность руководителя Васильковской управы. План Муравьева-Апостола он подкорректировал в соответствии со своими тактическими разработками.

В течение 1825 года Муравьев и Трубецкой разработали совместный сценарий действий, который в показаниях Муравьева выглядел следующим образом: «В конце 1825-го года, когда он (Трубецкой. — *О. К.*) отъезжал в Петербург, поручено ему было объявить членам Северного общества решение начинать действие, не пропуская 1826-й год, и вместе просьбу нашу, чтобы и они по сему решению приняли свои меры. Пред отъездом же Трубецкого в Петербург было положено, в случае



успеха в действиях, верить временное правление Северному обществу, а войски собрать в двух лагерях, одном под Киевом, под начальством Пестеля, другом под Москвою, под начальством Бестужева; а мне ехать в Петербург». Разработка «своих мер» в столице полностью входила в компетенцию Трубецкого и Северного общества. Пестель выводился из игры: ему предоставлялось поднять 2-ю армию и вести ее на Киев, чтобы «устроить там лагерь»<sup>127</sup>.

С одной стороны, сохранялся главный элемент муравьевского плана — революционный поход на Москву: 3-й корпус под командой Бестужева-Рюмина должен был идти туда, «увлекая все встречающиеся войска». С другой стороны, центральным очагом революции становился Петербург, куда должен был отправиться сам Сергей Муравьев, чтобы командовать гвардией<sup>128</sup>. Таким образом, план вполне мог удовлетворить честолюбивые устремления и Муравьева, и Бестужева-Рюмина.

Но вряд ли даже в измененном виде он полностью устраивал Трубецкого. Документы свидетельствуют: князь не был откровенен с Муравьевым-Апостолом, а зачастую попросту обманывал его. «Мне не нравился план действия их (Муравьева и Бестужева-Рюмина. — *О. К.*), но я о том не говорил им, и, напротив, оказал согласие действовать по оному, имея в мысли, что он может быть переменен»; «...при отъезде моем из Киева я обещал и Сергею Муравьеву-Апостолу, и Бестужеву-Рюмину, что я и в Петербурге, и в Москве всё устрою по их желанию. Но здесь я никого не убеждал к исполнению требований Южного общества», — утверждал диктатор на следствии<sup>129</sup>.

Судя по всему, Муравьев-Апостол был важен Трубецкому прежде всего как орудие борьбы против Пестеля. Кроме того, 3-й пехотный корпус, в котором Васильковская управа вела активную пропагандистскую работу, мог быть весьма полезен в случае начала революционных действий. Но во главе петербургской гвардии Трубецкой видел не подполковника Муравьева-Апостола, а гораздо более влиятельного и популярного в армии генерала Михаила Орлова, жившего в Москве. Трубецкой пригласил его в декабре 1825 года приехать в Петербург и возглавить столичное восстание — следовательно, движение на Москву в качестве серьезного элемента плана не рассматривал.

Трубецкой вовсе не видел подпоручика Бестужева-Рюмина в качестве руководителя идущих с юга революционных войск, войска же эти не должны были состоять только из одного 3-го пехотного корпуса. Свои основные надежды князь связывал с 4-м пехотным корпусом, в котором служил в качест-

ве дежурного штаб-офицера. Согласно документам, союзником северного лидера был сам корпусный командир, генерал от инфантерии князь А. Г. Щербатов<sup>130</sup>.

На одном из первых допросов, 23 декабря 1825 года, Трубецкой утверждал, что незадолго до событий на Сенатской площади предупреждал Рылеева, «что это всё (то есть предполагаемое восстание 14 декабря. — *О. К.*) пустое дело, из которого не выйдет никакого толку, кроме погибели». Противопоставляя неподготовленному к действиям Северному обществу решительных «южан», Трубецкой, по собственным словам, просил отпустить его назад в 4-й корпус, ибо «там если быть чему-нибудь, то будет»<sup>131</sup>.

Этими показаниями Трубецкой пытался убедить следствие, что не желал начальствовать над петербургскими заговорщиками, а слова о 4-м корпусе якобы были им произнесены «единственно с намерением отделаться от бывшего мне тягостным участия под каким-нибудь благовидным предлогом», приводя аргумент: «Надежды предпринять что-либо в 4-м корпусе я иметь не мог, потому что в оном общество не распространено»<sup>132</sup>.

Следователи, видимо, удовлетворились этими разъяснениями и о 4-м корпусе Трубецкого некоторое время не спрашивали. Однако уже в конце следствия, 8 апреля 1826 года, показания на эту тему дал Рылеев. По его словам, князь, вернувшись из Киева, рассказывал ему и Оболенскому, «что дела Южного общества в самом хорошем положении, что корпуса князя Щербатова и генерала Рота (командующий 3-м пехотным корпусом, в состав которого входил Черниговский пехотный полк. — *О. К.*) совершенно готовы»<sup>133</sup>.

Свидетельство Рылеева Трубецкому предъявили 4 мая, и тот начал его отчаянно опровергать: «Корпуса князя Щербатова я не называл, и если Рылеев и к[нязь] Оболенский приняли, что я в числе готовых корпусов для исполнения намерения Южного общества полагал и 4-й пехотный, то они ошиблись; а мне сказать это было бы непростительным хвастовством, которое не могло бы мне удаться, ибо если бы они спросили у меня, кто члены в 4-м корпусе, то таковой вопрос оказал бы, что я солгал»<sup>134</sup>.

Действительно, за всё время пребывания на юге он не принял в общество ни одного нового члена. Сергей Муравьев показывал, что Трубецкой не выполнил его просьбу «стараться о приобретении членов в 4-м корпусе»<sup>135</sup>.

Вообще же к концу 1825 года в войсках 4-го корпуса служили всего четверо причастных к заговору офицеров: подполков-

ники А. В. Капнист, А. М. Миклашевский и И. Н. Хотяинцев, а также юнкер Ф. Я. Скарятин. Все они попали в тайное общество помимо Трубецкого; после подавления восстания никто из них не понес серьезного наказания.

Шестого мая 1826 года на очной ставке между Трубецким и Рылеевым следователи, в частности, выясняли, говорил ли Трубецкой о своих надеждах на 4-й корпус. И князь вынужден был признать справедливость показания поэта<sup>136</sup>.

Вся история с показаниями Трубецкого о 4-м корпусе загадочна лишь на первый взгляд. Объяснение ей можно найти в следственном деле майора Вятского полка Николая Лорера — одного из самых близких к Пестелю заговорщиков. Хорошо ориентировавшийся в делах заговора Лорер показывал: «Тайное общество имело всегда в виду и поставляло главной целью обращать и принимать в члены... людей значащих, как-то: княжеских командиров и генералов, и потому поручено было князю Трубецкому или он сам обещался узнать образ мыслей князя Щербатова и тогда принять его в общество»<sup>137</sup>.

«Кажется, что главная роль Трубецкого заключалась в соответствующем воздействии на высшее командование корпуса. При благоприятном стечении событий в его руках могли оказаться все войска корпуса. Это обстоятельство, можно предполагать, заставляло держаться его возможно осторожнее», — считает биограф Трубецкого Н. Ф. Лавров<sup>138</sup>.

Руководители же Васильковской управы, скорее всего, просто не знали о подобных «приготовлениях» Трубецкого.

Рассуждая о плане действий Трубецкого накануне 14 декабря, М. В. Нечкина писала: «По давнему мнению декабристов, успех в столице должен был сопровождаться военным выступлением на местах. Важнейшее значение имело выступление на Украине — во второй армии... Трубецкого чрезвычайно тревожил вопрос о южном выступлении... Таким образом, одновременность северного и южного восстаний была важным моментом замысла». Она основывалась, в частности, на показаниях Александра Бестужева, согласно которым за два дня до восстания на совещании у Рылеева «князь Трубецкой... просился уехать, чтобы удержать от присяги 2-й корпус, но ему сказали, что он здесь надобен»<sup>139</sup>.

Несмотря на то, что и в показаниях Бестужева, и в комментариях Нечкиной содержатся фактические неточности (речь в данном случае могла идти только о 4-м пехотном корпусе — во 2-м корпусе 1-й армии у диктатора не было союзников, а 2-я армия находилась под контролем Пестеля и не рассматривалась Трубецким как главная сила переворота), настроение диктатора перед восстанием передано в целом верно.

Судя по всему, в декабре 1825 года основные политические интересы Трубецкого действительно лежали вне столицы. Главной задачей, которую ставил себе диктатор перед решающим днем, могла быть длительная дестабилизация ситуации в Петербурге. Тем самым перед его сторонниками в 1-й армии открывалась возможность начать решительные действия. Поэтому идея вывода войск за город была не столь уж фантастической: чем дальше войска отошли бы от столицы, чем дольше с ними вели бы переговоры, — тем больше времени продолжался бы паралич центральной власти.

Утром 23 декабря Следственная комиссия заслушала показания корнета Кавалергардского полка Петра Свистунова, арестованного в ночь на 21 декабря в Москве. Свистунов, между прочим, утверждал: Трубецкой просил «письмо от него отвезти» в Москву, «г[енерал]-м[айору] Орлову»<sup>140</sup>.

Допрошенный в тот же день, Трубецкой подтвердил показания Свистунова: «Я написал письмо к г[енерал]-м[айору] Орлову, в котором я уговаривал его, чтоб он приехал; я чувствовал, что я не имею духу действовать к погибели, и боялся, что власти не имею уже, чтоб остановить, надеялся, что, если он приедет, то он сию власть иметь будет»<sup>141</sup>. Иными словами, Трубецкой убеждал следователей, что Орлов был нужен ему постольку, поскольку своим авторитетом мог остановить начинавшийся военный мятеж.

Но долго настаивать на этой версии Трубецкой не смог. Свистунов, знавший содержание письма, сообщил следствию: «Трубецкой говорил Орлову, чтоб приехал в Петербург немедленно, что войска, конечно, будут в неустройстве и что нужно воспользоваться первым признаком оного... что происшествие, конечно, будет и желательно бы было, чтоб он ускорил своим приездом»<sup>142</sup>.

Трубецкой был вынужден изменить показания — 15 февраля он уже утверждал, что просил Орлова приехать в столицу, поскольку «что здесь будет, то будет, причем всё равно, как и без него»<sup>143</sup>.

Суммируя эти данные, можно утверждать, что полковник Трубецкой приглашал генерал-майора Орлова приехать в Петербург, чтобы возглавить восстание.

Генерал-майор Михаил Орлов был хорошо известен в гвардии и армии прежде всего своим блестящим прошлым: герой Отечественной войны, в 1814 году он подписал акт о капитуляции Парижа, затем выполнял дипломатические поручения в Скандинавии, в 1818 году получил должность начальника

штаба 4-го пехотного корпуса 1-й армии, с 1820-го по 1823-й командовал 16-й пехотной дивизией. Почти сразу после назначения в дивизию отменив телесные наказания, отдав под суд тиранивших нижних чинов командиров, организовав при полках ланкастерские школы, он стал солдатским кумиром. Орлов был заговорщиком со стажем: он руководил Кишиневской управой Союза благоденствия и разрабатывал планы военной революции под своим руководством.

Трубецкой познакомился с Орловым в начале 1825 года в Киеве. Однако их общение ограничивалось светскими визитами. «Я с Орловым во всё время пребывания его в Киеве в мою бытность ничего об обществе не говорил», — показывал Трубецкой. Орлов подтверждал эти показания: «В 1825 году приехал Трубецкой, и как он стал часто меня посещать, то я, привыкший к пытке и к обороне, думал, что он тоже станет меня склонять к вступлению в общество. Но он ничего не говорил, кроме о общих предметах, и это меня немало удивило»<sup>144</sup>.

У Трубецкого были веские причины не заводить конспиративных бесед с Орловым: он знал, что генерал испытывал острую ненависть к Сергею Муравьеву-Апостолу, его старшему брату Матвею и подпоручику Бестужеву-Рюмину. «У Трубецкого вскоре поселились почти без выхода Сергей и Матвей Муравьевы с Бестужевым. Всякий раз, что я приеду, то они обыкновенно встанут и выйдут в другую комнату, делая только самую необходимую вежливость не мне, а мундиру моему», — показывал Орлов на следствии<sup>145</sup>.

Кроме того, к моменту знакомства с Трубецким генерал Орлов уже два года не командовал дивизией и четыре года как отошел от заговора. В его жизни произошли важные события: в 1821 году он женился, поссорился с руководителем Южного общества Павлом Пестелем и отказался присоединить свою управу к Южному обществу. В 1822 году был арестован его ближайший сподвижник майор Владимир Раевский, занимавшийся с его ведома революционной агитацией среди солдат, и к моменту восстания в Петербурге следствие по делу Раевского еще не было закончено. В 1823 году Орлов был отстранен от командования дивизией и определен «состоять по армии» в связи с волнениями среди подчиненных ему солдат<sup>146</sup>.

Однако Орлов был столь популярен, а его либеральные взгляды столь известны, что Трубецкой пребывал в уверенности: в решительную минуту генерал не откажет ему в помощи. К тому же близкий родственник Орлова, князь Сергей Волконский, убеждал диктатора: «...хотя генерал-майор Орлов теперь и не вмешивается ни во что и от всех обществ отстал, но в случае нужды можно на него надеяться»<sup>147</sup>.

Приехав из Киева в столицу, Трубецкой поделился с Рылевым размышлениями об Орлове. Судя по показаниям поэта, когда он «открывал» Трубецкому свои опасения насчет честолюбивых устремлений руководителя Южного общества Павла Пестеля, князь заметил: «Не бойтесь, тогда стоит только послать во 2-ю армию Орлова — и Пестеля могущество разрушится». «Но когда я по сему случаю спросил Трубецкого: “Да разве Орлов наш?” — то он отвечал: “Нет, но тогда поневоле будет наш”»<sup>148</sup>.

Орлов, комментируя на следствии письмо Трубецкого (кстати, до него так и не дошедшее и известное ему лишь в пересказе), замечал: «Писать мне 13-го с просьбой прийти ему на помощь 14-го было со стороны Трубецкого нелепым безрассудством, за которое я не несу ответственности»<sup>149</sup>.

Но, принимая во внимание стремление диктатора организовать длительную дестабилизацию власти в столице, следует отметить, что письмо это было не столь уж безрассудным. «Ясно, что Трубецкой вызывал Орлова... никак не для завтрашних действий, а для каких-то более отдаленных», — считала М. В. Нечкина, весьма прозорливо предполагавшая, что Трубецкой хотел «иметь надежного заместителя диктатора на севере» в случае собственного отъезда на юг<sup>150</sup>.

Скорее всего, исследовательница была права — с той лишь оговоркой, что генерал Орлов, известный всей армии честолюбец, вряд ли согласился бы оставаться на вторых ролях, быть «заместителем» полковника Трубецкого. Очевидно, что в случае принятия предложения Трубецкого диктатором должен был стать именно Орлов. Трубецкой же собирался, организовав столичное восстание и поставив во главе его генерала Орлова, ехать на юг — организовывать с помощью Сергея Муравьева-Апостола и князя Щербатова революционный поход двух корпусов на Петербург.

Трудно судить, как повел бы себя Орлов в критической ситуации; когда ему стало известно о предложении Трубецкого, прошло уже несколько дней после разгрома восстания в столице. Однако история с Орловым показывает: план Трубецкого был весьма рискованным, близким к политической авантюре.

На пути его реализации, кроме отказа Орлова, диктатора поджидали и другие опасности, которые он, судя по всему, предвидел. Восстать могло малое количество войск — и тогда на переговоры с ними никто не пошел бы. Кроме того, восстание могло сопровождаться беспорядками, и в этом случае

успех переговоров с властью становился призрачным. Очевидно, именно поэтому Трубецкой накануне 14 декабря уговаривал ротных командиров не начинать восстание «малыми силами» и отдал приказ первыми «стрельбы не начинать»<sup>151</sup>.

Не вышел же князь на площадь потому, что в первый момент восстал только один полк — лейб-гвардии Московский, да и то не в полном составе. Для начала же действий по его плану одного полка было явно недостаточно. Практически сразу после появления на Сенатской площади Московского полка пролилась кровь: штыковым ударом поручика князя Оболенского и пистолетным выстрелом отставного поручика Каховского был смертельно ранен военный генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. И после этого восстание в двух других полках — Лейб-гренадерском и Морском экипаже — было уже бессмысленным: с людьми, запятнавшими себя «буйством» и кровью, Николай I не пошел бы на переговоры ни в каком случае.

Кроме того, к моменту сбора всех восставших полков на Сенатской площади императору удалось стянуть против них значительные силы. Площадь была окружена не только правительственными войсками, но и большой толпой любопытствующих зевак, и уводить восставших за город значило с боем пробиваться через оставшиеся верными правительству части; при этом могли погибнуть и мирные жители. Вместо запланированных переговоров с властью могла начаться братоубийственная резня. Руководить же ею полковник князь Трубецкой явно не собирался.

Впрочем, судя по показаниям Трубецкого в самом начале следствия, несмотря на разгром на Сенатской площади, он не считал свою игру окончательно проигранной. Шанс исправить ситуацию оставался у ближайшего сподвижника князя — подполковника Сергея Муравьева-Апостола. Диктатор сделал всё от него зависящее, чтобы отдалить арест руководителя Васильковской управы. И именно в этом кроется причина настойчивого противопоставления Пестеля и Муравьева в первых показаниях князя.

Кавалергардский корнет Петр Свистунов, на первом допросе утром 23 декабря сообщивший о письме Трубецкого Орлову, поведал еще одну подробность своих переговоров с Трубецким накануне восстания. Диктатор передал ему письмо в присутствии Ипполита Муравьева-Апостола, младшего брата руководителя Васильковской управы. Припертый к стенке откровением корнета, Трубецкой должен был признать, что

Ипполит Муравьев присутствовал при разговоре не случайно: «Через Ипполита Муравьева-Апостола я послал к брату его Сергею письмо»<sup>152</sup>.

Суммируя показания князя, можно отчасти восстановить содержание отправленного в Васильков послания. Письмо было составлено по всем правилам конспирации: на французском языке, «без надписи и без подписи». Трубецкой утверждал, что оно в основном пересказывало петербургские сплетни: «Начинал с получения здесь известия о болезни и кончине блаженной памяти государя императора, писал о данной присяге государю цесаревичу, о слухах, что его высочество не примет престола, и сообщал ему все те слухи, которые до меня доходили как на счет ныне царствующего государя императора, так на счет государя цесаревича, также всё, что я слышал на счет расположения двора, гвардии, о мерах, которые будто бы хотели взять для приведения к присяге войск»<sup>153</sup>.

В подобном изложении письмо Муравьеву-Апостолу не содержало в себе ничего криминального, и непонятно, зачем его надо было отправлять с особым курьером, «без надписи и без подписи». Частная переписка в те тревожные дни была наполнена подобными слухами. Но, в очередной раз комментируя следователям это письмо, Трубецкой вдруг проговаривается: «Между прочим, я в оном говорил о слухах, что будто гвардию для присяги хотят вывести за город»<sup>154</sup>.

Неизвестно, собирался ли кто-нибудь из высшего военного начальства выводить гвардию за город для присяги. Но, как говорилось выше, это собирался сделать сам Трубецкой. Скорее всего, в форме слухов и сплетен князь сообщал Сергею Муравьеву план собственных действий.

Следует отметить, что к подобной «тайнописи» в эпистолярном общении с Муравьевым-Апостолом князь прибегал не в первый раз: иносказательная форма изложения была заранее оговоренным приемом в переписке двух конспираторов. Так, согласно показаниям Трубецкого, в 1824 году он письменно сообщил Сергею Муравьеву об итогах «объединительных совещаний» и о том, «как бредил Пестель», рассуждая о цареубийстве. Письмо передавал член Южного общества полковник Иван Повало-Швейковский, которого Трубецкой едва знал и которому боялся доверить конспиративную информацию. Поэтому совещания были описаны «в виде трагедии, которую читал нам общий знакомый и в которой все лица имеют ужасные роли»<sup>155</sup>.

Трубецкой показывал: отправляя накануне 14 декабря послание Сергею Муравьеву, он хотел, чтобы тот «не более приписывал мне участия в том, что произойти могло, как то, ко-



торое я имел»<sup>156</sup>, иными словами, предупреждал руководителя Васильковской управы о том, «что произойти могло», то есть о предстоящем восстании, и о своей роли в предстоящих событиях.

Кроме «пересказа слухов» письмо, согласно показаниям Трубецкого, содержало намек: «Если правительство не примет надлежащих мер (разумея таких, которые бы могли тотчас убедить солдат в истине отречения государя цесаревича), то из сего последовать может беда»<sup>157</sup>. Естественно, что 13 декабря было ясно: присяга императору Николаю I, назначенная на следующее утро, не сможет убедить солдат «в истине отречения государя цесаревича» — власти просто не успеют принять «надлежащие меры». Скорее всего, Трубецкой сообщал Муравьеву о безошибочном способе воздействия на солдат: действовать от имени великого князя Константина, чье отречение якобы не было «истинным».

Вряд ли можно верить князю, судя по его показанию, желавшему «надлежащих мер» от правительства, чтобы предотвратить «беду». Последние перед восстанием дни Трубецкой сделал всё для того, чтобы «беда» произошла; очевидно, что Сергею Муравьеву-Апостолу посылалось приглашение участвовать в ее подготовке.

Обстоятельства поднятого Муравьевым-Апостолом восстания Черниговского полка позволяют сделать еще один вывод: в письме содержался призыв Трубецкого установить контакт с Киевом и лично с Щербатовым.

Подробности поездки курьеров Трубецкого Петра Свистунова и Ипполита Муравьева-Апостола никогда не становились предметом специального изучения историков, а между тем они очень важны для выяснения причин, по которым «южная» часть плана Трубецкого так и не была реализована. Подробности эти подтверждают банальную мысль: ход истории во многом зависит от целого ряда случайностей, которых не могут предвидеть даже самые прозорливые исторические деятели.

Петр Свистунов — отпрыск богатого аристократического рода. Его отец Николай Петрович был камергером двора и одним из фаворитов императора Павла I; мать Мария Алексеевна была дочерью знаменитого поэта XVIII века сенатора Алексея Ржевского; в 1815 году после смерти мужа она приняла католичество. Петр Свистунов учился в элитных частных пансионах Петербурга, затем в Пажеском корпусе, куда, за редким исключением, принимались только сыновья и вну-

ки военных и статских генералов. В 1823 году, окончив корпус, он стал корнетом Кавалергардского полка<sup>158</sup>.

Декабрист Дмитрий Завалишин, хорошо знавший Свистунова по годам сибирской каторги, на склоне лет дал ему следующую характеристику: «Свистунов был столько же труслив, как и развратен... в семействе своем Свистунов видел дурные примеры той смеси католического суеверия с развратом, которые обуяли тогда многие русские семейства»<sup>159</sup>. Историки в своих работах предпочитают этой характеристикой не пользоваться: Завалишин славился злоязычием, а его отношения со Свистуновым были стойко враждебными. Однако, учитывая поведение корнета в декабре 1825 года, в этой характеристике нельзя не признать доли правды.

Сомнительно, чтобы «дурные примеры» поведения Свистунов почерпнул в своей семье: про какую-то особую «развратность» его ближайших родственников сведений не сохранилось. Скорее примеры эти корнет видел среди товарищей по службе. Офицеры-кавалергарды славились «буйным» поведением.

Многие офицеры Кавалергардского полка состояли в заговоре. При этом членство в тайной организации «буйству» вовсе не противоречило. Феномен поведения кавалергардских офицеров был сродни российскому «чудачеству» XVIII века: одновременно участвуя и в заговоре, и в громких кутежах, молодые люди таким образом стремились проявить себя, выйти за рамки обыденности, доказать свою «самость» (об этом подробно шла речь в очерке, посвященном С. Г. Волконскому). Особенности мировосприятия кавалергардов хорошо понимал Павел Пестель, с 1814 по 1819 год служивший в Кавалергардском полку. Не случайно офицеры именно этого полка составили ядро созданной им петербургской ячейки Южного общества.

Членом этой ячейки «южан» был и Петр Свистунов. В 1824 году его принял в общество кавалергардский корнет Федор Вадковский, близкий соратник Пестеля. Более того, Свистунов стал одним из руководителей этой ячейки: Пестель дал ему высшую в заговорщической иерархии должность «боярина» и поручил вербовать в тайное общество новых участников. Исполняя эту роль, Свистунов был очень активен: на его квартире Пестель вел с членами ячейки разговор о республиканской форме правления, а после его отъезда Свистунов с Вадковским собирались «воспользоваться большим балом в Белой зале для истребления священных особ августейшей императорской фамилии»<sup>160</sup>.

О втором курьере Трубецкого, Ипполите Муравьеве-Апостоле, историкам известно гораздо меньше. Несмотря на то что

его знаменитые братья Сергей и Матвей — герои множества статей и монографий, судьба Ипполита не привлекала внимание исследователей. Историки убеждены, что документов, проливающих свет на его биографию, не сохранилось. «Вряд ли, — писал Н. Я. Эйдельман, — когда-нибудь появится книга о младшем брате: 19-летняя жизнь оставила всего несколько следов в документах, преданиях... Где-то рядом были стихи, горе, радость, первые увлечения — не знаем. 3 января 1826 года — смерть»<sup>161</sup>.

Но на самом деле короткая жизнь младшего брата руководителя Васильковской управы отразилась в большом количестве разнообразных документов.

Ипполиту Муравьеву-Апостолу в 1826 году было не 19, а 20 лет: согласно мемуарным записям брата Матвея, он родился в Париже 7 августа 1805 года<sup>162</sup>. Младший представитель знаменитого декабристского «муравейника», Ипполит рано остался сиротой. Его мать Анна Семеновна Черноевич, дочь сербского генерала на русской службе, скоропостижно умерла в 1810 году, когда сыну было четыре года. Кроме того, с детства он был обойден вниманием отца. Сенатор и писатель, бывший дипломат Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, овдовев, женился вторично и отдал Ипполита на воспитание своей родственнице Екатерине Федоровне — матери декабристов Никиты и Александра Михайловичей Муравьевых. Ипполит рос вместе с Александром Муравьевым.

В 1815 году отец забрал Ипполита у Екатерины Федоровны, несмотря на ее явное нежелание отдавать воспитанника. Но и после этого он подолгу не видел сына; известно, например, что осенью 1817 года и зиму 1818-го Ипполит жил в Москве на попечении гувернера, отец же в это время «захлопотался» в своем имении в Полтавской губернии<sup>163</sup>.

Образование, которое с ранней юности получал Ипполит, было чисто гуманитарным, классическим. В 1817 году Никита Муравьев сообщал матери: родственник «ничему не учился, кроме латинского и греческого языков». Зато в этих предметах Ипполит явно делал успехи: к удивлению Никиты, двенадцатилетний ребенок на его глазах «переводил 1-ю песню “Илиады” с греческого». «Он имеет очень много способностей», — признавал Никита<sup>164</sup>.

Но чтобы стать военным, знания латыни и греческого было явно недостаточно. Отец же не утруждал себя размышлениями о будущей карьере отпрыска, забывал нанять ему учителей по другим предметам. И потому гувернер Ипполита, по-видимому, очень сочувствовавший воспитаннику, был вынужден брать ему учителей за собственные деньги<sup>165</sup>.

В мае 1824 года, незадолго до девятнадцатилетия сына, отец отдал его учиться в Петербургское училище колонновожатых<sup>166</sup>. Это учебное заведение, гораздо менее престижное, чем Пажеский корпус, тем не менее пользовалось популярностью в дворянских кругах: окончившие его офицеры-квартирмейстеры быстро продвигались в чинах и в итоге делали успешные карьеры. Однако нравы, царившие в стенах этого казенного закрытого училища, были очень суровы: быт воспитанников строго регламентировался, отлучки дозволялись редко, в основном по праздникам. Строго воспрещались «курение, игра в карты, чтение книг, не разрешенных инспектором», а также «посещение театров, маскарадов, концертов, кондитерских, езда в экипаже». «За всякое нарушение установленных положений налагались разнообразные наказания, выговоры, лишение отпуска, занесение на черную доску, отделение за особый стол, разного рода аресты, наконец, исключение из заведения на службу в армию унтер-офицерами», — указывал профессор Академии Генштаба Н. П. Глиноецкий. Поэтому, по мнению историка, воспитанники относились к преподавателям «враждебно», как к «надзирателям и притеснителям». Естественный протест часто завершался жестокими наказаниями. За три года существования этого учебного заведения 22 воспитанника были выпущены офицерами, а еще 20 — унтер-офицерами или нижними чинами<sup>167</sup>.

Ипполиту Муравьеву-Апостолу, несмотря на явную гуманитарную склонность, учиться было, по всей видимости, несложно. Общий курс обучения составлял два года. Ипполит же проучился в корпусе несколько месяцев и по результатам выпускных экзаменов получил чин прапорщика Свиты его императорского величества по квартирмейстерской части.

Матвей Муравьев-Апостол писал в мемуарах: буквально накануне трагических событий декабря 1825 года («только что») Ипполит «выдержал блестящий экзамен, был произведен в офицеры Генер[ального] штаба»<sup>168</sup>, то есть в Свиту его императорского величества по квартирмейстерской части. Между прочим, из этих воспоминаний следует, что Ипполит ничего не знал о заговоре и уж тем более о роли в нем его старших братьев. Историки обычно принимают это утверждение на веру, однако в данном случае мемуарист грешит против истины.

Во-первых, Ипполит окончил училище не «только что», а за девять месяцев до восстания: приказ о его выпуске из училища датирован 29 марта 1825 года<sup>169</sup>. Во-вторых, он был заговорщиком, и весьма активным. Несмотря на чин прапорщика квартирмейстерской части, он входил в тесный кружок офицеров-кавалергардов. Как и Свистунов, он состоял в петербургской

ячейке Южного общества. На следствии показания об этом дали многие кавалергарды: Свистунов, Александр Муравьев, поручик Александр Горожанский. Кроме того, об участии Ипполита Муравьева-Апостола в заговоре знал армейский офицер Владимир Толстой, член Южного общества, близкий к руководителю ячейки Федору Вадковскому. Ипполит был даже в курсе переговоров брата Сергея с Польским патриотическим обществом, узнав о них от Матвея<sup>170</sup>.

В десятых числах декабря 1825 года Ипполит получил назначение в штаб 2-й армии в Тульчин<sup>171</sup>, тем более странное, что видимых причин для его перевода из столицы обнаружить не удалось. Жившая в Петербурге старшая сестра Муравьевых-Апостолов Екатерина была замужем за полковником Илларионом Бибиковым, занимавшим один из ключевых постов в армейской иерархии: он был начальником канцелярии Главного штаба армии, правой рукой начальника штаба генерала Дибича. Естественно, Бибикову не стоило большого труда добиться оставления юного прапорщика в Петербурге. Однако служить в столице его не оставили; более того, выехать к новому месту службы он должен был незамедлительно.

По-видимому, назначение Ипполита в провинцию было продиктовано не служебной необходимостью, а желанием родных — прежде всего отца — оторвать его от дурной компании кавалергардов. Ипполиту не доверяли и не хотели отпускать одного к новому месту службы. Согласно показаниям Трубецкого, Екатерина Бибикова просила его «взять с собой до Киева... брата ее родного Ипполита Муравьева-Апостола, назначенного во 2-ю армию». Но поскольку Трубецкой задержался в Петербурге, а приказ требовал немедленного отбытия юного офицера, родственники согласились на то, чтобы его сопровождал до Москвы Свистунов<sup>172</sup> — тот отправлялся в служебную командировку и в любом случае должен был доехать до Москвы.

Судя по осторожным показаниям Трубецкого, он, в отличие от Екатерины Бибиковой, Ипполиту доверял, а Свистунову — нет. Для князя не было секретом, что извещенный о готовящемся выступлении, накануне решающего дня Свистунов испытывал мучительные колебания и в конце концов отказался поддержать восстание. «Я с ним долго о сем говорил и должен отдать ему справедливость, что он старался доказать, что успеха не может быть в таком предприятии», — показывал князь на следствии<sup>173</sup>. Свистунов решил уехать из столицы и воспользовался для этого удачно подвернувшейся командировкой.

Впоследствии на допросе Свистунов утверждал, что Ипполит, тоже знавший о намеченном на 14 декабря восстании, не

принял в нем участие только потому, что послушался его уговоров<sup>174</sup>. Но, учитывая поведение Ипполита в дни восстания Черниговского полка, логично предположить другое: прапорщик, несмотря на свой юный возраст, был гораздо более решительным, чем Свистунов, и уехал не вследствие увещеваний приятеля, а намереваясь в точности выполнить поручение Трубецкого.

Диктатор возлагал основные надежды именно на Ипполита Муравьева-Апостола: как раз он, согласно первоначальному замыслу, должен был отвезти письмо генералу Михаилу Орлову. Свистунов же попал в поле зрения Трубецкого случайно: 12 декабря князь узнал, что Ипполит «сговорился ехать с Свистуновым» из Петербурга<sup>175</sup>. Но Ипполиту, чтобы исполнить возложенное на него поручение, вовсе не обязательно было заезжать в Москву и тем более задерживаться там. Привлекая «к делу» кавалергардского корнета, Трубецкой, по-видимому, рассчитывал, что таким образом освободит Ипполита от необходимости визита к генералу и сможет ускорить его приезд на юг.

Однако 22-летний корнет Свистунов оказался плохим попутчиком 20-летнему прапорщику Муравьеву-Апостолу.

Уезжая из Петербурга, Свистунов не знал, что его имя в связи с деятельностью тайных обществ уже известно готовящемуся вступить на престол великому князю Николаю Павловичу. 12 декабря Николай получил из Таганрога, от начальника Главного штаба Ивана Дибича, сведения о «страшнейшем из заговоров»; в списке заговорщиков, составленном по результатам доносов, значилась и фамилия кавалергардского корнета. Имя Ипполита Муравьева-Апостола в донесении Дибича не фигурировало.

Согласно показаниям Свистунова, они с Муравьевым-Апостолом, «выехав из С.-Петербурга 13-го числа в 6-м часу пополудни, прибыли в Москву 17-го числа в 10-м часу вечера»<sup>176</sup>. Ехали курьеры Трубецкого крайне медленно: обыкновенно путь из Петербурга в Москву длился на сутки меньше; при быстрой езде можно было добраться до старой столицы и за два дня. За время их поездки было подавлено восстание на Сенатской площади, а Трубецкой оказался в тюрьме.

По дороге друзья встретили генерал-адъютанта графа Е. Ф. Комаровского, едущего в Москву для организации присяги новому императору. Впоследствии Комаровский вспоминал: «...выезд Свистунова из Петербурга очень беспокоил государя, и когда его величество узнал от одного приезжего, что

я Свистунова объехал до Москвы, то сие его величеству было очень приятно»<sup>177</sup>.

Семнадцатого декабря, когда заговорщики наконец доехали до Москвы, Следственная комиссия, созданная для раскрытия заговора, постановила арестовать «кавалергардского полка корнета Свистунова»<sup>178</sup>. На следующий день приказ об аресте Свистунова был отправлен в Москву.

Впрочем, судя по тому, как проводили время курьеры Трубецкого, и император, и следователи беспокоились напрасно. Следственное дело Свистунова сохранило яркие детали их пребывания в Москве. И в данном случае Свистунову можно верить: он назвал людей, с которыми встречался, и его показания нетрудно было проверить.

Свистунов показывал, что по приезде в Москву они с Ипполитом «ночевали в гостинице у Коп[п]а». Гостиница «Север», принадлежащая купцу 3-й гильдии И. И. Коппу, располагалась в самом центре старой столицы, в Глинищевском переулке, и считалась одной из самых дорогих в городе. День 18 декабря начался для обоих друзей с визита «к г[осподину] московскому коменданту».

Затем, согласно Свистунову, его однокашник по Пажескому корпусу князь Гагарин, который «остановился в той же гостинице, предложил нам ехать в русский трактир обедать. Мы согласились. Оттуда он меня повез к г[оспо]же Данжевили (популярная французская актриса Данжевиль-Вандерберг, выступавшая в 1820-х годах на сцене Малого театра. — *О. К.*), у которой провели целый вечер; я там видел князя Волконского, что служил в л[ейб]-г[вардии] Конно-егерском полку»<sup>179</sup>.

К вечеру 18 декабря до приятелей-заговорщиков докатилось эхо петербургских событий: «Возвратившись домой, я услышал от Муравьева, что неслись слухи о том, что в С.-Петербурге было возмущение, ему было сказано от Пушкина, светского офицера, у которого он был в этот вечер».

Очевидно, ночь они провели в раздумьях о будущем; по крайней мере, «19-го числа поутру, опасаясь, чтобы данное письмо от Трубецкого не было найдено у нас, он (Ипполит Муравьев-Апостол. — *О. К.*) решился его распечатать, сжечь и содержание открыть г[енералу] Орлову на словах и съездил к нему в то же утро»<sup>180</sup>.

Трубецкой просил поехать к Орлову именно Свистунова. Но, по-видимому, корнет в последний момент испугался — и, исполняя просьбу Трубецкого, это сделал второй его эмиссар. Орлов впоследствии подтвердил: «19-го или 20-го поутру вдруг явился ко мне Ипполит Муравьев и сказал, что он при-

возил письмо от Трубецкого, в котором он приглашал меня в Петербург, но письмо им разорвано и сожжено»<sup>181</sup>.

Однако ни тревожные вести из столицы, ни разговор с Орловым не заставили Ипполита немедленно покинуть Москву и отправиться к брату. 19 и 20 декабря светские визиты и разного рода увеселения продолжались. Свистунов показывал:

«Я поехал повидаться с князем Голицыным, поручиком Кавалергардского полка, и видел у него брата его. От него съездил к своему дяде Ржевскому, где видел того же к[нязя] Волконского и князя Голицына, Павловского полка капитана. Оттуда отвез письмо к г[осподину] Устинову от брата его. Я его видел и жену его. Потом поехал к бабушке своей, у которой обедал и провел целый день. Вечером поехал к корнету Кавалергардского полка Васильчикову, он только лишь тогда возвратился из деревни. Я встретил у него Муравьева, мы пробыли вечер с его матушкой и с ним. Так как я согласился с ним у него в доме жить, то он предложил нам ночевать у него.

20-го числа, получивши приказание явиться к московскому военному генерал-губернатору, мы поутру явились к нему. От него поехали в гостиницу, где, расплатившись с хозяином, отправили свои вещи в дом к Васильчикову и у него обедали и провели целый день. Вечером поехали все к г[оспо]же Поль, француженке, и к другой особе женского пола, о которых упоминаю для того только, чтобы не упустить ни одной подробности»<sup>182</sup>.

Названный в тексте кавалергардский корнет Николай Васильчиков тоже состоял в заговоре, причем принял его в тайное общество именно Свистунов<sup>183</sup>. Для Свистунова переезд к Васильчикову был вполне логичен: он не собирался уезжать из Москвы и планировал прожить в этом доме целый год. Очевидно, Ипполит, который не должен был оставаться в Москве, переехал к Васильчикову «за компанию». Втроем молодым людям было не скучно, о чем свидетельствует их вечерний визит к «госпоже Поль, француженке».

Настоящее имя француженки впервые было раскрыто в именном указателе к 14-му тому документальной серии «Восстание декабристов», в котором опубликованы показания Свистунова<sup>184</sup>. Сама же она рассказала об этом визите следующее: «В это время забежал ко мне Петр Николаевич Свистунов, который служил в Кавалергардском полку, был впоследствии сослан по делу 14 декабря, но не застал меня дома. Он не был в Петербурге в день 14 декабря. Я знала, что Свистунов — товарищ и большой друг Ивана Александровича, и была уверена, что он приходил ко мне недаром, а, вероятно, имея что-нибудь сообщить о своем друге. На другой же день я



поспешила послать за ним, но человек мой возвратился с известием, что он уже арестован»<sup>185</sup>.

Строки эти принадлежат перу Полины Гебль, в 1825 году — любовнице декабриста Ивана Анненкова, приятеля и однополчанина Свистунова и Васильчикова. Под псевдонимом Жанетта Поль она служила в Москве, во французском модном доме Дюманси. Впоследствии она поехала за Анненковым в Сибирь, обвенчалась с ним, стала Полиной Егоровной Анненковой, а в старости продиктовала дочери мемуары.

Достоверность «досибирской» части мемуаров «госпожи Поль» давно поставлена историками под сомнение. В частности, ее первые биографы С. Я. Гессен и А. В. Предтеченский сомневались в правдивости трогательной истории про бедную, но гордую модистку и влюбленного в нее богатого кавалергарда, про французскую Золушку и русского принца. Гессен и Предтеченский писали: «Роман продавщицы из модного магазина и блестящего кавалергарда по началу своему не содержал и не сулил чего-то особенного и необычайного. Гвардейские офицеры из богатейших и знатнейших фамилий весьма охотно дарили свою скоропроходящую любовь молодым француженкам... Трудно предугадать, чем мог кончиться этот роман, если бы неожиданные, трагические обстоятельства не завязали по-новому узел их отношений». В своих воспоминаниях она многое недоговаривала, путала хронологию, неверно излагала факты — и всё потому, что «ей крайне не хотелось сознаваться в той скоротечности, с которой развивались ее отношения с Анненковым. Она впервые встретилась с ним очень незадолго до декабрьских событий»<sup>186</sup>.

Полина Гебль пишет о Свистунове как о старом знакомом. Но согласно тем же мемуарам, модистка познакомилась с Анненковым в июне 1825 года в Москве, с июля путешествовала с новым другом по его обширным имениям в Пензенской, Симбирской и Нижегородской губерниях, а в ноябре вернулась в Москву. Свистунов в это время тоже путешествовал: с мая по сентябрь был в отпуску и ездил на Кавказ, затем — до 13 декабря — не выезжал из столицы, и нет никаких сведений о том, что в ходе своего путешествия он встречался с «госпожой Поль»<sup>187</sup>. Скорее всего, корнет был знаком с Полиной еще до ее романтической встречи с Анненковым. Учитывая же традиции эпохи, в невинную дружбу кавалергарда и модистки поверить еще сложнее, чем в историю о Золушке и принце. Очевидно, именно поэтому биограф Свистунова В. А. Федоров, повествуя о визите молодых людей к француженке, не раскрывает ее настоящего имени, которое ему, конечно, было изве-

стно<sup>188</sup>. Скорее всего, он намеренно не стал развивать щекотливую тему.

Вряд ли можно верить воспоминаниям Полины, что 20 декабря 1825 года корнет приезжал рассказать ей о судьбе Анненкова. Она знала, что Свистунов уехал из Петербурга до восстания; следовательно, участь Анненкова не могла быть ему известна. Кроме того, из показаний Свистунова вовсе не следует, что «госпожи Поль» не было дома. Скорее всего, в квартире Полины «на канаве... у Кузнецкого моста, в доме Шора»<sup>189</sup> друзья-заговорщики в тот вечер побывали.

Присутствие на этой встрече некой другой «особы женского пола» весьма знаменательно. Свистунов не назвал на допросе ее имени явно не потому, что хотел его скрыть, — имена других женщин, с которыми он виделся в Москве, в его показаниях названы. Свистунов вряд ли вообще знал ее имя; скорее всего, речь шла об обыкновенной московской проститутке. Несомненно, корнет хорошо понимал, к кому и зачем он повел своих друзей.

Вскоре по возвращении от «госпожи Поль» Свистунов был взят под стражу. Его арестовали в присутствии Ипполита, и незадачливый курьер понял, что может разделить участь приятеля и так и не доехать до брата. Стоит добавить, что на первом же допросе 23 декабря Свистунов назвал Ипполита, а на следующий день император подписал приказ об аресте прапорщика<sup>190</sup>.

Муравьев-Апостол уехал из города очень быстро: по свидетельству Орлова, в первый свой визит к нему прапорщик обещал взять с собой на юг корреспонденцию генерала, однако больше в его доме не появился<sup>191</sup>. В Васильков он приехал через десять дней после выезда из Москвы: для обер-офицера, едущего на перекладных по казенной надобности, это была почти невозможная оперативность: приказ об аресте Сергея Муравьева-Апостола, посланный с экстренным фельдъегерем, был доставлен из Петербурга в Васильков тоже за десять дней, с 17 по 27 декабря.

Вряд ли стоит упрекать прапорщика: он вырос, лишенный родительского внимания, и многочисленные родственники не могли заменить ему отца и мать. Суровые нравы училища колонновожатых только способствовали развитию полудетской обиды на несправедливый мир. Поведение Ипполита было вполне традиционным юношеским протестом против этой несправедливости, а заодно и против нравственных устоев общества. И, конечно же, не его вина, что протест этот совпал по времени с трагическими событиями как в истории России, так и в истории его собственной семьи. К тому же через две неде-

ли после посещения «госпожи Поль» прапорщик покончил с собой, чем в полной мере искупил свой проступок. Но всё же стоит отметить, что если бы Ипполит Муравьев-Апостол не задержался на сутки на пути к Москве, а затем не потерял четыре дня в самом городе, он мог бы приехать к брату в Васильков по меньшей мере на пять дней раньше. Вполне возможно, что тогда бы исход поднятого Сергеем Муравьевым-Апостолом восстания Черниговского полка был другим.

Восстание Черниговского полка — одна из самых трагических страниц движения декабристов. Поднятое 28 декабря 1825 года, когда выступление на Сенатской площади было давно ликвидировано, армия (в том числе и сам Черниговский полк) присягнула императору Николаю I, а по всей России начались массовые аресты заговорщиков, оно было заранее обречено на неудачу. Ни одна воинская часть не поддержала мятежников.

Свидетель и участник событий Матвей Муравьев-Апостол показывал на следствии, что восстание в полку вспыхнуло стихийно: «...вся причина тому, что случилось, это приезд жандармов за братом». От подобной точки зрения он не отказался и впоследствии, утверждая в мемуарах: «Неожиданные события, столь быстро следовавшие одно за другим: арест и затем немедленное освобождение вследствие возмущения офицеров поставили брата в безвыходное положение»<sup>192</sup>.

Отчасти он был прав: восстание спровоцировали неумелые действия полкового командира Густава Гебеля, попытавшегося с помощью лишь одного жандарма арестовать батальонного командира, подполковника Сергея Муравьева-Апостола, на глазах у преданных ему солдат и офицеров. Офицеры вступились за него, избили командира полка, после чего пути назад ни у них, ни у Муравьева уже не осталось.

Однако к утверждению Матвея Муравьева о незапланированности южного восстания историки относятся скептически<sup>193</sup>, и для этого есть немалые основания.

С 1823 года Сергей Муравьев-Апостол разрабатывал планы вооруженного выступления, в 1825-м делал это вместе с Трубецким. Известно также, что, получив от Пестеля через Николая Крюкова сведения о возможном раскрытии заговора, руководитель Васильковской управы заявил, что готов «действия начать, если общество открыто»<sup>194</sup>. Через того же Крюкова Муравьев передал Пестелю записку: «Общество открыто. Если будет арестован хоть один член, я начинаю дело»<sup>195</sup>.

Тринадцатого декабря Пестель был арестован — и слухи об этом мгновенно распространились на юге. Несколько дней, предшествующих восстанию, Сергей Муравьев провел в разъездах по родственникам и друзьям — полковым командирам и офицерам, служившим в 3-м пехотном корпусе. Он решил на восстание и надеялся, что они смогут помочь ему. И даже тогда, когда Муравьев-Апостол узнал о разгроме выступления на Сенатской площади и о существовании приказа о его собственном аресте, когда рухнули надежды на присоединение других полков, он не отказался от своего замысла.

«Если доберусь до батальона, то живого не возьмут» — таким было окончательное решение руководителя Васильковской управы<sup>196</sup>. Среди участников тайных обществ Сергей Муравьев-Апостол единственный оказал при аресте вооруженное сопротивление.

Присоединение к мятежному полку Ипполита Муравьева-Апостола — один из самых эффектных эпизодов восстания на юге, наиболее красочно и подробно изложенный в «Записках» декабриста Ивана Горбачевского.

Согласно Горбачевскому, младший Муравьев появился в Василькове в полдень 31 декабря, когда мятежные роты были выстроены на главной площади города для молебна и полковой священник отец Даниил читал перед полком «Православный катехизис» — совместное сочинение Сергея Муравьева и Михаила Бестужева-Рюмина, где излагались «права и обязанности свободных граждан».

После чтения «Катехизиса» и краткой прочувствованной речи руководителя восстания священник совершил молебен. «Сей религиозный обряд, — вспоминал Горбачевский, — произвел сильное впечатление. Души, возвышенные опасностью предприятия, были готовы принять священные и таинственные чувства религии, которые проникли даже в самые нечувствительные сердца. Действие сей драматической сцены было усугублено неожиданным приездом светского офицера, который с восторгом бросился в объятия С. Муравьева. Это был младший брат его — Ипполит. Надежда получить от него благоприятные известия о готовности других членов заблестала на всех лицах. Каждый думал видеть в его приезде неоспоримое доказательство всеобщего восстания, и все заранее радовались счастливому окончанию предпринятого подвига».

Ипполит Муравьев-Апостол, согласно Горбачевскому, был весьма растроган торжественностью сцены:

«— Мой приезд к вам в торжественную минуту молебна, — говорил он, — заставил меня забыть всё прошедшее. Может быть, ваше предприятие удастся, но если я обманулся в своих надеждах, то не переживу второй неудачи и клянусь честью пасть мертвым на роковом месте.

Сии слова тронули всех.

— Клянусь, что меня живого не возьмут! — вскричал с жаром поручик Кузьмин. — Я давно сказал: “Свобода или смерть!”

Ипполит Муравьев бросился к нему на шею; они обнялись, поменялись пистолетами и оба исполнили клятву»<sup>197</sup>.

Однако мемуарист сам себе противоречит. Чуть выше, повествуя о сборе мятежных рот для молебна, он сообщает: «В вечернем приказе С. Муравьева было сказано, что все роты, находящиеся налицо, должны собраться на площадь на другой день (31 декабря) в 9 часов утра. В назначенное время пять рот... пришли на сборное место. Сверх того находились тут и Полтавского полка поручик Бестужев-Рюмин, отставной полковник Матвей Муравьев-Апостол и приехавший во время сбора полка на площадь свиты е[го] в[еличества] подпоручик Ипполит Муравьев-Апостол»<sup>198</sup>.

Из сопоставления этих фрагментов следует, что сам Горбачевский плохо представлял себе обстоятельства приезда Ипполита: перепутал чин младшего Муравьева, назвав его подпоручиком, не знал точно, приехал он до или во время молебна.

Эти неточности вполне объяснимы: Горбачевский в восстании Черниговского полка не участвовал, а его мемуары были написаны через несколько десятилетий после событий. О том, что происходило 31 декабря 1825 года в Василькове, Горбачевскому могли рассказать два участника событий, бывшие офицеры-черниговцы Вениамин Соловьев и Александр Мозалевский, отбывавшие каторгу вместе с ним.

При анализе следственных документов выясняется, что основным информатором Горбачевского в вопросе о времени приезда Ипполита был Александр Мозалевский, в момент событий — прапорщик Черниговского пехотного полка. У Мозалевского была особая миссия: 31 декабря Сергей Муравьев послал его в Киев для выполнения конфиденциальных поручений. Приказ ехать в Киев Мозалевский получил от Сергея Муравьева до молебна на площади, затем присутствовал на молебне, а сразу после него уехал<sup>199</sup>. Но поручения Муравьева Мозалевский не выполнил — вечером того же дня он был арестован в Киеве.

Существуют два подробных показания Мозалевского о времени приезда Ипполита в Васильков. Причем показания

эти столь же противоречивы, как и «Записки» Горбачевского. Первое, датированное 2 января 1826 года, повествует, что он был отправлен в Киев «по приезде из Петербурга в Васильков свитского прапорщика Муравьева-Апостола... в 10 часов утра, через час». Таким образом, получается, что Ипполит приехал в Васильков в десять утра, до молебна. В Киев же Мозалевский отправился через час после приезда Ипполита и именно вследствие этого приезда. В другом показании, данном спустя неделю, Мозалевский предложит следствию совсем другую версию происходившего: он получил поручение ехать в Киев «прежде, нежели прибыл из Петербурга брат подполковника Муравьева, свитский прапорщик Муравьев же, которой приехал того ж 31-го декабря тогда, когда уже собрался полк к походу и служили молебен»<sup>200</sup>.

Чтобы понять, какая из этих двух версий верна, следует отметить и некоторые другие странности, предшествовавшие командировке Мозалевского в Киев.

Поддержка киевского гарнизона была жизненно необходима Сергею Муравьеву, однако курьер был послан в город только на третий день восстания. Странен и выбор курьера: до начала восстания Мозалевский ничего не знал о заговоре в полку, у Сергея Муравьева не могло не быть сомнений в его верности делу восставших. Логичнее было бы отправить в Киев кого-нибудь из более опытных офицеров, кто давно состоял в заговоре и у кого не было пути назад.

К тому же Мозалевский очень устал: в ночь на 31 декабря он, согласно собственным показаниям, был «наряжен» «с нижними чинами в караул на Богуславскую заставу с приказанием, чтобы всех проезжающих брать под арест и доносить об оных подполковнику Муравьеву-Апостолу». Ночь выдалась напряженной и тревожной: «...при каком-то случае ночью и взяты были два жандармские офицеры Несмеянов и Скоков, по доставлении коих на гаубтвахту отобраны от них бумаги и деньги и все оные доставлены к сказанному подполковнику Муравьеву»<sup>201</sup>. И отправлять не спавшего всю ночь Мозалевского в Киев сразу же «по смене с караула» значило сильно уменьшить шансы на успех его миссии.

Но нет никаких свидетельств, что руководитель восстания рассматривал вариант посылки другого курьера. Его выбор перестает казаться странным, если предположить, что отправкой Мозалевского в Киев Муравьев решал не только вопрос связи с городом, но и удаления Мозалевского из полка. Можно предположить также, что Мозалевский, командуя караулом на городской заставе в ночь на 31 декабря, был единственным из офицеров-черниговцев (кроме самого Сергея Муравьева),

знавшим истинное время приезда в Васильков Ипполита. Наверняка младший Муравьев въехал в город задолго до полкового молебна, но факт этот необходимо было скрыть.

В таком случае становятся понятными и противоречия в показаниях Мозалевского: 2 января, еще не придя в себя после обрушившегося на него шквала событий, он невольно проговорился на допросе, но уже 9-го, осознав свою ошибку, попытался ее исправить. Впоследствии же, после гибели и Сергея, и Ипполита Муравьевых-Апостолов Мозалевский остался единственным человеком, осведомленным о подробностях этой истории. Рассказывая много лет спустя о своей киевской миссии Горбачевскому, он, с одной стороны, хотел сказать правду, а с другой — не смог до конца раскрыть тайну, в сохранение которой невольно оказался вовлечен. Отсюда и противоречивость «Записок» Горбачевского, повествующих о приезде младшего брата руководителя восстания.

Эффектное же появление его перед восставшим полком во время молебна было, скорее всего, постановочным, позволяло, с одной стороны, скрыть истинные мотивы отправки в Киев Мозалевского, с другой — поднять боевой дух мятежников. Горячие объятия Ипполита с братьями перед полком, его клятва «свобода или смерть» рождали в умах и душах офицеров столь дорогие им модели поведения античных героев. «В последний день 1825 года черниговские офицеры увидели сцену из древней Руси или древнего Рима: три брата, словно братья Горации\*, храм, молебен, свобода...» — замечает Н. Я. Эйдельман<sup>202</sup>.

Для солдат же, античных аналогий не понимавших, приезд Ипполита был обставлен по-другому. Солдатам было объявлено, что в Васильков приехал курьер цесаревича Константина, привезший приказ, «чтобы Муравьев прибыл с полком в Варшаву». «Приметив же, что прочтение Катехизиса произвело дурное впечатление на солдат, я решился снова действовать во имя великого князя Константина Павловича», — показывал Сергей Муравьев-Апостол<sup>203</sup>.

Надо заметить, что мистификация удалась. Об истинном времени приезда Ипполита не догадался никто, в том числе и Матвей Муравьев-Апостол. Более того, торжественное появление прапорщика на площади в момент молебна поразило воображение его старшего брата Матвея; впоследствии он

---

\* *Братья Горации* — по преданию, три брата-героя, выбранные, чтобы сразиться с врагами Рима братьями Куриациями. И в Европе, и в России была популярна написанная в 1784 году картина французского художника Жака Луи Давида «Клятва Горацев»: под сводами храма братья клянутся победить или умереть.

описывал этот эпизод много раз. «В 12 часов по полудни роты были собраны — и тут брат мой меньшей Ипполит меня крайне огорчил своим неожиданным приездом... Между тем священник Черниговского полка отпел молебен и прочел “Катехизис” по совету Бестужева-Рюмина. После сего роты пошли в поход», — рассказывал Матвей на следствии. «Роты, помолившись, готовились выступить из Василькова; тут подъезжает почтовая тройка, и брат Ипполит бросается в наши объятия... Напрасно мы его умоляли ехать далее в Тульчин, место его назначения; он остался с нами», — читаем в его мемуарах<sup>204</sup>.

Но для сокрытия от ближайших соратников и даже от Матвея время приезда Ипполита у Сергея Муравьева-Апостола должны были быть веские основания. По-видимому, сведения, которые привез посланец из Петербурга, оказались настолько секретными, что о них не должен был знать никто.

Матвей Муравьев-Апостол показывал на следствии: «Он (Ипполит. — О. К.) говорил, что имел от Трубецкого письмо к брату, но, узнав в Москве, что Свистунов арестован, он оное сжег, коего содержание не знал»<sup>205</sup>. Очевидно, следовательно, удовлетворившись этими показаниями, Сергея Муравьева-Апостола о письме вообще не спрашивали. На основании тех же показаний в «Донесении Следственной комиссии» отмечено, что письмо доставлено не было<sup>206</sup>. Эти сведения перекочевали в историографию — и Н. Я. Эйдельман рассуждал о «зеленом мальчике» Ипполите, который «даже не догадался прочесть “истребляемое письмо”»<sup>207</sup>.

На самом деле, рассказывая о письме, Ипполит попросту лгал брату. Свистунов оказался в курсе некоторых моментов содержания этого письма, а сообщить ему их мог только Ипполит<sup>208</sup>. Естественно, это не могло произойти после ареста кавалергардского корнета. Нетрудно предположить, что Ипполит сжег письмо Трубецкого Сергею Муравьеву утром 19 декабря, вместе с письмом Орлову, предварительно прочтя оба послания.

Доказательством же того, что младший брат сумел адекватно донести до руководителя восстания Черниговского полка содержание адресованного ему письма, служат действия «во имя Константина», к которым Сергей Муравьев прибег сразу же после чтения «Катехизиса». Этот лозунг, вполне органичный на Сенатской площади, во время южного восстания выглядел странно, поскольку Черниговский полк давно уже присягнул Николаю. Имя Константина во время южного восстания не могло возникнуть стихийно. Скорее всего, Муравьев начал действовать таким образом, как предлагал ему в своем письме Трубецкой.



Но вряд ли Сергей Муравьев стал бы мистифицировать соратников только из-за «константиновского» лозунга. Обстоятельства командировки Александра Мозалевского в Киев свидетельствуют: в письме, скорее всего, содержались адреса тех людей, с которыми Муравьев, чтобы выполнить «южную» часть плана Трубецкого, должен был связаться в Киеве, а потому эmissар восставших не мог быть послан в город до приезда Ипполита.

Командировка Мозалевского — одна из самых непроясненных на сегодняшний день страниц восстания на юге. Мозалевский показывал, что Сергей Муравьев-Апостол, дав ему надеть партикулярное платье и предупредив об осторожности, «вручил три катехизиса, запечатанные в конверт, но не надписанные, приказав, чтобы по приезде в Киев по распечатании отдать их отправившимся со мною трем рядовым и одному унтер-офицеру в шинелях, у которых сам же Муравьев отпорол погоны, с тем, чтобы они роздали те катехизисы состоящим в Киеве солдатам, также дал мне письмо Курского пехотного полка к майору Крупникову и велел сказать ему, чтобы шел с батальоном в Брусилов на сборное место»<sup>209</sup>.

Но оказалось, что такого офицера в Курском полку не было. Как показали архивные изыскания, руководитель восстания перепутал майора Крупеникова (Крупникова) с его младшим братом, поручиком Александром Крупениковым, действительно служившим в Киеве, но к движению декабристов никакого отношения не имевшим<sup>210</sup>.

Мозалевский настаивал, что получил от Муравьева только один адрес. Но рядовой Курского полка Степан Кошелев поведал следствию, что Мозалевский просил проводить его с Подола, где находились казармы полка, до Печерска, где якобы живет его брат<sup>211</sup>. Естественно, что никакого брата у Мозалевского в Киеве не было, а в Печерск — район Киева, где находились квартиры всех военных и гражданских начальников, — он должен был попасть по заданию Муравьева-Апостола.

В 1997 году была предпринята попытка установить личность жившего на Подоле второго адресата послания руководителя мятежа. Им оказался Павел Ренненкампф, обер-квартирмейстер 4-го пехотного корпуса, близкий к корпусному командиру князю Щербатову, хороший знакомый Сергея Трубецкого и многих других заговорщиков. Удалось выяснить также, что Ренненкампф состоял в тайном обществе и обещал восставшим поддержку<sup>212</sup>. Очевидно, именно он мог быть связующим

звеном между командованием корпуса и восставшими черниговцами. Однако к Ренненкампфу Мозалевский не попал.

В «Записках» И. И. Горбачевского содержатся сведения, что у Мозалевского было и третье письмо, «адресованное на имя одного поляка»<sup>213</sup>. Попытки установить его личность не увенчались успехом. Но вряд ли в данном случае столь уж важны точные адреса тех лиц, к которым послал Мозалевского Сергей Муравьев. Несмотря на личное мужество молодого офицера, его миссия не могла увенчаться успехом. Время было упущено: в Киеве объявили тревогу, городские власти отдали приказ задерживать всех подозрительных лиц. Прапорщик попытался скрыться, но — очевидно, от усталости — потерял бдительность и на выезде из города был арестован. Впоследствии, уже на каторге, он рассказывал, что князь Щербатов, допрашивая его вскоре после ареста, заметил: «Я знаю лично С. И. Муравьева, уважаю его и жалею от искреннего сердца, что такой человек должен погибнуть вместе с теми, которые участвовали в его бесполезном предприятии. Очень жалко вас: вы молодой человек и должны также погибнуть», — и при этом «слезы катились у доброго генерала»<sup>214</sup>.

Щербатов отказался выполнить прямой приказ главнокомандующего 1-й армией — не вывел 4-й корпус против мятежников. Все шесть дней восстания между Васильковым и Киевом не было правительственных войск, Муравьеву был открыт путь на Киев, и поход туда был для него единственной возможностью избежать быстрого разгрома. Однако руководитель восстания этого не знал. После того как Мозалевский не вернулся в полк к назначенному сроку, подполковник принял решение на Киев не идти.

«2 января, не имея никаких известий о Мозалевском и заключив из сего, что он взят или в Киеве, куда, следственно, мне идти не надобно... я решился двинуться на Белую Церковь, где предполагал, что меня не ожидают, и где надеялся не встретить артиллерии», — показывал Сергей Муравьев на следствии<sup>215</sup>. Не доходя нескольких километров до Белой Церкви, Муравьев узнал, что войска, на поддержку которых он надеялся, из этого местечка выведены, — и отдал приказ идти на Житомир.

Расчеты Сергея Муравьева-Апостола не оправдались: и возле Белой Церкви, и на дороге к Житомиру его уже «ожидали». Командир 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Рот вывел против мятежников большую часть своих солдат. Если на Сенатской площади с восставшими вели переговоры о мир-

ной сдаче оружия, то в данном случае действовало предписание начальника штаба 1-й армии генерала Карла Толя: «Сила оружия должна быть употреблена без всяких переговоров: происшествие 14-го числа в Петербурге, коему я был свидетель, лучшим служит для нас примером»<sup>216</sup>.

В непосредственном военном столкновении с черниговцами 3 января 1826 года участвовал отряд под командованием генерал-майора Федора Гейсмара, состоявший из трех эскадронов гусар и 5-й конноартиллерийской роты. «Южный бунт» был подавлен быстро и жестко.

Сергей Муравьев-Апостол рассказал на следствии: «Между деревнями Устимовкою и Королевкою был встречен отрядом генерала Гейсмара, я привел роты, мною водимые, в порядок, приказал солдатам не стрелять, а идти прямо на пушки, и двинулся вперед со всеми остававшимися офицерами. Солдаты следовали нашему движению, пока попавшая мне в голову картечь не повергла меня без чувств на землю. Когда же я пришел в себя, нашел баталион совершенно расстроенным и был захвачен самыми солдатами в то время, когда хотел сесть верхом, чтобы стараться собрать их; захватившие меня солдаты привели меня и Бестужева к Мариупольскому эскадрону, куда вскоре привели и брата и остальных офицеров»<sup>217</sup>.

Нарисованную Сергеем Муравьевым картину разгрома дополняют показания Матвея: «Брат Сергей упал, ранен[н]ый в голову. Брату моему Ипполиту раздробило левую руку; я пошел, чтобы сыскать, нет ли какого-либо фельдшера, чтобы перевязать их, но тут же эскадрон наехал в хвост колонны. Гусары кричали солдатам: “бросайте ружья”, что они очень охотно делали. Не было ни одного выстрела из ружья. Я уже нашел брата моего Сергея окруженного гусарами, и мне тут сказали, что Ипполит после был убит». В воспоминаниях Матвей уточнил: «Ипполит, полагая, что брат убит, застрелился из пистолета»<sup>218</sup>.

На самом же деле Ипполит, тяжело раненный в руку картечным выстрелом, покончил с собой не в результате стихийного порыва, увидев, что Сергей упал с лошади, и решив, что брат убит. О своем возможном самоубийстве он, по-видимому, думал с того момента, как присоединился к восставшему полку. Согласно сделанным в Петропавловской крепости записям Матвея, вечером 2 января, когда разгром мятежников уже не вызывал сомнений, Ипполит вел с ним «продолжительный разговор... о судьбе человека». Матвей опять просил брата уехать, объясняя, что в ином случае его ждет долгий тюремный срок. Но прапорщик «успокаивал брата, уверяя его, что, оставшись с ними, он наверное не попадет в тюрьму»<sup>219</sup>. По-види-

тому, он уже решил сам определить свою судьбу, не дожидаясь, пока победители это сделают за него, а Матвей просто не сумел понять его признание.

Мы, вероятно, никогда до конца не узнаем мотивы, по которым Ипполит Муравьев-Апостол свел счеты с жизнью. Но нельзя исключить, что среди них было и осознание юным прапорщиком собственной вины за поражение южного восстания.

«На другой день, когда нас отправили в Белую Церковь, майор, который нас конвоировал (он был Мариупольского полка), по моей просьбе позволил мне проститься с Ипполитом; я его нашел: он лежал, раздетый и брошенный, в сенях малороссийской хаты» — таков финал жизни Ипполита Муравьева в изложении его брата Матвея<sup>220</sup>.

Девятого января 1826 года, когда в столицу пришло известие о подавлении восстания Черниговского полка, Трубецкой получил от следствия вопросы: «Кто дал прапорщику квартирмейстерской части Ипполиту Муравьеву-Апостолу прокламации, которые он из Петербурга отвез к Сергею Муравьеву-Апостолу? Кто составил их и какого они содержания?» Князь отвечал: «Я ничего не знаю о сей прокламации и в первый раз о ней слышу. Я уже показывал, что я дал ему к брату его письмо на французском языке, о котором уже я был спрашиван в Комитете, а что он еще получал и от кого, мне неизвестно»<sup>221</sup>.

Опираясь на показания прапорщика Мозалевского от 2 января, согласно которым Ипполит приехал в Васильков до молебна на площади, следователи хотели знать, не был ли Трубецкой автором прочитанного после его приезда «Православного катехизиса». Князь отвечал отрицательно и в данном случае говорил правду. Однако 9 января он понял: Ипполит Муравьев-Апостол всё же доехал до брата, но, поскольку следствие располагает какими-то сведениями об этой поездке помимо тех, которые сообщил он сам, значит, Сергею Муравьеву-Апостолу выполнить их совместный план не удалось. Судьба Трубецкого теперь напрямую зависела от того, как будет вести себя на следствии руководитель южного восстания.

Сергей Муравьев-Апостол избрал на следствии тактику, резко отличавшуюся от линии поведения Трубецкого: он не «запирался», не строил логически выверенных концепций заговора и не пытался спасти свою жизнь, поскольку в данном случае это не представлялось возможным. На следствии

он правдиво отвечал на вопросы, но старался при этом выгородить как можно больше людей, обойти молчанием особо опасные эпизоды, в частности, связанные с командировкой Мозалевского.

Всю ответственность за восстание он брал на себя, утверждая, что «возмутил» Черниговский полк без помощи кого бы то ни было и поэтому «никаких фамилий чиновников военного звания или частных лиц», помогавших ему организовать восстание, назвать не может<sup>222</sup>. Имени Трубецкого в связи с восстанием на юге Сергей Муравьев-Апостол не произнес ни разу, как не упомянул и брата Ипполита.

В позднейших мемуарах Трубецкой обмолвился: «Сидя в своем номере рavelина, я дивился, что не имею вопросов о членах общества на юге»<sup>223</sup>. По-видимому, он ждал от Муравьева-Апостола откровенных показаний о своей роли в событиях на Украине. Но поскольку вопросов об этом ему не задавали, он начал менять выстроенную в первых показаниях стройную «югоцентричную» концепцию заговора. Задача князя состояла теперь в том, чтобы не дать следствию вскрыть его киевские контакты; тогда вся его конспиративная деятельность была бы сведена к участию в подготовке северного восстания.

Из его показаний уходит мотив противостояния «порочно-го» Пестеля и «мирного» Сергея Муравьева, а главным антигероем вместо Пестеля становится Кондратий Рылеев, якобы затянувший колеблющегося Трубецкого в сомнительное предприятие. Согласно показаниям князя, все «решительные» распоряжения исходили накануне 14 декабря от Рылеева, он же, напротив, выступал едва ли не союзником будущего императора в среде заговорщиков. Комментируя свое неудавшееся диктаторство, Трубецкой отмечал: «Если мне почитать себя диктатором, как мне то было объявлено, то я должен полагать, что во всех отношениях должна была исполняться моя воля. Если же другие члены между собою положили что-либо к исполнению, то я уже не диктатор»<sup>224</sup>.

И следствие в целом поверило Трубецкому, даже несмотря на то, что от большинства своих показаний он отказался на очной ставке с Рылеевым. Именно на Рылеева была возложена главная ответственность за 14 декабря, хотя главным организатором восстания был, конечно, Трубецкой. Ответственность же за «южный бунт» целиком взял на себя Сергей Муравьев-Апостол — несмотря на то, что план восстания он разрабатывал вместе с Трубецким. В тонкостях конспиративных намерений Трубецкого следствие разбираться не захотело: пришлось бы привлекать к ответственности многих

из тех, кто, формально не входя в заговор, обещал Трубецкому военную поддержку, в частности, генерала от инфантерии князя Щербатова.

«Видимо, в Трубецком погиб блестящий юрист», — считает М. М. Сафонов<sup>225</sup>. Действительно, князь умело защищал себя. И Рылеев, и Сергей Муравьев-Апостол, и Пестель в 1826 году оказались на виселице, Трубецкой же остался в живых.

Можно согласиться и с утверждением М. Н. Покровского: «Если Трубецкой не увеличил собой списка казненных, то лишь потому, что слишком он много оказал услуг следствию, с одной стороны... а с другой явно боялись поставить в заголовок дела о бунте одно из крупнейших имен русской знати»<sup>226</sup>.

Но император Николай I, сохранив Трубецкому жизнь, сделал всё, чтобы жизнь эта была ему в тягость. «Надо же наконец признать, что ни на кого не сыпалось столько незаслуженных укоров, как на князя Трубецкого, между тем как в оправдание его можно многое сказать», — писал в мемуарах Свистунов<sup>227</sup>.

Сосланный на каторгу преступник неоднократно имел возможность пожалеть о том, что не разделил участь Сергея Муравьева-Апостола. Во всех правительственных версиях событий князь выглядел полным ничтожеством. Уже в «Донесении Следственной комиссии» объявлялось: Трубецкой 14 декабря весь день «скрывался от своих сообщников, он спешил в Главный штаб присягать Вашему величеству, думая сею готовностью загладить часть своего преступления, и потому, что там соумышленники не могли найти его, ему несколько раз делалось дурно; он бродил весь день из дома в дом, удивляя всех встречавших его знакомых, наконец, пришел ночевать к своему своему, посланнику двора австрийского»<sup>228</sup>.

Автор «Донесения» откровенно извращал факты: 14 декабря Трубецкой императору Николаю I не присягал и ни от кого не прятался. Кроме того, согласно его собственным показаниям, «дурно» ему делалось не «несколько раз», а только однажды — при известии, что Московский полк вышел на площадь, и вовсе не от страха за собственную жизнь, а от мысли, что он, «может быть, мог предупредить кровопролитие»<sup>229</sup>. (Кстати, в день восстания на площади не было ни Рылеева, ни Булатова, но в «Донесении» их поведение выглядит гораздо более пристойно, чем поведение Трубецкого.)

Отвлекаясь же от сюжетов, связанных непосредственно с Сенатской площадью, «Донесение» сообщало, что Трубецкой в 1817 году сознательно обманул своих товарищей сообщени-

ем о том, что «государь намерен возратить Польше все завоеванные нами области и что будто предвидя неудовольствие, даже сопротивление русских, он думает удалиться в Варшаву со всем двором и предать отечество в жертву неустойчивости и смятений», и эта ложь спровоцировала «московский заговор» — один из первых обнаруженных следствием планов царубийства<sup>230</sup>. Между тем вполне возможно, что в данном случае Трубецкой адекватно передавал намерение Александра I<sup>231</sup>, а если и заблуждался, то искренне.

Читатели узнали из «Донесения», что несостоявшийся диктатор — не только трус и лжец, но и растратчик: якобы пять тысяч рублей, собранных участниками заговора в виде членских взносов, были «отданы князю Трубецкому, а им издержаны не на дела тайного общества»<sup>232</sup>. Но князь не нуждался в средствах — он был очень богат, и тратить общественные деньги ему было незачем.

Печатная клевета была дополнена устной: Николай I много раз рассказывал своим приближенным, как на первом же допросе Трубецкой пал к его ногам, умоляя о пощаде. Трудно сказать, было ли так на самом деле, однако настораживает настойчивость, с которой царь внедрял этот рассказ в сознание подданных<sup>233</sup>.

Эти и им подобные измышления быстро распространились в высшем свете, где у Трубецкого было много друзей и родственников, а затем попали за границу. Клевета распространилась и среди его товарищей по каторге, которые, по словам Н. В. Басаргина, «не могли иметь к нему того сочувствия, которое было общим между ними друг к другу. Он не мог не замечать этого, и хотя ни одно слово не было произнесено в его присутствии, которое бы могло прямо оскорбить его, не менее того, однако, уже молчание о 14 декабря достаточно было, чтобы показать ему, какого все об нем мнения»<sup>234</sup>.

Впоследствии официальная характеристика личности и дел Трубецкого отразилась в записках современников. Так, например, журналист Николай Греч, едва знавший князя, свел воедино все сведения о нем, почерпнутые из правительственных сообщений, и выдал эту компиляцию за собственный мемуарный рассказ: «Князь Сергей Трубецкой, самая жалкая фигура в этом кровавом игрище... умом ограниченный, сердцем трус и подлец... 12-го числа был у Рылеева на сходбище, условился в действиях, но, проснувшись на утро 14-го числа, опомнился, струсил, пошел в штаб, присягнул новому государю и спрятался у свояка своего графа Лебцельтерна, австрийского посланника. Когда его схватили и привели к государю, он бросился на колени и завопил: “Жизни, государь!” Государь отвечал с

презрением: «Даю тебе жизнь, чтоб она служила тебе стыдом и наказанием»»<sup>235</sup>.

К «Донесению Следственной комиссии» восходят воспоминания декабриста И. Д. Якушкина: «14 декабря, узнавши, что Московский полк пришел на сборное место, диктатор совершенно потерялся и, присягнувши на штабе Николаю Павловичу, он потом стоял с его свитой». Столь же компилятивны и мемуарные записи Матвея Муравьева-Апостола, близкого друга Трубецкого, тесно общавшегося с ним в Сибири, но, по видимому, так и не простившего ему смерти братьев. Матвей Муравьев писал: «С[ергей] П[етрович] был назначен на день 14 декабря 1825 года диктатором и верховным распорядителем восставших войск; но обычная воинская доблесть и храбрость С. П. на этот раз изменили ему, и он провел весь день в самом нелепом малодушном укрывательстве от своих товарищей, а наконец искал спасения от неизбежного ареста в доме австрийского посла графа Лебцельтерна... преданный суду, проявил при допросах малодушие и был из числа самых болтливых подсудимых»<sup>236</sup>.

Трубецкой прекрасно знал о грязных толках вокруг своего имени — и стоически переносил несправедливость. Товарищи по каторге не слышали от него «ни одного ропота, ни одной жалобы». Бывший диктатор, по словам Басаргина, «безропотно, с кротостью и достоинством» покорялся «всем следствиям своей ошибки или слабости»<sup>237</sup>.

В 1848 году он написал письмо свояченице Зинаиде Лебцельтерн, в котором между прочим утверждал: «Знаю, что много клеветы было вылито на меня, но не могу оправдываться. Я слишком много пережил, чтоб желать чьего-либо оправдания, кроме оправдания Господа нашего Иисуса Христа»<sup>238</sup>.

Сурово наказанный правительством и оклеветанный общественным мнением, Трубецкой выжил в Сибири во многом благодаря жене. Княгиня Катерина Ивановна, урожденная графиня Лаваль, разделила изгнание мужа и скончалась в Сибири. В 1856 году государственный преступник был амнистирован, вернулся в Центральную Россию и написал воспоминания, в которых, впрочем, трудно отделить правду от откровенного вымысла и традиционных для мемуаристики участников заговора общих мест.

Биография Сергея Трубецкого в том виде, в каком она излагается в большинстве работ о заговоре 1820-х годов, насквозь легендарна. Согласно общепринятому штампу, Трубецкой — тот, кто не вышел на площадь, в решающий момент испугал-



ся, изменил, предал своих товарищей. Между тем жизнь и деятельность князя вовсе не исчерпывались тем, что в историографии принято называть «движение декабристов», и уж тем более не ограничивались «площадью».

Жизнь Трубецкого — это жизнь опытного военного, умевшего исполнять сложные и ответственные поручения и потому ценимого и любимого начальством. Свидетельство тому — история с его командировкой в Лондон. Свои опыт и связи князь часто использовал для нужд заговора. И биография его — прежде всего биография отважного заговорщика. Своей деятельностью в Киеве — самоотверженной, сопряженной со смертельным риском — он сорвал масштабную полицейскую операцию по выявлению тайного общества, сделав тем самым возможными и восстание на Сенатской площади, и восстание Черниговского полка.

---

---

*Вместо послесловия*

## **АРКАДИЙ МАЙБОРОДА И НЕСТОР ЛЕДОХОВСКИЙ**

Майборода и Ледоховский упоминаются в историографии движения декабристов, правда, с различной частотой.

Практически ни один из исследователей декабризма не проходит мимо доноса Майбороды, в 1825 году капитана Вятского пехотного полка. Однако при этом личность доносчика всегда остается за кадром. Историки воспроизводят в своих работах лишь несколько мемуарных свидетельств о нем, принадлежащих, как правило, декабристам. Мемуары эти в большинстве своем малоинформативны. Но даже тогда, когда авторы воспоминаний были неплохо осведомлены об обстоятельствах жизни доносчика, правдивое изложение его биографии никогда не было для них сколько-нибудь значимой задачей. Мемуаристы старались доказать, что личность Майбороды «такая подлая, что просто нечего о нем выразить, как только в пользу его»<sup>1</sup>. В результате в исторической науке не существует ни одного исследования, посвященного человеку, во многом благодаря которому в 1826 году не состоялась российская революция, которая могла бы коренным образом изменить судьбу страны.

Ледоховский, в 1825—1826 годах прапорщик того же полка, современникам событий и историкам декабризма практически неизвестен. В мемуарах он не упоминается вовсе. В историографии его фамилия встречается только однажды: в статье С. Н. Чернова «Поиски “Русской Правды” Пестеля», впервые опубликованной в 1935 году. Анализируя состав ближайшего окружения Пестеля перед разгромом заговора, Чернов отмечает: «В связи с этим любопытно было бы изучить некоего Лядуховского (фамилия прапорщика в разных документах писалась по-разному. — О. К.), о котором в алфавите декабристов сказано коротко и очень немногое, но который, по-видимому, был глубоко предан Пестелю и, может быть, по-своему умел понять его значимость»<sup>2</sup>. Однако ни сам Чернов, ни следующие поколения историков биографию Ледоховского так и не

изучили. Причина проста: сведения о прапорщике, которыми располагали исследователи, были крайне скудны.

Самая полная справка о нем была составлена правителем дел Следственной комиссии по делу декабристов А. Д. Боровковым и заслушана на заседании комиссии 31 мая 1826 года. Согласно ей в декабре 1825-го Ледоховский, «явившись к командующему Вятским пехотным полком подполковнику Толпыге (заменил в этой должности арестованного Пестеля. — О. К.), называл себя виновным против правительства», за что был немедленно арестован и вскоре доставлен в Петербург. Но быстро выяснилось, что прапорщик «к тайному обществу никогда не принадлежал и как о существовании его, так и членах ничего не знал и ни с кем никаких связей по оному не имел». Причина странного самоговора заключалась в сумасшествии Ледоховского. Заслушав справку, члены Следственной комиссии постановили: «...представить его императорскому величеству об оставлении прапорщика Лядуховского в гошпитале впредь до совершенного излечения, после коего и оставить без дальнейшего взыскания, ибо вина его произошла единственно от расстроенного рассудка»<sup>3</sup>. Император решение комиссии утвердил. После лечения прапорщик вернулся на службу<sup>4</sup>.

В фондах Российского государственного военно-исторического архива удалось найти довольно много материалов, проливающих свет на биографии Майбороды и Ледоховского.

Аркадий Иванович Майборода, родившийся в 1798 году, «православного вероисповедания», происходил из «уроженцев российских, пользующихся правами подданных», «из дворян Полтавской губернии Кременчугского уезда». Сведений о его родителях не сохранилось. Известно, что у него было двое братьев: Илья, на десять лет старше Аркадия, и младший, Тимофей<sup>5</sup>. Семейство не было богатым, но не было и крайне бедным. Илья Майборода числился помещиком Кременчугского уезда. И хотя в собственности Аркадия Майбороды недвижимости не было, он имел возможность сколь угодно долго проживать в имении брата<sup>6</sup>.

Аркадий Майборода вступил в службу 11 сентября 1812 года четырнадцати лет от роду. Учебных заведений он не оканчивал, начал карьеру юнкером в армейском полку. Всю жизнь он оставался крайне необразованным человеком. «Российской грамоте читать и писать и арифметику знает», — гласит его послужной список<sup>7</sup>. Судя по всему, этим и исчерпывались его познания в науках. Документы, написанные рукой Майбороды, в том числе его знаменитый донос, поражают безграмотностью<sup>8</sup>.

В Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах Майборода не участвовал, очевидно, по молодости лет, поэтому за годы войны никакого продвижения по службе не достиг; только прослужив пять лет, он стал армейским прапорщиком<sup>9</sup>. Павел Пестель, например, вступил в службу лишь на девять месяцев раньше Майбороды, но у него за плечами были Пажеский корпус и война, и поэтому к 1817 году он был уже штабс-ротмистром Кавалергардского полка и кавалером пяти боевых орденов. Правда, в феврале 1819 года и в карьере Майбороды наметились изменения в лучшую сторону: из армейского Великолукского пехотного полка его перевели в лейб-гвардии Московский полк (между прочим, тот самый, в котором начинал службу Пестель). 24 апреля 1820-го Майборода стал гвардейским подпоручиком.

Его гвардейская служба закончилась, однако, весьма быстро: в мае того же года он, получив чин штабс-капитана, вновь оказался в армии, в 35-м егерском полку. Причину изложил однополчанин Майбороды по гвардии, а позднее и по Вятскому полку декабрист Николай Лорер: Майборода растратил тысячу рублей, взятую у полкового товарища на покупку лошадей<sup>10</sup>. Именно в этом эпизоде исследователям впервые открывается одно из самых главных качеств Майбороды — патологическая жадность, часто шедшая вразрез со здравым смыслом. Естественно, он не мог не понимать, что в гвардии подобные шутки не проходят, что эта история не кончится для него добром — но всё же не смог удержаться, чтобы не совершить растрату.

В Вятском пехотном полку, которым командовал полковник Пестель, Аркадий Майборода появился 24 мая 1822 года. Рекомендовал штабс-капитана поручик Николай Басаргин, адъютант начальника штаба 2-й армии генерала Киселева и член Тульчинской управы Южного общества. Басаргин считал его отличным знатоком «фрунтовой науки»<sup>11</sup>.

Очевидно, что с первых дней пребывания в полку Майборода действительно показал себя знатоком «фрунта» и этим заслужил благосклонность Пестеля. Карьера его сразу пошла в гору: он получил под свою команду 1-ю гренадерскую роту и в апреле 1823 года стал капитаном. Осенью того же года за удачное участие его роты в высочайшем смотре Пестель представил его к награде. Майборода получил первый в своей жизни орден — Святой Анны 3-й степени<sup>12</sup>.

Пятого июня 1823 года в Вятский полк был определен «на рядовом окладе» юный польский граф Нестор Корнилович Ледоховский.

Дата рождения Ледоховского точно неизвестна: согласно послужному списку, в момент его поступления в полк ему бы-

ло 20 лет, по другим источникам, исполнилось только 16. Граф Ледоховский родился на Волыни, его «малой родиной» была, скорее всего, деревня Комаровка Кременецкого уезда. Учился он в уездном городе Кременце<sup>13</sup>.

Ледоховский не сразу попал на место службы: три месяца он пробыл в учебном батальоне при армейском штабе в Тульчине. В сентябре 1823 года он стал подпрапорщиком, еще через три месяца получил первый офицерский чин прапорщика. Числился молодой офицер во 2-й мушкетерской роте Вятского полка<sup>14</sup>. За полгода Ледоховский прошел путь от солдата до офицера. Как и Майборода, столь удачно начатой карьерой он был обязан прежде всего своему полковому командиру Павлу Пестелю.

Пестель, к этому времени председатель Директории Южно-общества, активно занимался организацией военной революции в России, искал источники ее финансирования. Когда после его ареста в Вятском полку началась проверка, выяснилось, что казенные (и тесно связанные с ними частные) долги командира полка составили около 60 тысяч рублей ассигнациями — сумму, в 15 раз превосходившую его годовое жалованье.

Махинации с полковыми деньгами были очень опасным предприятием, и Пестель остро нуждался в помощнике, который, будучи членом тайного общества, не был бы воплощением романтической честности. Выбор его пал на Майбороду не случайно: со слов Николая Лорера, полковник хорошо знал историю его удаления из гвардии. Прежде чем довериться капитану, Пестель устроил ему своеобразную проверку на лояльность. Как установило следствие, в 1823 году в полк пришли деньги на «построение» новых краг — нижних кожаных фрагментов солдатских рейтуз, застегивавшихся на пуговицы вдоль голени. На каждую пару этих краг было выделено по 2 рубля 55 копеек, но солдаты получили всего по 30—40 копеек. Эта, по словам Пестеля, «позволительная экономия», не зафиксированная ни в одном финансовом документе полка, составила, по позднейшим подсчетам следователей, 3585 рублей 80 копеек<sup>15</sup>.

Согласно материалам следственного дела, именно Майборода первый предложил солдатам своей роты довольствоваться 40 копейками за пару краг. Когда же 1-я гренадерская рота на это согласилась, капитан лично уговорил всех других ротных командиров последовать его примеру. Данный факт стал известен следствию из показаний штабс-капитанов Дукшин-

ского и Урбанского, командовавших в 1824 году соответственно 3-й и 6-й мушкетерскими ротами Вятского полка. И только после того как капитан блестяще справился с возложенным на него поручением, он был принят Пестелем в тайное общество и стал его ближайшим сотрудником. Причем полковник искренне полюбил его: в конце 1824-го — начале 1825 года Пестель составил завещание, в котором часть своих личных вещей оставлял Майбороде<sup>16</sup>.

Тот, однако, не оправдал доверия командира.

В 1824 году Пестель послал его в Москву, в комиссариатскую комиссию, ведавшую материальным и денежным довольствием армейских полков. Там капитан должен был получить для полка шесть тысяч рублей. Командировка эта была лишь частью крупной финансовой операции Пестеля — он пытался дважды получить деньги на одни и те же полковые нужды.

Появившись в Москве, Майборода предъявил в комиссию подписанный командиром Вятского полка и датированный 27 октября 1824 года рапорт: «По случаю болезни полкового казначея командирится избранный корпусом офицеров и утвержденный дивизионным начальником за казначея капитан Майборода, которому покорнейше прошу оную комиссию отпустить все вещи и деньги, следуемые полку против табели, у сего представляемой»<sup>17</sup>. Рапорт, сохранившийся в материалах полкового следствия, содержал неверные сведения: полковой казначей капитан Бабаков в тот момент не был болен, а находился в Балтской комиссариатской комиссии, где тоже принимал для полка деньги. Очевидно, что никакой корпус офицеров Майбороду казначеем не избирал, поехал же капитан в Москву по прямому приказу Пестеля.

Полковник в данном случае умело воспользовался не только неразберихой в системе армейского довольствия: в соответствии с высочайшим указом Вятский полк должен был получать деньги и вещи только из Балтской, а никоим образом не из Московской комиссии. Учел он и субъективный фактор — алчность государственных чиновников. Начальник Комиссариатского департамента, ведавшего всеми комиссариатскими комиссиями, генерал-кригскомиссар Василий Иванович Путья оказался втянутым в дело о двойной выдаче денежных сумм: именно после его вмешательства Майборода получил деньги.

Вряд ли генерал-кригскомиссар пошел на преступление только из уважения к Пестелю и его эмиссару<sup>18</sup>. По крайней мере, в одном из анонимных доносов на Путьяту, поданных А. А. Аракчееву в 1824 году, начальник Комиссариатского департамента характеризовался как человек «без образования,

без учения, с самым посредственным умом, но с самым пронырливым характером». При этом, по словам автора доноса, «при малейшем собственном верном доходе, при расходах его, при сильном желании жить весело» генерал-кригскомиссар тратил «десятки тысяч рублей в год»<sup>19</sup>. Впоследствии Путяту с позором изгнали с должности и посадили за злоупотребления. Больше года он провел в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости<sup>20</sup>.

Добиваясь двойной выдачи денег, Пестель не учел липких рук капитана Майбороды. До командира вятцев шесть тысяч рублей не дошли — Майборода их просто присвоил<sup>21</sup>. Видимо, деньги, привезенные казначеем Бабаковым, Пестель уже израсходовал. Сумма же, которую получил Майборода, должна была оказаться в полку налицо. Когда же после возвращения капитана выяснилось, что этих денег нет, Пестелю оставалось лишь ждать серьезных неприятностей.

И Пестель, и Майборода оказались в итоге участниками уголовного преступления. Однако для полковника финансовые махинации никогда не были самоцелью: известно, что жил он скромно, на личные нужды казенные средства не тратил. Деньги были необходимы ему для организации военной революции: они шли, в частности, на подкуп его непосредственных начальников — командира дивизии князя А. В. Сибирского и командира бригады генерала П. А. Кладищева<sup>22</sup>. Результатом же революции должны были стать свержение самодержавия, установление республики, отмена крепостного права, обеспечение всем гражданам юридического равенства и в итоге процветание России. В 1826 году Пестель рассказал на следствии, как, «представляя себе живую картину» всеобщего счастья после победы революции, приходил в «восхищение и, сказать можно, восторг». Ради этого счастья он был готов «не только согласиться, но и предложить всё то, что содействовать бы могло к полному введению и совершенному укреплению и утверждению сего порядка вещей»<sup>23</sup>. Капитан же Майборода был обыкновенным вором, верившим только лишь во власть денег, и этим кардинальным образом отличался от своего полкового командира.

После истории с Московской комиссариатской комиссией личные отношения Пестеля и Майбороды были разорваны. «Майборода поехал в Москву в октябре 1824 года и возвратился в мае или начале июня 1825... После того имел я свои причины быть им весьма недовольным и с того времени весьма сухо с ним обходился, так что после его возвращения ни разу с ним об обществе не говорил», — показывал Пестель на следствии<sup>24</sup>. Но Майборода имел все основания полагать, что ко-

мандир, несмотря на сухость обхождения, покроет в этот раз и будет продолжать покрывать в дальнейшем его растраты, иначе сам окажется под обвинением, а вся его тайная организация — под угрозой разоблачения. Понимал капитан, что недостача в полку не будет раскрыта и замешанными в финансовые дела Пестеля вышестоящими командирами. Вернувшись в полк, Майборода практически открыто, никого не боясь, занялся прямым хищением солдатской собственности: удержал часть жалованья служивых, присвоил 308 рублей, «заработанных нижними чинами в 1825 году»<sup>25</sup>.

Ситуация резко обострилась в начале осени 1825 года. Приближались ежегодные инспекторские смотры полков 2-й армии, и недостача денег в полку могла обнаружиться, что повлекло бы за собой в лучшем случае позорное разжалование командира Вятского полка в солдаты, а в худшем — крах Южного общества. Пестель принял решение начать подготовку к революционному выступлению.

В сентябре 1825 года он отправил 1-ю гренадерскую роту во главе с Майбородой в селение Махновка, где находился штаб князя Сибирского, для несения караула<sup>26</sup>. Очевидно, отсылая растратчика, Пестель хотел скрыть от него приготовления к выступлению. При этом он установил за бывшим помощником слежку, которую вели прежде всего местные евреи — полковые поставщики и тайные агенты командира вятцев. Но их усилия, видимо, казались Пестелю недостаточными.

Именно в это критическое для Южного общества время в противостояние полковника и капитана оказался замешан прапорщик Нестор Ледоховский. Скорее всего, Пестель принял его в Южное общество; причина последовавшего вскоре ареста полкового командира, непонятная для большинства офицеров-вятцев, не была для Ледоховского загадкой. Первое задание, которое граф получил от Пестеля, — следить за Аркадием Майбородой.

Случайно уцелели два письма Ледоховского: одно было адресовано матери, адресат другого неизвестен<sup>27</sup>. Даты на письмах не проставлены, однако реалии, упоминаемые в них, указывают на то, что написаны они были в середине декабря 1825 года, уже после ареста Пестеля. Эти же реалии позволяют предположить, что адресат второго письма — младший брат Майбороды Тимофей<sup>28</sup>, в 1825 году, как и Ледоховский, прапорщик Вятского полка.

В обоих письмах автор пытался объяснить мотивы своих поступков последнего времени и прямо признавался в том, что имел задание следить за обоими братьями. Называя себя «шпионом Пестеля и его партии», прапорщик открыл Тимо-



фею Майбороде, что бывал у него и его брата, для того чтобы «испытать» их, узнать их мысли, и об этом его задании догадывался другой офицер Вятского полка, подпоручик Хоменко<sup>29</sup>. В письме матери Ледоховский выражается более откровенно: «...шпионство сие не делает мне бесчестия, делать что-нибудь для дружбы я не могу считать бесчестием». «Больше о том не скажу, — добавляет прапорщик, — ибо сие могло бы вам, матушка, причинить неприятность относительно правительства»<sup>30</sup>.

Как следует из этих писем, аристократа Ледоховского угнетала роль согладателя. «Хотя я сам шпион, однако же шпионов ненавижу», — сообщает он Майбороде-младшему, а у матери просит прощения за свое «шпионство». Но отказаться от поручения Ледоховский тоже не мог: он был глубоко, по-настоящему предан полковому командиру, искренне считал себя «другом полковника Пестеля» и заявлял, что от этой дружбы не откажется даже под угрозой Сибири<sup>31</sup>.

Отношения Ледоховского с Пестелем не ограничивались, однако, слезкой за проворовавшимися капитаном. На допросе в Следственной комиссии прапорщик показывал: «Полковой командир мне говорил, что нужны в полк недостающие деньги, которые просил меня найти»<sup>32</sup>. Он пытался выполнить и эту просьбу: обратился за деньгами к соседу-помещику Генриху Дульскому. Ледоховский очень надеялся, что тот не откажет соотечественнику. Дульский был очень богат — в 1820-х годах он осуществлял поставки продовольствия для 2-й армии<sup>33</sup>. Помещик обещал одолжить нужную сумму.

Но ни одно из поручений полковника Нестор Ледоховский не смог исполнить до конца. Его слезка за Майбородой ни к чему не привела: капитан обманул «шпионов Пестеля», в 20-х числах ноября скрылся из Махновки и тайно перебрался в Житомир, где благополучно передал донос на полкового командира местному военному начальству. Не сумел Ледоховский и достать денег — Дульский своего обещания не выполнил, по словам прапорщика, поступив с ним «бесчеловечно»<sup>34</sup>.

Об аресте Павла Пестеля 13 декабря 1825 года через сутки стало известно в Вятском полку. А 15 декабря к обязанностям приступил новый, пока еще временный, командир полка, подполковник Ефим Иванович Толпыго. Прапорщик Ледоховский винил в случившемся себя.

Вряд ли он до конца осознавал, кем на самом деле был его «друг». К концу 1825 года за плечами у Пестеля были девятилетний стаж руководителя антиправительственного заговора, организация тайной армейской полиции и значительные растраты полковых денег. Полковник разрабатывал проект

убийства императорской фамилии, включая женщин и детей, и установления в России военной диктатуры. Современники знали его как безнравственного карьериста, погубившего в 1821 году греческую освободительную революцию и получившего в награду должность полкового командира. В армии Пестель имел репутацию фрунтовика и палочника, в тайных обществах многие считали его русским Бонапартом. Ради будущего, постреволюционного счастья России он был готов отдать не только свою, но и чужие жизни. Конечно же, деятельность юного прапорщика, даже будь она успешной, не могла спасти полковника от гибели.

Из документов следует: с того момента, как Ледоховский узнал об аресте своего командира, он горячо желал оправдаться в его глазах — и умереть. Прапорщик вызвал на дуэль «в три шага» Генриха Дульского, послал «вызывное письмо» Аркадию Майбороде, предложил стреляться Тимофею Майбороде. При этом Ледоховский никого убивать не собирался, напротив, мечтал быть убитым. Своей смертью он отчасти отомстил бы за арест полковника: тот, кто согласился бы его застрелить, потом имел бы «за сие неприятности»<sup>35</sup>. Но вызовов графа никто принять не пожелал.

Тогда прапорщик избрал иной путь: решил сдать властям и разделить участь командира. Очевидно, оба вышеупомянутых письма он написал в момент принятия этого решения. Чтобы отрезать себе все пути к отступлению, Ледоховский составил и отдал Дульскому «свидетельство», подтверждающее, что он друг Пестеля, «враг деспотизма» и «терпеть не может тиранов». Спустя несколько дней это «свидетельство» Дульский предоставил следствию. 21 декабря Ледоховский добровольно отдал шпагу подполковнику Толпыго. При аресте прапорщик снова (теперь уже во всеуслышание) заявил, что он сторонник Пестеля, вел себя крайне агрессивно, грубил пытавшимся успокоить его офицерам. Толпыго посадил его на офицерскую гауптвахту и отпрапортовал о случившемся в штаб армии<sup>36</sup>.

Для непосвященных поступки Ледоховского выглядели нелогично, заставляли сомневаться в его адекватности. 30 декабря прапорщика отправили для освидетельствования в Каменец-Подольский, в военный госпиталь. Одновременно о его поступке было сообщено в Петербург, начальнику Главного штаба И. И. Дибичу. 14 января 1826 года в Тульчин пришел приказ о немедленном аресте Ледоховского и препровождении под конвоем в Петербург<sup>37</sup>. Через два дня его арестовали прямо в госпитале.

При аресте у Ледоховского отобрали адресованную Пестелю небольшую записку. В центре клочка бумаги находился

эскиз надгробного памятника, который, по мысли прапорщика, должен быть установлен на его могиле, по краям — размышления о чести и бесчестье, о дружбе, о жизни и смерти. «Я был шалун, повеса, но никогда не делал подлостей»; «может быть, я недостоин Пестеля считать другом, но любить его никто не в силах мне запретить»; «лишить офицера чина — не есть лишить его чести, но сказать оф[ицеру], что он подлец, — есть лишить его чести навсегда», — писал Ледоховский<sup>38</sup>.

Восемнадцатого января из каменец-подольского госпиталя в штаб 2-й армии доставили свидетельство о состоянии здоровья прапорщика. Доктора, обследовавшие Ледоховского, опровергли версию о его сумасшествии, найдя только, что «воображение его чем-то весьма расстроено»<sup>39</sup>. Если бы свидетельство попало в Следственную комиссию, прапорщик вполне мог быть осужден наряду с другими деятелями тайных обществ. Надо отдать должное командующему армией Витгенштейну и начальнику штаба Киселеву — они этот документ в Петербург не отправили. Сохранившийся в делах 2-й армии, он отсутствует в следственном деле Ледоховского.

На следствии граф вел себя сдержанно. Он не раскрыл собственных отношений с полковым командиром, утверждал, что ничего не знал о тайном обществе, а свою явку с повинной объяснял тем, что «обязан личным спасением полковнику Пестелю»<sup>40</sup>. Ничего иного от Ледоховского следователи так и не добились. Пестель также не раскрыл своих отношений с прапорщиком. Подробно повествуя о своих политических идеях, планах и программе заговора, лидер Южного общества всячески пытался скрыть имена людей, которые помогали ему в подготовке революционного выступления, и имя Ледоховского в его показаниях не прозвучало ни разу.

Таким образом, никаких уличающих Ледоховского фактов в распоряжении следователей не оказалось. Версия о его сумасшествии устраивала всех, и 6 февраля 1826 года он был помещен в Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Даже несмотря на то, что и тамошние врачи его сумасшествие не подтвердили<sup>41</sup>, Ледоховский не был осужден. 31 мая он был выписан из госпиталя и возвращен на службу. 4 июля его перевели из Вятского в Куринский пехотный полк, еще через два месяца — в 41-й егерский, а затем в Мингрельский егерский полк.

Капитана Майбороду в качестве поощрения за донос перевели в гвардию с тем же чином и наградили деньгами.

В. И. Штейнгейль писал в мемуарах, что после доноса Майборода «исчез в презрении»<sup>42</sup>. Понятно, что декабристам очень хотелось верить в подобный исход. На самом же деле доносчик никуда не исчезал, напротив, в 1830—1840-х годах был личностью заметной. Постдекабристская биография Майбороды оказалась весьма богата событиями.

Он храбро воевал: был участником Русско-персидской войны (1826—1828), штурмовал выстроенную английскими инженерами на Араксе крепость Аббас-Абад. За взятие Эривани Майборода получил орден Святой Анны 2-й степени (1828), а по итогам всей «кампании против персиян» — персидский орден Льва и Солнца (1829). Затем в 1831 году он, уже подполковник, принимал участие в подавлении восстания в Польше, отличился при штурме Варшавы. В 1832-м воевал против горцев в Северном Дагестане, за что был награжден еще одним орденом Святой Анны 2-й степени, на этот раз с императорской короной (1833). В 1836 году Майборода «в воздаяние отличию-усердной службы» получил орден Святого Станислава 2-й степени, в 1841-м «за отличие по службе» стал полковником. С июля 1841 года по октябрь 1842-го он командовал карабинерным князя Баркляя де Толли полком, с октября 1842-го по январь 1844-го — Апшеронским пехотным.

Николай I не забывал Майбороду: в начале 1840-х годов стал крестным отцом его дочерей Екатерины и Софьи, по поводу рождения каждой из них счастливый отец награждался перстнем с бриллиантами. Очевидно, зная его жадность, Николай постоянно одаривал его деньгами, повышал в чинах<sup>43</sup>.

Однако за скупыми данными послужного списка кроется несладкая жизнь изгоя, отвергнутого сослуживцами, вынужденного скитаться из полка в полк, действительно жившего в презрении и так и не обретшего долгожданного покоя.

Судьба Майбороды, возможно, сложилась бы иначе, если бы жизнь не свела его с Иваном Павловичем Шиповым.

Имя Ивана Шипова (в 1825 году полковника Преображенского полка), как и его старшего брата Сергея (в 1825 году генерал-майора, командира гвардейской бригады и Семеновского полка), хорошо известно историкам-декабристоведом. Оба брата были близкими друзьями Павла Пестеля. Именно Пестель принял их в 1816 году в Союз спасения. Прекрасно знали Шиповы и других декабристских лидеров: учредителей первого тайного общества братьев Муравьевых-Апостолов, Никиту Муравьева, князя Трубецкого. Шиповы состояли и в Союзе благоденствия, являлись членами его Коренного совета. Более того, Иван Шипов присутствовал на петербургских совещаниях Коренного совета в начале 1820 года, предоставив

для проведения одного из них свою квартиру. Как большинство участников совещаний, он голосовал за введение в России республиканского правления и активно обсуждал возможность царубийства<sup>44</sup>. В начале 1821 года Иван Шипов вместе с Михаилом Луниным принял в тайное общество Александра Поджио, впоследствии одного из самых решительных заговорщиков. Судя по показаниям Поджио, Шипов объявил ему о намерении убить императора Александра. На следствии Поджио не мог вспомнить точно, было ли это объявление сделано от имени всего общества или проект царубийства являлся личной инициативой Шипова<sup>45</sup>.

Есть сведения, что Иван Шипов, в отличие от старшего брата, в начале 1820-х годов отошедшего от заговора, был членом Северного общества и находился в курсе дел Южного. И только после 1823 года, когда была подавлена революция в Испании и наступило почти всеобщее разочарование в революционном способе переустройства общества, он перестал активно участвовать в деятельности заговорщиков<sup>46</sup>.

Вполне естественно, что, готовя в декабре 1825 года военное восстание в Петербурге, диктатор князь С. П. Трубецкой очень надеялся на помощь обоих братьев Шиповых. Я. А. Гордин пишет: «В обширном следственном деле Трубецкого имя Шипова (Сергея. — О. К.) упомянуто лишь дважды — оба раза в связи с ранними декабристскими организациями. А между тем переговоры с командиром Семеновского полка и гвардейской бригады, куда кроме семеновцев входили лейб-гренадеры и Гвардейский экипаж, были одной из главных забот князя Сергея Петровича в конце ноября — начале декабря. Шипов не только носил генеральские эполеты и уже потому был для гвардейского солдата лицом авторитетным, но и обладал большим влиянием на свой полк. А участие в выступлении “коренного” Семеновского полка могло стать решающим фактором. Сергей Шипов, один из основателей тайных обществ, друг Пестеля, казался подходящей кандидатурой на первую роль в возможном выступлении. Его участие было тем более желательным, что полковником другого “коренного” (Преображенского. — О. К.) полка был его брат Иван Шипов, можно сказать, воспитанник Пестеля, Трубецкого и Никиты Муравьева»<sup>47</sup>. Но ни Сергей, ни Иван Шиповы свои части в помощь мятежникам не вывели<sup>48</sup>. По мнению Гордина, инстинкт самосохранения перевесил у братьев все идеологические симпатии<sup>49</sup>. Однако возможно и другое объяснение: зная о личной вражде Пестеля и Трубецкого, они принципиально не хотели помогать диктатору, действовавшему через голову их друга.

Справедливости ради следует отметить, что и особой активности в деле подавления мятежа братья Шиповы не проявили. Так, из трех полков бригады Сергея Шипова два — Лейб-гренадерский и Гвардейский морской экипаж — восстали почти в полном составе. При этом экипаж выходил на площадь на глазах своего бригадного генерала, и он практически ничего не сделал для удержания матросов в казармах<sup>50</sup>.

Когда Аркадий Майборода, конкретизируя свой донос на Пестеля, представил начальству список известных ему деятелей тайных организаций, то под пятым номером он указал своего полкового командира, а под седьмым — генерал-майора Сергея Шипова с пометой «якобы отклонился». Упоминается в показаниях доносчика и Иван Шипов, но уже в качестве действующего участника заговора<sup>51</sup>. И только что арестованному Пестелю следователями одним из первых был задан вопрос о его взаимоотношениях с Сергеем Шиповым.

Придерживавшийся в начале следствия тактики запирательства, Пестель отвечал пространно и расплывчато: «С генерал-майором же Шиповым я очень знаком. Сие знакомство произошло оттого, что отставной генерал-майор Леонтьев был прежде женат на родной моей тетке, а теперь женат на родной сестре г[енерал]-м[айора] Шипова. Когда мы бывали вместе, то всегда очень много разговаривали о службе, ибо большие оба до нее охотники. После выезда моего из Петербурга не получал я однако же писем от него и сам только раз к нему писал чрез майора Реброва, прося об обучении унтер-офицера, из Вятского полка в Петербург посланного»<sup>52</sup>. Вскоре следствию стало известно об истинной роли братьев Шиповых в заговоре. Иван Шипов был привлечен к дознанию, сохранилось его следственное дело<sup>53</sup>. Сергей Шипов к следствию не привлекался, но комиссия собирала сведения о нем.

В конце концов император Николай I оставил без внимания многочисленные свидетельства о причастности Шиповых к заговору. Конечно же, при этом была учтена их позиция в дни, предшествующие восстанию на Сенатской площади. Правда, за возможность нормально жить и продолжать службу братья заплатили очень высокую цену.

Генерал-майор Сергей Шипов прошел жестокую проверку на лояльность, став в прямом смысле слова палачом своих друзей. Вместе с многими другими гвардейскими начальниками он участвовал в церемонии исполнения приговора над государственными преступниками — командовал гвардейским конвоем<sup>54</sup>. Князь Трубецкой вспоминал: «После барабанного боя нам прочли вновь сентенцию и профос начал ломать над моею головою шпагу (мне прежде велено было встать на коле-

ни). Во весь опор прискакал генерал и кричал: “Что делаете?” С меня забыли сорвать мундир. Подскакавший был Шипов. Я обратился к нему, и мой вид произвел на него действие медузиной головы. Он замолчал и стремглав ускакал»<sup>55</sup>. Сергею Шипову пришлось конвоировать на эшафот своего друга Павла Пестеля и близкого приятеля Сергея Муравьева-Апостола.

После казни заговорщиков генерал-майор продолжил яркую военную карьеру. В 1830-х годах он исполнял должность начальника штаба Гвардейского корпуса, в 1832 году был назначен генерал-кригскомиссаром. Последовательно получил чины генерал-лейтенанта (1833) и генерала от инфантерии (1841), должности варшавского военного губернатора (1838), казанского военного губернатора (1841) и сенатора (1846)<sup>56</sup>.

Полковник Иван Шипов в 1826 году был назначен командиром штрафного гвардейского Сводного полка, сформированного из гвардейских солдат, москвовцев и лейб-гренадеров, участвовавших в восстании на Сенатской площади. Нескольких офицеров тоже были причастны к заговору. Вскоре по сформировании полк был брошен в самое пекло Кавказской и Персидской войн, чтобы, как сказано в приказе по Гвардейскому корпусу, «иметь случай изгладить и самое пятно минутного своего заблуждения и запечатлеть верность свою законной власти при первом военном действии»<sup>57</sup>. Ивану Шипову и его сослуживцам предстояло кровью искупить свое участие в заговоре. Лишь в декабре 1828 года, после возвращения с победой, полк расформировали, а Шипова-младшего простили: он стал генерал-майором и командиром Лейб-гренадерского полка нового состава.

Прощенные Шиповы, однако, не смогли после гибели и ссылки товарищей жить спокойно, делая вид, что ничего не произошло. Их поступки в 1830-х годах свидетельствуют: имея все основания обвинять себя в трусости и подлости, братья старались доказать свое право на самоуважение и уважение окружающих. Сергей Шипов стал одним из посредников в нелегальной переписке сосланных в Сибирь декабристов с их петербургскими друзьями и родственниками, что могло стоить ему карьеры<sup>58</sup>. Иван же, рискуя не только карьерой, но и свободой, практически открыто свел счеты с Аркадием Майбородой.

Жизненные пути Майбороды и Шипова-младшего впервые пересеклись еще в 1826 году, в начале их совместной службы в Сводном полку. И хотя в 1831-м доносчик заявил, что командир «утеснял» его «в продолжении шести лет»<sup>59</sup>, сведений о конкретных конфликтах между ними в годы службы в одном полку не обнаружено. Более того, Шипов дважды пред-

ставлял Майбороду к орденам, несколько раз к высочайшим благодарностям и денежным поощрениям. Майборода пошел в Сводный полк добровольно, и для него служба там была не штрафом, а возможностью отличиться на войне. Ясно, что штрафной командир полка не мог открыто противостоять Майбороду, вполне доказавшему в 1825 году свою верность властям.

В 1828 году Майборода вернулся в Лейб-гренадерский полк, стал командиром батальона и снова оказался в подчинении прощенного Ивана Шипова. Именно тогда офицеры полка с молчаливого одобрения своего командира начали систематическую травлю доносчика. Майбороду оскорбляли прямо в лицо, прилюдно и никого не стесняясь. Батальонный командир жаловался на «наглые дерзости» сослуживцев, на то, что младшие офицеры, не имеющие к нему никакого уважения, обижают его «до такой крайности, которая превышает всякое вероятие»<sup>60</sup>.

Сослуживцев Майбороды можно понять: он был не только заговорщиком, государственным изменником, но и растратчиком, а прощение получил ценой предательства. Вне зависимости от того, как каждый из офицеров относился к декабристам, в частности к Пестелю, присутствие Майбороды в полку не могло не восприниматься ими как явление позорное и с понятием о чести несовместимое. Его явно пытались спровоцировать на дуэль и тем самым если не устранить физически, то во всяком случае убрать из полка (участие гвардейца в дуэли каралось в Николаевскую эпоху как минимум переводом в армию). Но сам Майборода драться на дуэли и уходить из полка не собирался, продемонстрировав тем самым еще и трусость. Скорее всего, именно поэтому в открытую схватку с предателем был вынужден вступить сам Иван Шипов. Исход этой схватки был непредсказуем.

Начало открытого противостояния Шипова и Майбороды относится к октябрю 1831 года. Лейб-гренадеры участвовали тогда в подавлении восстания в Польше, а обстоятельства дела позволяли при желании припомнить «неблагонадежное» прошлое Шипова и обвинить его в пособничестве польским повстанцам. Командир полка отказался выполнить просьбу Майбороды о наказании нижних чинов, читавших и хранивших у себя «польские на русском языке напечатанные мятежнические воззвания». При этом, несмотря на протесты Майбороды, Шипов убрал из его батальона унтер-офицера Григория Балашова, его верного агента, донесшего о появлении среди солдат воззваний, и перевел не просто в другой батальон, но в роту одного из самых яростных врагов Майбороды поручика Витковского<sup>61</sup>.



Получив приказ о переводе Балашова, командир батальона подал командиру полка раздраженный рапорт, в котором, между прочим, намекал на его неблагонадежность: «Посудите, могу ли я в полной мере отвечать начальству за сохранение во вверенном мне батальоне должного устройства и не лишаюсь ли я при таких обстоятельствах средства предупреждать беспорядки, в батальоне сем случиться могущие». Их переписка по этому поводу продолжалась две недели. При этом Майборода в выражениях не стеснялся: «Утеснения, в продолжение шести лет Вашим превосходительством мне делаемые, имеют неисчислимые доказательства». Он требовал от Шипова предоставить дело о переводе Балашова «на усмотрение высшего начальства», лишь в этом случае ожидая «справедливости»<sup>62</sup>.

Конечно, обращаться так к непосредственному начальнику мог только человек, уверенный в своей безнаказанности. Майборода, судя по всему, был уверен по крайней мере в том, что «вышнее начальство», памятуя о доносе 1825 года, решит дело в его пользу. Но в этом столкновении доносчик всё-таки оказался побежденным. Шипов обвинил его в нарушении субординации, и обвинение это подтвердил великий князь Михаил Павлович, в 1831 году командовавший Отдельным гвардейским корпусом.

Великого князя трудно упрекнуть в симпатиях к заговорщикам: будучи членом Следственной комиссии, он хорошо знал, какую участь декабристы уготовляли ему самому и его семье. Вряд ли Михаил Павлович был связан дружескими отношениями с Иваном Шиповым, бывшим участником тайных обществ. Однако «пятно заблуждения» Шипов с себя уже смыл, командуя Сводным полком, и у великого князя не имелось никакого резона быть в этом вопросе святее папы римского. Кроме того, нелюбовь к заговорщикам вовсе не означала для царского брата (имевшего, в отличие от Майбороды, прочные понятия об офицерской чести) уважение к доносчику и готовность оправдывать все его действия. 12 декабря 1831 года приказом по корпусу Майборода был отстранен от командования батальоном.

Затем дело поступило на рассмотрение императора. «За несовместную с порядком службы переписку с полковым командиром генерал-майором Шиповым 2-м и несоблюдение чрез то отношений подчиненного к начальнику» подполковник Майборода был переведен в армию, в пехотный полк графа Паскевича-Эриванского. При этом либо сам Николай I, либо те, кто готовил для него приказ о переводе Майбороды (возможно, и Шипов через третьих лиц), реализовали желание не только наказать, но и унижить доносчика. Вряд ли можно счи-

тать случайностью, что высочайший приказ датирован 14 декабря 1831 года. Именно под этим числом штраф был записан и в послужной список подполковника<sup>63</sup>.

В XIX веке штрафование означало для офицера не только моральное унижение. Офицер, получивший штраф, подвергался всякого рода ограничениям по службе: его обходили при возведении в чины и назначении на должности, даже в случае последующего снятия штрафа он не получал право на знак отличия беспорочной службы<sup>64</sup>. Судьба Майборода не стала исключением. Оказавшись в армии, с 1831 по 1845 год он сменил еще шесть полков и выслужил всего лишь один — полковничий — чин.

Дисциплинарные наказания в русской армии влекли за собой и материальные потери: в случае выхода в отставку подвергшийся им не имел возможности рассчитывать на «полный пенсион» — получение пенсии в размере того же денежного содержания, что и на службе. Для страстно любившего деньги доносчика этот фактор наверняка был более значимым, чем все предыдущие.

В 1833 году Майборода просил императора разрешить ему по болезни оставить действительную военную службу — «с отчислением состоять по армии и с награждением единовременным денежным пособием». К прошению была приложена медицинская справка, что подполковник страдает «закрытым почечуем (геморроем. — *О. К.*)... сопровождаемым жестокими припадками, а именно: сильною болью в глазах, стеснением в груди и сильным трепетанием и биением сердца и постоянною болью в чреслах и пояснице»<sup>65</sup>. Медицинский департамент Военного министерства счел, что «по описанным в свидетельстве болезненным припадкам» здоровье подполковника нельзя признать «совершенно расстроенным». Вместо «отчисления» и «награждения» Майборода был отставлен со службы с пенсионом в размере всего лишь трети жалованья (300 рублей ассигнациями в год)<sup>66</sup>. На такую сумму жить было нелегко, и через год он вернулся в строй.

В 1836 году Майборода просил о снятии штрафа, но получил отказ<sup>67</sup>. Штраф был снят с него лишь через 11 лет после наложения, в октябре 1842-го, когда Майборода уже почти два года был полковником и больше года командовал карабинерным полком князя Барклая де Толли. Через три дня после снятия штрафа (25 октября) он получил под свою команду Апшеронский пехотный полк, активно воевавший на Кавказе. Но и на новом месте службы Майборода продолжал влечь жалкое существование: сведения о его прошлом, иногда даже не вполне достоверные, сопровождали его из полка в полк.

Согласно мемуарам офицера-апшеронца П. А. Ильина, известия, что полковник «служил казначеем в полку, командуемом Пестелем», и предал командира, очень быстро сделались известны офицерам (на самом деле казначеем в Вятском полку Майборода не был, однако к полковым деньгам имел прямое отношение). И «что-то вроде отвращения» к новому начальнику, которое почувствовали офицеры, было вполне оправданно. Ильин вспоминал:

«Приехал Майборода. Высокий рост, короткая талия и длинные ноги делали его некрасивым, хотя лицо его было недурно; но темная кожа лица, синие полосы от просвечивающей бороды на гладко выбритых и лоснящихся щеках, строгий взгляд, сухой тон разговора до крайности, медленность движений и неуклюжесть их расположили к нему всех антипатично.

Дома, во время обеда, на который приглашались им офицеры, он был неразговорчив. Жена и свояченица его молчали во весь обед, не зная, куда девать глаза, когда кто-нибудь из нас заговаривал с ними, и офицеры, сострадая загнанному положению женщин, как подозревали они, чувствовали себя за обедом у Майбороды ничуть не веселее, чем за столом на поминках»<sup>68</sup>.

Как командир Майборода тоже не вызывал доверия у подчиненных. По словам Ильина, полковник «был молчалив и медлен одинаково», и в этом офицеры усмотрели недостаток военной храбрости. В итоге у апшеронцев сформировалось стойкое «враждебное отношение» к нему. Однако Апшеронским полком Майборода командовал недолго. Уже в январе 1844 года он «по воле начальства» был отставлен от командования, в июне того же года на восемь месяцев уволен в отпуск по болезни.

В феврале 1845 года Аркадий Майборода был «выключен из списков состояния полка»<sup>69</sup>. Формулировка, с которой полковник покинул военную службу, свидетельствует, что он был изобличен в серьезном преступлении. К примеру, 12 июля 1826 года, за день до казни декабристов, с такой же формулировкой оборвалась служба Павла Пестеля<sup>70</sup>. Сведения о том, которое преступление на этот раз совершил Майборода, обнаружить не удалось. Видимо, высшее военное начальство просто не хотело предавать его гласности.

Постдекабристская биография Нестора Ледоховского тоже оказалась весьма интересной. Согласно послужному списку, после освобождения Ледоховский, как и Майборода, долго воевал, «в 1826, 27 годах был в походах противу персиян, в

1828, 1829 годах противу турок и в 1830 году противу горских народов», при этом состоял под полицейским надзором<sup>71</sup>.

В декабре 1836 года с графом произошла история, «зеркальная» той, в которой в 1831-м оказался замешан Майборода. Ледоховский, тогда поручик Мингрельского егерского полка, жил в Пятигорске. Один из его сослуживцев, Иван Аркадьевич Нелидов, нанес ему публичное оскорбление. Согласно материалам следствия, «прапорщик Нелидов и граф Ледоховский, находясь по болезни в городе Пятигорске в общем Благородном собрании, поссорились за танцы, причем первый публично говорил Ледоховскому, что он должен ценить снисхождение, которое ему оказывают, принимая его в собрание, при всей дурной его репутации, а не говорить громче других, и что ему, Нелидову, известны его проказы. Прежде же того Нелидов относился с дурной стороны о Ледоховском в доме вдовы генерал-лейтенанта Мерлини»<sup>72</sup>.

Екатерина Ивановна Мерлини хорошо известна пушкинистам и лермонтоведам. Ее дом в Пятигорске был одним из центров светской жизни. В 1829 году ее посещал Пушкин и списал с нее персонаж своего неоконченного «Романа на Кавказских водах». В конце 1830-х — начале 1840-х годов в доме Мерлини неоднократно бывал Лермонтов<sup>73</sup>.

И сама Екатерина Ивановна, и посетители ее салона (современники называли их мерлинистами) славились консерватизмом и не выносили даже намека на свободомыслие. В 1834 году жертвой Мерлини и ее друзей стал бывший декабрист Степан Михайлович Палицын, сосланный на Кавказ после разгрома тайных обществ. По инициативе хозяйки салона был составлен донос, в котором бывшему заговорщику вновь инкриминировалось вольнодумство. И хотя выяснилось, что Палицын на этот раз ни в чем не виноват, донос стоил ему нескольких месяцев тюремного заключения<sup>74</sup>.

Оскорбляя Ледоховского в доме Мерлини, Нелидов, очевидно имея в виду репутацию хозяйки салона и ее гостей, хотел доказать свои верноподданнические чувства. Не исключено, что он преследовал и еще одну цель: укрепить свое положение в полку, продемонстрировать полковому товарищам собственную силу и власть.

Вообще же прапорщик был, судя по документам, жестоким и наглым светским повесой, считавшим себя неизмеримо выше других и не признававшим никаких нравственных обязательств. Его отец, генерал-лейтенант и сенатор Аркадий Иванович Нелидов, знал характер сына и пытался вести воспитательный процесс весьма крутыми мерами. Так, в 1827 году он добился, чтобы отпрыска перевели из Кавалергардского

полка в действующую армию, а в 1834-м и вовсе упрятал его в тюрьму «за различные неприличные поступки»<sup>75</sup>. Но воспитывать сына Нелидову-старшему постоянно мешала дочь Варвара, знаменитая фрейлина, фаворитка императора Николая I, очень любившая брата и то и дело выручавшая его из всевозможных неприятностей; в итоге все педагогические усилия отца оказались напрасны. Отрицательные качества Ивана Нелидова раскрылись в истории с Ледоховским.

Прапорщик, видимо, был уверен, что, оскорбив графа, он ничем не рискует. С одной стороны, у него были высокие покровители, с другой — имелся расчет на то, что его однополчанин, в 1826 году едва избежавший наказания, не станет раздувать скандал, привлекая к себе всеобщее внимание. Нелидов, однако, плохо знал Ледоховского. В 1830-х годах граф уже не был зеленым юнцом, он стал опытным боевым офицером, но, судя по его поступкам, внутренне остался таким же, каким был в 1825-м: искренним, пылким, решительным до безрассудства. Сносить оскорбления Ледоховский не пожелал и вызвал обидчика на поединок. Нелидов испугался и решил отказаться от дуэли: для него как для штрафного участие в ней означало неминуемое разжалование. Ледоховскому было отправлено дерзкое письмо: оскорбитель объяснял, что, зная графа только лишь по «невыгодным» рассказам о нем, не может «забыться до того», чтобы принять его вызов<sup>76</sup>.

Тут уж за честь Ледоховского вступились другие офицеры-мингрельцы. И дело, конечно, не в том, что сослуживцы разделяли его взгляды. Оскорбив Ледоховского и отказавшись при этом от дуэли, Нелидов опозорил и свой полк в целом, и каждого его офицера. Выходило, что среди них есть трусы, что офицера Мингрельского полка можно безнаказанно оскорбить. Сослуживцы предложили наглому прапорщику выбор: либо публично подтвердить справедливость «невыгодных» сплетен о Ледоховском, либо принять его вызов, либо, если он всё же не захочет стреляться с графом, выйти на поединок с любым из них. Нелидов — очевидно, полагаясь на своих влиятельных заступников — мнение сослуживцев игнорировал. Офицеры же такого пренебрежения к себе терпеть не пожелали.

Согласно материалам следствия, вернувшись после одного из светских приемов у Мерлини к себе на квартиру, Нелидов «едва успел сесть за письменный стол, как в комнату к нему вошли Лядоховский, Яковлев, Пепин и Губский-Высоцкий (офицеры Мингрельского егерского полка. — *О. К.*). Увидя толпу, Нелидов схватил пистолет и с криком “вон” хо-

тел насыпать пороху на полку, но в то же время получил от Лядоховского удар палкою по голове и выронил пистолет на пол, потом еще несколькими повторными ударами сделаны были ему три значительные раны на голове», после чего офицеры покинули его квартиру<sup>77</sup>. Согласно представлениям эпохи, после этой истории выбора у прапорщика не оставалось: публичное оскорбление действием считалось самым тяжким, на которое можно было ответить только одним способом — вызовом на дуэль. Этого, видимо, и добивались его сослуживцы.

Но Нелидов опять обманул их ожидания, предпочтя сделать то, что считалось уж совсем бесчестным: подать рапорт по команде. Через несколько дней Лядоховского и Нелидова арестовали. Следствие лично контролировал командующий Отдельным кавказским корпусом генерал от инфантерии барон Г. В. Розен, как известно, в свое время сочувствовавший декабристам.

На Розена пытались влиять нелидовские покровители. Например, граф П. А. Клейнмихель, доверенное лицо императора и родственник Нелидовых, просил отпустить прапорщика и судить одного Лядоховского, прозрачно намекая, что об освобождении ходатайствует его могущественная сестра. Но этим намекам Розен не внял. Когда Варвара Нелидова попросила императора пощадить брата, Николай I потребовал сведения о службе и поведении прапорщика<sup>78</sup>, а узнав о его прошлом, тоже не стал вмешиваться в ход следствия.

В итоге «по высочайше утвержденной 19 июля 1839 года конфирмации командира Отдельного Кавказского корпуса велено графа Лядоховского выдержать в Метехском замке, в каземате, 5 месяцев и потом употребить по-прежнему на службу, а Нелидова, по выдержании в Метехском замке на гауптвахте одного месяца, отправить в распоряжение генерал-адъютанта Перовского. Вследствие сего Нелидов приказом 18-го августа того же года переведен в Оренбургский линейный № 2 баталион»<sup>79</sup>.

Отсидев в каземате положенный срок, Лядоховский вернулся в полк, но служить больше не пожелал и подал прошение об отставке; соответствующий приказ последовал 18 мая 1841 года. При этом поручик, согласно обычной практике, был уволен со следующим чином штабс-капитана, но как штрафник не получил ни пенсионера, ни права ношения офицерского мундира. Уезжая из полка, граф «обязался иметь жительство Волынской губернии Кременецкого уезда в деревне Комаровке». Ему по-прежнему предстояло находиться под надзором полиции<sup>80</sup>.

Сергей Волконский, возвратившись из Сибири, специально собирал сведения о жизни Майбороды после доноса. Волконский называет в качестве причины отставки доносчика с должности командира Апшеронского полка очередную растрату. Очевидно, эту версию можно принять — в ее пользу свидетельствует патологическая жадность Майбороды.

После этой растраты, по словам Волконского, Майборода «поносную и преступную свою жизнь кончил самоубийством». Версия о самостоятельном уходе Майбороды из жизни стала общим местом в мемуарах. Правда, способ самоубийства мемуаристы описывают по-разному. По словам Николая Барсаргина, он «в припадке сумасшествия перерезал себе горло». А офицер-апшеронец П. А. Ильин утверждал, что Майборода, «приставив большой аварский кинжал к груди, упал на него во весь рост свой, и кинжал вышел в спину»<sup>81</sup>.

Между тем в Российском государственном военно-историческом архиве существует документ, проливающий некоторый свет на обстоятельства смерти полковника Майбороды:

«Копия  
Свидетельство

Вследствие предписания конторы Темир-Хан-Шурина военного госпиталя, последовавшего 13-го апреля 1845 года за № 167, вечером того числа приступили с следователем Мингрельского егерского полка господином майором Грекуловым к анатомическому исследованию тела состоящего по армии господина полковника Майбороды, заколовшего себя кинжалом.

Полковник Майборода характера был строгого, жизни воздержанной, религиозен, молчалив, любил уединение, и весь круг ему приближенных составляло одно его семейство, печать какой-то скорби и при веселом расположении духа выражалась всегда на лице его, в последние дни своей жизни он был задумчив, совсем не выходил из своего дома, жаловался на теснение правой стороны груди, называл своих детей несчастными и скорбел о будущей их участи, нежность отца семейства, ограничиваемая частым беспокойством, выражала тревожную его душу и тяготу жизни; 12-го апреля в пять часов по полудни, заперши за собою дверь кабинета, вонзил себе кинжал в левую часть груди.

По наружном осмотре трупа оказалось, что полковник Майборода имеет около 50 лет от роду, телосложения атлетического, тучен; на левой стороне груди между восьмым и девятым ребром под соском находилась поперечная длиною в ладонь кровавая рана, подобная этой рана находилась на левой части спины между 10 и 11 ребром длиною в два поперечные пальца. Кроме такового повреждения видны были

на лбу два кровавые пятна, с осаднением кожицы, которые произошли от ушиба в минуту ранения, других повреждений и равно каких-либо пятен нигде на поверхности тела не замечалось.

Вскрывши грудную полость для исследования раны и повреждения частей, мы нашли грудную полость наполненную кровью, ход раны имел направление спереди назад, сверху вниз и проходил через нижнюю долю левого легкого, минуя оболочки сердца, правое легкое было здорово, спавши и прижато к ключице; преследуя дальнейший ход раны, вскрыта была нами брюшная полость, которая подобно полости грудной была наполнена кровью, рана проходила чрез грудно-брюшную преграду прямо в селезенку чрез нее, как описано при наружном осмотре, кончилась между 10 и 11-м ребрами на спине. Желудок был здоров, пуст, исключая небольшого количества желудочной слизи и воды, никакого содержания в нем не находилось, кишки также были здоровы и пусты, печень в объеме представлялась очень увеличенною, покрывала почти две трети желудка и поднимала грудно-брюшную преграду вверх, поверхность имела бугристую, цвет соломенный, на осязание жестка, при разрезе хрустит.

Селезенка была рыхла, но в объеме не увеличена. Мозг со всеми его оболочками найден был в совершенно здоровом состоянии.

Из всего найденного при исследовании заключаем, что смерть полковника Майбороды произошла от безусловно смертельной раны в грудь, нанесенной себе кинжалом в припадке меланхолии. Что осмотр сделан по сущей справедливости, в том свидетельствуем апреля 13 дня 1845 года. Укрепление Т[емир-]Х[ан-]Шура. Подлинное подписал прикомандированный к Темир-Хан-Шуринскому госпиталю Грузинского гренадерского полка лекарь Глаголев, при анатомировании присутствовал следователь Мингрельского егерского полка, майор Грекулов.

Верно: Командующий войсками в Северном и Нагорном Дагестане генерал-лейтенант князь Бебутов.

Сверял исправляющий должность адъютанта поручик Васильев»<sup>82</sup>.

Свидетельство о смерти полковника Майбороды опровергает информацию о том, что доносчик «перерезал себе горло», но содержит много нестыкровок.

По мнению подписавших свидетельство лекаря и следователя, Майборода покончил с собой: «заперши за собою дверь кабинета, вонзил себе кинжал в левую часть груди». Сразу возникает вопрос: кто, когда и каким образом открыл запертую изнутри дверь? Ответа на него в документе нет, как нет и указания на то, было ли найдено орудие, которым нанесена смертельная рана.



Учитывая ширину ран на груди и спине рослого и тучного Майборода, правомерно предположить, что кинжал, пронзивший полковника, был достаточно широким и длинным. Если он остался в ране, то кто и когда извлек его оттуда? А если оружие самоубийства в ране обнаружено не было, то каким образом установлено, что это именно кинжал? Принадлежал ли он Майборде, как выглядел, где найден? О кинжале в свидетельстве — ни слова.

Поскольку входное отверстие было на груди, а выходное на спине, то есть полковник был пронзен насквозь, ясно, что удар был очень сильный. Однако направление удара «спереди назад, сверху вниз» заставляет отказаться от версии, что Майборода просто «упал» на клинок. Если он покончил с собой, нанеся себе кинжальный удар, то каким образом оружие могло «выйти из спины» самоубийцы? Он просто не мог сделать замах для нанесения удара такой силы. Всё это, вкуче с сообщением о «кровавых пятнах» на лбу полковника, происхождение которых не может быть объяснено «ушибом в минуту ранения» (при ударе «спереди назад» Майборода должен был повредить не лоб, а затылок), позволяет сделать практически однозначный вывод: полковник был убит.

Тут неминуемо возникает вопрос о мотивах, побудивших следователя майора Грекулова подписать заведомо ложное заключение о причинах смерти Майборода. Грекулов был боевым, заслуженным офицером, майорский чин получил «за отличие в делах против горцев»<sup>83</sup>. Он должен был понимать, что убийство полкового командира, даже бывшего, — случай скандальный. Получается, что по Темир-Хан-Шуре, полковой квартире апшеронцев, хорошо охраняемой крепости, безнаказанно разгуливал убийца, а следователь его покрывал. Действия Грекулова можно оправдать лишь в одном случае — если он был уверен, что тот, кто убил Майбороду, больше никому не угрожает. Тогда получается, что майор знал убийцу лично. Эти соображения вкуче с тем фактом, что Грекулов служил в Мингрельском егерском полку, позволяют осторожно предположить: к убийству Майборода имел непосредственное отношение Нестор Ледоховский.

Конечно же, следователь хорошо знал и самого графа, и его историю. При отставке Ледоховский обязался жить у себя на родине, в деревне Комаровке. Однако из дел Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии выясняется, что обязательство это он не выполнил и домой с Кавказа не вернулся. Целых девять лет граф скрывался от шпионов и жандармов и только в 1850 году был обнаружен в Одессе<sup>84</sup>. Где он жил всё это время и чем занимался, осталось тайной как для полиции, так и для позднейших исследователей. Нельзя

исключить, что в апреле 1845 года Ледоховскому наконец удалось реализовать давнюю мечту расквитаться с предателем.

Естественно, это не более чем гипотеза, доказательства которой вряд ли будут когда-нибудь отысканы. Зато можно достаточно уверенно утверждать, что о гибели полковника Майбороды вряд ли кто-то сожалел, кроме его семьи. «Мы, — вспоминал Ильин, — со стоическим хладнокровием философов промолвили: “тагдир чох якти” (судьба права)!»<sup>85</sup> Детям предателя — трем дочерям и сыну Михаилу — предстояло жить в совершенно другую эпоху — эпоху, когда оставшиеся в живых декабристы возвращались из Сибири, их приветствовали как национальных героев, а те идеалы, за которые они боролись, стали воплощаться в жизнь. Даже несмотря на то, что новый император Александр II подтвердил назначенную его отцом пенсию вдове Майбороды и пособия его детям<sup>86</sup>, фамилия предателя в мемуарах декабристов, а следовательно и в общественном сознании, была проклята.

Ледоховский же на закате дней мирно жил в Одессе. На запрос Третьего отделения одесский губернатор сообщал в 1850 году, что отставной штабс-капитан «поведения и образа мыслей хороших»<sup>87</sup>.

Биографии Майбороды и Ледоховского интересны прежде всего в связи с жизнью и деятельностью Павла Пестеля. Между тем Майборода и Ледоховский — это, если можно так выразиться, две ипостаси Павла Пестеля. Майборода — прагматик, никаких высоких идей не признававший, Ледоховский — образец веры и верности, смелого благородства и жертвенности. Образ мыслей Ледоховского соответствовал образу мыслей большинства декабристов, а Майборода был в тайном обществе исключением.

В деле практической подготовки революции Ледоховский, однако, был для Пестеля бесполезен, соглядатаем оказался никудышным, как заговорщик никакого значения не имел. Майборода же реально помогал лидеру заговора: в финансовых вопросах тот опирался именно на него.

Такова трагическая основа событий декабря 1825 года: те, кто был верен идеалам, оказались неспособны к решению практических задач, не умели лгать и прислуживаться; те же, кто в средствах не стеснялся, от идеалов, ради которых и создавалось тайное общество, были весьма далеки. В самом же Пестеле жертвенность и прагматизм были объединены, и именно в этом причина полярности и разноречивости мнений о нем современников и потомков.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### *Предисловие* **Декабристы как исторический феномен**

<sup>1</sup> Восстание декабристов: Документы и материалы (далее — ВД). М.; Л., 1925. Т. 1. С. 393, 223, 479, 427.

<sup>2</sup> Там же. С. 151, 155.

<sup>3</sup> Там же. С. 23, 21.

<sup>4</sup> Там же. С. 26, 27.

<sup>5</sup> Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в мемуарах и переписке членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 33.

<sup>6</sup> ВД. Т. 4. М.; Л., 1927. С. 79.

<sup>7</sup> Там же. С. 80.

<sup>8</sup> Там же. С. 79, 82, 81.

<sup>9</sup> Там же. С. 79, 81.

<sup>10</sup> Там же. С. 81—82.

<sup>11</sup> Там же. Т. 9. М.; Л., 1950. С. 42—43.

<sup>12</sup> См.: Его императорскому величеству высочайше учрежденной Комиссии для изыскания о злоумышленных обществах всеподданнейший доклад // Там же. Т. 17. М., 1980.

<sup>13</sup> *Гессен С. Я.* Декабристы перед судом истории (1825—1925). Л.; М., 1926. С. 12, 15; *Федоров В. А.* Предисловие // ВД. Т. 17. С. 8.

<sup>14</sup> *Готовцева А. Г.* Официальная пресса о декабристах: этапы формирования правительственной версии // *Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.* Чернігів, 2006. Вип. 33. С. 77.

<sup>15</sup> ВД. Т. 17. С. 35.

<sup>16</sup> *Лунин М. С.* Письма из Сибири. М., 1988. С. 74.

<sup>17</sup> См.: *Бокова В. М.* Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003. С. 624—628.

<sup>18</sup> ВД. Т. 4. С. 103, 112.

### **Павел Пестель и Алексей Юшневский**

<sup>1</sup> См.: *Дружинин Н. М.* К истории идейных исканий П. И. Пестеля // *Дружинин Н. М.* Избранные труды: В 4 т. Т. 1. М., 1985. С. 305—329; *Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г.* Российская утопия Павла Пестеля // *Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г.* Революционная традиция в России. 1783—1883. М., 1986. С. 118—131; *Парсамов В. С.* К характеристике личности П. И. Пестеля // Освободительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып. 19. Саратов, 2001. С. 3—11; *Он же.* О восприятии Пестеля современниками // Там же. Вып. 13. Саратов, 1989. С. 22—33; *Он же.* П. И. Пестель и яacobинская диктатура // Великая французская революция и пути русского освободительного движения: Тезисы докладов научной конференции. 15—17 декабря 1989 г. Тарту, 1989; *Он же.* П. И. Пестель как «архаист» // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли: К 85-летию Г. А. Гукковского. Вып. 1. Саратов, 1984. С. 127—146; *Прозорова Н. С.* Конституционно-правовые взгляды П. И. Пестеля // Советское государство и пра-

во. 1981. № 5. С. 110—118; *Рудницкая Е. Л.* Феномен Павла Пестеля // *Annali. Serione Storico-politico-sociale*. XI—XII. 1989—1990. Napoli, 1994. P. 102—117; *Семенова А. В.* Декабрист Пестель и его семья // Москва. 1975. № 11. С. 194—200; *Файерштейн С. М.* К вопросу об экономических взглядах П. И. Пестеля на раннем этапе декабристского движения (1816—1820 гг.) // Труды сектора экономики АН АзССР. Т. 2. Баку, 1954. С. 98—119; *Чернов С. Н.* Декабрист П. Ив. Пестель: Опыт личной характеристики // *Чернов С. Н.* Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004; *Иваницкий С.* Вождь декабристов. Л., 1926; *Киянская О. И.* Павел Пестель: офицер, разведчик, заговорщик. М., 2002; *Лебедев Н. М.* Пестель — идеолог и руководитель декабристов. М., 1972.

<sup>2</sup> См.: *Базилевич В. М.* Декабрист О. П. Юшневский: Спроба біографії // Декабристи на Україні. Київ, 1930. Т. 2. С. 35—76.

<sup>3</sup> См.: ВД. Т. 10. М., 1953. С. 37—94.

<sup>4</sup> Там же. Т. 4. С. 85, 159.

<sup>5</sup> *Чернов С. Н.* Указ. соч. С. 122.

<sup>6</sup> ВД. Т. 17. С. 206.

<sup>7</sup> См.: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М., 2002. С. 301; *Вигель Ф. Ф.* Записки: В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 395—396. Ср.: *Иванов А. И.* Один из декабристов. Гавриил Степанович Батеньков // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 168.

<sup>8</sup> См.: *Базилевич В. М.* Указ. соч. С. 38.

<sup>9</sup> См.: Там же; Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 207.

<sup>10</sup> ВД. Т. 4. С. 82.

<sup>11</sup> Там же. С. 82—83; *Базилевич В. М.* Указ. соч. С. 70.

<sup>12</sup> Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири. Киев, 1908. С. 103.

<sup>13</sup> *Жихарев С. П.* Записки современника: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 237—238.

<sup>14</sup> *Левшин Д. М.* Пажеский Его Императорского Величества корпус за сто лет. 1802—1902: В 2 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 342.

<sup>15</sup> Там же. С. 433.

<sup>16</sup> Декабристы: Биографический справочник. С. 5—210.

<sup>17</sup> ВД. Т. 4. С. 89.

<sup>18</sup> См.: *Сыроечковский Б. Е.* П. И. Пестель и К. Ф. Герман // *Сыроечковский Б. Е.* Из истории движения декабристов. М., 1969. С. 14—57; *Левшин Д. М.* Указ. соч. Т. 2. С. 56—57.

<sup>19</sup> См.: *Левшин Д. М.* Указ. соч. Т. 2. С. 56—57.

<sup>20</sup> См.: Там же.

<sup>21</sup> *Рудницкая Е. Л.* Указ. соч. С. 103.

<sup>22</sup> ВД. Т. 4. С. 6.

<sup>23</sup> См.: *Соколова Н. А.* Военные страницы биографии П. И. Пестеля // 14 декабря 1825 г: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 2. СПб.; Кишинев, 2000. С. 105, 122.

<sup>24</sup> Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 3545. Оп. 4. Д. 2137. Л. 18.

<sup>25</sup> См.: ВД. Т. 10. С. 38, 83—84.

<sup>26</sup> Цит. по: Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Кишинев, 1957. С. 554, 555, 562.

<sup>27</sup> См.: Там же. С. 563; ВД. Т. 10. С. 38—39.

- <sup>28</sup> См.: *Волконский С. Г.* Записки. Иркутск, 1991. С. 360.
- <sup>29</sup> *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.). СПб., 1994. С. 185—186.
- <sup>30</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 360.
- <sup>31</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. Т. 1. Иркутск, 1983. С. 229; *Греч Н. И.* Указ. соч. С. 258; *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 371.
- <sup>32</sup> *Парсамов В. С. К.* характеристике личности П. И. Пестеля. С. 11.
- <sup>33</sup> *Лорер Н. И.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 71; *Розен А. Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 266; *Белоголовый Н. А.* Из воспоминаний сибиряка о декабристах // *Декабристы в воспоминаниях современников.* С. 356—357.
- <sup>34</sup> *Базилевич В. М.* Указ. соч. С. 51.
- <sup>35</sup> ВД. Т. 4. С. 90—92.
- <sup>36</sup> См.: *Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского.* С. 563—565; ВД. Т. 10. С. 40.
- <sup>37</sup> Цит. по: *Казаков Н. И.* Борьба декабриста А. П. Юшневского за права и привилегии болгарских переселенцев в Бессарабии в 1816—1817 гг. // *Доклады и сообщения Института истории АН СССР. М., 1965.* С. 41.
- <sup>38</sup> ВД. Т. 10. С. 84.
- <sup>39</sup> См.: *Мещеряков И. И.* Антикрепостническая борьба гагаузов и болгар в Бессарабии в 1812—1820 гг. Кишинев, 1957. С. 95.
- <sup>40</sup> Из архива декабриста Юшневского // *Бунт декабристов: Юбилейный сборник.* 1825—1925. Л., 1926. С. 324, 325.
- <sup>41</sup> Цит. по: *Казаков Н. И.* Указ. соч. С. 45—46.
- <sup>42</sup> См.: ВД. Т. 10. С. 40.
- <sup>43</sup> *Кропотов Д. А.* Жизнь графа М. Н. Муравьева, в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. СПб., 1874. С. 192, 194.
- <sup>44</sup> ВД. Т. 20. М., 2001. С. 394.
- <sup>45</sup> Там же. Т. 4. С. 108.
- <sup>46</sup> Там же. Т. 10. С. 46. Согласно другому показанию Юшневского, И. Г. Бурцов принял его в заговор вместе с Н. И. Комаровым (см.: Там же. С. 57).
- <sup>47</sup> См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 290. О Петербургских совещаниях 1820 года см.: Там же. С. 271—303. *Чернов С. Н.* Несколько справок о «Союзе благоденствия» перед Московским съездом 1821 г. // *Чернов С. Н.* У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 18—19. О Московском съезде см.: *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 304—342.
- <sup>48</sup> Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 37.
- <sup>49</sup> ВД. Т. 4. С. 108.
- <sup>50</sup> См.: Там же. Т. 10. С. 279.
- <sup>51</sup> Там же. Т. 12. М., 1969. С. 144; Т. 10. С. 48—49.
- <sup>52</sup> *Азадовский М. К.* Затерянные и утраченные произведения декабристов // *Азадовский М. К.* Страницы истории декабризма: В 2 т. Т. 2. Иркутск, 1992. С. 66.
- <sup>53</sup> ВД. Т. 10. С. 49.
- <sup>54</sup> Там же. С. 280.
- <sup>55</sup> Там же. Т. 4. С. 111, 161.

<sup>56</sup> Там же. Т. 10. С. 90—94.

<sup>57</sup> Там же. С. 93.

<sup>58</sup> См.: Там же. С. 62—63; *Чернов С. Н.* Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля // *Чернов С. Н.* У истоков русского освободительного движения. С. 388.

<sup>59</sup> См.: *Кьянская О. И.* Павел Пестель: Офицер, разведчик, заговорщик. С. 221—230.

<sup>60</sup> См.: ВД. Т. 16. М., 1986. С. 197.

<sup>61</sup> См.: Там же. Т. 10. С. 93; Т. 12. С. 122; Т. 19. М., 2001. С. 22, 25.

<sup>62</sup> Там же. Т. 4. С. 102—103.

<sup>63</sup> Там же.

<sup>64</sup> *Чернов С. Н.* Декабрист П. Ив. Пестель. С. 118.

<sup>65</sup> См.: *Свистунов П. А.* Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах // *Русский архив* (далее — РА). 1870. № 8/9. С. 1644.

<sup>66</sup> См.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 173. Д. 117. Л. 25 об.

<sup>67</sup> Цит. по: *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай. М., 1996. С. 121.

<sup>68</sup> *Басаргин Н. В.* Воспоминания. Рассказы. Статьи. Иркутск, 1988. С. 53; РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 173. Д. 117. Л. 25 об.

<sup>69</sup> *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время: В 4 т. СПб., 1882. Т. 1. С. 82; Ср.: Переписка П. Д. Киселева и А. А. Закревского // *Сборник Императорского Русского исторического общества* (далее — *Сборник РИО*). Т. 78. СПб., 1891. С. 63.

<sup>70</sup> См.: *Сыроечковский Б. Е.* Балканская проблема в планах декабристов // *Очерки из истории движения декабристов*. М., 1954. С. 214.

<sup>71</sup> Учреждение для управления большой действующей армией. СПб., 1828. Отд. III. С. 3.

<sup>72</sup> См.: Там же. Отд. VI. С. 41—42.

<sup>73</sup> См.: Там же. Отд. III. С. 3.

<sup>74</sup> См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 5234. Л. 32 об.—33; Д. 4176. Л. 1.

<sup>75</sup> См.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 37.

<sup>76</sup> См.: Там же. С. 38.

<sup>77</sup> См.: Там же. С. 41—42.

<sup>78</sup> См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 5234. Л. 63 об.; *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 37—64; *Сборник РИО*. Т. 78. С. 35.

<sup>79</sup> См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 4446. Л. 1—1 об.

<sup>80</sup> Там же. Ф. 14057. Оп. 3. Д. 77. Л. 64 об., 65.

<sup>81</sup> Там же. Л. 66 об., 61 об., 62.

<sup>82</sup> Там же. Л. 61 об.

<sup>83</sup> См.: *Сборник РИО*. Т. 78. С. 195.

<sup>84</sup> См.: *Базилевич В. М.* Указ. соч. С. 43; РГВИА. Ф. 395. Оп. 80. Отд. 2. 1825 г. Д. 676. Л. 1; ВД. Т. 10. С. 51.

<sup>85</sup> РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 173. Д. 117. Л. 23 об.

<sup>86</sup> См.: *Сборник РИО*. Т. 78. С. 23.

<sup>87</sup> *Басаргин Н. В.* Указ. соч. С. 53.

<sup>88</sup> ВД. Т. 20. С. 395.

<sup>89</sup> Там же; *Сборник РИО*. Т. 78. С. 53.

<sup>90</sup> См.: Там же. С. 52; Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук (далее — РО ИРЛИ). Ф. 143. № 21 (29.6.100). Л. 6 об.

- <sup>91</sup> См.: РГВИА. Ф. 846. Д. 670. Л. 3.
- <sup>92</sup> См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель: Офицер, разведчик, заговорщик. С. 355—370.
- <sup>93</sup> Там же. С. 356.
- <sup>94</sup> См.: Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 109. Оп. 1. 1-я эксп. Д. 61. Ч. 230.
- <sup>95</sup> *Розен А. Е.* Указ. соч. С. 267.
- <sup>96</sup> См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 5. Ч. 1. Д. 11466.
- <sup>97</sup> Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири. С. 126.
- <sup>98</sup> См.: *Базилевич В. М.* Указ. соч. С. 52.
- <sup>99</sup> См.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 1. Д. 15. Л. 1; Ф. 14057. Оп. 5. Д. 12. Л. 1.
- <sup>100</sup> Там же. Ф. 395. Оп. 76. Отд. 2. Стол 3. 1823 г. Д. 555. Л. 4; Оп. 80. Отд. 2. 1825 г. Д. 676. Л. 2 об.—3.
- <sup>101</sup> Там же. Ф. 14057. Оп. 5. Д. 12. Л. 5.
- <sup>102</sup> См., например: *Семенова А. В.* Южные декабристы и П. Д. Киселев // Исторические записки (далее — ИЗ). Т. 96. М., 1975. С. 128—151; *Она же.* Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 142—175; *Парсамов В. С.* О восприятии Пестеля современниками. С. 22—33; *Экштут С. А.* В поиске исторической альтернативы. М., 1994. С. 100—111.
- <sup>103</sup> *Экштут С. А.* Указ. соч. С. 102.
- <sup>104</sup> См.: *Дружинин Н. М.* Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1946. С. 245. Ср.: *Гросул В. Я.* Павел Дмитриевич Киселев // Российские реформаторы (XIX — начало XX в.). М., 1995. С. 90—91.
- <sup>105</sup> *Пушкин А. С.* Письмо к В. А. Жуковскому от 20-х чисел января 1826 г. // Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 108; Донос на графа Мордвинова, Закревского, Киселева, кн. Голицына, Ермолова и др. // Русская старина (далее — РС). 1881. № 1. С. 189.
- <sup>106</sup> Цит. по: *Заблюцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 61—63.
- <sup>107</sup> См.: Там же. С. 63—64.
- <sup>108</sup> См.: Там же. С. 70.
- <sup>109</sup> См.: Сборник РИО. Т. 78. С. 5. Ср.: Тульчинский штаб при двух генералах: Письма П. Д. Киселева А. Я. Рудзевичу. Воронеж, 1998. С. 38.
- <sup>110</sup> См.: *Круглый А. О.* П. И. Пестель по письмам его родителей // Красный архив (далее — КА). 1926. № 3. С. 176.
- <sup>111</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 24.
- <sup>112</sup> См.: Там же. С. 10, 17.
- <sup>113</sup> Там же. С. 17.
- <sup>114</sup> Там же. С. 17, 25, 45.
- <sup>115</sup> См.: Тульчинский штаб при двух генералах. С. 46.
- <sup>116</sup> См.: Сборник РИО. Т. 78. С. 53.
- <sup>117</sup> См.: РО ИРЛИ. Ф. 143. № 21 (29.6.100); *Покровский Ф. И., Васенко П. Г.* Письма Пестеля к П. Д. Киселеву // Памяти декабристов: Сборник материалов: В 3 т. Л., 1926. Т. 3. С. 155—201.
- <sup>118</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 232. Письмо от 28 октября 1820 г.
- <sup>119</sup> *Давыдов М. А.* Оппозиция его величества: Дворянство и реформы в начале XIX в. М., 1994. С. 69.
- <sup>120</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 16.
- <sup>121</sup> См.: ВД. Т. 7. М., 1958. С. 361—383; 385—406, 219—263. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Д. 473.

- <sup>122</sup> См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель: Офицер, разведчик, заговорщик. С. 103—107; ВД. Т. 12. С. 33.
- <sup>123</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 84.
- <sup>124</sup> *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 212—213.
- <sup>125</sup> См.: Тульчинский штаб при двух генералах. С. 45.
- <sup>126</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 33.
- <sup>127</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 71. Отд. 2. Стол 3. 1820 г. Д. 2037. Л. 5; Сборник РИО. Т. 78. С. 25; ВД. Т. 7. С. 398; *Киянская О. И.* Описание библиотеки П. И. Пестеля на русском языке // 14 декабря 1825 г.: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 5. СПб.; Кишинев, 2002. С. 17—27.
- <sup>128</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 101, 96.
- <sup>129</sup> См.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 232; Сборник РИО. Т. 78. С. 96.
- <sup>130</sup> См.: РГВИА. Ф. 1457. Оп. 11/182. Св. 22. Д. 22. Л. 46—50 об. Ср.: ВД. Т. 7. С. 228—231.
- <sup>131</sup> ВД. Т. 7. С. 230.
- <sup>132</sup> РГВИА. Ф. 1457. Оп. 11/182. Св. 22. Д. 22. Л. 46, 48 об.—49; ВД. Т. 7. С. 229—230.
- <sup>133</sup> РГВИА. Ф. 1457. Оп. 11/182. Св. 22. Д. 22. Л. 48; ВД. Т. 7. С. 230.
- <sup>134</sup> РГВИА. Ф. 1457. Оп. 11/182. Св. 22. Д. 22. Л. 47; ВД. Т. 7. С. 230.
- <sup>135</sup> См.: *Покровский Ф. И., Васенко П. Г.* Указ. соч. С. 174.
- <sup>136</sup> РО ИРЛИ. Ф. 143. № 21 (29.6.100). Л. 9—9 об.
- <sup>137</sup> См.: *Покровский Ф. И., Васенко П. Г.* Указ. соч. С. 167.
- <sup>138</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 8, 21.
- <sup>139</sup> См.: *Васенко П. Г., Измайлов Н. В.* Обзор хранящихся в АН СССР материалов о декабристах // Памяти декабристов. Т. 3. С. 231.
- <sup>140</sup> Подробнее см.: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 119—154.
- <sup>141</sup> ВД. Т. 7. С. 363.
- <sup>142</sup> Сборник РИО. Т. 78. С. 94—95.
- <sup>143</sup> См.: ВД. Т. 10. С. 40; Сборник РИО. Т. 78. С. 53.
- <sup>144</sup> *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 396.
- <sup>145</sup> См.: ВД. Т. 9. С. 111; Т. 10. С. 232.
- <sup>146</sup> Там же. Т. 4. С. 101—102, 278.
- <sup>147</sup> Там же. С. 180.
- <sup>148</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 367.
- <sup>149</sup> См.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 230.
- <sup>150</sup> См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 5384. Л. 1—5 об.
- <sup>151</sup> См.: Там же. Л. 2; *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 197.
- <sup>152</sup> ВД. Т. 10. С. 157.
- <sup>153</sup> Там же. С. 284.
- <sup>154</sup> См.: *Шелехов Ф. П.* Главное интендантское управление: Исторический очерк // Столетие Военного министерства. 1802—1902: В 13 т. Т. 4. Ч. 1. СПб., 1903. С. 514; Сборник РИО. Т. 78. С. 316; *Греч Н. И.* Указ. соч. С. 335.
- <sup>155</sup> РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 5384. Л. 1.
- <sup>156</sup> Там же. Л. 2 об.
- <sup>157</sup> См.: Сборник РИО. Т. 78. С. 118.
- <sup>158</sup> Там же. С. 116.
- <sup>159</sup> Там же. С. 275.



- <sup>160</sup> См.: Там же. С. 118—120.
- <sup>161</sup> РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 3. Д. 5384. Л. 1 об.—2.
- <sup>162</sup> См.: Там же. Л. 1.
- <sup>163</sup> См.: Там же. Ф. 395. Оп. 80. Отд. 2. 1825 г. Д. 676. Л. 2 об.
- <sup>164</sup> См.: *Басаргин Н. В.* Указ. соч. С. 63—68.
- <sup>165</sup> Там же. С. 64.
- <sup>166</sup> Там же. С. 66—67.
- <sup>167</sup> См.: Там же. С. 67.
- <sup>168</sup> *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 490.
- <sup>169</sup> См.: РО ИРЛИ. Ф. 143. № 21 (29.6.100); *Покровский Ф. И., Васенко П. Г.* Указ. соч. С. 155—201; Тульчинский штаб при двух генералах.
- <sup>170</sup> См.: *Чернов С. Н.* Декабрист П. Ив. Пестель. С. 118.
- <sup>171</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 383—384.
- <sup>172</sup> См.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 3. Д. 7. Л. 12.
- <sup>173</sup> *Гордин Я. А.* Дуэли и дуэлянты. СПб., 1996. С. 56.
- <sup>174</sup> Цит. по: *Басаргин Н. В.* Указ. соч. С. 68.
- <sup>175</sup> См.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 3. Д. 9. Л. 103, 191.
- <sup>176</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 6—7.
- <sup>177</sup> См.: *Дружинин Н. М.* Декабрист Никита Муравьев // *Дружинин Н. М.* Революционное движение в России в XIX в. М., 1985. С. 112—115; *Захаров Н. С.* Петербургские совещания декабристов в 1824 году // *Очерки из истории движения декабристов.* С. 84—120; *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 3—57; *Экшутт С. А.* Указ. соч. С. 177—188; *Коржов С. Н.* Северный филиал Южного общества декабристов // 14 декабря 1825 г.: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 3. СПб.; Кишинев, 2000. С. 100—105; *Павлюченко Э. А.* Декабрист Никита Муравьев // *Муравьев Н. М.* Письма декабриста. 1813—1826 гг. М., 2001. С. 28—30.
- <sup>178</sup> *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 40, 53.
- <sup>179</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 145.
- <sup>180</sup> Там же. С. 163.
- <sup>181</sup> Там же. Т. 4. С. 163; Т. 9. С. 260.
- <sup>182</sup> *Коржов С. Н.* Указ. соч. С. 105—106.
- <sup>183</sup> См.: *Пушкина В. А., Ильин П. В.* Персональный состав декабристских тайных обществ: Справочный указатель // 14 декабря 1825 г.: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 2. С. 44—52.
- <sup>184</sup> См.: *Семенова А. В.* Кавалергарды — члены тайного общества в день 14 декабря 1825 г. // *История СССР.* 1979. № 1. С. 199.
- <sup>185</sup> См.: РГВИА. Ф. 35. Оп. 4. Св. 261. Д. 535. Л. 4.
- <sup>186</sup> Там же. Л. 6.
- <sup>187</sup> См.: Там же. Л. 7—8.
- <sup>188</sup> См.: Там же. Ф. 14057. Оп. 3. Д. 9. Л. 142, 145.
- <sup>189</sup> ВД. Т. 4. С. 18.
- <sup>190</sup> См.: РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 15. Л. 4—6 об.; Ф. 35. Оп. 4. Св. 261. Д. 535. Л. 70—70 об.
- <sup>191</sup> См.: *Заблоцкий-Десятковский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 197.
- <sup>192</sup> Цит. по: Там же. С. 198.
- <sup>193</sup> ВД. Т. 11. М., 1954. С. 60.
- <sup>194</sup> См.: *Троцкий И. М.* Ликвидация Тульчинской управы Южного общества // *Былое.* 1925. № 5. С. 48.
- <sup>195</sup> ВД. Т. 4. С. 171.
- <sup>196</sup> РГВИА. Ф. 14057. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.

- <sup>197</sup> Там же. Оп. 1. Д. 15. Л. 1; Оп. 5. Д. 12. Л. 1, 3 об.
- <sup>198</sup> См.: Там же. Оп. 5. Д. 12. Л. 1, 1 об., 5.
- <sup>199</sup> См.: Там же. Ф. 395. Оп. 80. Отд. 2. 1825 г. Д. 620; Д. 676. Л. 1—9.
- <sup>200</sup> См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 196—220.
- <sup>201</sup> Подробнее см.: Там же. С. 253—260.
- <sup>202</sup> ВД. Т. 19. С. 430.
- <sup>203</sup> Там же. Т. 12. С. 91—92.
- <sup>204</sup> См.: *Троцкий И. М.* Указ. соч. С. 50.
- <sup>205</sup> См.: *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 197; *Троцкий И. М.* Указ. соч. С. 50.
- <sup>206</sup> ВД. Т. 4. Л. 84.
- <sup>207</sup> *Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Т. 2. С. 1087—1088.
- <sup>208</sup> См.: Кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца I и II степени: Биографический словарь. СПб., 2002. С. 423.
- <sup>209</sup> Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825 г.: Исторические материалы // РС. 1882. № 7. С. 196.
- <sup>210</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 388, 396.
- <sup>211</sup> Цит. по: *Смирнова А. О.* Записки (Из записных книжек 1826—1845 гг.). СПб., 1895. Ч. 1. С. 51—52.
- <sup>212</sup> См.: Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825 г. С. 149; ВД. Т. 10. С. 147; *Ланда С. С.* Мицкевич накануне восстания декабристов // Литература славянских народов. М., 1959. Вып. 4. Из истории литератур Польши и Чехословакии. С. 145.
- <sup>213</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 381.
- <sup>214</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 91.
- <sup>215</sup> См.: *Мицкевич А.* Собрание сочинений: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 388.
- <sup>216</sup> См.: *Федоров В. А.* Своей судьбой гордимся мы... М., 1988. С. 29.
- <sup>217</sup> *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 71; ВД. Т. 10. С. 64.
- <sup>218</sup> *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 71.
- <sup>219</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 376.
- <sup>220</sup> ВД. Т. 10. С. 73.
- <sup>221</sup> См.: Там же. Т. 12. С. 125; Т. 19. С. 189.
- <sup>222</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 371—372.
- <sup>223</sup> ВД. Т. 12. С. 256; Т. 10. С. 260; *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 349.
- <sup>224</sup> ВД. Т. 4. С. 92.
- <sup>225</sup> Там же. Т. 11. С. 78.
- <sup>226</sup> Там же. Т. 4. С. 172, 192.
- <sup>227</sup> Там же. Т. 10. С. 263.
- <sup>228</sup> См.: Там же. С. 286—287.
- <sup>229</sup> *Чернов С. Н.* Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля. С. 383—384.
- <sup>230</sup> См.: ВД. Т. 10. С. 272; Т. 4. С. 172, 192; Т. 12. С. 359, 425.
- <sup>231</sup> См.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 2. Д. 16; Декабристы: Биографический справочник. С. 93, 70; ВД. Т. 12. С. 402, 357.
- <sup>232</sup> См.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 1. Д. 11. Л. 135; Оп. 3. Д. 7. Л. 134а.
- <sup>233</sup> См.: Там же. Оп. 3. Д. 7. Л. 134а; Д. 11. Л. 135.
- <sup>234</sup> См.: Там же. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 15. Л. 4 об.
- <sup>235</sup> См.: *Вистицкий М. С.* Указатель дорог Российской империи. СПб., 1804. Ч. 1. С. 102, 110, 127, 138, 167.
- <sup>236</sup> РГВИА. Ф. 14057. Оп. 3. Д. 11. Л. 128.
- <sup>237</sup> ВД. Т. 17. С. 45.
- <sup>238</sup> См.: Там же. Т. 12. С. 372. Ср.: Там же. Т. 4. С. 196—198.

- <sup>239</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 67. Ср.: *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 207.
- <sup>240</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 53; Т. 10. С. 212.
- <sup>241</sup> См.: Там же. Т. 16. С. 197.
- <sup>242</sup> Там же. Т. 12. С. 383.
- <sup>243</sup> Цит. по: Там же. Т. 10. С. 72, 80.
- <sup>244</sup> См.: *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 76.
- <sup>245</sup> Там же. С. 78—79.
- <sup>246</sup> См.: *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 215.
- <sup>247</sup> ВД. Т. 12. С. 404.
- <sup>248</sup> Там же. Т. 4. С. 192.
- <sup>249</sup> В биографическом справочнике «Декабристы» (М., 1988. С. 207) дата ареста А. П. Юшневского указана неверно — 13.12.1825. Правильную дату см: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 646. Д. 16. Л. 21.
- <sup>250</sup> См.: ВД. Т. 12. С. 355. Ср.: *Чернов С. Н.* Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля. С. 347—389.
- <sup>251</sup> ВД. Т. 4. С. 86.
- <sup>252</sup> Там же. Т. 10. С. 62.
- <sup>253</sup> См.: *Пушкин Б. Я.* Арест декабристов // *Декабристы и их время: В 2 т. Т. 2. М., 1932. С. 400, 408; ВД. Т. 4. С. 45—59; Т. 10. С. 42—43.*
- <sup>254</sup> Николай I: Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 71.
- <sup>255</sup> *Мысловский П. М.* Из воспоминаний // *Декабристы в воспоминаниях современников. С. 309.*
- <sup>256</sup> *Розен А. Е.* Указ. соч. С. 155.
- <sup>257</sup> Цит. по: *Заозерский А. И.* Вторая оправдательная записка Н. И. Тургенева // *Памяти декабристов. Т. 2. С. 117. Ср.: Курилкин А. Р.* [Комментарии] // *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 685.
- <sup>258</sup> *Якушкин Е. И.* Замечания на «Записки» («Моп Journal») А. М. Муравьева // *Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 143.*
- <sup>259</sup> ВД. Т. 4. С. 103, 112.
- <sup>260</sup> См.: *Штрайх С. Я.* Декабрист П. И. Пестель: Новые материалы // *Былое. 1922. № 20. С. 106; ВД. Т. 4. С. 419.*
- <sup>261</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 76. Отд. 2. Стол 3. 1823 г. Д. 555. Л. 3—7 об.; Ф. 14057. Оп. 16/184. Св. 578. Д. 27. Л. 10—11.
- <sup>262</sup> ВД. Т. 4. С. 85.
- <sup>263</sup> Там же. Т. 10. С. 74, 78.
- <sup>264</sup> Там же. С. 84.
- <sup>265</sup> Там же. С. 64.
- <sup>266</sup> Там же. Т. 17. С. 153—154; 203.
- <sup>267</sup> *Розен А. Е.* Указ. соч. С. 195; *Тургенев Н. И.* Указ. соч. С. 83.
- <sup>268</sup> *Павлов-Сильванский Н. П.* Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом. Ростов-н/Д., 1907. С. 1.
- <sup>269</sup> См.: ВД. Т. 17. С. 246, 247.
- <sup>270</sup> См.: Там же. С. 251; Приказ по армии от 12.07.1826 // *Высочайшие приказы о чинах военных за 1826 г. СПб., 1826.*
- <sup>271</sup> См.: *Мысловский П. М.* Указ. соч. С. 309.
- <sup>272</sup> См.: *Невелев Г. А.* Пушкин «об 14-м декабря»: Реконструкция декабристского документального текста. СПб., 1998. С. 35—69.
- <sup>273</sup> Там же. С. 37—38.
- <sup>274</sup> См.: Там же. С. 38, 47; РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 600. Л. 50.
- <sup>275</sup> Со слов присутствовавшего по службе при казни // *Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 257.*

<sup>276</sup> См.: Рассказ В. И. Беркопфа в записи Н. А. Рамазанова // Там же. С. 255.

<sup>277</sup> Рассказ Б. Я. Княжнина в записи И. К. И. Руликовского // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг.: В 2 т. Т. 2. М., 1933. С. 421.

<sup>278</sup> Цит. по: *Мысловский П. Н.* Указ. соч. С. 109—110.

<sup>279</sup> ВД. Т. 17. С. 206.

<sup>280</sup> Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Декабристы на пути в Сибирь // *Декабристы: Неизданные материалы и статьи.* М., 1925. С. 122.

<sup>281</sup> Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири. С. 127.

### Сергей Волконский

<sup>1</sup> ВД. Т. 10. С. 98.

<sup>2</sup> См.: *Волконская Е. Г.* Род князей Волконских. СПб., 1900. С. 756.

<sup>3</sup> См.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 75.

<sup>4</sup> *Пыляев М. И.* Замечательные чудачки и оригиналы. М., 1990. С. 33.

<sup>5</sup> См.: *Волконский С. М.* О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пг., 1922. С. 16—18; Кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца I и II степени. С. 229.

<sup>6</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 451, 5.

<sup>7</sup> *Евреинов Н. Н.* Демон театральности. М.; СПб., 2002. С. 58 (ср.: Там же. С. 208—216); *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 254—255.

<sup>8</sup> *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 19—20.

<sup>9</sup> РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 689 об.; *Новосильцев Т.* Княгиня М. Н. Волконская (сообщение княжны Варвары Николаевны Репниной) // РС. 1878. № 6. С. 336.

<sup>10</sup> Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Декабрист Волконский в каторжной работе на Благодатском руднике // Бунт декабристов. С. 351.

<sup>11</sup> *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 90—91, 93.

<sup>12</sup> См.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 759.

<sup>13</sup> См., например: *Файнштейн М. Ш.* Зинаида Волконская // *Файнштейн М. Ш.* Писательницы пушкинской поры: Историко-литературные очерки. Л., 1989. С. 64—83.

<sup>14</sup> См.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 759 об.

<sup>15</sup> См.: *Волконская Е. Г.* Указ. соч. С. 717.

<sup>16</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 104.

<sup>17</sup> Послужной список С. Г. Волконского см.: ВД. Т. 10. С. 98—103.

<sup>18</sup> См.: *Троицкий Н. А.* Первый армейский партизанский отряд в России 1812 года // Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 1997. Вып. 2. С. 68—69.

<sup>19</sup> ВД. Т. 10. С. 101.

<sup>20</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 230—231.

<sup>21</sup> См.: Из записок А. Г. Хомутовой // РА. 1867. № 1/2. С. 1056—1057.

<sup>22</sup> *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 304—305.

<sup>23</sup> См.: *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 15.

<sup>24</sup> См.: *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 319.

<sup>25</sup> См.: Там же. С. 323.

- <sup>26</sup> См.: Письма С. Г. Волконского к П. Д. Киселеву // Каторга и ссылка. 1933. № 2. С. 107.
- <sup>27</sup> Волконский С. Г. Указ. соч. С. 332, 333; Письма С. Г. Волконского к П. Д. Киселеву. С. 111.
- <sup>28</sup> См.: Волконский С. Г. Указ. соч. С. 333.
- <sup>29</sup> Волконский С. М. Указ. соч. С. 98—99.
- <sup>30</sup> Пыляев М. И. Указ. соч. С. 39.
- <sup>31</sup> См.: Там же. С. 43.
- <sup>32</sup> Волконский С. Г. Указ. соч. С. 127, 129—131, 136, 145, 174, 188, 190.
- <sup>33</sup> Дурново Н. Д. Дневник 1812 г. // 1812 год: Военные дневники. М., 1990. С. 67.
- <sup>34</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 65/320. Отд. 2. Стол 1. Д. 350; Ф. 36. Оп. 1. Д. 617.
- <sup>35</sup> См.: Там же. Ф. 36. Оп. 1. Д. 617. Л. 10; Д. 723.
- <sup>36</sup> ВД. Т. 10. С. 100; Сборник РИО. Т. 78. С. 210.
- <sup>37</sup> См.: Караиш Н. Ф., Тихантовская А. З. Декабрист Сергей Григорьевич Волконский и его «Записки» // Волконский С. Г. Указ. соч. С. 13.
- <sup>38</sup> См.: Волконский С. Г. Указ. соч. С. 326, 176, 177.
- <sup>39</sup> Пыляев М. И. Указ. соч. С. 60.
- <sup>40</sup> Волконский С. Г. Указ. соч. С. 359.
- <sup>41</sup> Там же. С. 364.
- <sup>42</sup> См.: ВД. Т. 10. С. 104.
- <sup>43</sup> Там же. С. 108.
- <sup>44</sup> Письма С. Г. Волконского к П. Д. Киселеву. С. 108—109.
- <sup>45</sup> Там же. С. 108.
- <sup>46</sup> Волконский С. Г. Указ. соч. С. 131.
- <sup>47</sup> Там же. С. 365.
- <sup>48</sup> Там же. С. 383.
- <sup>49</sup> Там же. С. 368.
- <sup>50</sup> Цит. по: Муллин В. Неизвестный документ о свадьбе Сергея Волконского // Русская филология: Сборник научных студенческих работ. Тарту, 1971. С. 87—93.
- <sup>51</sup> См.: Караиш Н. Ф., Тихантовская А. З. Указ. соч. С. 34.
- <sup>52</sup> См.: Козаченко А. К вопросу об имущественном положении декабриста кн. С. Г. Волконского // КА. 1936. № 4. С. 211—214; Он же. Декабрист кн. С. Г. Волконский як поміщик // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. Київ, 1928. Кн. 17. С. 277—314.
- <sup>53</sup> ВД. Т. 7. С. 216.
- <sup>54</sup> Там же. Т. 10. С. 156.
- <sup>55</sup> Там же. Т. 12. С. 298.
- <sup>56</sup> См.: Там же. Т. 10. С. 118, 134—135, 149, 153.
- <sup>57</sup> Волконский С. Г. Указ. соч. С. 178—179.
- <sup>58</sup> Лемке М. Николаевские жандармы и литература. СПб., 1909. С. 26.
- <sup>59</sup> Тихантовская А. З., Капелюш Б. Н., Караиш Н. Ф. Комментарий к «Запискам» С. Г. Волконского // Волконский С. Г. Указ. соч. С. 440.
- <sup>60</sup> ВД. Т. 10. С. 179.
- <sup>61</sup> Волконская М. Н. Записки. М., 1977. С. 28.
- <sup>62</sup> ВД. Т. 10. С. 144.
- <sup>63</sup> Там же. Т. 10. С. 132; Т. 4. С. 116.
- <sup>64</sup> Там же. Т. 10. С. 118.

- <sup>65</sup> См.: Письма С. Г. Волконского к П. Д. Киселеву. С. 109; *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 388.
- <sup>66</sup> См.: *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 383.
- <sup>67</sup> ВД. Т. 12. С. 98.
- <sup>68</sup> См.: Там же. Т. 19. С. 443—448.
- <sup>69</sup> Там же. С. 447.
- <sup>70</sup> См.: Там же. Т. 9. С. 112—113.
- <sup>71</sup> См.: Там же. Т. 10. С. 134, 142.
- <sup>72</sup> См.: Там же. С. 143.
- <sup>73</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 171; Т. 11. С. 365.
- <sup>74</sup> См.: *Чернов С. Н.* Декабрист П. Ив. Пестель: Опыт личной характеристики // Рукописный отдел Санкт-Петербургского института истории РАН. Ф. 302. Оп. 1. Д. 1. С. 60.
- <sup>75</sup> См.: ВД. Т. 11. С. 59.
- <sup>76</sup> Николай I: Муж. Отец. Император. С. 71.
- <sup>77</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 42.
- <sup>78</sup> ВД. Т. 10. С. 114, 140.
- <sup>79</sup> Там же. С. 108, 109.
- <sup>80</sup> Там же. С. 110, 118.
- <sup>81</sup> Там же. С. 111—123.
- <sup>82</sup> Там же. С. 111, 121.
- <sup>83</sup> Там же. С. 142.
- <sup>84</sup> Там же. С. 149, 155.
- <sup>85</sup> Там же. Т. 16. С. 252.
- <sup>86</sup> Цит. по: *Караи Н. Ф., Тихантовская А. З.* Указ. соч. С. 46.
- <sup>87</sup> ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 305. Л. 10 об.
- <sup>88</sup> ВД. Т. 16. С. 252; Т. 10. С. 140.
- <sup>89</sup> Цит. по: *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 32.
- <sup>90</sup> См.: Там же.
- <sup>91</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 15/370. Отд. 1. 1826 г. Д. 1. Л. 3.
- <sup>92</sup> *Завалишин Д. И.* Воспоминания. М., 2003. С. 327.
- <sup>93</sup> *Новосильцев Т.* Указ. соч. С. 338.
- <sup>94</sup> РС. 1881. Т. 32. С. 191.
- <sup>95</sup> *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 57.
- <sup>96</sup> *Розен А. Е.* Указ. соч. С. 173.
- <sup>97</sup> *Чернов С. Н.* Декабристы в Благодатске // Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925. С. 86.
- <sup>98</sup> См.: Там же. С. 86—88.
- <sup>99</sup> Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Декабрист Волконский в каторжной работе на Благодатском руднике. С. 346, 351.
- <sup>100</sup> Цит. по: *Чернов С. Н.* Декабристы в Благодатске. С. 120.
- <sup>101</sup> Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Декабрист Волконский в каторжной работе на Благодатском руднике. С. 351.
- <sup>102</sup> Цит. по: *Чернов С. Н.* Декабристы в Благодатске. С. 117, 120.
- <sup>103</sup> Там же. С. 121.
- <sup>104</sup> Там же. С. 122.
- <sup>105</sup> *Гершензон М. О.* Письма М. Н. Волконской из Сибири // Русские пропилеи: Материалы по истории русской мысли и литературы: В 6 т. Т. 1. М., 1915. С. 44.
- <sup>106</sup> См.: Там же. С. 99.
- <sup>107</sup> См.: *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 74—75.
- <sup>108</sup> *Розен А. Е.* Указ. соч. С. 230.

<sup>109</sup> Цит. по: *Веневитинов М. А.* Проводы Марии Волконской в Сибирь // РС. 1875. № 4. С. 825.

<sup>110</sup> Цит. по: Там же. С. 822.

<sup>111</sup> *Волконский С. М.* Указ. соч. С. 51—52.

<sup>112</sup> См., например: *Попова О. И.* История жизни М. Н. Волконской // Звенья. М.; Л., 1934. С. 23; *Матханова Н. П.* Декабрист Александр Викторович Поджио // *Поджио А. В.* Записки. Письма. Иркутск, 1989. С. 35.

<sup>113</sup> Письма Е. И. Якушкина к жене из Сибири. 1855 г. // *Декабристы на поселении: Из архива Якушкиных.* М., 1926. С. 51—52.

<sup>114</sup> *Белоголовый Н. А.* Указ. соч. С. 367—368.

<sup>115</sup> Там же. С. 367.

<sup>116</sup> *Волконский М. С.* Послесловие к «Запискам» С. Г. Волконского // *Волконский С. Г.* Записки. СПб., 1901. С. 510—511.

<sup>117</sup> *Волконский С. Г.* Записки. Иркутск, 1991. С. 359.

<sup>118</sup> Письма С. Г. Волконского к П. Д. Киселеву. С. 109.

### Михаил Бестужев-Рюмин

<sup>1</sup> См.: *Штрайх С. Я.* М. П. Бестужев-Рюмин // *Штрайх С. Я.* О пяти повешенных. М., 1926. С. 95—120; *Он же.* Декабрист М. П. Бестужев-Рюмин. М., 1925; *Василенко В. Е.* М. П. Бестужев-Рюмин. Л., 1966; *Мачульский Е. Н.* Новые данные о биографии М. П. Бестужева-Рюмина // ИЗ. Т. 96. С. 347—358.

<sup>2</sup> ВД. Т. 4. С. 179.

<sup>3</sup> *Азадовский М. К.* Указ. соч. С. 87; *Мачульский Е. Н.* Указ. соч. С. 347.

<sup>4</sup> *Толстой Л. Н.* Стыдно // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 16. М., 1964. С. 449.

<sup>5</sup> См.: ВД. Т. 9.

<sup>6</sup> *Бестужев-Рюмин К. Н.* Воспоминания // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 67. № 4. СПб., 1901. С. 3. Ср.: *Долгоруков П.* Российская родословная книга: В 4 т. СПб., 1857. Т. 4. С. 287—289.

<sup>7</sup> См.: *Мачульский Е. Н.* Указ. соч. С. 348.

<sup>8</sup> См.: *Бестужев-Рюмин К. Н.* Указ. соч. С. 5. Ср.: *Он же.* Письмо к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужева-Рюмине // *Декабристы и их время.* Т. 1. М., 1928. С. 207; *Мачульский Е. Н.* Указ. соч. С. 348.

<sup>9</sup> См.: *Бестужев-Рюмин К. Н.* Письмо к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужева-Рюмине С. 206, 14; *Он же.* Воспоминания. С. 7.

<sup>10</sup> См.: *Мачульский Е. Н.* Указ. соч. С. 348.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Цит. по: Там же.

<sup>13</sup> Цит. по: Там же. С. 351.

<sup>14</sup> *Бестужев-Рюмин К. Н.* Письмо к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужева-Рюмине. С. 208.

<sup>15</sup> См.: *Штрайх С. Я.* Новые письма декабристов // Утренники. Пг., 1922. Кн. 2. С. 68—69.

<sup>16</sup> Цит. по: Там же. С. 69.

<sup>17</sup> Цит. по: Там же. С. 68.

<sup>18</sup> ВД. Т. 9. С. 49.

<sup>19</sup> *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Пись-

ма. М., 1963. С. 85; *Михайловский-Данилевский А. И.* Вступление на престол императора Николая I // РС. 1890. № 11. С. 497; *Басаргин Н. В.* Записки // Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 45; Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 55.

<sup>20</sup> См.: *Якушкин Е. И.* Указ. соч. С. 144. В издании «Записок» И. Д. Якушкина этот текст бесосновательно приписан самому декабристу (ср.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 160, 619).

<sup>21</sup> ВД. Т. 10. С. 61; Т. 4. С. 111, 177.

<sup>22</sup> См.: Там же. Т. 9. С. 46.

<sup>23</sup> Там же. Т. 4. С. 109.

<sup>24</sup> См.: *Боровков А. Д.* Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ // Декабристы: Биографический справочник. С. 224; Там же. С. 22; *Пушкина В. А., Ильин П. В.* Указ. соч. С. 45.

<sup>25</sup> ВД. Т. 4. С. 275.

<sup>26</sup> *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 397.

<sup>27</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 177.

<sup>28</sup> См.: Там же. Т. 9. С. 63; Т. 4. С. 119.

<sup>29</sup> «Русская Правда» П. И. Пестеля и сочинения, ей предшествующие // Там же. Т. 7. С. 123.

<sup>30</sup> Там же. Т. 10. С. 131; *Орлов М. Ф.* Указ. соч. С. 86.

<sup>31</sup> См.: ВД. Т. 10. С. 201 (ср. показания С. Г. Волконского: Там же. С. 128); Т. 9. С. 3.

<sup>32</sup> Там же. Т. 10. С. 128.

<sup>33</sup> Там же. Т. 9. С. 65.

<sup>34</sup> Цит. по: *Медведская Л. А.* Южное общество декабристов и Польское патриотическое общество // Очерки из истории движения декабристов. С. 284.

<sup>35</sup> ВД. Т. 9. С. 87.

<sup>36</sup> См.: Там же. Т. 17. С. 203—204.

<sup>37</sup> См.: Там же. Т. 9. С. 63—65, 69—74. Ср.: *Медведская Л. А.* Указ. соч. С. 286—288.

<sup>38</sup> См.: ВД. Т. 9. С. 72—73.

<sup>39</sup> Там же. Т. 4. С. 130, 119.

<sup>40</sup> Там же. С. 280.

<sup>41</sup> *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований... Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816—1825. М., 1975. С. 294.

<sup>42</sup> *Нечкина М. В.* Общество соединенных славян. М.; Л., 1927. С. 63. Ср.: *Она же.* [Вступительная статья к следственным делам М. П. Бестужева-Рюмина и М. И. Муравьева-Апостола] // ВД. Т. 9. С. 11; *Эйдельман Н. Я.* Апостол Сергей. М., 1975. С. 189; *Азадовский М. К.* Указ. соч. С. 89.

<sup>43</sup> *Бестужев-Рюмин К. Н.* Письмо к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужева-Рюмине. С. 208. Ср.: ВД. Т. 9. С. 49.

<sup>44</sup> *Мерзляков А. Ф.* Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. М., 1821. С. 91.

<sup>45</sup> Там же. С. 99.

<sup>46</sup> См.: *Медведская Л. А.* Указ. соч. С. 284; *Горбачевский И. И.* Записки. Письма. М., 1963. С. 9.

<sup>47</sup> *Мерзляков А. Ф.* Указ. соч. С. 93.

<sup>48</sup> ВД. Т. 5. М.; Л., 1926. С. 279.

<sup>49</sup> Там же. Т. 9. С. 117.



- <sup>50</sup> Цит. по: Показания П. И. Борисова // Там же. Т. 5. С. 31.
- <sup>51</sup> Там же. Т. 9. С. 116.
- <sup>52</sup> Там же. Т. 5. С. 279.
- <sup>53</sup> Там же. Т. 9. С. 78.
- <sup>54</sup> *Нечкина М. В.* Общество соединенных славян. С. 71.
- <sup>55</sup> Цит. по: Показания П. И. Борисова. С. 31.
- <sup>56</sup> ВД. Т. 9. С. 116.
- <sup>57</sup> См.: Показания А. В. Веденяпина 1-го // Там же. Т. 13. М., 1975. С. 221.
- <sup>58</sup> См.: *Нечкина М. В.* Общество соединенных славян. С. 79—80.
- <sup>59</sup> ВД. Т. 5. С. 35. Ср.: Там же. Т. 13. С. 151, 365.
- <sup>60</sup> См.: *Бестужев-Рюмин К. Н.* Воспоминания. С. 3, 6.
- <sup>61</sup> *Нечкина М. В.* Общество соединенных славян. С. 62.
- <sup>62</sup> См.: *Нечкина М. В.* Из работ над «Русской Правдой» Пестеля // Очерки из истории движения декабристов. С. 73—83.
- <sup>63</sup> См.: ВД. Т. 5. С. 111, 126; Т. 9. С. 77.
- <sup>64</sup> Там же. Т. 5. С. 279, 300.
- <sup>65</sup> См.: Там же. С. 300.
- <sup>66</sup> Там же. Т. 9. С. 140, 85. Ср.: Там же. С. 82.
- <sup>67</sup> *Нечкина М. В.* Общество соединенных славян. С. 68, 86.
- <sup>68</sup> См.: ВД. Т. 11. С. 241.
- <sup>69</sup> Там же. С. 280.
- <sup>70</sup> Там же. Т. 4. С. 158.
- <sup>71</sup> Там же. Т. 9. С. 38.
- <sup>72</sup> Там же. Т. 11. С. 275.
- <sup>73</sup> Там же. Т. 10. С. 275.
- <sup>74</sup> См.: *Нечкина М. В.* Кризис Южного общества декабристов // Историк-марксист. 1935. № 7. С. 30—47.
- <sup>75</sup> См.: *Киянская О. И.* Профессионал от революции: К вопросу о конспиративной деятельности П. И. Пестеля в 1819—1825 гг. // Литературное обозрение. 1997. № 4. С. 4—18.
- <sup>76</sup> ВД. Т. 4. С. 110; Т. 9. С. 46.
- <sup>77</sup> Там же. Т. 1. С. 35.
- <sup>78</sup> Там же. Т. 9. С. 56, 68.
- <sup>79</sup> Там же. С. 68.
- <sup>80</sup> См.: Там же. С. 66, 68, 113.
- <sup>81</sup> См.: Там же. С. 110—111.
- <sup>82</sup> Там же. С. 110, 145.
- <sup>83</sup> См.: Там же. С. 58—60, 110—111.
- <sup>84</sup> Там же. Т. 12. С. 309.
- <sup>85</sup> *Экштут С. А.* Указ. соч. С. 175.
- <sup>86</sup> ВД. Т. 9. С. 77.
- <sup>87</sup> Там же. Т. 4. С. 116. Ср.: Там же. Т. 10. С. 133; Т. 9. С. 65, 111. Обобщение этих показаний см.: *Медведская Л. А.* Указ. соч. С. 298.
- <sup>88</sup> См.: *Модзалевский Б. Л.* Страница из жизни декабриста М. П. Бестужева-Рюмина // Памяти декабристов. Т. 3. С. 210—211.
- <sup>89</sup> См.: *Цявловский М.* [Примечания к «Письму К. Н. Бестужева-Рюмина к Л. Н. Толстому о декабристе М. П. Бестужеве-Рюмине»] // Декабристы и их время. Т. 1. С. 209.
- <sup>90</sup> ВД. Т. 10. С. 225; Т. 4. С. 284.
- <sup>91</sup> Там же. Т. 9. С. 57.

<sup>92</sup> Якушкин Е. И. Указ. соч. С. 144.

<sup>93</sup> Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 55.

<sup>94</sup> Муравьев-Апостол М. И. Письмо к С. И. Муравьеву-Апостолу // Мемуары декабристов. Южное общество. С. 220; Орлов М. Ф. Указ. соч. С. 85.

<sup>95</sup> Чулков Г. Мятежники 1825 года. М., 1925. С. 85; Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 141.

<sup>96</sup> См.: Эйдельман Н. Я. К биографии Сергея Ивановича Муравьева-Апостола // ИЗ. Т. 96. С. 270.

<sup>97</sup> ВД. Т. 9. С. 111, 145.

<sup>98</sup> Там же. С. 32.

<sup>99</sup> Там же. Т. 4. С. 239.

<sup>100</sup> См.: Киянская О. И. Южный бунт: Восстание Черниговского пехотного полка. М., 1997.

<sup>101</sup> Цит. по: Розен А. Е. Указ. соч. С. 143.

<sup>102</sup> См.: ВД. Т. 9. С. 37.

<sup>103</sup> Там же. С. 42—43.

<sup>104</sup> Там же. С. 74.

<sup>105</sup> Там же. С. 61.

<sup>106</sup> См.: Там же. С. 142, 143, 149. Ср. показания «славян»: Там же. Т. 5. С. 47, 153—156; Т. 13. С. 150, 369.

<sup>107</sup> Там же. Т. 9. С. 112, 145.

<sup>108</sup> Там же. С. 86, 100.

<sup>109</sup> Там же. С. 69.

<sup>110</sup> См.: Розен А. Е. Указ. соч. С. 157.

<sup>111</sup> ВД. Т. 11. С. 124.

<sup>112</sup> Там же. Т. 9. С. 112.

<sup>113</sup> См.: Там же. Т. 3. С. 53.

<sup>114</sup> Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 55.

<sup>115</sup> См.: ВД. Т. 9. С. 43; Т. 4. С. 266, 275.

<sup>116</sup> Там же. Т. 17. С. 203—204.

## Кондратий Рылеев

<sup>1</sup> Цит. по: Маслов В. И. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912. С. 115.

<sup>2</sup> См.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043. Л. 1 об.

<sup>3</sup> Фотокопию указа см.: Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934. Вклейка между страницами 846 и 847.

<sup>4</sup> РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043. Л. 2.

<sup>5</sup> См.: Там же. Ф. 25. Оп. 1/160. Д. 684. 1811—1814 гг. Л. 1; Д. 682. Л. 8.

<sup>6</sup> Цит. по: Висковатов А. В. Краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832. С. 109—110.

<sup>7</sup> Кропотов Д. А. Несколько сведений о Рылееве // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 11.

<sup>8</sup> Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001. С. 109—112.

<sup>9</sup> Титов Н. А. Выдержки из записок. Малолетнее отделение в 1808 году // РС. 1870. Т. 1. 2-е изд. С. 217; Кропотов Д. А. Несколько сведений о Рылееве. С. 9; Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 107—108, 113, 114.

<sup>10</sup> См.: Греч Н. И. Указ. соч. С. 307.

- <sup>11</sup> *Кропотов Д. А.* Несколько сведений о Рылееве. С. 9—10.
- <sup>12</sup> См.: Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому (1823—1825) // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 221—222; Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. Т. 3. СПб., 1899. С. 41.
- <sup>13</sup> *Греч Н. И.* Указ. соч. С. 443.
- <sup>14</sup> См., например: *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. М., 1955. С. 202.
- <sup>15</sup> *Кузовкина Т. Д.* Феномен Булгарина: Проблема литературной тактики. Тарту, 2007. С. 40—41.
- <sup>16</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 470.
- <sup>17</sup> Цит. по: *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 12. М.; Л., 1949. С. 159.
- <sup>18</sup> *Рылеев К. Ф.* Сочинения / Под ред. С. А. Фомичева. Л., 1987. С. 308.
- <sup>19</sup> Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому. С. 228.
- <sup>20</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 469.
- <sup>21</sup> См.: *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 79; *Антокольский П. Г.* Поэт-декабрист // Литературная газета. 1945. 29 сентября.
- <sup>22</sup> *Лесков Н. С.* Кадетский малолеток в старости (К истории «Кадетского монастыря») // Исторический вестник. 1885. Т. 20. № 4. С. 118—119.
- <sup>23</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 319, 325, 327; Архив внешней политики Российской империи МИД РФ (далее — АВПРИ). Ф. 339. Оп. 926. Д. 87. Л. 22 об.
- <sup>24</sup> АВПРИ. Ф. 339. Оп. 926. Д. 87. Л. 21.
- <sup>25</sup> См.: Там же.
- <sup>26</sup> Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии // *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел: К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности К. Ф. Рылеева. СПб., 2010. С. 213.
- <sup>27</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 151.
- <sup>28</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 433.
- <sup>29</sup> Там же. С. 433—434.
- <sup>30</sup> См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Указ. соч. С. 205—210.
- <sup>31</sup> Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 211, 212—213.
- <sup>32</sup> Там же. С. 220, 216.
- <sup>33</sup> Там же. С. 211—212.
- <sup>34</sup> Там же.
- <sup>35</sup> Там же. С. 212, 222—223.
- <sup>36</sup> Там же. С. 221.
- <sup>37</sup> *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 65.
- <sup>38</sup> Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 40—41.
- <sup>39</sup> Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 220.
- <sup>40</sup> *Рылеев К. Ф.* К временщику. Подражание Персиевой сатире «К Рубеллиу» // Невский зритель. 1820. Ч. 4. № 10. С. 26—28; Ср.: *Он же.* К временщику (Подражание Персиевой сатире «К Рубеллиу») // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 89—90.
- <sup>41</sup> См.: *Семевский В. И.* Волнение в Семеновском полку // Былое. 1907. № 2. С. 83—86, 92—93; *Лапин В. А.* Семеновская история. Л., 1991. С. 151.

<sup>42</sup> Цит. по: *Лапин В. А.* Указ. соч. С. 166.

<sup>43</sup> Сборник РИО. Т. 73. СПб., 1890. С. 138.

<sup>44</sup> ВД. Т. 20. С. 125.

<sup>45</sup> См.: *Рыбаков И. Ф.* Тайная полиция в «семеновские дни» 1820 г. // *Былое*. 1925. № 2. С. 69—86; Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 859 (Н. К. Шильдер). К. 40. Д. 17.

<sup>46</sup> См.: *Вильк Е. А.* Невский зритель // Пушкин в прижизненной критике, 1820—1827. СПб., 1996. С. 486—488.

<sup>47</sup> См.: Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 733. Оп. 118. 1820 г. Д. 452. Л. 4—6 об.

<sup>48</sup> Цит. по: *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 8. Л., 1978. С. 155.

<sup>49</sup> *Рылеев К. Ф.* Письмо матери, А. М. Рылеевой. 15 октября 1821 г. // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 460.

<sup>50</sup> См.: *Лобойко И. Н.* Мои записки // Вильна 1823—1824: Перекрестки памяти. Минск, 2008. С. 174.

<sup>51</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. СПб., 1899. С. 151; *Бестужев Н. А.* Воспоминание о Рылееве // Воспоминания Бестужевых. СПб., 2005. С. 101.

<sup>52</sup> *Троицкий Н. А.* Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 269.

<sup>53</sup> *Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Т. 2. С. 776.

<sup>54</sup> Дай Бог такого министра! Восточный анекдот // Литературные листки. 1823. № 1. С. 8.

<sup>55</sup> См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 87. Д. 199. Л. 6.

<sup>56</sup> Цит. по: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение. М., 1998. С. 77.

<sup>57</sup> *Рылеев К. Ф.* Видение: Ода на день тезоименитства Его императорского высочества великого князя Александра Николаевича // Литературные листки. 1823. № 3. С. 39—40.

<sup>58</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 176.

<sup>59</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 230—232. В первой публикации ода была снабжена рядом верноподданнических примечаний, принадлежащих перу Ф. В. Булгарина.

<sup>60</sup> *Оксман Ю. Г. К. Ф. Рылеев* // Звезда. 1933. № 7. С. 149—156.

<sup>61</sup> См., например: *Цейтлин А. Г.* [Комментарий к стихотворению «Видение. Ода на день тезоименитства Его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 621—622; *Архипова А. В., Ходоров А. Е.* [Примечания к стихотворению «Видение. Ода на день тезоименитства Его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1971. С. 410; *Фомичев С. А.* [Комментарий к стихотворению «Видение. Ода на день тезоименитства Его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»] // *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 359.

<sup>62</sup> См.: ВД. Т. 3. М.; Л., 1927. С. 163; Т. 14. М., 1976. С. 92; 160.

<sup>63</sup> *Герцен А. И.* Письмо к императору Александру II // *Герцен А. И.* Собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 12. М., 1958. С. 273.

<sup>64</sup> См.: ВД. Т. 14. С. 104.

<sup>65</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 449—450.

<sup>66</sup> Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай I, его жизнь и царствование: В 2 кн. М., 1997. Кн. 1. С. 595—596.

<sup>67</sup> См.: *Высочков Л. В.* Император Николай I: Человек и государь. СПб., 2001. С. 209—210; *Шильдер Н. К.* Указ. соч. Кн. 1. С. 136; *Филарет (Дроздов)*. Из воспоминаний // *Филарет (Дроздов)*, митр. Избранные труды, письма, воспоминания. М., 2003. С. 806.

<sup>68</sup> См.: *Андреева Т. В.* Тайные общества в России в первой трети XIX в.: Правительственная политика и общественное мнение. СПб., 2009. С. 546; *Мироненко С. В.* Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 87.

<sup>69</sup> *Завалишин Д. И.* Указ. соч. С. 145.

<sup>70</sup> 14 декабря 1825 года и его истолкователи: Герцен и Огарев против барона Корфа. М., 1994. С. 226, 311.

<sup>71</sup> *Филарет (Дроздов)*, митр. Указ. соч. С. 807.

<sup>72</sup> См.: *Пыпин А. Н.* Религиозные движения при Александре I. С. 144; *Скабичевский А. М.* Очерки истории русской цензуры. СПб., 1892. С. 200—201; *Чистович И. А.* Руководящие деятели духовного просвещения в первой половине текущего столетия. СПб., 1894. С. 228—238; *Котович А. Н.* Духовная цензура в России (1799—1855). СПб., 1909. С. 130—132; *Кондаков Ю. Е.* Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб., 2005. С. 259—324.

<sup>73</sup> Там же. С. 263.

<sup>74</sup> *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 75.

<sup>75</sup> *Цейтлин А. Г.* [Комментарий к стихотворению «Стансы»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 649.

<sup>76</sup> *Рылеев К. Ф.* Думы. М., 1975. С. 139.

<sup>77</sup> Там же. С. 139—140.

<sup>78</sup> Там же. С. 140.

<sup>79</sup> *Фризман Л. Г.* «Думы» Рылеева // *Рылеев К. Ф.* Думы. С. 174.

<sup>80</sup> *Бестужев А. А.* Взгляд на старую и новую словесность в России // «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л., 1960. С. 23; *Он же.* Ответ на критику «Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6, и 7 номерах «Русского инвалида» 1823 года // *Сын отечества*. 1823. Ч. 83. № 4. С. 183—184; *Вяземский П. А.* Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822-го года, напечатанное в № 5 Северного архива 1823-го года // *Новости литературы*. 1823. Кн. 4. № 19. С. 91.

<sup>81</sup> *Ф. Б. [Булгарин Ф. В.]* Думы, стихотворения К. Рылеева, Москва, в типогр. С. Селивановского, 1825, в осм., VIII, 172 стр. // *Северная пчела*. 1825. № 37. 26 апреля. С. 2.

<sup>82</sup> Впервые опубликовано: Деятнадцатый век: Сборник, издаваемый Петром Бартевым. М., 1872. Кн. 1. С. 370—371.

<sup>83</sup> См.: *Цейтлин А. Г.* [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 571—573; *Оксман Ю. Г.* [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 399—400; *Фризман Л. Г.* Состав и принципы издания // *Рылеев К. Ф.* Думы. С. 227—228.

<sup>84</sup> *Оксман Ю. Г.* [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] С. 448, 370; *Фризман Л. Г.* Состав и принципы издания. С. 244; *Фомичев С. А.* [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] // *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 367.

<sup>85</sup> Письмо А. А. Бестужева матери, П. А. Бестужевой. Вторая половина сентября 1824 г. // Памяти декабристов. Т. 1. С. 48.

<sup>86</sup> См.: *Фомичев С. А.* [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] С. 367.

<sup>87</sup> *Маслов В. И.* Указ. соч. С. 225.

<sup>88</sup> См.: *Азадовский М. К.* Указ. соч. С. 176.

<sup>89</sup> *Фотий (Спасский), архим.* Борьба за веру. Против масонов. М., 2010. С. 368—369, 373.

<sup>90</sup> См.: *Оксман Ю. Г.* [Комментарий к думе «Наталья Долгорукова»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 433.

<sup>91</sup> *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 75. Ср.: *Он же.* Полное собрание сочинений. С. 265—266 (опубликовано с искажениями текста автографа).

<sup>92</sup> *Архипова А. В. К.* Рылеев «Я ль буду в роковое время...» // Поэтический строй русской лирики. Л., 1973. С. 75.

<sup>93</sup> *Е. Я. [Якушкин Е. И.]* По поводу воспоминаний о К. Ф. Рылееве // Деятнадцатый век. Кн. 1. С. 354. Ср.: *Бестужев Н. А.* Указ. соч. С. 28. См. также: *Цейтлин А. Г.* [Комментарий к стихотворению «Гражданин»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 657—658; *Пигарев К. В.* Жизнь Рылеева. М., 1947. С. 206.

<sup>94</sup> См.: *Оксман Ю. Г.* [Комментарий к стихотворению «Я ль буду в роковое время...»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 397.

<sup>95</sup> См.: *Архипова А. В., Ходоров А. Е.* [Комментарий к стихотворению «Я ль буду в роковое время...»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1971. С. 414; *Фомичев С. А.* [Комментарий к стихотворению «Я ль буду в роковое время...»] // *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 75, 360; *Архипова А. В.* Указ. соч. С. 64.

<sup>96</sup> [*Булгарин Ф. В.*] Полярная звезда, карманная книжка для любителей и любителей российской словесности, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым // Северный архив. 1823. Ч. 5. № 3. С. 293; Полярная звезда. Карманная книжка для любителей и любительниц русской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. СПб. в Тип. Н. Греча // Русский инвалид, или Военные ведомости. 1823. № 4. 6 января. С. 15; [*Шаликов П. И.*] Полярная звезда. Карманная книжка, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым // Дамский журнал. 1823. Ч. 1. Кн. 1. № 1. С. 38.

<sup>97</sup> «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 278.

<sup>98</sup> Там же. С. 21.

<sup>99</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 365.

<sup>100</sup> См.: [*Благой Д. Д.*] [Комментарий к стихотворению «К творцу “Истории государства Российского”»] // *Батюшков К. Н.* Сочинения. М.; Л., 1934. С. 576.

<sup>101</sup> [*Рылеев К. Ф.*] Эпиграмма // Невский зритель. 1820. Ч. 4. № 10. С. 41.

<sup>102</sup> *Карамзин Н. М.* Неизданные сочинения и переписка: В 2 ч. СПб., 1862. Ч. 1. С. 11—12. О взаимоотношениях Карамзина и Рылеева см.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Сатира К. Ф. Рылеева «К временщику»: Опыт историко-литературного комментария // Вопросы литературы. 2010. № 3. С. 336—338.

<sup>103</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 365, 366.

<sup>104</sup> Цит. по: *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований... С. 356.

- <sup>105</sup> См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 151.
- <sup>106</sup> Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому. С. 202, 208, 211, 213.
- <sup>107</sup> Там же. С. 210.
- <sup>108</sup> См.: Там же; Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо П. А. Вяземского А. А. Бестужеву от 20 января 1824 г. // РС. 1888. Т. 60. Вып. 11. С. 324.
- <sup>109</sup> См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 119—124.
- <sup>110</sup> [Булгарин Ф. В.] Литературные новости // Литературные листки. 1824. Ч. 1. № 2. С. 64—65.
- <sup>111</sup> *Бестужев А. А.* Ответ на критику «Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6 и 7 номерах «Русского инвалида» 1823 года. С. 174—175.
- <sup>112</sup> [Греч Н. И.] Новости неполитические // Там же. 1822. Ч. 82. № 48. С. 84.
- <sup>113</sup> Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 205, 158.
- <sup>114</sup> Там же. Т. 2. С. 459; *Рылеев К. Ф.* Письмо к А. С. Пушкину от января 1825 г. // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 479.
- <sup>115</sup> Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо В. А. Жуковского А. А. Бестужеву 21 августа 1822 г. // РС. 1888. Т. 60. Вып. 11. С. 311.
- <sup>116</sup> См.: Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо Д. В. Давыдова А. А. Бестужеву // Там же. Вып. 10. С. 166.
- <sup>117</sup> *Бестужев А. А.* Письма Н. А. и К. А. Полевым // РВ. 1861. Т. 32. № 3. С. 304.
- <sup>118</sup> См.: Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо Е. А. Баратынского А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву // РС. 1888. Т. 60. Вып. 11. С. 321—322; *Рылеев К. Ф.* Послание к Гнедичу // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 111—114; *Он же.* Письмо Ф. В. Булгарину от 20 июня 1821 г. // Там же. С. 458; *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 20—21.
- <sup>119</sup> *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 60.
- <sup>120</sup> Письма А. Е. Измайлова к И. И. Дмитриеву 1816—1830 // РА. 1871. Т. 16. № 7/8. Стб. 975.
- <sup>121</sup> См.: Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 462; Т. 2. С. 25; Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо П. А. Вяземского А. А. Бестужеву. С. 322—325.
- <sup>122</sup> [Булгарин Ф. В.] Литературные новости. С. 66.
- <sup>123</sup> Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому. С. 214.
- <sup>124</sup> *Бестужев А. А., Рылеев К. Ф.* Объявление // Литературные листки. 1824. Ч. 4. № 23/24. С. 180; Они же. Объявление // Сын отечества. 1825. Ч. 99. № 1. С. 111.
- <sup>125</sup> См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 47—59.
- <sup>126</sup> *Оболенский Е. П.* Воспоминания о Кондратии Федоровиче Рылееве // Мемуары декабристов. Северное общество. С. 85; Воспоминания Бестужевых. С. 241.
- <sup>127</sup> *Вацуро В. Э.* «Северные цветы»: История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978. С. 9.
- <sup>128</sup> См.: Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому. С. 223, 226. Ср.: Письмо Рылеева и Бестужева к Воейкову от 15 сентября 1824 г. // *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 309.
- <sup>129</sup> Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому. С. 223, 226.
- <sup>130</sup> *Бестужев А. А.* Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и в на-

чале 1825 годов // «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 497.

<sup>131</sup> *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 272.

<sup>132</sup> «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 492.

<sup>133</sup> *Рылев К. Ф.* Несколько мыслей о поэзии // Сын отечества. 1825. Ч. 104. № 22. С. 154.

<sup>134</sup> ВД. Т. 1. С. 153, 174.

<sup>135</sup> См.: *Бокова В. М.* Указ. соч. С. 454.

<sup>136</sup> Цит. по: Аракчеев: Свидетельства современников. М., 2000. С. 226.

<sup>137</sup> *Николаенко П. Д.* Князь В. П. Кочубей — первый министр внутренних дел России. СПб., 2009. С. 557.

<sup>138</sup> Цит. по: *Томсинов В. А.* Аракчеев. М., 2003. С. 400.

<sup>139</sup> См.: *Кондаков Ю. Е.* Указ. соч. С. 288.

<sup>140</sup> ВД. Т. 1. С. 230.

<sup>141</sup> *Рылев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 235.

<sup>142</sup> См.: ВД. Т. 12. С. 95; Т. 1. С. 112.

<sup>143</sup> См.: Рапорт К. Ф. Рылеева М. Н. Рылеву от 20 июня 1814 г. // *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 199.

<sup>144</sup> ВД. Т. 1. С. 178.

<sup>145</sup> Там же. С. 16.

<sup>146</sup> Там же. Т. 4. С. 163.

<sup>147</sup> См., например: *Аксенов К. Д.* Северное общество декабристов. Л., 1951. С. 138—302; *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 27—34.

<sup>148</sup> ВД. Т. 1. С. 444.

<sup>149</sup> См.: *Киянская О. И.* Пестель. М., 2005. С. 121—122, 214—215, 234—235.

<sup>150</sup> *Оболенский Е. П.* Указ. соч. С. 86, 87.

<sup>151</sup> См.: *Дубровин Н. Ф.* Николай Алексеевич Полевой, его сторонники и противники по «Московскому телеграфу» // РС. 1903. Т. 113. Вып. 2. С. 260; Письмо К. Ф. Рылеева П. А. Вяземскому от 12 января 1825 г. // *Рылев К. Ф.* Сочинения. С. 312—313.

<sup>152</sup> См.: *Рылев К. Ф.* А. А. Бестужеву // *Рылев К. Ф.* Войнаровский. М., 1825. С. III—IV.

<sup>153</sup> Там же. С. IV.

<sup>154</sup> А. К. [*Корнилович А. О.*] Жизнеописание Мазепы // Там же. С. XV—XVI; А. Б. [*Бестужев А. А.*] Жизнеописание Войнаровского // Там же. С. XIX—XX; *Рылев К. Ф.* [Примечания] // Там же. С. 24.

<sup>155</sup> Там же. С. 23—24; *Рылев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 214.

<sup>156</sup> *Рылев К. Ф.* Войнаровский. С. 38, 34.

<sup>157</sup> Там же. С. 13.

<sup>158</sup> «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 219.

<sup>159</sup> Письма П. А. Катенина к Н. Н. Бахтину // РС. 1911. Т. 146. Вып. 6. С. 594.

<sup>160</sup> См., например: *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 95; *Благой Д. Д.* Историческая поэма Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы: Труды Третьей Всесоюзной Пуш-



- кинской конференции. М.; Л., 1953. С. 260; *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. С. 115, 117.
- <sup>161</sup> См.: История руссов или Малой России. Киев, 1991 С. 2; *Киянская О. И.* Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I. СПб., 2008. С. 251—301; *Ульянов Н. И.* Происхождение украинского сепаратизма. М., 2007. С. 160.
- <sup>162</sup> См.: *Оксман Ю. Г.* [Комментарий к поэме «Войнаровский»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 458.
- <sup>163</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 495.
- <sup>164</sup> Там же. С. 213.
- <sup>165</sup> Полярная звезда на 1825 г. // «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 713—714.
- <sup>166</sup> См.: *Оксман Ю. Г.* Секретне слідство про «Исповедь Наливайко» К. Ф. Рилзева року 1825 // Юбілейний збірник на пошану акад. Д. И. Багалія. Київ, 1927. С. 874—878.
- <sup>167</sup> ВД. Т. 20. С. 325.
- <sup>168</sup> *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. С. 76.
- <sup>169</sup> *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. С. 10; *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 310.
- <sup>170</sup> Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е: В 45 т. (далее — ПСЗРИ-1). СПб., 1830. Т. 25. № 19.030. С. 711.
- <sup>171</sup> ВД. Т. 4. С. 103.
- <sup>172</sup> См., например: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 1. С. 399, 400, 424; *Киянская О. И.* Пестель. С. 205.
- <sup>173</sup> ВД. Т. 1. С. 177.
- <sup>174</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 499; Т. 17. С. 49.
- <sup>175</sup> *О'Мара П. К. Ф.* Рылеев: Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989. С. 128.
- <sup>176</sup> ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
- <sup>177</sup> ВД. Т. 1. С. 21.
- <sup>178</sup> *Беляев А. П.* Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. Красноярск, 1990. С. 119.
- <sup>179</sup> ВД. Т. 15. М., 1979. С. 197.
- <sup>180</sup> См.: ПСЗРИ-1. Т. 37. № 28.756. С. 853; История Русской Америки (1732—1867): В 3 т. (далее — ИРА). Т. 2. М., 1999. С. 372.
- <sup>181</sup> См.: Исследования русских на Тихом океане в XVIII — первой половине XIX в.: В 4 т. (далее — ИРТО). Т. 4. М., 2005. С. 199; ИРА. Т. 2. С. 392.
- <sup>182</sup> См.: ИРА. Т. 2. С. 274; *Шешин А. Б.* Основание Ордена Восстановления // 14 декабря 1825 г.: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 1. СПб., 1997. С. 41.
- <sup>183</sup> См., например: *Еропкин Б. И.* Декабрист Д. И. Завалишин // Сибирь. 1971. № 2. С. 76—91; *Шатрова Г. П.* Декабрист Д. И. Завалишин: проблема формирования дворянской революционности и эволюция декабризма. Красноярск, 1984; *Шешин А. Б.* Устав Ордена Восстановления // 14 декабря 1825 г.: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 2. С. 139—174.
- <sup>184</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 235, 182.
- <sup>185</sup> См., например: *Шешин А. Б.* Декабрист К. П. Торсон. Улан-Удэ, 1980. С. 75.
- <sup>186</sup> См.: ИРА. Т. 2. С. 257—274; *Шешин А. Б.* Основание Ордена Восстановления.

- <sup>187</sup>ВД. Т. 1. С. 235; Т. 3. С. 299.
- <sup>188</sup>*Завалишин Д. И.* Вселенский Орден Восстановления и отношения мои к «Северному Тайному Обществу» // РС. 1882. Т. 33. Вып. 1. С. 31.
- <sup>189</sup>См.: Там же. С. 54; *Шешин А. Б.* Устав Ордена Восстановления. С. 140—141.
- <sup>190</sup>ВД. Т. 3. С. 236.
- <sup>191</sup>*Пушкин А. С.* Дневники. Записки. СПб., 1995. С. 36.
- <sup>192</sup>См.: *Брегман А. А.* Декабрист Гавриил Степанович Батеньков // *Батеньков Г. С.* Сочинения и письма: В 2 т. Иркутск, 1989. Т. 1. Письма (1813—1856). С. 17, 23.
- <sup>193</sup>См.: Учреждение Сибирского комитета // РС. 1903. Т. 114. Вып. 6. С. 624; ВД. Т. 14. С. 34.
- <sup>194</sup>*Греч Н. И.* Указ. соч. С. 348; ВД. Т. 14. С. 44.
- <sup>195</sup>ВД. Т. 14. С. 44, 143.
- <sup>196</sup>Там же. С. 93, 95, 139, 92.
- <sup>197</sup>*Батеньков Г. С.* Указ. соч. Т. 1. С. 206, 209; ВД. Т. 14. С. 97.
- <sup>198</sup>*Батеньков Г. С.* Указ. соч. Т. 1. С. 207; ВД. Т. 14. С. 97.
- <sup>199</sup>См.: ИРА. Т. 2. С. 316—321, 327.
- <sup>200</sup>ВД. Т. 14. С. 97.
- <sup>201</sup>См.: ИРА. Т. 2. С. 437—438.
- <sup>202</sup>См.: Записка Н. С. Мордвинова // ИРТО. Т. 4. С. 183.
- <sup>203</sup>См.: ИРА Т. 3. М., 1999. С. 88; Российский государственный архив военно-морского флота (далее — РГАВМФ). Ф. 132. Оп. 1. Д. 1349. Л. 2; *Палецкий В. М.* Арктические путешествия россиян. М., 1974. С. 119—120.
- <sup>204</sup>См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 401—402.
- <sup>205</sup>См.: ВД. Т. 1. С. 163—164; Т. 14. С. 429—430, 433—434.
- <sup>206</sup>См.: Там же. Т. 9. С. 114, 264; Т. 4. С. 119—120.
- <sup>207</sup>Воспоминания Бестужевых. С. 32.
- <sup>208</sup>См.: *Гордин Я. А.* Мятеж реформаторов. Л., 1989. С. 65; *Сафонов М. М.* Зимний дворец в планах выступления 14 декабря 1825 г. // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. М., 2008. С. 240.
- <sup>209</sup>ВД. Т. 1. С. 182—183; Т. 14. С. 203.
- <sup>210</sup>Воспоминания Бестужевых. С. 41—42.
- <sup>211</sup>*Греч Н. И.* Указ. соч. С. 313.
- <sup>212</sup>К истории восстания 14 декабря 1825 г.: Из дневника флигель-адъютанта Н. Д. Дурново // Записки Отдела рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 3. Декабристы. М., 1939. С. 5; Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. С. 145.
- <sup>213</sup>*Завалишин Д. И.* Воспоминания. С. 116.
- <sup>214</sup>См.: *Петров А. Ю.* Российско-американская компания: деятельность на отечественном и зарубежном рынках: 1799—1867 гг. М., 2006. С. 113.
- <sup>215</sup>См.: *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 503, 508.
- <sup>216</sup>ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 6. Л. 13 об.—14.
- <sup>217</sup>Санкт-Петербургские ведомости. 1826. № 9. 29 января. Прибавление. С. 1.
- <sup>218</sup>Цит. по: *Азадовский М. К.* 14-е декабря в письмах А. Е. Измайлова // Памяти декабристов. Т. 1. С. 242.
- <sup>219</sup>РГАВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 5. Л. 130.

- <sup>220</sup> Цит. по: *Шеголев П. Е.* Николай I — тюремщик декабристов // Декабристы. М.; Л., 1926. С. 267.
- <sup>221</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 500—501.
- <sup>222</sup> ВД. Т. 1. С. 188, 216.
- <sup>223</sup> Там же. С. 185; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 517.
- <sup>224</sup> Письма Д. А. Кропотова к А. К. Рылеевой-Пушиной // Декабристы. М., 1938. С. 286.
- <sup>225</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 276—277.
- <sup>226</sup> Воспоминания Бестужевых. С. 39.
- <sup>227</sup> *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 81—82. Ср: *Он же.* Полное собрание сочинений. С. 267—268.
- <sup>228</sup> См.: *Оболенский Е. П.* Указ. соч. С. 91—93. Ср.: *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 361.
- <sup>229</sup> *Котляревский Н. А.* Рылеев. С. 176; *Маслов В. И.* Указ. соч. С. 103.
- <sup>230</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений С. 504.
- <sup>231</sup> О подражании Христу. Четыре книги Фомы Кемпийского / Пер. М. М. Сперанского. СПб., 1821. С. 30.
- <sup>232</sup> Там же. С. 20—24, 148.
- <sup>233</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 429.
- <sup>234</sup> О подражании Христу. С. 111.
- <sup>235</sup> *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 518.
- <sup>236</sup> Рассказ В. И. Беркопфа в записи Н. А. Рамазанова. С. 255—256.
- <sup>237</sup> Из дневника С. Ф. Уварова // *Лунин М. С.* Указ. соч. Дополнения. М., 1988. С. 295.
- <sup>238</sup> *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 111.
- <sup>239</sup> Рассказ В. И. Беркопфа в записи Н. А. Рамазанова. С. 256.
- <sup>240</sup> Воспоминания Бестужевых. С. 337—338.
- <sup>241</sup> Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 83.
- <sup>242</sup> Со слов присутствовавшего по службе при казни. С. 259.
- <sup>243</sup> Там же.
- <sup>244</sup> Рассказ самовидца о казни, совершённой в Петербурге 1826 года 13 июля // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 271.
- <sup>245</sup> Цит. по: Декабристы: Биографический справочник. С. 162.

**Сергей Трубецкой и Сергей Муравьев-Апостол.  
Петр Свистунов и Ипполит Муравьев-Апостол**

- <sup>1</sup> ВД. Т. 1. С. 185, 152.
- <sup>2</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 161, 165; Т. 17. С. 54—55.
- <sup>3</sup> ПСЗРИ-1. Т. 33. С. 400.
- <sup>4</sup> См.: Там же. С. 401.
- <sup>5</sup> РГВИА. Ф. 395. Оп. 66. Д. 201. Л. 1—2 об.
- <sup>6</sup> ВД. Т. 1. С. 73; *Оболенский Е. П.* Воспоминания о 1826-м и 1827-м годах // Мемуары декабристов. Северное общество. С. 101.
- <sup>7</sup> РГВИА: Ф. 36. Оп. 1. Д. 841. Л. 1—1 об.
- <sup>8</sup> Там же. Л. 2.
- <sup>9</sup> Там же. Л. 3.

<sup>10</sup> Там же. Л. 4.

<sup>11</sup> См.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1819: В 2 ч. СПб., 1819. Ч. 1. С. 169.

<sup>12</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 2. Иркутск, 1987. С. 65.

<sup>13</sup> См.: РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 651. Л. 164, 173—173 об., 32, 100.

<sup>14</sup> См.: Внешняя политика России XIX и начала XX в.: Документы Российского Министерства иностранных дел. Серия 2. 1815—1830 (далее — ВПР-2). Т. 3. М., 1979. С. 27; РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 651. Л. 161—162.

<sup>15</sup> См., например: *Балаян Б. П.* Международные отношения Ирана в 1813—1828 гг. Ереван, 1967. С. 100—123; *Семенов Л. С.* Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-х гг. XIX в. Л., 1963. С. 15—54.

<sup>16</sup> ВПР-2. Т. 3. С. 27.

<sup>17</sup> См.: *Гершензон М. О.* Братья Кривцовы. М., 2001.

<sup>18</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 5.

<sup>19</sup> См.: С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 2. С. 66.

<sup>20</sup> См.: ВПР-2. Т. 3. С. 328—329; *Каподистрия И. А.* Записки // Сборник РИО. Т. 3. СПб., 1868. С. 249.

<sup>21</sup> См.: *Трубецкой С. П.* Записки. Письма И. Н. Толстому 1818—1823 гг. СПб., 2011. С. 193; С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 2. С. 66; ВД. Т. 1. С. 73.

<sup>22</sup> См.: ВД. Т. 9. С. 180, 217.

<sup>23</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 5.

<sup>24</sup> См.: ПСЗРИ-1. Т. 32. С. 60.

<sup>25</sup> См.: РГВИА. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1373.

<sup>26</sup> См.: Сборник РИО. Т. 73. С. 81, 97, 182, 184, 474; Т. 78. С. 204, 214; *Николай Михайлович, вел. кн.* Генерал-адъютанты Императора Александра I. СПб., 1913. С. 47; *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 84.

<sup>27</sup> См.: РГВИА. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1397. Л. 37—39.

<sup>28</sup> ВД. Т. 1. С. 35.

<sup>29</sup> См.: Письмо А. П. Ермолова А. А. Закревскому от 22 ноября 1822 г. // Сборник РИО. Т. 73. С. 400; РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/244. Св. 141. Д. 1524. Л. 1—2.

<sup>30</sup> *Шербатов А. Г.* Мои воспоминания. СПб., 2006. С. 196.

<sup>31</sup> *Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Т. 2. С. 1040; РГВИА. Ф. 35. Оп. 5/246. Св. 313. Д. 1841а. Л. 8.

<sup>32</sup> См.: *Киянская О. И.* Из записной книжки историка // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. С. 76—136; ПСЗРИ-1. Т. 43. С. 89.

<sup>33</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361—363. Отд. 2. Д. 178. Л. 4—4 об., 6—7.

<sup>34</sup> Державний архів Київської області (далее — ДАКО). Ф. 2. Оп. 3. Д. 4634. Л. 5.

<sup>35</sup> РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 167. Л. 1; Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 25. Д. 12. Л. 1.

<sup>36</sup> ДАКО. Ф. 2. Оп. 145. Д. 320. Л. 5.

- <sup>37</sup> Там же. Оп. 3. Д. 4634. Л. 5; Оп. 147. Д. 12. Л. 1 об., 2.
- <sup>38</sup> Цит. по: *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 496.
- <sup>39</sup> ВД. Т. 1. С. 164.
- <sup>40</sup> Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в мемуарах и переписке членов царской семьи. С. 33; ВД. Т. 5. С. 387.
- <sup>41</sup> *Толстой Л. Н.* Указ. соч. С. 449; *Чулков Г.* Указ. соч. С. 75; *Шугуров М. Ф.* О бунте Черниговского полка // РА. 1902. № 2. С. 284; *Щеголев П. Е.* Катехизис Сергея Муравьева-Апостола (Из истории агитационной литературы декабристов) // *Щеголев П. Е.* Исторические этюды. СПб., 1913. С. 330.
- <sup>42</sup> См.: *Эйдельман Н. Я.* Апостол Сергей.
- <sup>43</sup> См.: ВД. Т. 11. С. 246.
- <sup>44</sup> Там же. Т. 4. С. 172, 192; Т. 12. С. 359; Т. 9. С. 58.
- <sup>45</sup> Там же. Т. 4. С. 177, 258.
- <sup>46</sup> Там же. Т. 4. С. 394; Т. 9. С. 112.
- <sup>47</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 104, 278; Т. 9. С. 112.
- <sup>48</sup> См.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 56.
- <sup>49</sup> ВД. Т. 4. С. 278.
- <sup>50</sup> См.: Там же. С. 233; *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. Пг., 1922. С. 76.
- <sup>51</sup> *Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Т. 1. С. 158; *Второв И. А.* Москва и Казань в начале XIX в. // РС. 1891. Т. 70. Кн. 6. С. 11.
- <sup>52</sup> РО ИРЛИ. Ф. 617. Д. 1. Л. 6.
- <sup>53</sup> РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361—363. Отд. 2. Д. 178. Л. 27—31.
- <sup>54</sup> См.: Там же. Ф. 14414. Оп. 1. Св. 25. Д. 181. Л. 5—6, 8; Ф. 846. Оп. 16. Военно-ученый архив (далее — ВУА). Д. 800.
- <sup>55</sup> Там же. Д. 183. Л. 1, 3 об., 4 об.—5.
- <sup>56</sup> Там же. Л. 3—3 об.
- <sup>57</sup> См.: Там же. Ф. 395. Оп. 77/361—363. Отд. 2. Д. 178. Л. 3, 33, 39—39 об.
- <sup>58</sup> *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 76.
- <sup>59</sup> ВД. Т. 9. С. 72—73.
- <sup>60</sup> См.: РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 183. Л. 9—9 об.; Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 4. Д. 12. Л. 2.
- <sup>61</sup> См.: Там же. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 183. Л. 2—2 об.; Д. 186.
- <sup>62</sup> ВД. Т. 3. С. 139—140; Т. 14. С. 339.
- <sup>63</sup> Там же. Т. 9. С. 259; Т. 4. С. 187.
- <sup>64</sup> Там же. Т. 9. С. 214.
- <sup>65</sup> См.: Там же. Т. 9. С. 132; Т. 4. С. 116.
- <sup>66</sup> Там же. Т. 12. С. 332—333.
- <sup>67</sup> См.: РГВИА. Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 4. Д. 12. Л. 2.
- <sup>68</sup> См.: ПСЗРИ-1. Т. 32. С. 53, 59.
- <sup>69</sup> См.: РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 64 (277). Д. 382. Ч. 1. Л. 8—10; Оп. 9/292. Св. 4 (181). Д. 95. Л. 474—475; 482—486; Оп. 9/292. Св. 5 (182). Д. 159. Л. 95—96.
- <sup>70</sup> См.: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 41. Карт. 97. Ед. хр. 5. Л. 5 об.; Сборник РИО. Т. 78. С. 110, 269; РГВИА. Ф. 14414. Оп. 9/292. Св. 5 (182). Д. 159. Л. 95—96.
- <sup>71</sup> РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. ВУА. Д. 17117. Л. 2.
- <sup>72</sup> Там же. Ф. 395. Оп. 76. Отд. 2. Стол 1. Д. 406. Л. 13; Ф. 846. Оп. 16. ВУА. Д. 17117. Л. 1.

- <sup>73</sup> См.: Там же. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749. Л. 510, 596, 627; Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749. Л. 667 об.
- <sup>74</sup> См.: Там же. Ф. 395. Оп. 77/361—363. Отд. 2. Д. 178. Л. 3.
- <sup>75</sup> См.: ВД. Т. 12. С. 333.
- <sup>76</sup> Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 196.
- <sup>77</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 78.
- <sup>78</sup> См.: РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749.
- <sup>79</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 284, 103—104; Т. 9. С. 190.
- <sup>80</sup> См.: РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/244. Св. 144. Д. 1662. Ср.: *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 85.
- <sup>81</sup> Материалы о восстании Черниговского полка из архива А. Г. Щербатова // Декабристы. М., 1938. С. 15.
- <sup>82</sup> ВД. Т. 6. М.; Л., 1929. С. 333.
- <sup>83</sup> Цит. по: *Щербатов А. Г.* Указ. соч. С. 196—197.
- <sup>84</sup> РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 195. Ч. 1. Л. 45—46, 50 об.
- <sup>85</sup> *Сафонов М. М.* Указ. соч. С. 228, 230.
- <sup>86</sup> См.: *Киянская О. И.* П. И. Пестель на следствии // Россия XXI. 2007. № 1. С. 162—196; *Готоваева А. Г., Киянская О. И.* Движение декабристов в государственной пропаганде 1825—1826 гг. // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. С. 477—493.
- <sup>87</sup> ВД. Т. 17. С. 49, 51.
- <sup>88</sup> Там же. С. 53.
- <sup>89</sup> См.: Там же. С. 55, 58.
- <sup>90</sup> *Лавров Н. Ф.* «Диктатор 14 декабря» // Бунт декабристов. С. 203.
- <sup>91</sup> См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 225—227, 242, 281; *Она же.* День 14 декабря 1825 года. М., 1985. С. 22.
- <sup>92</sup> См.: *Гордин Я. А.* Мятёж реформаторов. С. 168—169, 183, 184.
- <sup>93</sup> *Пресняков А. Е.* 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 90—91, 93.
- <sup>94</sup> См.: *Сафонов М. М.* Указ. соч. С. 228—291.
- <sup>95</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 103—104.
- <sup>96</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 246—247.
- <sup>97</sup> ВД. Т. 1. С. 247.
- <sup>98</sup> *Покровский М. Н.* Русская история с древнейших времен // *Покровский М. Н.* Избранные произведения: В 4 кн. М., 1965. Кн. 2. С. 265.
- <sup>99</sup> *Бокова В. М.* Указ. соч. С. 463.
- <sup>100</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 228.
- <sup>101</sup> ВД. Т. 18. М., 1984. С. 295; Т. 1. С. 247.
- <sup>102</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 6, 19.
- <sup>103</sup> Там же. С. 443.
- <sup>104</sup> *Свистунов П. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 2002. С. 171; ВД. Т. 1. С. 347.
- <sup>105</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 158, 160—162, 187—188.
- <sup>106</sup> Там же. С. 69.
- <sup>107</sup> Там же. С. 103—104.
- <sup>108</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 176.
- <sup>109</sup> ВД. Т. 1. С. 488.
- <sup>110</sup> См.: Там же. Т. 14. С. 151; Т. 1. С. 248, 347.

- <sup>111</sup> Там же. Т. 1. С. 152.
- <sup>112</sup> Там же. С. 184—185.
- <sup>113</sup> Там же. С. 36, 65, 70; С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 288.
- <sup>114</sup> ВД. Т. 1. С. 18, 36, 37, 65.
- <sup>115</sup> ВД. Т. 18. С. 295.
- <sup>116</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 289.
- <sup>117</sup> ВД. Т. 16. С. 34.
- <sup>118</sup> Там же. Т. 1. С. 23, 21, 26.
- <sup>119</sup> Там же. С. 27.
- <sup>120</sup> Там же.
- <sup>121</sup> Там же. С. 34, 15.
- <sup>122</sup> См.: Там же. Т. 16. С. 27, 28, 30.
- <sup>123</sup> См.: *Киянская О. И.* Пестель. С. 109—122.
- <sup>124</sup> ВД. Т. 4. С. 102—103.
- <sup>125</sup> Там же. Т. 1. С. 27, 35.
- <sup>126</sup> См., например: *Потапова Н. Д.* Позиция С. П. Трубецкого в условиях политического кризиса междуцарствия // 14 декабря 1825 года: Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 1. С. 48, 51.
- <sup>127</sup> ВД. Т. 4. С. 284. Ср.: Там же. С. 103—104; Т. 9. С. 190.
- <sup>128</sup> Там же. Т. 4. С. 284. Ср.: Там же. Т. 9. С. 67.
- <sup>129</sup> Там же. Т. 1. С. 100, 101.
- <sup>130</sup> См.: *Киянская О. И.* Генерал Щербатов и его мемуары // *Щербатов А. Г.* Указ. соч. С. 11—30.
- <sup>131</sup> ВД. Т. 1. С. 19.
- <sup>132</sup> Там же. С. 58.
- <sup>133</sup> Там же. С. 179.
- <sup>134</sup> Там же. С. 94.
- <sup>135</sup> Там же. Т. 4. С. 284.
- <sup>136</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 103—105.
- <sup>137</sup> Там же. Т. 12. С. 47.
- <sup>138</sup> *Лавров Н. Ф.* Указ. соч. С. 189.
- <sup>139</sup> *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 245; ВД. Т. 1. С. 450.
- <sup>140</sup> ВД. Т. 14. С. 334.
- <sup>141</sup> Там же. Т. 1. С. 19.
- <sup>142</sup> Там же. Т. 14. С. 334.
- <sup>143</sup> Там же. Т. 1. С. 58.
- <sup>144</sup> Там же. Т. 1. С. 15; Т. 20. С. 173.
- <sup>145</sup> Там же. Т. 20. С. 172—173.
- <sup>146</sup> См.: *Киянская О. И.* Пестель. С. 155—167.
- <sup>147</sup> ВД. Т. 1. С. 59.
- <sup>148</sup> Там же. С. 164.
- <sup>149</sup> Там же. Т. 20. С. 165.
- <sup>150</sup> *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 246.
- <sup>151</sup> См.: ВД. Т. 1. С. 154.
- <sup>152</sup> См.: Там же. Т. 14. С. 334; Т. 1. С. 50.
- <sup>153</sup> Там же. Т. 1. С. 42, 59, 50.
- <sup>154</sup> Там же. С. 42.
- <sup>155</sup> Там же. С. 16, 87—88.

- <sup>156</sup> Там же. С. 50.
- <sup>157</sup> Там же. С. 42.
- <sup>158</sup> См.: *Федоров В. А.* Декабрист Петр Николаевич Свистунов // *Україна і Росія в панорамі століть*. Чернігів, 1998; *Он же.* Декабрист Петр Николаевич Свистунов // *Свистунов П. Н.* Сочинения и письма.
- <sup>159</sup> *Завалишин Д. И.* Воспоминания. С. 452.
- <sup>160</sup> ВД. Т. 14. С. 348.
- <sup>161</sup> *Эйдельман Н. Я.* Апостол Сергей. С. 296.
- <sup>162</sup> См.: «Погостный список», составленный М. И. Муравьевым-Апостолом // *Декабристы: Материалы для характеристики*. М., 1907. С. 172.
- <sup>163</sup> См.: *Муравьев Н. М.* Указ. соч. С. 83, 84, 94, 104, 114, 117.
- <sup>164</sup> Там же. С. 101, 114.
- <sup>165</sup> См.: Там же. С. 101, 104.
- <sup>166</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 182. Отд. 4. 1824 г. Д. 87.
- <sup>167</sup> См.: *Глиноецкий Н. П.* История русского Генерального штаба: В 2 т. СПб., 1883. Т. 1. С. 309, 310.
- <sup>168</sup> *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 53.
- <sup>169</sup> См.: Высочайшие приказы о чинах военных. 1825. СПб., 1826. С. 182.
- <sup>170</sup> См.: ВД. Т. 14. С. 391, 342; Т. 18. С. 254; Т. 15. С. 242.
- <sup>171</sup> См.: Там же. Т. 14. С. 340.
- <sup>172</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 62.
- <sup>173</sup> Там же. С. 41.
- <sup>174</sup> См.: Там же. Т. 14. С. 342.
- <sup>175</sup> Там же. Т. 1. С. 62.
- <sup>176</sup> Там же. Т. 14. С. 342.
- <sup>177</sup> Записки графа Е. Ф. Комаровского. М., 1990. С. 148.
- <sup>178</sup> ВД. Т. 16. С. 27.
- <sup>179</sup> Там же. Т. 14. С. 342.
- <sup>180</sup> Там же. С. 342—343.
- <sup>181</sup> Там же. Т. 20. С. 176.
- <sup>182</sup> Там же. Т. 14. С. 343.
- <sup>183</sup> См.: Там же. Т. 18. С. 91.
- <sup>184</sup> См.: Там же. Т. 14. С. 490.
- <sup>185</sup> *Анненкова П. Е.* Воспоминания. М., 2003. С. 34—35.
- <sup>186</sup> *Гессен С. Я., Предтеченский А. В.* Полина Гебль и декабрист Анненков // *Воспоминания Полины Анненковой*. М., 1929. С. 12—13.
- <sup>187</sup> См.: *Анненкова П. Е.* Указ. соч. С. 32—33; ВД. Т. 14. С. 333.
- <sup>188</sup> См.: *Федоров В. А.* Декабрист Петр Николаевич Свистунов // *Свистунов П. Н.* Сочинения и письма. С. 18.
- <sup>189</sup> *Анненкова П. Е.* Указ. соч. С. 51.
- <sup>190</sup> См.: ВД. Т. 16. С. 35.
- <sup>191</sup> См.: Там же. Т. 20. С. 165.
- <sup>192</sup> Там же. Т. 9. С. 183; *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 52.
- <sup>193</sup> См., например: *Порох И. В.* Восстание Черниговского полка // *Очерки из истории движения декабристов*. С. 123; *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 346.
- <sup>194</sup> ВД. Т. 4. С. 192. Ср.: Там же. Т. 12. С. 189; Т. 2. М.; Л., 1926. С. 220.
- <sup>195</sup> Цит. по: *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 77.



- <sup>196</sup> ВД. Т. 11. С. 110.
- <sup>197</sup> Горбачевский И. И. Указ. соч. С. 71—72.
- <sup>198</sup> Там же. С. 69.
- <sup>199</sup> Там же. С. 72. Ср.: ВД. Т. 9. С. 205.
- <sup>200</sup> ВД. Т. 6. С. 21; Т. 4. С. 251.
- <sup>201</sup> Там же. Т. 4. С. 249—250.
- <sup>202</sup> Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. С. 252.
- <sup>203</sup> ВД. Т. 6. С. 159; Т. 4. С. 286.
- <sup>204</sup> Там же. Т. 9. С. 239; *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 53.
- <sup>205</sup> ВД. Т. 9. С. 191.
- <sup>206</sup> Там же. Т. 17. С. 54.
- <sup>207</sup> Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. С. 267.
- <sup>208</sup> См.: ВД. Т. 14. С. 341.
- <sup>209</sup> Там же. Т. 6. С. 21.
- <sup>210</sup> См.: *Киянская О. И.* Южный бунт. С. 81—89.
- <sup>211</sup> См.: ВД. Т. 6. С. 23.
- <sup>212</sup> См.: *Киянская О. И.* Южный бунт. С. 90—97.
- <sup>213</sup> См.: *Горбачевский И. И.* Указ. соч. С. 74.
- <sup>214</sup> Цит. по: Там же. С. 77.
- <sup>215</sup> ВД. Т. 4. С. 287.
- <sup>216</sup> Там же. Т. 6. С. 333.
- <sup>217</sup> Там же. Т. 4. С. 288.
- <sup>218</sup> Там же. Т. 9. С. 226; *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 54.
- <sup>219</sup> *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 13; Комментарию М. И. Муравьева-Апостола к мемуарной записи Ф. Ф. Вадковского «Белая Церковь» // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. 1. М., 1931. С. 201.
- <sup>220</sup> ВД. Т. 9. С. 226.
- <sup>221</sup> Там же. Т. 1. С. 48.
- <sup>222</sup> Там же. Т. 4. С. 244.
- <sup>223</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 263.
- <sup>224</sup> ВД. Т. 1. С. 68.
- <sup>225</sup> *Сафонов М. М.* Указ. соч. С. 228.
- <sup>226</sup> *Покровский М. Н.* [Предисловие] // ВД. Т. 1. С. IX.
- <sup>227</sup> *Свистунов П. Н.* Сочинения и письма. С. 170.
- <sup>228</sup> ВД. Т. 17. С. 58.
- <sup>229</sup> Там же. Т. 1. С. 7.
- <sup>230</sup> См.: Там же. Т. 17. С. 27.
- <sup>231</sup> См.: *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 84—93.
- <sup>232</sup> ВД. Т. 17. С. 28.
- <sup>233</sup> См.: *Павлова В. П.* Декабрист С. П. Трубецкой // С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 54—60.
- <sup>234</sup> *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. С. 432.
- <sup>235</sup> *Греч Н. И.* Указ. соч. С. 318.
- <sup>236</sup> Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 157; *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. С. 74.
- <sup>237</sup> *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. С. 432.

*Вместо послесловия*  
**Аркадий Майборода и Нестор Ледоховский**

- <sup>1</sup> *Волконский С. Г.* Записки. Иркутск, 1991. С. 379.
- <sup>2</sup> *Чернов С. Н.* Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля. С. 384.
- <sup>3</sup> ВД. Т. 17. С. 299—300, 217.
- <sup>4</sup> См.: Декабристы: Биографический справочник. С. 275.
- <sup>5</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 78. Канц. 1842 г. Д. 49. Л. 3 об., 4 об.; Оп. 324. Отд. 5. 1819 г. Д. 47. Ср.: Завещание П. И. Пестеля // КА. 1925. Т. 6. С. 320. Выражаю искреннюю благодарность историку П. В. Ильину, сообщившему мне имя младшего брата А. И. Майбороды.
- <sup>6</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 324. Отд. 5. 1819 г. Д. 247. Л. 2; Оп. 22. Отд. 1. Стол 2. 1833 г. Д. 892. Л. 7.
- <sup>7</sup> Там же. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 3 об., 12 об.
- <sup>8</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 8—9.
- <sup>9</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 3 об.—4.
- <sup>10</sup> См.: Там же. Л. 3 об.—5; *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 75.
- <sup>11</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 5; *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. С. 77—78.
- <sup>12</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 5, 10.
- <sup>13</sup> См.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 207. Л. 1—2; РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 646. Д. 4. Л. 6 об.
- <sup>14</sup> См.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 207. Л. 1 об., 2; *Плестерер Л.* История 62-го Суздальского генералиссимуса князя Итальянского графа Суворова-Рымникского полка: В 6 т. Т. 4. История Суздальского (1819—1831) и Вятского (1815—1833) пехотных полков. Белосток, 1903. С. 576.
- <sup>15</sup> См.: *Плестерер Л.* Указ. соч. Т. 4. С. 406, 420.
- <sup>16</sup> См.: Завещание П. И. Пестеля. С. 320.
- <sup>17</sup> РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 292. Д. 605. Л. 341.
- <sup>18</sup> См.: *Киянская О. И.* Профессионал от революции. С. 11—12, 15—16; *Она же.* Павел Пестель. С. 257—260.
- <sup>19</sup> РГВИА. Ф. 35. Оп. 5. Д. 1587. Л. 4.
- <sup>20</sup> См.: *Баранова С. Ф., Кудреватова О. В., Родионов В. Н.* Дело Варгина — поставщика армии его величества. М., 2001. С. 40.
- <sup>21</sup> См.: *Плестерер Л.* Указ. соч. Т. 4. С. 211.
- <sup>22</sup> См.: *Лорер Н. И.* Указ. соч. С. 67; *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 216—220.
- <sup>23</sup> ВД. Т. 4. С. 91.
- <sup>24</sup> Там же. С. 167.
- <sup>25</sup> РГВИА. Ф. 14414. Оп. 10/291. Св. 292. Д. 605. Л. 100.
- <sup>26</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 21.
- <sup>27</sup> Подлинники, написанные карандашом на польском языке и хранящиеся в составе следственного дела Ледоховского, см.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 207. Л. 5—7 об. Сделанный следствием перевод на русский язык см.: РГВИА. Ф. 14057. Оп. 16/183. Св. 646. Д. 4. Л. 6—8.
- <sup>28</sup> См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 269, 319.
- <sup>29</sup> См.: Там же. С. 468—469.

- <sup>30</sup> Там же. С. 470.
- <sup>31</sup> См.: Там же. С. 471.
- <sup>32</sup> ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 207. Л. 1.
- <sup>33</sup> См.: РГВИА. Ф. 14059. Оп. 3. Д. 77. Л. 69.
- <sup>34</sup> См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 469.
- <sup>35</sup> Там же.
- <sup>36</sup> См.: Там же. С. 470, 467.
- <sup>37</sup> См.: Там же. С. 468, 472.
- <sup>38</sup> ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 207. Л. 13—13 об.
- <sup>39</sup> Цит. по: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 473.
- <sup>40</sup> ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 207. Л. 1.
- <sup>41</sup> См.: Там же. Л. 15 об.
- <sup>42</sup> *Штейнгейль В. И.* Записки // Мемуары декабристов. Северное общество. С. 225.
- <sup>43</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549.
- <sup>44</sup> См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 1. С. 145—146, 289—291.
- <sup>45</sup> См.: ВД. Т. 11. С. 81—82.
- <sup>46</sup> См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 10.
- <sup>47</sup> *Гордин Я. А.* Мятёж реформаторов. С. 141.
- <sup>48</sup> См.: *Ильин П. В.* Междуцарствие 1825 года и восстание 14 декабря // 14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. С. 21.
- <sup>49</sup> См.: *Гордин Я. А.* Мятёж реформаторов. С. 142.
- <sup>50</sup> См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 306; *Гордин Я. А.* Мятёж реформаторов. С. 271—281.
- <sup>51</sup> См.: ВД. Т. 4. С. 38, 16.
- <sup>52</sup> Там же. С. 58.
- <sup>53</sup> См.: Там же. Т. 20. С. 425—430.
- <sup>54</sup> См.: РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 600. Л. 50.
- <sup>55</sup> С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. С. 281.
- <sup>56</sup> См.: Декабристы: Биографический справочник. С. 201.
- <sup>57</sup> Цит. по: *Вейденбаум Е.* Декабристы на Кавказе // РС. 1903. № 6. С. 501.
- <sup>58</sup> См.: *Невелев Г. А.* Указ. соч. С. 20.
- <sup>59</sup> РГВИА. Ф. 2575. Оп. 1. Д. 697. Л. 3.
- <sup>60</sup> Там же. Л. 5—7 об.
- <sup>61</sup> См.: Там же. Л. 2, 5.
- <sup>62</sup> См.: Там же. Л. 2, 3.
- <sup>63</sup> См.: Там же. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 6, 17.
- <sup>64</sup> См.: *Волков С. В.* Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 180. Ср.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 18.
- <sup>65</sup> РГВИА. Ф. 395. Оп. 22. Отд. 1. Стол 2. 1833 г. Д. 892. Л. 7, 10.
- <sup>66</sup> См.: Там же. Л. 20, 10.
- <sup>67</sup> См.: Там же. Оп. 273. Канц. 1836 г. Д. 353.
- <sup>68</sup> *Ильин П. А.* Из событий на Кавказе. Набеги Шамиля в 1843 году // Русский вестник (далее — РВ). 1872. № 7. С. 312—313.
- <sup>69</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 278. Канц. 1842 г. Д. 549. Л. 8, 19 об.; Оп. 151. Отд. 3. 1845 г. Д. 479. Л. 34.
- <sup>70</sup> См.: ВД. Т. 17. С. 334.
- <sup>71</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 271. Канц. 1834 г. Д. 24.

<sup>72</sup> Там же. Л. 11—11 об.

<sup>73</sup> См.: *Бродский Н.* Лермонтов и Белинский на Кавказе в 1837 году // Литературное наследство. Т. 45/46. М., 1948. С. 730.

<sup>74</sup> См.: *Бронштейн Н.* Доктор Майер // Там же. С. 473—496.

<sup>75</sup> РГВИА. Ф. 395. Оп. 274. Канц. 1837 г. Д. 44. Л. 34 об.

<sup>76</sup> Там же. Л. 21—21 об.

<sup>77</sup> Там же. Л. 5—6.

<sup>78</sup> См.: Там же. Л. 31—34 об.

<sup>79</sup> Там же. Л. 41—41 об.

<sup>80</sup> См.: Высочайшие приказы о чинах военных. СПб., 1841. Приказ от 18.05.1841; ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. 1826 г. Оп. 1. Д. 61. Ч. 143. Л. 2 об.

<sup>81</sup> *Волконский С. Г.* Записки. Иркутск, 1991. С. 381; *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. С. 77—78; *Ильин П. А.* Указ. соч. С. 313.

<sup>82</sup> РГВИА. Ф. 395. Оп. 151. Отд. 3. 1845 г. Д. 479. Л. 14—15. Опубликовано: *Киянская О. И.* Павел Пестель. С. 340—342.

<sup>83</sup> См.: Высочайшие приказы о чинах военных. СПб., 1842. Приказ от 27.07.1842.

<sup>84</sup> См.: ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. 1826 г. Л. 3—5.

<sup>85</sup> *Ильин П. А.* Указ. соч. С. 313.

<sup>86</sup> См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 168. Отд. 3. 1862 г. Д. 372.

<sup>87</sup> ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. 1826 г. Л. 5.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

- 1786, 12 марта — родился Алексей Петрович Юшневский.
- 1788, 8 декабря — родился Сергей Григорьевич Волконский.
- 1790, 29 августа — родился Сергей Петрович Трубецкой.
- 1793, 24 июня — родился Павел Иванович Пестель.
- 1795, 18 сентября — родился Кондратий Федорович Рылеев.
- 1796, 9 октября — родился Сергей Иванович Муравьев-Апостол.  
6 ноября — смерть императрицы Екатерины II, восшествие на престол Павла I.
- 1801, ночь на 12 марта — убийство императора Павла I, восшествие на престол Александра I.  
23 мая — родился Михаил Павлович Бестужев-Рюмин.
- 1803, 27 июля — родился Петр Николаевич Свистунов.
- 1805, 7 августа — родился Ипполит Иванович Муравьев-Апостол.
- 1812, 12 июня — 14 декабря — Отечественная война против наполеоновской Франции.  
26 августа — в Бородинской битве участвовали Трубецкой, С. Муравьев-Апостол, Пестель был тяжело ранен.  
6 сентября — Волконский за отличие в партизанских действиях произведен в полковники.  
3—6 ноября — С. Муравьев-Апостол участвовал в сражении при Красном.  
14—17 ноября — Волконский и С. Муравьев-Апостол участвовали в сражении при Березине.
- 1813—1814 — Заграничные походы русской армии.
- 1813, 14—15 (26—27) августа — Пестель принял участие в битве под Дрезденом.  
17—18 (29—30) августа — в сражении под Кульмом воевали Пестель и Трубецкой.  
4—7 (16—19) октября — в Битве народов под Лейпцигом участвовали Волконский, Пестель, Трубецкой, С. Муравьев-Апостол.
- 1814, 18 (30) марта — С. Муравьев-Апостол участвовал во взятии Парижа.
- 1815, март—июль — Волконский в Париже выполнял секретные поручения русского командования.
- 1816, февраль — основание Союза спасения. Среди основателей — Трубецкой и С. Муравьев-Апостол.
- 1818 — основание Союза благоденствия.
- 1819, 12 декабря — Юшневский назначен генерал-интендантом 2-й армии.
- 1820, январь — Пестель участвовал в совещаниях Союза благоденствия, посвященных обсуждению будущего государственного устройства России и судьбе царствующего монарха.  
16—18 октября — волнения в лейб-гвардии Семеновском полку в Санкт-Петербурге; в результате С. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин переведены из Семеновского полка в 1-ю армию.  
20 ноября — разрешение петербургской цензуры печатать номер журнала «Невский зритель» с сатирой Рыльева «К временщику».

- 1821, *январь* — на Московском съезде Союза благоденствия объявлено о самоликвидации тайного общества.  
*Март* — Пестель основал в Тульчине Южное общество под руководством Директории — Пестеля и Юшневского.
- 1822, *январь* — съезд руководителей Южного общества в Киеве.  
*30 ноября* — разрешение петербургской цензуры печатать первый выпуск альманаха Рылеева и Александра Бестужева «Полярная звезда».
- 1823, *начало года* — основание Общества соединенных славян.  
*29 августа* — разрешение петербургской цензуры печатать номер журнала «Литературные листки» с одой Рылеева «Видение».  
*20 декабря* — разрешение петербургской цензуры печатать второй выпуск альманаха «Полярная звезда».
- 1824, *март* — совещания Пестеля в Петербурге с участниками Северного общества о совместных действиях; провал идеи объединения обществ и образование петербургского филиала Южного общества; организационное оформление Северного общества.  
*16 апреля* — Рылеев назначен правителем дел Российско-американской компании.  
*Апрель—май* — Северное общество начало разработку плана вывоза императорской фамилии в Америку в случае начала революции.  
*15 мая* — отставка князя А. Н. Голицына с должности министра духовных дел и народного просвещения.  
*22 декабря* — разрешение московской цензуры печатать поэтический сборник Рылеева «Думы».
- 1825, *8 января* — разрешение московской цензуры печатать поэму Рылеева «Войнаровский».  
*Январь* — Трубецкой провел в Киеве переговоры с руководителями Васильковской управы Южного общества.  
*20 марта* — разрешение петербургской цензуры печатать третий выпуск альманаха «Полярная звезда».  
*Август—сентябрь* — переговоры Бестужева-Рюмина с представителями Общества соединенных славян, вхождение Общества соединенных славян в Южное общество на правах управы.  
*19 ноября* — смерть Александра I в Таганроге.  
*29 ноября* — Пестель сформулировал «план 1-го генваря» — революционного похода 2-й армии на Петербург.  
*13 декабря* — арестован Пестель. Трубецкой написал и передал письма с предложением совместного революционного выступления И. Муравьеву-Апостолу — для С. Муравьева-Апостола, Свистунову — для генерала Михаила Орлова.  
*14 декабря* — восшествие на престол императора Николая I, подавление вооруженного выступления членов Северного общества в Петербурге.  
*Ночь на 15 декабря* — арестованы Рылеев и Трубецкой.  
*17 декабря* — образована Следственная комиссия «для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества».  
*21 декабря* — арестован Свистунов.  
*26 декабря* — арестован Юшневский.  
*Ночь на 29 декабря* — С. Муравьев-Апостол при попытке ареста ока-

- зал вооруженное сопротивление и поднял восстание Черниговского пехотного полка.
- 31 декабря* — к восставшему Черниговскому полку присоединился И. Муравьев-Апостол.
- 1826, 3 января* — Пестель привезен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Подавление восстания Черниговского пехотного полка. Смерть И. Муравьева-Апостола. Ранен и арестован С. Муравьев-Апостол. Арестован Бестужев-Рюмин.
- 7 января* — арестован С. Волконский.
- 30 июня* — Верховным уголовным судом Пестель, Рылеев, С. Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Петр Каховский приговорены к четвертованию, Трубецкой, Волконский, Юшневский — к отсечению головы, Свистунов — к вечной каторге.
- 11 июля* — замена четвертования повешением, отсечения головы — вечной каторгой; Свистунов приговорен к двадцатилетней каторге.
- 12 июля* — оглашение приговора осужденным.
- 13 июля* — казнь пятерых декабристов.
- Октябрь* — осужденные на вечную каторгу декабристы, в том числе Трубецкой и Волконский, прибыли на место отбывания наказания — Благодатский рудник.
- 1827, сентябрь* — каторжники переведены в Читинский острог.
- 1830, сентябрь* — осужденные переведены в Петровский Завод.
- 1835* — Волконскому каторжные работы заменены вечным поселением в Сибири.
- 14 декабря* — Свистунову каторжные работы заменены на вечное поселение в Сибири.
- 1839* — Трубецкой и Юшневский освобождены от каторжных работ с вечным поселением в Сибири.
- 1844, 10 января* — умер Юшневский.
- 1855, 18 февраля* — смерть императора Николая I, воцарение Александра II.
- 1856, 26 августа* — объявление амнистии по делу «о тайных злоумышленных обществах»; декабристы получили право возвратиться в Центральную Россию.
- 1860, 22 ноября* — умер Трубецкой.
- 1865, 28 ноября* — умер Волконский.
- 1889, 15 февраля* — умер Свистунов.

## БИБЛИОГРАФИЯ

*Бокова В. М.* Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М.: Реалии-Пресс, 2003.

*Вигель Ф. Ф.* Записки: В 2 т. М.: Захаров, 2003.

Воспоминания Бестужевых / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. М.; Л.: АН СССР, 1931. Репринт — СПб.: Наука, 2005.

*Гордин Я. А.* Мятёж реформаторов: 14 декабря 1825 года. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Лениздат, 1989.

*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.: Захаров, 2002.

*Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М.: Художественная литература, 1965.

*Жихарев С. П.* Записки современника. М.: Захаров, 2004.

*Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: НЛО, 2001.

*Ивинский Д. П.* О Пушкине: Авторский сборник. М.: Интрада, 2005.

*Лалин В. А.* Семеновская история. Л.: Лениздат, 1991.

*Лорер Н. И.* Записки декабриста / Под ред. М. В. Нечкиной. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1984.

*Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в). СПб.: Искусство, 1994.

Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи / Подгот. к печати Б. Е. Сыроечковский. М.; Л.: Госиздат, 1926.

*Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания и письма. Пг.: Былое, 1922.

*Оболенский Е. П.* Воспоминания о Кондратии Федоровиче Рылееве // Мемуары декабристов. Северное общество / Сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В. А. Федорова. М.: МГУ, 1981. С. 79—96.

*Окунь С. Б.* Российско-американская компания. М.; Л.: Соцэкгиз, 1939.

*Парсамоу В. С.* Декабристы и Франция. М.: РГГУ, 2009.

*Покровский М. Н.* Декабристы: Сборник статей. М.; Л.: ГИЗ, 1927.

*Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб.: Типография 1-й СПб. трудовой артели, 1909.

*Троицкий Н. А.* Александр I и Наполеон. М.: Высшая школа, 1994.

*Трубецкой С. П.* Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1983—1987.

*Тургенев Н. И.* Россия и русские / Пер. с фр., вступ. ст. С. В. Житомирской; коммент. А. Р. Курилкина. М.: ОГИ, 2001.

*Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М.: Наука, 1968.

*Чулков Г. И.* Мятёжники 1825 года. М.: Современные проблемы, 1925.

*Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование: В 4 т. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1897—1898.

*Шильдер Н. К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование: В 2 кн. М.: Чарли; Алгоритм, 1996.

*Эйдельман Н. Я.* Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М.: Художественная литература, 1979.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие. Декабристы как исторический феномен.</i> . . . . .	5
Павел Пестель и Алексей Юшневский . . . . .	15
Сергей Волконский . . . . .	98
Михаил Бестужев-Рюмин . . . . .	131
Кондратий Рылеев . . . . .	165
Сергей Трубецкой и Сергей Муравьев-Апостол. Петр Свистунов и Ипполит Муравьев-Апостол . . . . .	243
<i>Вместо послесловия. Аркадий Майборода и Нестор Ледоховский</i> . . . . .	320
Примечания. . . . .	345
Основные даты жизни и деятельности участников движения декабристов . . . . .	379
Библиография . . . . .	382

**Киянская О. И.**  
К 38 Декабристы / Оксана Киянская. — М.: Молодая гвардия, 2015. — 383[1]с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1528).

ISBN 978-5-235-03803-5

Дореволюционная официальная идеология называла декабристов изменниками, а советские историки изображали их рыцарями без страха и упрека, тогда как они не были ни теми ни другими. Одни были умны и щепетильны, другие честны, но неопытны, третьи дерзки и безрассудны, а иные и вовсе нечисты на руку. Они по-разному отвечали на вопрос, оправдывает ли высокая цель жестокие средства. Но у столь разных людей было общее великое стремление — разрушить сословное общество и отменить крепостное право.

В поле зрения доктора исторических наук Оксаны Киянской попали и руководители тайных обществ, и малоизвестные участники заговора. Почему диктатор Трубецкой не вышел на площадь? За что был казнен Рылеев, не принимавший участия в восстании? Книга, основанная на опубликованных документах и архивных материалах, восстанавливает реальную историю антиправительственного заговора, показывает связь его участников с общественным мнением, создает свободный от идеологических штампов коллективный портрет деятелей декабристского движения.

УДК 94(47)“18”  
ББК 63.3(2)521-425

знак информационной  
продукции **16+**

**Киянская Оксана Ивановна**  
ДЕКАБРИСТЫ

Редактор **Е. А. Никулина**  
Художественный редактор **И. И. Сулов**  
Технический редактор **В. В. Пилкова**  
Корректор **Т. И. Маляренко**

Сдано в набор 27.01.2015. Подписано в печать 10.03.2015. Формат 84x108/32.  
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л.  
20,16+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1504160.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва,  
Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: [dse1@gvardiya.ru](mailto:dse1@gvardiya.ru)

**arvato**  
BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
в ОАО «Ярославский полиграфический комбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03803-5



ISBN 978-5-235-03803-5



9 785235 038035 >

М О Л О Д А Я   Г В А Р Д И Я